

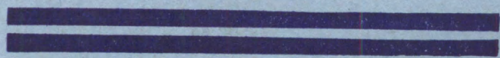
НОВОБЫТ МИР

12

НОВОБЫТ МИР

1981

12



1981



НОВЫЙ МИР

Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 12

Декабрь, 1981 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ЛЕОНИДУ ИЛЬИЧУ БРЕЖНЕВУ СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ЛЕТ	3
—————	
ИГОРЬ ИВАНОВ — Москва 41-го, стихотворение	5
НИКОЛАЙ ШУМАКОВ — Декабрь сорок первого, стихотворение	6
БОРИС ГУСЕВ — Открытие. Несколько сцен из деловой жизни	7
ИЗ БЕЛОРУССКОЙ ЛИРИКИ — Пимен Панченко, Петрусь Макаль, Рыгор Бородулин, Анатолий Велюгин, Максим Танк, Алексей Пысин	
Перевел Яков Хелемский	78
С. СЛАВИЧ — Конфликт, повесть	85
Н. ЗЛОТНИКОВ — На Нигоозере, стихи	162
ДМ. СМИРНОВ — Из лирического дневника	164
ИННА ГОФФ — Двух голосов переключка	165
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
АЛЕКСЕЙ БЕСЧАСТНОВ — Чекисты против «Эдельвейса»	174
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ВЛАДИМИР ВЕРНИКОВ — Лицом к морю и к земле	192
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	
В. И. ВЕРНАДСКИЙ В НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ: И. Мочалов. Возвращаясь к «роковым» проблемам; И. Забелин. Быть среди живых...;	
В. П. Казначеев, А. Л. Яншин. В. И. Вернадский в настоящем и будущем	205
МИХАИЛ ШЛАИН — Вначале было слово...	220
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Н. К. ГЕЙ — Целостность культуры, содружество наук и искусств	224

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ССРС»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Л. КИСЕЛЕВА — Обращено к сегодняшнему. 80 лет со дня рождения Александра Фадеева	Стр. 230
---	-------------

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	240
-------------------------------	-----

А. Руденко-Десняк. Движение героя. — **Евг. Винокуров.** Поэтический мир Ваагна Давтяна. — **Сергей Чупринин.** «Евангелие от Сизифа». — **Инна Ростовцева.** «Из пламя и света рожденное слово». — **Уран Гуральник.** На многонациональной основе.

<i>Политика и наука</i>	254
-------------------------	-----

А. Грунт. «Поучитесь у русской революции!..». — **Д. Биленкин.** Предвидение животных. — **Л. Попов.** Люди Кремниевой долины.

КОРОТКО О КНИГАХ: В. Косолапов. — Д. В. Панков, Д. Д. Панков. Подвиг подольских курсантов. ✦ А. Белорусец. — Сердце России. Сборник стихотворений. ✦ А. Окладников. — В. И. Буганов, А. А. Преображенский, Ю. А. Тихонов. Эволюция феодализма в России. ✦ Ю. Орфеев. — А. Н. Соколов. Проблемы научной дискуссии. Логико-гносеологический анализ. ✦ Василий Субботин. — Ю. Белаш. Оглошшая пехота. Стихи. ✦ Софья Николаева. — И. Дедков. Василь Быков	261
---	-----

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	266
------------------------	-----

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1981 ГОД	267
---	-----

Леониду Ильичу Брежневу семьдесят пять лет

**Генеральному секретарю
Центрального Комитета Коммунистической партии
Советского Союза**

**Председателю Президиума Верховного Совета СССР
товарищу БРЕЖНЕВУ Леониду Ильичу**

Дорогой Леонид Ильич!

Разрешите поздравить Вас, выдающегося партийного, государственного и общественно-политического деятеля современности, с 75-летием — датой значительной и прекрасной. Вся прожитая Вами жизнь есть ярчайший пример того, каким должен быть последовательный марксист-ленинец, как надо любить свою родную землю, свой бессмертный народ.

Велик Ваш личный вклад в нашу народную жизнь, и миллионы советских людей говорят Вам сегодня свое сердечное спасибо за жизнь свободную и мирную, за то, что над нами чистое небо, что страна достойно справляется со всеми сложностями и трудностями, на которые так щедр XX век. Принципиально и дальновидно решает сложные задачи коммунистического строительства наша партия, ее боевой штаб — возглавляемое Вами Политбюро Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза.

Особая благодарность советских писателей за созданные в нашей стране благоприятные условия для художественного творчества, расцвета многонациональной советской литературы, для того чтобы был сбережен каждый истинный талант как достояние народное.

Журнал «Новый мир» стремится быть на главном направлении большого творческого процесса. Мы стремимся как можно надежней помогать искусству социалистического реализма запечатлеть эпоху, воспитывать нового человека, бороться с недостатками, со злом, встающим на пути нашего продвижения к коммунизму.

Мы горды тем, что именно на страницах «Нового мира» впервые увидели свет «Малая земля», «Возрождение», «Целина», «Воспоминания» — Ваши, Леонид Ильич, замечательные произведения, которые по праву стали для литераторов высоким идейно-творческим ориентиром в изображении исторических свершений советского человека. Поток читательских писем, хлынувший в редакцию после опубликования этих произведений, заставляет редколлегию и коллектив журнала новыми глазами взглянуть на многие аспекты писательской публицистической работы, на связи с широкой читательской аудиторией, на процесс изучения ее интересов и чаяний. Ваши книги учат тому, как надо писать, чтобы произведения стали подлинными учебниками жизни. Ваше имя стоит первым в списке авторов

«Нового мира», и это наполняет сердце каждого писателя, каждого, кто приходит в журнал с новой рукописью, непередаваемым чувством и гордости и громадной ответственности.

Сказанные Вами слова одобрения в адрес литературной печати, шефствующей над производством, дали новые животворные стимулы содружеству «Нового мира» с рабочим коллективом прославленного КамАЗа.

Глубоко запали нам в душу прозвучавшие с высокой трибуны XXVI съезда КПСС слова о том, что в лучших художественных произведениях последнего времени, в наиболее выразительных образах современников — будь то бригадир строителей или председатель колхоза, железнодорожный рабочий или крупный ученый — читатели находят созвучие своим заветным мыслям, видят воплощение лучших черт советского характера. Создание образов таких героев — первейший наш долг!

Ваши советы литераторам создавать произведения, поднимающие «такие серьезные проблемы, над которыми действительно не мешало бы «попотеть» Госплану, да и не только ему», служат надежным подспорьем в нашей повседневной журнальной практике.

Современная обстановка настоятельно требует от литератора гражданской активности, неотступного участия в борьбе за гуманистические идеалы, за социальный прогресс и мир на земле, в борьбе против всего отсталого и реакционного, против растленной буржуазной идеологии и происков воинствующего империализма.

Умножать духовные богатства социалистического общества, идти дальше, идти смелей, претворяя в жизнь предназначения партийного съезда о литературе глубокой по мастерству, живущей кровными интересами народа, активно участвующей в коммунистическом строительстве, — для авторов творческого коллектива «Нового мира» нет цели выше и прекрасней. Ей посвящены наши жизни.

Об этом мы хотим со всей человеческой искренностью, с чувством безграничной любви и уважения сказать Вам, Леонид Ильич, в день славного 75-летия, столь дорогого для всех нас. Здоровья Вам и неиссякаемых сил!

Редколлегия журнала «Новый мир»

НИКОЛАЙ ШУМАКОВ

★

ДЕКАБРЬ СОРОК ПЕРВОГО

Живем в промерзшей низенькой землянке —
Наш дом сожгло фашистское зверье...
Больная беженка на узенькой лежанке.
И сушится различное тряпье.

Коптит фитиль, зажатый в медной гильзе.
Читаю о героях прошлых лет.
Страницы книги, изданной в «ОГИЗе»,
Мне дороги навечно, словно хлеб...

От чтения мой взор лучист и светел,
Глаза родных наполнены тоской.
И вдруг слова,
Как первый вешний ветер:
«Захватчики разбиты под Москвой!..»

И мама, подойдя, в большом волненье
Сказала, не скрывая ясных слез:
«Сынок, а ведь сегодня день рожденья!..
Твой день рожденья радость нам принес!..»

...Когда я прохожу под алой аркой,
Чтоб помолчать у вечного огня,
Восходит сорок первый самой яркой,
Декабрьскою победой — для меня!

4

БОРИС ГУСЕВ

★

ОТКРЫТИЕ

Несколько сцен из деловой жизни

1

В семидесятые годы Федор Аниканович Атаринов был блестящий сорокалетний администратор с широкой обаятельной улыбкой, современной манерой этакого легкого равнодушия и внятно выраженной прогрессивной направленностью недюжинного ума. В нем искрился столичный лоск, еще больший, чем у аборигенов большого города, и все было хорошо, но однажды, предавшись размышлениям о жизни, Федор Аниканович почувствовал себя обойденным: вот уже десять лет он трудится в одной должности и его не повышают. За что?

Как только он открыл эту главную несправедливость к себе — что он обойден, обижен, — так тотчас стали обнаруживаться другие несправедливости. Скажем, командировки в экзотические края. Ну ладно, ездил, но, конечно, мог больше. Куда! — размышлял он, вспоминая те варианты, ситуации, которыми мог бы воспользоваться, а упустил. И ему было обидно, что упустил. Вон Санька Серов полмира объездил — и ничего, ходит с высоко поднятой головой... «Ну, ты даешь!..» — однажды заметил ему Федя. «А чего? Так и надо!» — с вызовом ответил Санька.

А премии? С лауреатством дело сложнее, это решают высокие инстанции (и все равно наиболее дальновидные как-то устраиваются, входят в перспективные группы, но, допустим, это Феде самому противно, не надо!), но свою-то министерскую мог получить. Вполне! Острову республиканскую дали — за что? Допустим, работал. А разве он, Федя, не работал?! Вот именно, он работал, а другие пользовались. А почему его не вводят в ученый совет? Гуяров позже пришел, тоже докторской не имеет, но ввели. Нет, дело не в степени, не это решает! Сумел, и все тут... Или взять награждения. О чем говорить!

И Федя вспомнил многочисленные вечера, когда он перерабатывал, сидя до одурения у себя в отделе. Бывало, звонит приятель Игорь снизу, из подвального отсека: «Привет, Федя, сидишь?» — «Ага». — «Как жетса, мы вдвоем только остались?» — «Наверное». Да, он рабочая лошадка. Незавидная роль. Пожалуй, над ним посмеиваются. И по делом.

Дав мыслям такое направление, Федя заходил в обидях все дальше и дальше, и ему стало стыдно, что он такой, в сущности, смешной и неумелый человек. То утешение, что он честен и совесть его чиста, что, в конце концов, кто-то должен быть и рабочей лошадью, теперь не годилось. Ну и сиди со своей чистой совестью, коли тебе это нравится. Утешайся.

Впрочем, кое-чего он все же добился. Хотя... Соцстраховские путевки — так, господи, их все получают. Квартира? Но кто из кадровых работников в их ВНИИЗе не получал квартир или не улучшил жилищных условий? Деловые люди по второму, по третьему кругу получили, детей обеспечили! А такие, как Леонтий Захарович, зам по хозяйству, наверное, уж и о внуках позаботились. Но он, Федя, не рвач и будь у него все возможности, он все равно ими не пользовался бы. Есть же устои, понятия, дисциплина, черт побери! Но дело не в этом. Или в этом? А? В чем тогда? В чем?! Этак докатишься и смысл жизни начнешь искать. Нет. Отчего ж, под коньяк и «за жизнь» можно потолковать, но вообще сие удел юношей, не пользующихся успехом у девушек, и неудачников. А жизнь проходит. Ладно, пусть там рвет, хапает кто угодно, но он, Федя, останется каков есть.

Он снова занялся текучкой, подписыванием бумаг, корректировкой плана подведомственных отделу лабораторий и секторов на следующий квартал. Но прежнего душевного покоя и удовлетворения своей работой уже не испытывал.

Атаринов работал заместителем начальника отдела крупного отраслевого НИИ — ВНИИЗа, начавшего с некоторых пор, пока неофициально, именоваться объединением, а директор его, соответственно, — генеральным. ВНИИЗ имел свое опытное производство, бывшее некогда самостоятельным заводиком средней руки, и несколько филиалов на периферии. Начальник отдела — доктор наук, мэтр — бывал не каждый день, в основном занимался научной проблематикой, и вся администрация лежала на Феде. И в треугольнике чаще всего он представлял собой как руководитель отдела: выслушивал мнения и сам высказывал позицию. Сотрудники шли к нему со своими делами, в том числе личными. И это imponировало ему. Обращение по личному делу означает доверие. Вокруг Феде группировались молодые специалисты, и Федя в пределах своей власти поддерживал их. Это были уже его кадры.

Он любил поговорить с дипломированным юнцом по-товарищески, по-человечески. Предложит сесть, закурит сигарету и, откинувшись в кресле, скажет: «Что ж, пока у тебя все правильно: в твои годы я тоже получал сто десять, а пожалуй, и меньше — ставки были пониже... Да, точно помнится — девяносто... А вкальвали дай бог!»

Последует поучительный экскурс в прошлое. Федя любит и умеет поговорить. Затем неожиданный поворот: «Но я ж понимаю, тебе нужна перспектива! А если реально говорить — степень. Ставим вопрос так: где легче защищаться? Вообще сейчас защититься непросто... Труднее, чем десять лет назад, но делаются же и кандидатские и докторские, о чем речь! Что важно? Тема. И не менее важно — руководитель!» Звонят телефоны, в двери заглядывают, но Федя от всего отстраняется: «Дайте поговорить с человеком! Можно же в кои-то веки...» Разве что зазвонит белый телефон без диска, директорский... Тут уж, конечно, ничего не поделаешь; Федя быстро, но и без лишней торопливости берет трубку: «Слушаю, Николай Афанасьевич!» Трубка плечом прижата к уху, а руки быстро находят чистый листок и ручку. Указание записывается четко, быстрым, но разборчивым почерком. Дело есть дело. Можно пофрондировать с непосредственным шефом — заведомом, можно изредка бросить смелую реплику заместителю директора по науке Шашечкину, но директор есть директор. «Все понял, Николай Афанасьевич!»

Оторвав трубку от уха, Федя не тотчас кладет ее на рычаг, а ждет щелчка оттуда. И потом, уже положив трубку, с полминуты сидит, как бы осмысливая сказанное. На самом деле он припоминает детали,

достаточно ли точно и оперативно он среагировал, радуется про себя, что смог на память быстро назвать несколько цифр. Генеральный все отмечает. Ну а затем Федя вновь переключается на беседу. Но, собственно, что? Беседа закончена, пора закругляться, и он бросает: «Ну, вот так и действуй... А насчет Острова подумай. Да, в его лаборатории делают дело, но... вот учти, что я тебе посоветовал». Затем широкая улыбка, Федя разводит руками, как бы говоря: видишь, какой я хороший, простой и занимаю солидный пост.

Что еще, скажите, нужно молодому, вступающему в жизнь специалисту? Ему сам Атаринов обещал поддержку. Молодой человек уходил открытым и говорил своему коллеге: «А чего бы тебе не сходить к Атаринову? Дело советую! Это человек!..» И уже другой юноша, желающий получить напутствие и поддержку, направлялся к Феде, и у Феде появлялся еще один кадр...

А кругом все кипит. У тебя на столе десятки бумаг, требующих ответа, звонят телефоны, толпятся люди, а ты умело и четко сбрасываешь вопросы: это решено, это туда, это тому поручить... Что там? На подпись? Давайте, тут же и подпишу, чтоб не лежало. Верочка, а чертежи отдайте в светокопию. И все новые вопросы нахлыывают, как волны, а ты разгребашь их. Ты популярен в отделе, ты слынешь хорошим работником — и что? Это не поможет тебе стать членом ученого совета. Нет. Не это решает, хоть об стенку разбейся...

Сдвиги в Фединых настроениях были замечены в отделе, но трактовались по-разному. Одни считали, что он просто устал, другие объясняли все неустроенной личной жизнью. Отдельские дамы, влюбленные в Федю и озабоченные его здоровьем, говорили: «Ну нельзя ж так... Он истязает себя работой... Его не щадят!» Это мнение и получило распространение в определенных кругах.

А Федя все сильнее и настороженней сопоставляет свои достижения с успехами других. Он высчитывает, сколько было Острову, когда он сделался лауреатом; каков средний возраст членов ученого совета; на котором году жизни нынешний зам по науке Шашечкин занял свою должность, в коей пребывает уже четверть века. Выясняется, что Тихон Иванович Шашечкин в Федины годы был уже замдиректора. Раздраженному Феде мерещится полная безысходность, возникает альтернатива: либо — повышение, либо — уход. Да, ВНИИЗ — это марка, но есть и другие НИИ. Федю знали в кругах, и он мог рассчитывать на поддержку. Пойти в какой-нибудь скромный НИИ заместителем по науке — милое дело! Понятно, такие должности на улице не валяются, но если поставить цель и приложить усилия, вполне можно подыскать приличную должность в триста пятьдесят рэ. Большого он не требует, но это уж кандидатский минимум — это мое, это отдайте.

В эти дни Федя делает еще одно печальное для себя открытие: оттого что он сбавил темп, стал равнодушнее к делу, просиживал в столовой по два часа, не произошло никакого переворота. Все шло как и шло, чертежи отправлялись в светокопию, выдавалось сколько нужно проектной документации для закрытия плана, даже с небольшим перевыполнением; распределялись премии (он просто подписывал поданный ему треугольником список, не спорил, как прежде, до хрипоты, чтоб все было по справедливости). Более того, у Феде улучшились отношения с шефом, которому прежняя, слишком уж энергичная деятельность Атаринова служила немим упреком...

Так ради чего, спрашивается, он старался? За что страдал? За свою глупость. Только лишь. С тяжелым чувством он вспоминает о друге Игоре Хрусталеве — положение Игоря еще хуже... Федя хоть сумел защититься, а Хрусталева так и остался без степени: тянул, тянул, а после махнул рукой, хотя материала у него на три диссертации.

Правда, Хрусталеv считается видным специалистом, имеет патенты. Его знают в отрасли, а персональный оклад вполне компенсирует отсутствие степени. Но персональной ставки можно лишиться. Что тогда?

Вслед за Хрусталевым он вспоминал еще двух-трех инженеров-экспериментаторов тоже без степеней. Вкальывали дай бог и без персональных надбавок и без заграникомандировок. Такое сравнение немного успокоило Федю, но цель уже существовала. Оставалось действовать. Он не карьерист и не собирается шагать по трупам, но... Его труд должен быть оценен. Кроме дела, существуют еще человеческие отношения. Будь ты семи пядей во лбу, но если у тебя нет контактов — все без пользы. Что генеральный! Важно, как доложат ему. И правильно, он же не может во все вникать... Тот же Санька Серов на всех европейских симпозиумах побывал. Владеет аудиторией. Знает английский. Но после каждой поездки является с сувенирчиками Танечке, Манечке, Женечке, на поклон к Шашечкину, то-се... Пусть мелочь, но это жизнь, противоречия, рассуждал Федя, все более прозревая.

А все Игорь Хрусталеv со своими наивными представлениями. Дело ж не в том, чтоб хапать, хватать, вовсе нет! Просто надо более зрело смотреть на жизнь. Именно — зрело.

И вот над всей прежней Фединой жизнью, над прочными связями нависает тень рокового вопроса: з а ч е м?

Зачем я рабочая лошадка?

Что дала мне двадцатилетняя дружба с Игорем, кроме ее надежности? Ну надежна, и что из того?

Что из того, что я хороший работник? Ни-че-го! Я не член ученого совета, не доктор, не руководитель самостоятельного звена. Значит, я неправильно жил, не с теми дружил. А на обстоятельства валить нечего: в этой жизни надо суметь. И оправдываться не перед кем! Не уяснил себе этого — пеняй на себя!

2

Игорь Николаевич Хрусталеv ехал на службу в радостном настроении ожидания, что нынче предстоит приятный и легкий день, без особенных мозговых перегрузок и нервного напряжения, ибо все самое трудное позади; он ждет официального заключения лаборатории по своей работе. Предварительные испытания дали самые лучшие результаты, значит, никаких неприятностей быть не может; наконец-то он вошел в иные порядки! Поздновато, скоро полвека стукнет, но лучше поздно, чем никогда.

И Хрусталеv заранее представлял себе, как сложится этот давно ожидаемый день. Сперва он пройдет к себе в подвальный отсек, сядет в свое удобное кресло под сводами, развернет стершиеся на сгибах чертежи, чтобы уже просто так взглянуть на знакомые контуры, и закурит первую в этот день, а потому самую приятную сигарету (он никогда не курил до одурения, а так, чтоб приятно было и уже ждешь удовольствия). А затем? Ну что? Визит к Глебову ненадолго, напомнить, чтоб поскорее выделили ассигнования, — тот обещал не тянуть. В качестве ответного джентльменского жеста он, Хрусталеv, заверит начальника опытного производства, чтоб о программе следующего месяца тот не беспокоился — сдадим машину. Это событие. Возможно даже, услышав об этом, Глебов предложит Хрусталеvu вместе пойти к генеральному. Впрочем, это уже так хочет Глебов. Наконец самое приятное — это визит на третий этаж к Феде и дружеская беседа, которая все откладывалась и откладывалась, а необходимость в ней возрастала. Вечером нужно какое-то отвлечение, скажем «Кавказский». И Марину надо

вывезти, и Аллу давно не видал. Давно не сидели с Федей... Так, по-настоящему.

Он вошел в подъезд пятиэтажного здания с современной, в металле, вывеской, привычно сунул руку в карман, но вахтер кивком показал, что это не нужно, и Хрусталеv проследовал дальше и оказался в весьма оживленном коридоре, где как бы все двигались и в то же время стояли на месте. Углубленный в свои мысли, Хрусталеv стремительно обходил кружки, не слишком многие кивали ему, и он отвечал иногда с запозданием. Затем он спустился вниз, прошел по совсем пустынному коридору, отворил еще дверь.

Помещение напоминало лабораторию. Были тут и верстак, и доводочная плита на нем, и точный мерительный инструмент. Из-за стальной, тяжелой навесной двери, ведущей в камеру-поплавков, погруженную в резервуар с водой, чтоб не зависеть от земных колебаний, слышался мерный возвратно-поступательный ход Белой Машины.

Вот когда он понял, что все лучшее позади. «Кончено! Теперь они увезут ее и... И — ничего», — подумал он.

Хрусталеv вдруг нахмурился, спохватившись: кто это посмел пустить БМ без него?! Но тут же увидел значительное сияющее лицо Терентия Кузьмича Тишкина, своего соратника, и вспомнил, что еще вчера договорился с ним с утра дать машине несколько часов походить вхолостую, а затем уже установить образец и запустить на суточный цикл. Он подошел к двери и заглянул сквозь стекло.

Там, в камере, величиной с обычный станок, белела созданная машина. Сравнительно медленно, бесшумно двигался суппорт с алмазным резцом. Входить туда во время работы не рекомендовалось, само по себе нахождение человека вблизи машины влияло на температурный режим в камере, это, в свою очередь, влекло к тепловой реакции металла хотя бы в долях микрона и в конечном счете отражалось на прямолинейном движении резца.

— Уже звонили! Начальство, как его... Глебова заместитель? — сказал Терентий Кузьмич.

— Рузин. Невеликое это начальство... Что ему надо? — спросил Хрусталеv, невольно раздражаясь.

— Вас спрашивал. А после насчет машины интересовался: посылали, мол, на контрольный замер образцы? Ну, я и говорю...

— Зачем?! Какое его дело? Умный, стервец. Но вечно суется, куда не просят.

— Да погодите вы! Ничего я ему не сказал. Говорю, спросите начальника. Игорь Николаевич, говорю, лично этим занимается.

— Ну правильно. Это ж такой народ, им только дай палец... Нынче же и прикроют план.

— Если узнают, что вы на замер посылали, факт прикроют: конец квартала. Их тоже можно понять — хочется цифирь показать, генеральному доложить, — усмехнулся Тишкин.

Раздался приглушенный телефонный звонок.

— Терентий Кузьмич, подойдите, пожалуйста, — сказал Хрусталеv. — Это наверняка Рузин. Меня нет. Был — ушел... Если только Федя Атаринов или генеральный директор. Для остальных — нет!

— Если Глебов?

— К черту!

Все так же снисходительно усмехаясь, Тишкин не спеша подошел к телефону. Прикрыв микрофон ладонью, обернулся к начальнику:

— Вас. Приятный женский.

— Спросите — кто?

— Да эта, как ее? Черненькая, армяночка, технолог, я ее уже по голосу знаю... Во, Арцруни!

— Подойду.— И Хрусталеv взял трубку.— Лена, привет!.. Да, прячусь от нашего общего друга товарища Рузина. Слушаю тебя.

Видно, собеседница на другом конце провода говорила что-то приятное для Хрусталева: лицо его разгладилось, а взгляд стал мягче.

— Ну дай бог,— сказал он наконец,— ты не представляешь, сколько мы с Терентием Кузьмичом бились над ней!

Хрусталеv повесил трубку.

— Первое поздравление... Была в лаборатории и узнала о наших результатах, говорит, у Белой Машины в Европе нет конкурентов, есть только в Америке. Обещала проверить. Она вообще грамотный специалист и следит за иностранной периодикой. По идее нам и генеральный должен бы позвонить и поздравить, а?

Тишкин посмотрел на своего шефа с мудрой иронией.

— Терентий Кузьмич, а что вы думаете насчет сдачи? — спросил шеф.

Тишкин усмехнулся:

— С начальством не очень повоюешь, можно б и дать им в план засчитать, а если по делу посмотреть, надо бы на обкатку еще недельку-другую. И юстировать и вхолостую дать походить. Ты ей сейчас неделю дай — она потом на год дольше работать будет.

— В том и дело! А им отдать — тотчас запустят партию или... или поставят на склад. Да, да, бывало и так!

— Не, Игорь Николаевич, эта не залежится. Потому — показатель. Новый класс. Выгодно.

Хрусталеv помолчал и уже задумчиво проговорил:

— Вот я и не знаю, выгодно ли, что мы практически уже вошли в иные порядки чисел, а?

Тишкин усмехнулся:

— Это, я помню, случай был перед войной, еще и института над нами не было, а самостоятельно завод... Пришел заказ — изготовить калибры, мне и поручили. Предупредили: не мы одни делаем и другим заводам заказ дан... Мол, учти! А чего — работа есть работа. Старался, конечно. Сдал. После вызывает военпред: «Подвел ты нас, товарищ Тишкин!» У меня аж сердце упало, мать честная... Что ж это?! А он: «Подвел, говорит, все заводы. Проверили в лаборатории твои калибры и говорят: «Можно же! Так и надо работать». А все остальные вернули... Надо б тебе похуже работать — приняли б, а сравнили с твоими — и дело швах, обратным козырем». Шутил, конечно, после руку жал.

— «Похуже работать» — а это проблема, Терентий Кузьмич, — весело выдохнул Хрусталеv.— Ну, раз вы так, то и мы так. В крайнем случае пойду к генеральному!

Дверь отворилась, и в помещение, глядя исподлобья, вошел невысокий худой человек, заместитель начальника опытного производства Владимир Иванович Рузин.

— Наконец-то застал! Привет, Игорь Николаич. Ну, у тебя, как я вижу, все в ажуре, машина на режиме. Поздравляю... Кончилось твое счастье,— улыбнулся Рузин и тотчас подавил улыбку, чересчур ясно обнаруживающую его чувства, и он знал это. Улыбка же означала, что да, ты, Хрусталеv, гений, талант и создал уникальную штуку, я не гений, у меня служба другая, но я тебя сейчас окачу холодным душем, люблю, брат.— И вас, Терентий Кузьмич, поздравляю! Таких мастеров и на ЛОМО немного... Отлично постарались... Конец месяца, зачем в программу — и будет ладно.

Это было сказано с таким видом, будто он облагодетельствовал авторов.

— Позволь, Володя! Еще нет даже формального заключения лаборатории по дифракционным пластинам.

— Зачем? Мы не бюрократы. Мы верим авторам,— все так же радостно говорил Рузин, посапывая трубкой и заглядывая сквозь стекло в камеру, где работала БМ.— Так, посмотришь, с виду — строгальный станок, и только. А работа! Нет, это работа, и серьезная,— продолжал Рузин с веселой небрежностью.— А впрочем, если ты настаиваешь на заключении, мы сейчас организуем. Контрольные замеры делались, и не раз. Не вижу проблемы. Мы это быстренько провернем, и будет ладно.— И Рузин потянулся к телефону.

— Подожди, Владимир Иванович! — резко-просяще остановил его Хрусталева, понимая, что сейчас Рузин просигналит плановикам, а тех только кликни — и все закрутится, потом уже ничего не остановишь.— У тебя что, программа горит?

— Программа всегда горит. Такое уж ее свойство. А чего тебе? Тебе теперь только водку пить. Правильно я говорю, Терентий Кузьмич? А мы молнию вывесим: «Коллектив опытной мастерской под руководством И. Н. Хрусталева досрочно освоил...» и т. д.— И Рузин вновь подавил улыбку.

— Володя, у меня к тебе личная просьба: дай нам еще неделю! Мы и верно достигли заданных данных, это так. Но, возможно, сможем получить еще кое-что...

Рузин сопел, раздумывал. Наконец, не потому, что он снизошел к просьбе Хрусталева и проявил понимание, а отчасти потому, что хотел показать свою власть, отчасти потому, что знал характер Хрусталева и понимал, что уж если тот упрется, то все равно не подпишет акт, дойдет до первого зама, а может, и до самого генерального, не считаясь ни с какой субординацией, и настоит-таки на своем, и сверху раздастся раздраженный звонок: «Уладьте, что там?!» — предвидя все это, Рузин повел бровями как бы в сомнении, не знаю, мол, трудно, но уж возьму на свою ответственность, и кивнул:

— Ладно, обойдемся. Знайте мою доброту!

Однако, дав отступного, Рузин не мог тут же не отыгаться.

— Да, Игорь, насчет твоей заявки на новую тему. Мы с Глебовым сидели и гадали: «Беззубчатая передача» — ты меня извини, но надо пояснить как-то...

— Дорогой Володя, пояснительная записка была, и ты это знаешь. Я не виноват, что ваши канцеляристы ее потеряли. Но Глебов видел, читал.

— Зачем так формально? Копию не мог дать?

— У меня нет времени на копии, я пишу в одном экземпляре! — почти вскричал Хрусталева; настроение же Рузина, как бы питаясь раздраженностью Хрусталева, улучшалось, теперь он улыбался совсем приятно.— Если я сейчас дам, это верных полгода волокиты.

— А, конечно, не меньше, ты же знаешь наши порядки,— сказал Рузин индифферентно, будто не имел никакого отношения к этим порядкам. Но то было вовсе не недомыслие, нет! Засунув руки в карманы брюк, слегка покачиваясь от игривости, Рузин внимательно следил за выражением лица собеседника своими безвекими, быстрыми глазками, выходящие, как у женщины, волосы придавали его облику мрачноватый и в то же время жуликоватый оттенок. Но он этого и хотел — быть зловещим и жуликоватым. Юродствующим.

— Постой, но Глебов меня заверил, что с беззубчатой все в порядке! — вскричал Хрусталева, вспомнив свой последний разговор с начальником производства.

— А у Глебова и верно в порядке все,— усмехнулся Рузин. И, помолчав, добавил значительно:— Через две ступеньки в члены коллегии, худо ли? А? Вот шагнул!

— Постой, Володя, это точно? — насторожился Хрусталева.

Рузин значительно повел бровями.

— Информация из первых рук. Вчера были с ним в одном месте...

— Уходит?

— Предрешено.

— И кто вместо него? Ты?

— Я?! Помилуй бог! Хе-хе-хе! Не беспокойся, ни меня, ни тебя не поставят. Найдут варяга, у них своя креатура. А мы будем ишачить на них, продавать мозги.

В последних словах Рузина Хрусталева почувствовал что-то искреннее и задумался.

Когда Рузин ушел, Хрусталева решил подняться наверх отыскать Федю Атарина и с ним обсудить все проблемы. На всякий случай он снова позвонил по местному.

— Игорь? Привет! — услышал он в трубке.

— Ты на месте, я зайду сейчас, — сказал Хрусталева.

— Сейчас? Ну давай, а то я должен уйти. Или попозже перезвонимся. Я позвоню тебе через пару часов.

«Наверное, вызвали к генеральному», — решил Игорь и занялся делом. И лишь к вечеру вспомнил о Феде: «Наверное, звонил, когда я обедал». И он вновь набрал номер друга. Никто не ответил. Тогда Игорь позвонил секретарю отдела и спросил, где Атарин.

— Уже ушел, — последовал ответ.

Домашний телефон Феда тоже упорно не отвечал, Федя жил один, значит, его нет и дома.

В тот день, однако, Хрусталева не придавал никакого значения исчезновению приятеля. Но на другой и на третий день Федя также не позвонил, а когда Игорь Николаевич сам поднялся к нему в отдел, то застал у Феда много народа. И Атарин, вместо того чтобы выйти к другу и договориться о встрече, лишь беспомощно развел руками. Хрусталева молча закрыл дверь, помрачнел и, глядя вверх прохаживающейся по коридору довольно густой толпы младших научных, старших научных, ведущих, соискателей и проч., пошел к себе вниз.

3

— Что ж, покурим, Терентий Кузьмич? — сказал Хрусталева.

Тишкин согласился, что теперь можно и покурить. Тогда шеф добавил, что можно не только покурить, но и отметить завершение полуторалетней работы. Тишкин улыбнулся:

— Оно б можно, Игорь Николаевич, да мне сегодня в партком иди, неловко, пахнуть будет.

— Что ж, сразу и спросят?

— Спросить не спросят, но запомнят.

— Вот если б так строго с бездельников спрашивали! Сейчас иду по верхнему коридору — кучками стоят, беседуют, и в какое время ни пройди, все одни и те же лица. К ним почему-то требовательности нет.

— Да ведь они ученые, — усмехнулся Тишкин.

Но Хрусталева не понял его юмора и тотчас взвился:

— Ученые бывают разные и тоже сидят, как мы. Возьмите Атарина — кандидат, сидит с утра до ночи.

— Знаю! Так то приятель ваш!

— Мы друзья, но он действительно вкалывает. Вот бы кого поддержать!

Умное, с глубокими впадинами глаз и круглым, чуть поджатым подбородком лицо Тишкина сделалось вдруг глуповатым.

— А что, у Феда Аникановича какая беда случилась? — спросил он, поводя бровями как бы в недоумении.

Хрусталева отлично знал своего собеседника и видел: недоумение его наигранное, уходит старик от просьбы.

— Никакой беды, а засиделся. Сейчас у него и энергия, и опыт, и возраст — все! А потом, лет через пять, скажут: стар.

— Да ведь Атаринов большую должность занимает, Игорь Николаевич! Головной отдел наш... Он ведь молодой еще, Федор-то Аниканович.

— Где ж молодой?! Сорок лет!

— Да ведь сейчас все так... Вы ведь вот постарше его.

— Все верно. Дело не в должности.

— Вот точно! Полностью согласен, главное — человек чтоб был.

Они с Тишкиным сходились и до конца понимали друг друга в работе. Взять ту же БМ. Когда Хрусталеву пришла мысль сделать направляющие станины с учетом земного тяготения (и возможным, по крайней мере теоретически, в связи с этим прогибом их, пусть даже на астрономически малую величину), Тишкин не только понял с первого слова, но тотчас ухватился за эту мысль и осуществил ее, придав направляющим условно некую «горбатость». Таким образом, прогибаясь под тяжестью земного тяготения, они становились абсолютно ровными, и из машины выжали точность выше запроектированной; практически они вышли уже на новые порядки чисел. По заданным параметрам и весу металла расчетчики произвели вычисление и действительно получили приблизительно ту же величину в долях микрона, на которую Тишкин приподнял направляющие в центре их, создав «бугорок», хотя лекальщик шел эмпирическим путем, проще говоря, делал на глазок.

Но по многим вопросам Тишкин и Хрусталева расходились. Тишкин всерьез считал заместителя по науке Шашечкина выдающимся ученым («Что вы, Игорь Николаевич, на Тихоне Иваныче все и держится...»). Когда же Хрусталева доказывал Терентию Кузьмичу, что Шашечкин — хамелеон, что с ним просто опасно работать, потому что нельзя же на каждый разговор с ним иметь свидетеля (мнение это было настолько утвердившимся во ВНИИЗе, что даже Тишкин не пытался оспаривать его), он говорил: «Чего ж вы хотите, Игорь Николаевич, это ж ученые, у них все на этих тонкостях...» — и ничего нельзя было ему доказать. Когда же в мастерскую раз в год заглядывал сам Шашечкин («Вот я прихожу и убеждаюсь, что вы государственные деньги на ветер бросаете», — говорил впоследствии), то Терентий Кузьмич весь светился; и Тихон Иванович тоже светился, и оба они говорили друг другу комплименты, улыбались, вспоминали еще довоенные годы, и Шашечкин уходил, а Тишкин, вздыхая, говорил ему вслед: «Ведь вот человек!.. Сколько дел, а помнит про нас».

И вот теперь Тишкин упорно не хотел понимать того, что Игорь пытался ему втолковать относительно Феде, возможно, старик знал о трениях между Шашечкиным и Атариновым. Между тем с мнением Тишкина считались в парткоме, и когда он торжественный, с орденами выходил на трибуну и, надев очки и запинаясь, зачитывал свое выступление, то самые обычные, истертые слова обретали значительность в его устах.

— Но обещайте по крайней мере, если в парткоме возникнет разговор об Атаринове, сказать: «Да, это серьезный, авторитетный работник!»

— Скажу: созрел, пора двигать, а то перезреет. Скажу: ставьте в резерв.

— Вот-вот! Резерв — это хорошо. Я знаю, они заранее за год, бывает...

— Сложное это дело, Игорь Николаевич, людьми руководить, сложное! Кто рвется, опять же думаешь — с чего? Что ж, закурим...

Обычно самые верные шаги Игорь Хрусталеv делал не обдумывая, как бы по наитию. Так случилось и теперь. Хрусталеv набрал номер друга и четко, тоном, не предполагающим возражения, сказал ему:

— Слушай, ты провинился, ясно? А посему сегодня ведешь меня в «Кавказский». Едем сразу после работы, есть разговор.

— А что? — насторожился Федя.

— Причем в районе шести не я тебе звоню, а ты мне! Если меня нет — разыщешь!

Федя вдруг как-то покорно-растерянно хохотнул:

— А чего, я не против... — И он опять засмеялся, переводя все в шутку. — Может, одного товарища прихватим?

— Аллу? Конечно!

— Она не может. Нашего, внизовского, хороший парень!

— Я сказал: «Надо поговорить», а ты предлагаешь элементарную пьянку! Такое непонимание неприлично, Федор Аннканович.

Пауза.

— Хор. Идет, — ответил Федя, которого иногда убеждала не логика рассуждения, а тон говорившего.

И в самом деле в шестом часу он сам позвонил Игорю в подвальный отсек и предупредил:

— Игорь, будь готов, я сейчас спускаюсь...

Но прошло и десять и пятнадцать минут — Федя не появлялся. Хрусталеvu надоело ждать, и он сам поднялся наверх, догадавшись, что Федю перехватили в последний момент. Так и оказалось. Когда Хрусталеv уже в пальто вошел к Феде, тот, тоже в пальто, занимался своим любимым делом — проводил воспитательный раунд с молодым специалистом. Демократично откинувшись в кресле и бросив на стол пачку «Мальборо», Федя вел беседу с внимавшим ему юношей («Тебе двадцать пять лет, ставка у тебя сто десять, пока у тебя все правильно. В твои годы...» — вешал он).

— А вот Игорь Николаевич Хрусталеv! — Улыбаясь и несколько смутясь, Федя встал навстречу другу. — Игорь, помнишь, как мы с тобой у покойного Шигаева начинали? По сколько часов работали?

— Круглые сутки, — рассмеялся Хрусталеv, тотчас поняв, к чему был задан этот вопрос.

— Нет, сутки — нереально, но, между прочим, иногда оставались и ночевать. И свидания назначали в лаборатории и банкеты там по случаю... О чем говорить! Все было.

— И ушло! А что, твой собеседник сомневается, стоит ли работать? Заранее скажу: не стоит. Ей-богу! Смысла ни на грош, одни хлопоты, — весело говорил Хрусталеv в манере мэтра, которому все дозволено.

— А чем плохо быть специалистом, скажем, твоего ранга? — прервал его Федя, которому по его должности следовало соблюдать этикет. — Персональный оклад, больше, чем у кандидата наук, открытый пропуск и, по существу, полная свобода действия. А? — И Атаринов встал, показывая, что беседа окончена.

Юноша тоже все понял и, вежливо раскланявшись, вышел, сопровождаемый взглядом Хрусталева.

— Современная молодежь! Без году неделя, а на уме уже кандидатская! Как же! — говорил Федя, будто оправдываясь перед Игорем.

— Федя, и в наше время так было: кто-то интересовался степенью, а кто-то работал, это не ново. Бог с ним! Едем!

Они вышли на улицу. Тут же подвернулось такси. В ресторане после недолгого значительного разговора с метрдотелем удалось получить отличный закуток со столиком на двоих.

Сегодня все благоприятствовало друзьям, и даже не пришлось долго ожидать официанта.

— Ну так в чем дело, что? — начал Хрусталеv.

— Все обрыдло. Ни на что б не смотрел...

— Ты просто устал.

— Да, я устал,— отвечал Федя с большей значительностью, чем предполагал этот простой вопрос.

И Хрусталев понял его.

— Но именно сейчас, Федя, возможны перемены. Освобождается должность Глебова — начальник опытного производства, практически директор завода! Вот как раз то, что тебе нужно.

— Разговор нереальный.

— Почему нереальный?

— У них свой резерв, свои кадры. Не знаешь, как это делается? Пронин скажет «нет», как сказал однажды, и все легит.

— Помнишь, ты точно так же переживал с квартирой? Решилось же! А злился и кричал: «Все жулики!»

— Квартира — это другое.

— Я понимаю. Будь моя власть, я бы сместил Шашечкина и назначил вместо него тебя. Это твое и ты был бы настоящим руководителем науки.

— Дорогой Игорь, не это решает! Тихон Шашечкин четверть века сидит и еще просидит,— вздохнул Федя с видом безнадежности.

— Да, это так, и Тихон, конечно, консерватор, но знаешь, Федя, я думал: на чем он держится? Опыт! Чертеж он схватывает мгновенно, более того: когда видит живое, новинку — в глазах интерес, что-то бормочет, вертит... Но мнения своего не скажет. Нет!

— А скажет, так и открестится в случае чего! И ты же будешь в дураках.

— Но черт с ним, с Тихоном. Я о другом... Хорошо, у них свои люди, это я понимаю. Но почему мы не можем стать своими людьми в хорошем смысле? А кстати, в парткоме Пронина можно нейтрализовать: его заместитель Тишкин, ну, знаешь, знаменитый лекальщик, ас, работает у нас в мастерской...

— Это несерьезно, Игорь. Тишкин — рабочий, сорок лет на производстве, с ним считаются, все понятно, но,— Федя пожал плечами,— в этом деле его голос совещательный. Ты... наивный человек!

Официант принес коньяк, боржом. лаваш и лобию. Друзья принялись за еду.

— Ладно, давай выпьем, в самом деле, давно не сидели,— предложил Федя, бравший всегда на себя роль тамады.

С первой рюмкой, с первым же «а ну его к черту все!» дружеская атмосфера, казалось, вернулась вновь, и все-таки Федя рассеянно поглядывал вокруг, будто возвращаясь к прежним мыслям.

— Ну, построил гараж? — спросил он вдруг Игоря.

— Да нет... Там очередь.

— Какая очередь?! Ты фронтовик! Другой бы на твоём месте все давно провернул!

— Не соберусь снять копии с документов.

— Она что, так на улице и стоит?

— Ну да... На открытой стоянке.

— Так проржавеет же. Говорят, что-то делают для предотвращения...

— Антикоррозийное покрытие,— сухо объяснил Хрусталев.

— Нет, серьезно, Игорь. Ты солидный человек, ведущий специалист отрасли, известный изобретатель... Почему не взял «Волгу»?

Хрусталев молчал. Это был очередной Федин воспитательный раунд, но уже не с молодым специалистом, а со старым приятелем.

— Видишь ли,— продолжал Атаринов,— на сегодня престиж — реальный фактор, с которым нельзя не считаться. Тот же Санька Серов...

— Ну, Санькин престиж я вижу прежде всего в хорошем знании языков, это да, принимаю.

Поспели шашлыки, и дружеский ужин достиг своего зенита. В центре зала шел ресторанный галдеж, но их место было тихое.

— На днях мне звонила Лена Арцруни, поздравляла. Между прочим, она определила какие-то очень точные моменты в работе БМ,— сказал Хрусталеv.

— Да? Интересно...— Федя наклонил голову, выражая внимание и одновременно нацелившись вилкой на кусок шашлыка, ловко подхватил его и отправил в рот. Игорь не понял, к чему относилось это «интересно»: к звонку Лены или к машине.— Елену я тоже видел как-то — она в форме! А? Красивая восточная женщина! Да, Игорь, есть что вспомнить! — Федя задумался и произнес фразу, которую последние годы часто пускал в ход:— А вообще все относительно.

— Ну почему? Не все. Если коньяк хорош — он хорош, а если женщина хороша, то тоже безотносительно,— возразил Хрусталеv.

— Этот хорош, а «Отборный» лучше! И лучшая женщина впереди.

— Ну нет, это уж точно не так.

— Почему? — заинтересовался Федя.

— Потому что...— Хрусталеv вдруг сузил глаза, что означало первую степень раздражения.— Федя! Тебе надо жениться. Это совершенно точно и безотлагательно.

— Надо,— как-то сразу отяжелев, согласился Федя и перестал есть.

Казалось, он добрался до мудрости — и вдруг все обвалилось. Федя любил детей, хотел их иметь, но по холостому своему положению этого избегал. Теперь он думал — зачем? И все больше мрачнел. Уже скоро сорок!

— Так сложилось.— У него упал голос.

— Почему сложилось? У тебя был выбор. Уж кому-кому, а тебе нельзя жаловаться.

Эти слова успокоили Федю. Но тревога осталась. Он забарабанил по столу пальцами — другу был знаком этот жест.

— А чего ты? — спросил Хрусталеv.— У тебя есть Алла! Красивая женщина и молода. Родит тебе сына...

— Подайте счет! — Федя махнул рукой официанту.

— Постой, ведь еще цыплята, забыл? И платить буду я. Довольно, ты и так все последние разы платил.

— Что, деньги получил?

— Да, по авторскому, это как с неба.

— Сколько у тебя авторских свидетельств уже? — спросил Федя.

— Около десятка — так что-то. Да что толку, открытия нет! Все на уровне изобретения, техусовершенствования,— отвечал Хрусталеv, уменьшая число авторских свидетельств, ибо смутно чувствовал: надо успокоить Федино самолюбие.

Подали табака. Друзья допили коньяк, расплатились и вышли на улицу.

4

В очередной воспитательный раунд Федя вместо фразы: «Тебе двадцать пять, ставка у тебя сто десять, ну что ж, в твои годы...» — вместо этого Федя хмуро помолчал и сказал: «Я все понимаю. Сто десять — это не ставка. В наше время нужна степень. Но ты же знаешь н а ш у к о н т о р у. Что реально посоветовать? Иди к Острову. Будешь негром. А что? Надо кому-то и негром быть. Нет, перспективы у тебя никто не отнимает, лет пять—семь поработаешь на него — получишь тему. Будет ли она диссертательной — этого тебе никто не скажет, в том

числе и Остров. У нас не только наука, у нас еще и производство, мы не академический институт».

И юноше оставалось одно: подыскивать себе место в другом НИИ, если он не желал становиться рабочей лошадкой.

Странно, странно повернулся мир! Казалось бы, каждый должен трудиться в поте лица своего или, по крайней мере, делать вид, что старается,— ан нет! Многие норовят похвастать свободным расписанием, возможностью уйти с полдня и отметить лишь перед концом рабочего дня, а то и вовсе позвонить: мол, я сегодня больше не буду. И во ВНИИЗе существовал контингент людей, которых Федя до поры не замечал, хотя эта группа жила своей жизнью, своими интересами, на что-то претендовала и что-то имела. Представители этой публики, явившись на службу и бросив свой «дипломат» на стол, обычно спешат показаться на глаза начальству, чтобы затем исчезнуть в коридоре. Здесь плещет своя стихия и кипят свои страсти. Впрочем, по коридорам люди ходят и по собственным надобностям, и на заседания ученого совета и на прочие важные заседания, наконец, по коридорам пестрой косметической толпой идут нагруженные провизией вниизовские женщины. Но представители истинно коридорной публики не ходят. Они стоят группками или медленно, покачивая головой, прохаживаются по коридору под ручку. «Он воображает, что я буду ему сидеть от и до. Пусть ищет!», «Вот именно! Нет, нельзя приучать...», «Нельзя, нельзя, что ты! Надо приучать к своему отсутствию» — слышатся реплики.

Ближе к делу, однако. Можно было бы начать с женщин, с сорокалетних бабушек в марлевках, но нет, дадим дорогу мужчинам. Вот они — солидные, вельветовые, меняющие каждые тридцать тысяч километров свои «Жигули» на новые; и тут же буйнобородые фрондирующие юноши, одинаково умеющие и хамить и любезничать, крупные знатоки чешского пива и русской воблы, носившие джинсы на самой крайней точке возможности, и прочая столь же почтенная и необходимая современной науке публика. Все это движется, говорит, льстит, грешит и тут же хохочет над своей греховностью, подыгрывает, вздыхает и улыбается... «А я своему парню прямо сказал: «Запорожец» — пожалуйста, это согласен. Но он не хочет... Только «Жигули». Разбаловали, разбаловали мы молодежь!» — вещает солидный сорокапятилетний с. н. с., как бы жалуясь на сына, а на самом деле являя собственный престиж.

А что это высматривает, но не явно, а исподволь, как бы следуя за чем-то незримым, вот тот желчный кандидат наук? Он ловит взгляд идущего навстречу члена учовета и доктора. Ловит, ловит, поймал-таки, удержал на мгновение, поклонился: «Здравствуйте, Семен Семеныч!» Все! Пока больше ничего. Напомнил о себе, о своем существовании, а самым фактом этой коридорной встречи и о своей просьбе: оформить к себе в лабораторию на должность старшего инженера сына, числящегося где-то на заочном. Желчный взгляд кандидата пока был просящим, но в нем сквозил и намек: а можем и неприятности вам устроить — не возрадуетесь! А ведь устроит... И потому прошедший завлаб хоть и вздохнул тяжело и соорил строгую мину, но подумал: надо брать, а то не будет житья... Не отвяжется. Себе дороже.

«Ну кто, кто тебе сказал, что в этом году? — слышится чей-то самоуверенный рокот.— До конца первого полугодия будущего года все расписано!.. Учти, тут еще и предзащиты по новому правилу! Сперва пойдет Елтухов, потом пустим Минина, ничего, пусть... И только потом уже... И то еще! Поглядим, как говорится».

«Что? Публикация? Нет, как раз это не проблема...»

«Э нет, друзья, наука — это наука. Есть определенный уровень диссертации. Я читал ее. Лично я считаю, это не наука, а потому...»

Но все это, так сказать, туманности среди бесконечного эфира. Звезд первой величины здесь нет. Вдруг среди публики пронесется:

«Остров... Горовой... Подранков...» — и к ним, как иголки к магниту, как астероиды к большому светилу, влекутся жаждающие внимания, образуя завихрения, черные дыры. Лишь паркет поскрипывает от шумом больших перегрузок. Это трудится коридорная публика.

Вечно деятельный Атаринов, конечно, никогда не принадлежал к ней, но с некоторых пор он стал здесь задерживаться. А что? Здесь тоже кое-что делается и если не решается, то формируется, или, точнее, ограничивается, мнение...

— Игорь Николаевич!

Хрусталеv обернулся. Кто-то призывно поднимал руку, но не спешил сам навстречу. Вглядевшись, он узнал Пронина из парткома. Пронин объявил, что хотел бы побеседовать, и, отворив дверь своего кабинета, пропустил Хрусталева и тотчас первый заговорил о жалобах завлабов и ведущих конструкторов на то, что слишком медленно выполняются их заказы.

— Ну, это как раз не главная наша беда,— вдруг перебил его Хрусталеv.

Он почувствовал — наступил поворотный пункт в его жизни, а потому знал, что делать и говорить. Пронин отодвинул свое лицо, насто-рожился.

— На медлительность опытников всегда жаловались, потому что не знают условий труда, а рабочему надо позволить остыть металлу, который нагрелся в его руках. У нас точность — доля микрона! Есть процесс, его не перескочишь, у нас «досрочно» не работает! Противоположано. Никто этого не понимает. Никто! Практически получается так: лишь бы скорей, то есть — лучше работать плохо. Нас толкают на это, но мы не поддаемся, поэтому нас ругают,— отвечал Хрусталеv.

— Эта позиция мне знакома уже,— заметил Пронин.— Но инерцию не так легко преодолеть. Порядок сам не падает с неба. Вот...— Пронин на секунду задержался,— сейчас предстоят кое-какие перестановки в связи с уходом Глебова. Мы рассматриваем возможные кандидатуры, в частности имеем в виду и вас...

— Меня... Но я как-то не думал об этом.

— Работа ответственная, бесспорно, но будем помогать.

«Вот, наконец-то совершается давняя мечта — поставить дело как следует, с инженерной мыслью,— билось в голове Хрусталева.— Можно же, можно, и кадры есть!.. И право распоряжения кредитами дадут. Сотни людей, цехи, мастерская, техбюро, службы... А Федя? — остановил он себя.— С ним как? Хорошенькая ситуация: решил бороться за выдвижение друга и полез сам. А работать под эгидой Феде — чего еще можно желать? И мастерскую жалко оставлять».

— О себе я, правду говорю, не думал, но вообще думал о том, кого хорошо бы поставить вместо Глебова...— начал было Хрусталеv.

— Знаю,— мягко остановил его Пронин.— Терентий Кузьмич говорил мне. Будем смотреть, советовать.

Принеся в жертву дружбе заманчивое предложение Пронина, Хрусталеv чувствовал себя немного растерянным. Он не мог явиться к Феде и рассказать все как было, это лишь обострит их отношения: предложение было сделано Хрусталеву и это само по себе уже было оскорбительно для Феде. Однако Федя знал о разговоре Пронина с Хрусталевым от одного информированного человека.

Младший научный сотрудник и кандидат наук Паша Коридов был контактный малый, без идей, без привычки к труду, леноватый и частью понимал это. Все свои силы и то небольшое упорство, что имел, он фанатично положил на ублажение шефа, который за уши дотянул его до защиты. Защитился и вот уже три года стриг купоны со своей

степени. Еще не все было достигнуто, предстоял лет через пять—десять прыжок в с. н. с. А уже будучи старшим научным сотрудником, можно бы катиться до академической пенсии.

Он хотел преуспеть в жизни, но для этого надо потеть и потеть... Если бы Паше точно сказали, что он к пятидесяти годам станет профессором, членкором, тогда б он не пожалел сил. Но кто ж это скажет? Смешно! А XX век беспокойный. Сейчас важно что? Удержаться на достигнутом. Но и для этого нужна поддержка, иначе можно из круга выскочить. В своем же отделе есть фанатики, которые сами изнуряют себя работой и требуют, чтобы другие... У них ты, конечно, бельмо в глазу. Атаринов тоже много работает, но он явно идет на взлет, и он приятно работает. Душа человек. Вот перед кем все семафоры открыты. И дружба с ним откроет Паше горизонты.

Но чем мог завоевать дружбу пленительного, руководящего, умного Феде Паша Коридов? При всей своей заурядности Паша Коридов имел одно несомненное преимущество перед Хрустальевым и даже перед самим Федей Атариновым: он был информированный человек. Паша всегда все знал, что происходит в отделе: между кем из научных сотрудников назревает конфликт, кто собирается разводится, кому из своих сотрудников Остров устроил вчера разнос и по какому поводу взяла бюллетень сотрудница Н. Разумеется, и дела по амурной части были тоже известны ему. Это было его хобби. Сбором различной информации он занимался и на работе и дома, просиживая целые вечера у телефона и обзванивая приятелей и коллег. Тонко, ненавязчиво он расспрашивал обо всех делах, движимый искренним любопытством. И в самом деле Паше было интересно, каковы отношения между красивой завсветокопией Б. и женатым с. н. с. К., когда и чем кончится очередной запой С., кто котируется на выборную должность председателя месткома на новый срок и какую квартиру дадут новому помощнику директора — двухкомнатную или трехкомнатную. По часу и больше он мог обсуждать, кто выше рангом: член ученого совета, но по должности просто с. н. с., или же заведующий отделом, но не член ученого совета; обожал поболтать о том, у кого больше шансов пройти по конкурсу, о рангах, степенях, должностных рамках. Сколько проблем, оттенков, даже противоречий!.. Вот Глебов — начальник опытного производства, фигура во ВНИИЗе! А в ученый совет не входит. Почему? Вероятно, потому, что нет степени (чудак, с его возможностями давно мог бы иметь ее!). Но тогда встает вопрос, почему первый зам — член? Ну ясно — потому что первый. А на каком положении помощник генерального директора? Выше заведделом? Формально нет. Но практически имеет прямой доступ, числится соискателем — тоже о чем-то говорит. У него, конечно, есть перспектива.

Взвешивание всех этих возможностей и составляло главный интерес жизни Коридова. К чести Паши заметим, что он стыдился этого увлечения, считал его своей слабостью. Но однажды услышал чью-то реплику: «Спросите у Коридова, он вхож в верха и все знает...» Хотя Паша и не был вхож в верха и лишь издали робко кланялся помощнику генерального директора, он не стал опровергать этого утверждения. Пусть думают, что вхож. Худо от этого не будет, а лучше может быть. Паша чувствовал, что информированность — это своего рода влияние, которым можно пользоваться с некоторой осторожностью.

Паша, однако, полагал, что блестящий Атаринов стоит выше всех этих интересов. Потому-то он столь робко заглядывал к нему в кабинет, и мялся, и молчал первое время, не зная, чем бы занять Федю. И вот однажды в благословенный час, когда Паша в нерешительности расхаживал у Фединого кабинета, раздумывая, о чем бы поговорить с Федей, чтобы заинтересовать его собой, в этот момент от Феде вышел Санька Серов, моторный, всепробивной с. н. с. Санька взглянул на

робевшего Пашу, мигом усек, какие сомнения бушуют Пашину душу — Санька был знаток отношений такого рода, — и вот этот Санька подмигнул Паше и, сделав руками жест, как бы шатунами паровоза, бросил: «Смелей, Паша, с ним этак только и можно!» — и Пашу Коридова как осенило, вот этот именно жест шатунный и объяснил ему все. Он смело вошел к Феде, сел, сказал в виде предисловия: мол, надоело все, работа, работа, работа... И заговорил о предполагавшемся перемещении А. на место В. Федя, разумеется, слышал об этом, но всех нюансов (например, того, что за А., хоть его и переводят просто в с. н. с., сохраняют персональную ставку) не знал, и они с большим удовольствием обсудили эти детали, проговорили на эти темы часа полтора и расстались довольные друг другом.

Теперь уже Паша уверенно заходил к Феде, и они проводили хорошие часы. Это как раз совпало с периодом, когда Федя решил сбросить с себя ярмо рабочей лошадки.

5

Года три назад, когда не столь четко и бесперспективно все выдвигалось, Федя поделился с Игорем своими сомнениями и был элегантно высмеян, Игорь сбил его репликой, что все это мура, издержки бурного века, а главное — д е л о! Федя тогда тотчас сдался.

Ну а если — и эта мысль лишь сейчас пришла в голову Атарину — Игорь считает себя гением, к которому рано или поздно придет признание? Даже объективно: после смерти Кирьянова крупнее Хрусталева в отрасли из практиков никого нет.

Что ни говори, есть существенная разница в положениях Феде и Игоря: Хрусталева как изобретателя работает на себя, он получает патенты, гонорары. А он, Федя? Администрация — дело благодарное, открытый не сделаешь. И если Игорь не раз говорил Феде: «Тебе бы на место Шашечкина», то возникает вопрос, почему он так говорил! А? В конце концов, чем выше положение во ВНИИЗе займет он, Федя, тем лучше будет Игорю. Так ведь? Бесспорно...

Ножницы начали медленно раздвигаться, отводя их на разные позиции, точнее сказать, одного Атарина. Хрусталева своих позиций не менял.

Федя тяжело сидел, отодвинув бумаги, в своем закутке. Он исподлобья взглянул на Хрусталева, в маленьких скифских глазках не отразилось ни сожаления, ни радости, усталость, одна усталость и тяжкая необходимость нести возложенное на него бремя — вот что отразилось в Федевом взгляде.

— Ты плохо выглядишь, ты устал, — сказал Хрусталева.

Федя пожал плечами, как бы все это известно, что он устал, но ничего не поделаешь, так жизнь устроена, что ему, Феде, положено уставать. Не дожидаясь приглашения, Хрусталева сел в дерматиновое кресло. Хотя никакого разговора между ними не произошло еще, но какой-то сдвиг во взаимоотношениях совершился, и оба это чувствовали. А главное, ощущение своей вины Хрусталева передавалось Атарину. Они отлично знали друг друга.

— Вот. Первая с машины... Две четверта на миллиметр поверхности, но это еще не все. Возможна формула удвоения, — сказал Хрусталева, подавая Феде металлическую пластину размером поболее спичечного коробка.

— Что, серьезно? — воскликнул Федя, беря в руки пластину и с невольным любопытством разглядывая ее.

— На свет, на свет поверни! Все цвета спектра... Дифракция, спектральный анализ.

— Молодцы! — сказал Федя искренне, ибо тотчас как инженер оценил достижение; он смотрел, как играли все семь цветов спектра, и вдруг ему пришла мысль, что это уже крупный успех Игоря и его группы. Уж не открытие ли? Вещь эффектная, и ее трудно замолчать, в любом случае об этом будут говорить, да если еще в печати появится, успех и популярность обеспечены. И у Феде мелькнула мысль взять эту пластину и сейчас идти к генеральному директору. Так бы он сделал полгода назад. Но теперь он решил перепроверить у авторитетов, верно ли, что это крупное достижение. Точнее сказать, он удержал себя этой мыслью, потому что вместе со вспышкой хорошего чувства в нем разыграли чувства иные. Зависть разыграла в нем. Что ему от того, что Хрусталева прославится? Это лишь резко контрастирует его, Федин, неуспех.

Федя задумался, слегка наклонив по своей привычке голову.

— Ну правильно. Получишь нашу вниизовскую годовую премию. А чего? Так и надо... А тут сидишь с утра до ночи, и каждый треплет тебе нервы. Почти пятьдесят человек в отделе, ими ж надо руководить! Шеф на симпозиуме, вчера сидели с треугольником, разбирали глупый конфликт. Зачем мне это надо? Устал! — тяжело проговорил Федя с какими-то совершенно новыми нотками в голосе.

Ругаться. Жаловаться. Просить. Требовать. Упрекать. Что угодно, но только не про усталость сейчас надо было говорить. Хрусталева взглянул на друга.

— Помнишь, как говаривал наш покойный шеф? «Я знаю, в моей лаборатории есть лодыри и с них ничего не возьмешь, а спрашивать буду с тех, которые могут».

— Ну правильно, вот он и ездил на нас.

— Это была школа.

— Ты на себя хоть работаешь, Игорь. Те же патенты... Ты работаешь, но и имеешь, а я? Дело не только в ставке.

— А если б ты докторскую защитил!

— Сидя в этом кресле?! Докторская — это минимум пять лет при удачном стечении обстоятельств.

— Путь в научную работу тебе открыт. Докторантура, например.

— Но ты же знаешь, в докторантуру без темы — пустой номер. —

Федя развел руками.

— Да! Так что ж, иди в лабораторию. Найдешь тему, а пока...

— Кем идти?! Младшим научным сотрудником? Ты странный человек.

«Странный человек!.. Советует идти негром к Острову! А о том, чтобы запатентовать свою машину, позаботился, в члены правления ВОИР вошел», — подумал Федя после ухода Хрусталева и, постепенно размышляя, стал думать о том, что же в конце концов в практическом смысле дала ему дружба с Игорем. Вспоминая ресторанные расчеты, в коих львиная доля падала на Федю как на несеманного человека, и прочее в этом роде, он, копаясь в памяти, смог отыскать лишь одно: помощь Игоря, когда Федя получал квартиру, что-то было, какую-то роль Игорь сыграл, но очень давно. В то же время он, Федя... Да о чем говорить! Разумеется, никто не собирается ссориться, но надо реально смотреть на жизнь и завязывать деловые связи, иметь деловой подход. Талант — это все хорошо, но не это решает.

Дверь кабинетика осторожно приотворилась, и в образовавшуюся щель, улыбаясь и сияя цейсами, заглянул молодой, тридцатипятилетний Паша Коридов.

— Глебов идет в министерство членом коллегии, слышал? Об этом, правда, давненько поговаривают, но сейчас, кажется, точно, — сообщил Паша.

Федя снисходительно усмехнулся.

— Ну, во-первых, еще неизвестно, членом ли коллегии.— Федя вдруг стал серьезным и мелко постучал пальцами по столу.

— Позволь, он идет начальником отдела!

— Ничего не значит. Член коллегии — это иной уровень. Приказ подписан?

— Говорят, точно решено...

— Правильно, решено. Но пока приказа нет, это все еще висит в воздухе. Генеральный в отпуске, а без него вряд ли будут. Хотя кто его знает, может, с ним все обговорили перед отъездом. Мы в эти нюансы не входим, а там, в главке, это политика. Наш с Фарберовым не очень. А чего ему — членкор! Могущественный человек!

— Нет, Федя, Фарберов — это Фарберов!

— Ну правильно!.. Видишь, я тебе скажу, Фарберов тоже не сам по себе. Его поддерживает первый замминистра.

— Губчиков?

— Конечно.

Коридов задумался.

— Послушай, Федя, но если Глебову не дадут члена коллегии — это не такое уж повышение, а? — заметил он после некоторого колебания.

— Видишь ли, там, конечно, работа помасштабнее. Но есть свои минусы.

И началось живое обсуждение всех плюсов и минусов новой должности Глебова. Было что обсуждать: уход Глебова — почти сенсация. А мысль о том, что это не повышение, уже сама по себе оригинальная и дает какой-то новый, свежий взгляд на свершившееся. Только и слышится: «Нет, но все правильно!» — или: «Видишь, что я тебе скажу...» И тут же во весь свой гигантский рост снова встает проблема: а кто будет вместо Глебова? С Хрустальевым разговор был, но не состоялся. Паша Коридов сообщает, что называли Острова.

Федя задумывается. Так, очевидно, и будет. Хотя это неразумно, но ведь у нас так и делается, чтоб неразумно. Во-первых, Остров не администратор. Он ученый, да, с этим никто не спорит. Во-вторых, уйдет Остров — не станет его лаборатории, которая разрабатывает его же идеи. Но до этого никому нет дела.

— Остров так Остров,— равнодушно заметил Федя, пожав плечами.

— Начальник опытного производства — это практически зам генерального,— с оттенком вопроса и отчасти утвердительно говорит Паша.

— Ну нет, не зам генерального. Глебов никогда так не именовался,— парирует менее информированный, но более сведущий в статусе Федя.

— Но это и не начальник отдела, это выше.

— Это бесспорно, тут нет вопроса. Распорядитель кредитов! Что ты... По производственной линии мы, отделы, тоже подчиняемся Глебову. Это серьезная должность!.. Фактически да, один из руководителей ВНИИЗа. Но не зам.

— Персональная машина?

Снова проблема: в какой форме. Закрепленная или как? И Федя подробно разъясняет наивному Паше что к чему, что закрепленную имеет лишь генеральный. Затем говорит, что ему безразлично, кто будет... «Если бы,— мелькнула вдруг в его сузившихся глазах ретивая искорка,— если бы я сел на место Глебова, будьте уверены, я бы сумел навести порядок, за это ручаюсь...».

Когда Паша Коридов в очередной раз появился в кабинете Атарина, Федя, как бы комментируя появление во ВНИИЗе первой дифракционной пластины и желая быть объективным, сказал:

— А они молодцы! Вышли на новую ступень, добились удвоения.

— Да, сейчас это дело уже раздувают, хотя я лично не усматриваю принципиально нового в самой ее конструкции. Нет! Использовали принцип строгального станка,— смело сказал Коридов. Он уже понял, как надо говорить с Федей.

— Нет, не скажи: там есть отработка. Это железно. Ну, затем в конструкцию самих направляющих они внесли новый принцип. Упрощенно — мениск. Опять же эффективно — с учетом земного тяготения.

— Федя, милый, фирма СИП делает это уже много лет. Просто они не патентовали. Но неважно. Пусть! Я всегда за. Будем чествовать новых лауреатов... А чего?

Федя с любопытством смотрел на Коридова и молчал.

— А почему бы и нет? Формулировка? Найдут, если захотят,— рассмеялся Коридов.

— Конечно. Проще простого. А ты что слышал об этом? — спросил Федя.

— Да нет, Федя, хрустальной машиной вообще никто не интересуется. Арцруни там что-то вякает, но кто с ней считается? Вот если ты поддержишь — отчего же, тема модная, близкая к космосу.

— Я всегда всех поддерживаю,— улыбнулся Федя.

— Я серьезно. Ты недооцениваешь своего влияния. Разве получил бы твой Хрусталеv мастерскую в свое распоряжение с практически неограниченными кредитами? Никогда, если б не ты.

— Я считаю это нормальным.

— Тоже так считаю — друзей надо поддерживать. Но важно, чтоб люди ценили это. Я не конкретно Игоря Хрусталева имею в виду, у вас особые отношения, вы друзья. Кстати, хотя он игнорирует меня, не здороваeтся, я к нему отношусь нормально. Некоторые ведь, знаешь, считают, что у него комплекс: непризнанный гений. В гениев я вообще не верю. И он не первой молодости...

— Он не гений, но специалист классный.

— Механик квалифицированный. Согласен. Но, извини, если говорить серьезно, у нас есть люди посильнее его. Поверь!

Хрусталеv мешал Паше и ему подобным тем, что своими суждениями, поведением, а главное, работой наводил на ненужную мысль, что существует иной, отличный от коридовского подход к делу. Так хулиган ненавидит приличного человека именно за то, что тот воспитанно ведет себя, не бранится, не нагличает и уже за одно это должен быть бит. Но с Хрусталевым надо действовать квалифицированно, используя его слабости и уязвимые места. Он эмоционален, вспыльчив, а такого человека легко поставить в неловкое положение: завести и отойти в сторону. Полезет в драку или просто нарушит общепринятые нормы — тут вовремя и подпустить слух: да, способен, но неуправляем. Кто захочет иметь неуправляемого работника?

Формально мастерская, которой руководил Хрусталеv, числилась на балансе цеха. Игорь вечно конфликтовал с начальником цеха Жлобиковым. Под предлогом программных работ тот в отместку через руководство снимал с мастерской Хрусталева рабочих высокой квалификации, резал фонды. Наконец Хрусталеv добился некоторой финансовой независимости. Но Жлобиков не упускал случая где можно прижать Хрусталева, действуя с вьедливой методичностью посредственности и соблюдая все правила. Его можно было сбить лишь нокау-

том: «Бездарь и сволочь, не мешай работать специалисту!» Но на это во ВНИИЗе не шли — боялись шума, хотели, чтоб все было тихо и гладко, чтоб и овцы целы и волки сыты, то есть того, чего в природе не может быть.

И Федя имел своего жлобикова. И Федя в былые времена загорался и его прорывало. «Тихон Иваныч! Но у вас есть свое мнение? Вы только вчера хвалили этот проект, а сегодня ругаете!» — чуть ли не кричал он на заместителя по науке Шашечкина. И тоже получал нокаут от более опытного. «Нет, я не понимаю, чего хочет Атаринов? — удивлялся Тихон Иванович. — Он зовет нас к анархии. Нет, на это я согласиться не могу. Нет, нет, и не уговаривайте меня!.. Что еще за шутки? Тут меня не собьешь». «Позвольте, но при чем здесь анархизм?!» — снова кричал Федя. «Нет, нет, и не уговаривайте меня! Ты принципиальный противник дисциплины, тебя надо уволить». Разумеется, старик тут же своей понимающей ехидной золотой улыбкой показывал, что шутит, что перебрал. Перебрал-то перебрал, а ты мотай себе на ус. Кто-то скажет: «Слыхали? Тихон Иванович обвинил Атаринова в анархизме!» И пойдет: «Что вы! Федя очень дисциплинирован». «Да, но у него есть этакое некоторое, знаете... Даже трудно выразить... Вольность в обращении». «Да? Что-то не замечал, надо посмотреться...» Круги пошли.

Теперь Федя думал: «Зачем? Зачем я воевал с Шашечкиным? Плетью обуха не перешибешь. Что Хрусталеv критиковал Тихона, этого никто не принял всерьез, а я заработал репутацию незрелого товарища».

Предположение Коридова, что Хрусталеv и его группа могут быть выдвинуты на Государственную премию за разработку, совершенно озадачило Федю. До сих пор он считал, что идет впереди и широким жестом поддерживает неполитичного, неконтактного, хотя по-своему хорошего, во всяком случае одаренного друга. Он, Федя, поддерживает идущего позади него. Позади? Премия же будет означать признание его, Хрусталева, личных заслуг и тотчас выдвинет его в ряды ведущих специалистов отрасли. Могут и в ученый совет ввести. Лауреат — это уже иной уровень. Что генеральный лауреат — это само собой ясно, потому он и генеральный. А как же Игорь? И ведь может пройти! То есть одного Хрусталева не представят, это факт, но там Тишкин. Это фигура. И пользуется влиянием. Хрусталеv, значит, с расчетом перетянул в свою группу Тишкина? Пожалуй, Паша прав: он не так прост и себе на уме...

Почва для зависти и ссоры была создана.

Между тем вслед за первым, еще не очень упорным слухом об уходе Глебова прошел второй, уже более стойкий и охвативший широкие слои инженерной массы слух: «Уходит. Вопрос решен. Вот-вот ждут приказа по министерству».

Наконец стало известно, приказ подписан, и Глебов дает отходную в «Метрополе». В течение месяца дебатировались разные кандидатуры. Называли, например, Острова, но скоро выяснилось, что он отказался. Затем всплыла кандидатура Рузина, который был заместителем Глебова и последний год тянул опытное производство, но на какой-то инстанции, кажется на парткоме, его отвели, что явилось для него тяжелейшим ударом.

И вот новый слух: называют Атаринова. Слух прошел по первому кругу, муссировался по-разному, но он был.

7

Машина Хрусталева была сдана, и Игорь Николаевич надеялся услышать какие-то отзывы своих коллег. Он даже появился в коридоре на пятом этаже, пытался заговорить, но контакт отсутствовал — моне-

ты опускались в не подключенный к сети автомат. Лишь Остров мимоходом сказал: «Читал заключение. Поздравляю. Любопытно, и весьма». Это было приятно, потому что Остров входил в обиход видных специалистов отрасли. Остальные молчали. Это можно было бы объяснить всеобщим безразличием и равнодушием, но в тех же коридорах периодически возникал ажиотаж вокруг той или иной вниизовской работы: «Слышали, что готовит лаборатория Тубанова?! Экстракласс... На уровне открытия!..» И начинали идти круги, ажиотаж переносился в столовую, бум нарастал. И хотя в конце концов оказывалось, что ничего особенного не произошло, никакого открытия Тубанов не совершил, общественное мнение было уже подготовлено и как-то неловко отступать. Авторов поздравляли. Ученый совет признавал, в конце концов достигалось то, что требовалось: посредственную работу выдвигали на премию. Она могла быть отведена в вышестоящих инстанциях, но это уже другой вопрос.

Оглядевшись, Хрусталеv понял, насколько была права Лена Арцруни, сказавшая как-то, что он из-за Феди прервал контакты со многими вниизовцами и теперь у него не было опорных точек, кроме нее, Лены, да Ильи Подранкова. Но в ученом совете Лена не имела влияния, а Подранков в него не входил. Конечно, он мог поддержать, с ним считались, но практически Хрусталеv был далек от Подранкова и джентльменски-деловой оттенок их дружбы не позволял обращаться с просьбой.

— Ну что — молчат? — спросила Лена Арцруни, которую он встретил однажды в одном из вниизовских закоулков. Она не относилась к коридорной публике уже потому, что была всегда слишком занята: на Лену взваливали наиболее сложную технологию и она постоянно торчала в цехах. Лена, Федя и Хрусталеv были однокурсниками, но Лена была много моложе Игоря, она поступила в вуз вскоре после войны со школьной скамьи, он — уже пройдя фронт и армию.

Хрусталеv, не понимавший юмора и часто не замечавший очевидных вещей, тонко схватывал мысль собеседника, близкого ему по духу.

— Да, вот только ты...

— Я знаю, есть запрос Внешторга на пластины, — сказала она.

— Но это такая уникальная вещь! Сколько их требуется?

— Видишь ли, на Западе они ценятся больше, чем наш ширпотреб и даже сырье. Очень перспективная работа, вот только, только... — Она опустила взгляд, задумалась. — Понимаешь, у нас в конторе это само собой не срабатывает. Свой успех надо организовать.

Он молча кивнул.

— Лена, скажи откровенно — это открытие?

Она задумалась.

— Ну, видишь, если по самым строгим нормам, то нет. Новая форма направляющих, которую вы придали им вопреки всем канонам, это изобретение, но не открытие. В самой конструкции машины тоже открытия нет... Милый Игорь, открытие — это вообще раз в век, если случается. У вас блестящая отработка.

— Слава богу! Ты меня успокоила: ничего не нужно организовывать.

— Нет, тебе есть за что бороться! Твоя БМ — это самое крупное достижение за последнее десятилетие. Открытие, если хочешь, в самой отработке. Четыре восемьсот! На один миллиметр! Мы не имели таких результатов.

— А американцы?

— У «Стандардойл» точно нет. «Дженерал моторс»? Надо проверить... Но достижение бесспорное. И учти, в этом году предполагается выдвижение на Госпремию. Уже начинается бум вокруг автомата

Лучанова и К°: «Производство гочного инструмента поставлено на поток». Работа бесспорно перспективная, но поторопились, я смотрела образцы настрелянных сверл. Все они за пределами допуска; мало того, по-моему, и со структурой металла там не все в порядке. Нет ни акта приемки, ни заключения, ничего нет, а Лучанов уже стучится во все двери: пробивает лауреата.

— Ну и шут с ним, с Лучановым. Пусть!

— Напрасно. Повторяю, тебе есть за что бороться.

— Но я не хочу бороться так, как эти господа. Не хочу и не умею, а главное — не хочу! Если б, допустим, я и Лучанов должны б были открыто перед ученым советом защищать свои проекты — согласен! Пусть оппонируют, пусть разносят! Не поверишь, мне легче будет, если я проиграю! Но проиграть справедливо, в честной борьбе... А лебезить перед Тубановым, потом бежать к Мацулевичу — это, это... Ты извини...

— Это жизнь, Игорь. Ты молодец, сумел завоевать себе независимость своими работами и редко сталкиваешься с этим.

— Кой черт! У меня нелегкая жизнь. То есть меня никто не зажимает, все мои работы идут с колес. Но как бы это выразить — не за а м е ч а ю т. Ничего не замечают.

— Кстати, не замечать труда — это тоже форма зажима. Знакомо.— И Лена умчалась по коридору.

— Привет, старик! — остановил Хрусталева плотный широкоплечий мужчина во всем модном, и Игорь Николаевич с трудом признал своего бывшего технолога Плешакова, парня пустоватого, от которого, к счастью, не пришлось отделяться — сам ушел куда-то в отдел и теперь, видимо, процветал.

— Чем занимаешься, Витя? — спросил Хрусталева.

— Да, старик, там работа не пыльная, двести пятьдесят рэ платят, и ладно.

— Да где, кем?

— Координирую... У нас же филиалы. Планчики свести, то-се... Но и командировки, там ты гость, сам понимаешь... Трат — никаких.

Хотя Плешаков говорил как бы сдержанно, но в нем прорывалось желание похвастать перед бывшим шефом, как ловко и выгодно устроился он. А главное, Хрусталева поразила та снисходительность, с которой Плешаков обращался к нему: ты, как крот, корпишь в подземелье, а мы прекрасно и приятно живем без перегрузок.

8

Неожиданно у Хрусталева состоялся разговор с генеральным директором. Разговору предшествовал звонок помощника Лушина.

— Игорь Николаевич, а что, у тебя нет селекторной связи? — спросил Лушин.

— Нету.

— Почему же это?

— Петя, не я этим командую.

— Правильно, не ты. Но ты и не ставил вопроса.

— Я говорил.

— Не знаю, кому ты говорил, наверно, своему другу и защитнику Феде Атаринову, передо мной ты не ставил вопроса, а Николай Афанасьевич хватился, хотел соединиться с тобой, а связи нет. Только местный.

— Ну давай я ему позвоню. Какой прямой?

— Дорогуша, у меня его сейчас нет, уехал. Подходи сюда, в приемную, часам к пяти. Он будет.

Бывают же странные совпадения: как раз то, что казалось тебе

труднее всего — добиться признания, вдруг приходит само в виде неожиданного вызова к генеральному. Тишкин прав: им тоже выгодно — новый класс, показатели.

Хрусталеv представил себе, как все это будет. Николай Афанасьевич поздравляет его, а дальше? Очевидно, предложит сделать сообщение на ученом совете. Видимо, это просто парадный вызов, все завершено. Можно ускорить, напомнить насчет идеи беззубчатой передачи. Директор всегда склонен поддержать...

Николай Афанасьевич сидел в высоком кресле за большим столом с телефонами, виски белели проседью, он начинал лысеть. Обычно Хрусталеv видел его улыбающимся кроткой приятной улыбкой. Сейчас, однако, лицо его было сосредоточено. Он кивнул Хрусталеву, пригласил сесть и надел темные солнцезащитные очки.

— Как успехи? Работаете? Определились? — спросил директор и что-то еще проговорил, слегка жестикулируя маленькими руками.

«Ничего не понятно, он ничего не знает, не докладывали», — подумал Хрусталеv, гадая, зачем же его вызвали, если не из-за машины, и что означает это слово «определились». В чем определились? Вероятно, директор тотчас уловил недоумение собеседника.

— Определились с машиной? — уточнил он.

— В каком смысле, Николай Афанасьевич?

— Ну, у вас там что-то было... Конфликтная ситуация.

— Не знаю, не припомню, — ответил Хрусталеv не вдруг, а после значительного раздумья. К такому повороту он никак не готовился.

— Ладно. Не будем. Но иногда надо идти навстречу производственным интересам. Мы институт, но у нас опытное производство, программа. Собственно, я вас не за этим пригласил, это так, по ходу дела.

Тут только Хрусталеv сообразил, о чем речь — что он не пошел на поводу у Рузина. И это преподнесли как конфликт?! Ну народ...

— Николай Афанасьевич, прежде чем просить, именно просить у Рузина еще две недели, я заходил к плановикам и узнавал, смогут ли они закрыть квартальный без нашей машины. Сказали: да. И только после этого...

По мгновенно вспыхнувшему интересу в глазах директора Хрусталеv понял, что эта последняя деталь была ему неизвестна и не могла быть известна, потому что Рузин не знал о ней и изобразил дело так, будто Хрусталеv наотрез отказался включить машину в план и пришлось выкручиваться, то есть элементарно подставил.

— А кроме того, мы вышли на новый уровень и достигли...

— Ясно, ясно, — раздраженно улыбаясь, перебил Николай Афанасьевич и даже сделал свой жест обеими ладонями над столом, желая остановить говорившего. Он явно сдерживал себя и хорошо собой владел.

И Хрусталеv понял, что, несмотря на то, что директор несомненно ученый, который смог бы оценить достигнутые результаты, несмотря на то, что он скорее был доброжелательный человек, нежели злой, несмотря на то, что его хоть и настроили против Игоря Николаевича, а он все-таки ведет себя корректно, — несмотря на все это, Хрусталеву не следует рассказывать о Белой Машине: Николай Афанасьевич не готов к этому разговору, который, очевидно, его к чему-то обяжет.

— У вас друзья в «Голубом»? — спросил вдруг директор.

— Нет, я там никого не знаю.

Мгновенная неловкость, усмешка, Николай Афанасьевич снимает свои солнцезащитные очки и улыбается совсем добродушно.

— Товарищи просили оказать помощь, что-то у них заело со специалистами. Поезжайте. Выясните. Организация авторитетная, мы счи-

таем для себя честью, что наших товарищей приглашают на консультацию в «Голубое объединение». Желаю успеха!

Генеральный поднялся и дружески протянул руку в знак, очевидно, полного примирения.

— Все знаю и поздравляю! — радостно заговорил Лушин, когда он вышел в приемную.— Быть приглашенным в «Голубое» престижно. Туда, брат, и академиков приглашают. И ты не беспокойся, куда ехать, они сами тебя найдут, народ опытный. Все ол райт!

Зная по прежним поездкам на предприятия, как все это всегда делается, со стоянием по часу в очереди у окошка бюро пропусков, ожиданием в приемной, отсутствием нужного лица, Хрусталеv заранее горевал о потерянном дне. Но в жизни бывают и приятные неожиданности. Утром, когда он уже собирался ехать в себе в институт, раздался телефонный звонок. Звонивший представился инженером из «Голубого объединения» и объявил, что «Волга» под таким-то номером будет ждать его у подъезда дома через двадцать минут, чтоб отвезти на загородную площадку объединения.

Хрусталеv, сам любивший точность и всегда страдавший от людской неточности и необязательности, вышел на улицу ровно через двадцать минут. У подъезда стояла черная «Волга», а рядом расхаживал мужчина средних лет. Он тотчас подошел к Игорю Николаевичу и представился еще раз. Затем оба сели на заднее сиденье, и машина помчалась сквозь сетку осеннего дождя, минуя знакомые остановки с ожидающей публикой в плащах, с зонтиками и перебегающей дорогу будто нарочно перед самой машиной. И давка у отъезжающих троллейбусов и утренние хмурые лица горожан, спешащих на работу,— все было знакомо, но теперь он проезжал мимо, увозимый стремительной «Волгой». Опытный водитель ловко обходил пробки, и вскоре машина вырвалась из светофорных сетей на простор Большого Приморского проспекта. Игорь Николаевич хотел было спросить, в чем суть предстоящей работы, но что-то удержало его, быть может выражение лица спутника и его молчаливость.

«Волга» просигналила у больших железных ворот, которые тотчас же механически отворились без проверки и даже осмотра. Налево явился огромный корпус с высоким пространственным покрытием, за ним еще несколько зданий. Стояли щиты с лозунгами и более ничего, кажется, примечательного, кроме отсутствия празднующихся. Даже при первом беглом взгляде бросался в глаза порядок на заводской территории.

Спутник провел Хрусталева по длинному коридору, ввел в кабинет. Из-за стола поднялся навстречу хозяин кабинета, представившийся заместителем главного инженера.

— Я могу быть свободным? — спросил тот, кто привез Хрусталева.

— Да, благодарю вас.

Спутник вышел.

— Прошу вас, садитесь, Игорь Николаевич,— обратился зам главного уже к Хрусталеvu.— Прежде чем вести вас в цех, я хотел бы предварительно ознакомить с тем, что мы имеем: заключение комиссии нашего отраслевого НИИ. Речь идет о центровке главных валов. Не можем найти причину вибрации, и все застопорилось. Но вот прочтите, что они пишут.

Хрусталеv стал читать отпечатанный текст заключения группы ученых. Оно главным образом сводилось к теоретическому обоснованию возможности появления вибрации. Во всей логике рассуждения Хрусталеv уловил позицию отличного фокусника, который умело и четко продемонстрировал ловкость рук и элегантно поклонился в ожидании аплодисментов.

— Надо смотреть,— сказал Игорь Николаевич, возвращая бумагу и не высказывая мнения о ней.

— Да, конечно, пройдемте...

Оглядев установку, Хрусталеv вспомнил, что уже видел нечто подобное на Урале. Он с удовольствием, как на прекрасную работу, смотрел на главный вал. И вновь почувствовал азарт предстоящей большой напряженной работы.

— Дайте обороты,— сказал он и уже далее знал каждое мгновение, что будет делать и говорить.

Вечером ему домой позвонил Атаринoв.

— Привет! Куда это тебя услали?.. Читаю в приказе: «Считать в командировке». Здесь, в городе?

— Да, у соседей.

— В «Голубом»?

— Да.

— И что там? Своих механиков не хватает?

— Центровка валов.

— А!.. Участие в комиссии?

— Комиссия уже была, а теперь надо найти причину вибрации.

— Не зови сюда и не напрашивайся... Выдержи характер хоть раз! — шепнула Марина мужу, женской интуицией поняв, почему Атаринoв позвонил.

Федя же позвонил потому, что когда Хрусталеv говорил с помощником во второй раз, он находился в приемной директора и все слышал.

Привезенный из ВНИИЗа оптический прибор подтвердил возникшее у Хрусталева предположение о причине вибрации главных валов. Он сказал:

— Валы ни при чем, оборудование надо менять.

Заводские с ним заспорили, но старший, отдав приказ демонтировать, спросил:

— Что это у вас за оптика?

— Приспособление. Сами у себя в мастерской сделали.

Хрусталеv наблюдал, как устанавливают новое оборудование. Не было бестолочи, простое, перекуров по полчаса. Пришел старший, и вокруг него тотчас все завертелось, а он стоит только поглядывает; стоило, однако, что-то сделать не так, как старший тотчас усекал и двумя-тремя фразами, без брани выправлял положение. Это была нормальная работа, однако с напряжением.

При балансировке валов на новом оборудовании прогнозы Хрусталева подтвердились — вибрации исчезли. Его пригласили к первому заместителю генерального, который, извинившись за шефа («Иван Валерьянович на приеме избирателей»), вручил сувенир: бронзовую пушку екатерининских времен.

Но этим дело не кончилось. Зам генерального Порфирий Юстининович, на вид очень бесцветный человек с закрытым лицом, за пятьдесят, скупой улыбнулся и сказал:

— У нас не принято отпускать гостей без обеда, особенно редких гостей. Надеюсь, не откажетесь? А может, и сам Иван Валерьянович подойдет.

Гостя провели в малый зал столовой заводоуправления, где обычно принимали делегации и почетных гостей. Стол на двоих был накрыт, как полагается, с посольской водкой и отменной закуской. После первой рюмки начался разговор, и хозяин не без укола вспомнил ученых, подписание заключения с расчетом.

— Нет,— возразил Хрусталеv,— я еще раз перечитал его, он верен.

Там сказано «возможно появление вибрации», оно и в самом деле возможно. Расчет дает определенные условия и предусматривает погрешности. А их надо стремиться избегать, и их можно избежать.

Хозяин поинтересовался Белой Машиной, о которой, оказывается, слышал, в частности системой, при помощи которой была достигнута столь высокая точность. Гость рассказал про секрет направляющих.

— А вообще ничего нового нет,— заключил он.— Все старо, как мир. Руки. Глаза. Отработка. И простота, ни одной лишней пары. Я вообще не люблю зубчаток.

— Это по-нашему,— неожиданно улыбнулся хозяин,— мода на кнопочную технику отходит. Точнее руки ничего нет, я разумею комплекс.

— То есть всего человека? Абсолютно точно! — вскричал Хрусталеv, предчувствуя, что взгляды их сойдутся во многом.— А как платите мастерам, корифеям бывшего восьмого разряда?

— Бывшего восьмого? — улыбнулся хозяин, показывая, что понимает, о чем речь.— Уж если откровенно, они там, в Комитете по труду, поспешили, хотя и обосновали вроде логично: практическим использованием лишь шести разрядов. Оно ведь так и было. За малым исключением, как говорится. Основной-то массы переход на шестиразрядную сетку не коснулся. И не заметили.

— Это как взглянуть,— вздохнул Хрусталеv.

— Экономически, я разумею.

— Экономически нет, конечно. Но в смысле стимула мастерства? Бесспорно! У нас во ВНИИЗэ раньше был один рабочий восьмого разряда, а теперь шестого — человек двадцать. Но разве это равные величины? На него смотреть приходили.

— У нас примерно такая же картина. Соотносительно. А впрочем, мы старались пожестче давать шестой при переаттестации. Но все равно корифеев уравнивали с высококвалифицированными.

— Но зачем, зачем?

— Как зачем? Деньги! Четыре миллиарда взяли.

— Четыре?!

— А вы думали! Из-за мелочи не стали б возиться. Впрочем, тут был и другой момент.

— Какой? — заинтересовался Хрусталеv.

— Борьба с кустарщиной, с колдовством, которое только один может, остальные не могут. Вот мы и докажем! Механизация! Да, много оправданий можно найти! Было б желание,— отвечал Порфирий Юстианович.

— И чем доказали? Снижением квалификации? Закупкой импортной техники? А зачем закупать? Сами не можем? — воскликнул Хрусталеv.

— Тут обмен, тут другая политика. И дай бог, кто наспециализировался на ширпотребе,— я закуплю. Обмен, он всегда был и будет.

— Пожалуй, но все равно показатели надо менять, иначе никакая техника не поможет. Меня по линии райкома включили в комиссию по проверке швейной фабрики,— возбужденно заговорил Хрусталеv.— Не справляется с планом! Начинаем разбираться: и с качеством плохо, торговля не берет костюмы — завал. Мы вначале думали — дело в дурной организации труда. Нет. В цехах порядок. Этого ведь не скроешь. Беседуем с руководством — тоже хорошее впечатление. Что за чертовщина! Начинаем вникать, в чем же дело. Беседуем с работницами — квалифицированные кадры. Ну! Спрашиваю у одной, отчего борта пиджака загибаются. Говорит: а как же им не загибаться, мы ж холст в борта ставим неусаженный, а потом на покупателе он садится.

Хозяин понимающе кивнул, показывая, что это ему знакомо.

— Мы к директору: почему не усаживаете? Говорит, не хочу на

скамью подсудимых: если я у себя на фабрике усажу холст, он уменьшится на десять процентов, а в масштабах года это сотни, тысячи метров материи!

— Да, это беда их. У меня приятель — директор комбината. Они сами у себя могли б усаживать холст, но для этого они должны признать в министерстве, в Госплане, что выпускают, скажем, не четыре миллиона метров, а три с половиной. Мой-то приятель принял комбинат с этими показателями, теперь ему на себя брать.

— Но ведь фактически количество холста не уменьшится!

— Уменьшится! В том и дело. Борты в пиджаках не будут загибаться, но это уже другой вопрос, — усмехнулся Порфирий Юстинианович и уже без улыбки продолжал: — Вы поймите, эта цифра — четыре миллиона — уже задействована в планах, в прибылях.

— Какие прибыли? Магазины затоварены костюмами!

— А вы заводной! Это уже другая графа. Ну, с бортами я понимаю, а почему они с планом не справляются? Это уже нераспорядительность.

— А шесть процентов ежегодного прироста? За счет чего? — резко спросил Хрусталеv. — Тем более что им запланировали одну ткань, а дают другую, подешевле. Так они, изворачиваясь, дошли до того, что начали уменьшать количество операций: рукава вшивали в три операции — перешли на две! Вроде прогресс, а костюмы пошли с перекошенными рукавами.

— К какому же выводу пришла ваша комиссия?

— Встали на защиту фабрики. Доказали с цифрами в руках, что предприятие ни при чем. Секретарь парткома там женщина, нас обнимала и целовала!

— Это все трогательно, а что вы предложили?

— Записали в решении требование — упорядочить систему показателей. Решение половинчатое, но все-таки сдвиг. И еще — повысить нормативную стоимость обработки. Дичь ведь: ткань стоит восемьдесят рублей, а пошив — четыре рубля. Они и горят!

— Да, соотношение с перекосом, но нормативная стоимость утверждена — и мы с неохотой идем на повышение: надо повышать цены, а мы за стабильность цен.

— Два рубля! Всего на два рубля повысить нормативную стоимость, покупатель это и не заметит, зато улучшится качество. Все к этому! — взволнованно говорил Хрусталеv.

— Производительность, производительность, голубчик! Найдите нам показатель вместо процента — в ножки поклонимся! Что взять за основу отсчета?

— Конечный рубль!

— Идея реформы середины шестидесятых... Но в ней не продумана проблема всеобщей занятости. Сейчас же мы испытываем постоянную нехватку рабочей силы.

— Я думаю, что фактически нехватки нет. Теперь я сошлюсь на производительность: низка. И если б каждый работал в полную силу...

— Словом, у них так: либо на покупателя работай, либо на систему показателей, — подытожил Хрусталеv.

— Н-да... У нас этой проблемы нет, — улыбнулся хозяин.

— Да, но мы не прояснили, как вы платите мастерам, корифеям? — спросил Хрусталеv, взглянув на бутылку, почти опорожненную, и понял, что пора брать себя на контроль: хозяин-то был посдержанней и чуть пригублял рюмку.

— А ставки...

— Ставки? То есть оклад?

— Была дискуссия в печати. Следили? Ответил член Госкомитета. Его шибанул корреспондент. Отмолчались, а ставки выделили. Не ска-

жу много — две десятых от общего фонда, но кое-что. Рабочим. Для тех, чей труд не поддается нормированию, практически тузам.

— Две десятых! Ну хоть бы один процент! Нет. Нет масштабного мышления! И в каких пределах?

— До двухсот рублей. Ну уж тут мы сами как-нибудь распорядимся. К этим двумстам да прогрессивно-премиальную и применим, совсем неплохо получится, вернее сказать — получается. Но мы и на моральное поощрение нажим делаем — особые пропуска, портретная галерея в нашем музее...

— О чем говорить! У вас поставлено дело, я все-таки почти неделю наблюдал, сравнивал. Хотя у вас преобладает индивидуальное производство, а это труднее, чем следить за конвейером.

— Но у нас есть и серии, и крупные серии... Мы считаем, что еще пока мало успели. Работаем, стараемся! Ваше здоровье!

В последних словах Хрусталева уловил иронические нотки, нахмурился, но, взглядевшись в лицо собеседника, которое теперь напоминало ему мхатовское лицо, тип Москвина, углядел в нем приятное простодушие. Или, может, это была игра.

— Стараемся держать, как же! — повторил Порфирий Юстинианович уже другим тоном и после паузы сказал то, что, очевидно, уже готовился сказать: — Биографию нашего генерального вы знаете, наверно, он уже третий созыв депутат Верховного Совета. Здесь, на заводе, прошел все стадии: мастер — начальник цеха — начальник производства — главный инженер и вот уже двадцать лет генеральный. Меня он взял из КБ, я до сорока лет за кульманом сидел, презирал административные должности. Дело такое, а упирался! Не хочу! В партком вызывали. Понял, дальше поймут как дезертирство. Пошел на цех — и пять лет. Потом еще главным диспетчером был, так у меня вся номенклатура в памяти... А после уж замом! Кадровая политика — это у нас первая забота. — Он помолчал, улыбнулся. — На Руси... кстати, там не все плохо было... Так вот, в стародавние те времена разрыв в оплате низшего разряда и высшего имел соотношение один к семи! А сейчас хорошо, если один к двум.

Хрусталева явился домой в двенадцатом часу и стал звонить Феде. И лишь услышав сонное «алло», вспомнил, что решил выдержать характер.

9

Месяц спустя Федор Аниканович был утвержден в новой должности и занял огромный кабинет на одном этаже с генеральным директором. Первое изменение, которое заметили окружающие, состояло в том, что Федя стал медленней говорить и ходить. Он как бы постоянно сдерживал себя. И поворачивался медленно, со значением. Однако был подчеркнута вежлив и прост со старыми сослуживцами — как бы ничего не изменилось и он так же доступен. Вообще все прошло отлично. Подчиненным представлял его сам генеральный, и Федя весь с головой ушел в работу. В общих чертах работа была знакома, дело налажено. Людей он знал, энергия в нем кипела. Скепсис, разумеется, был забыт, и Федя с неделю принимал поздравления знакомых сослуживцев. Остров и тот поздравить зашел! Понятно... По его заказам цехи опытного производства изготавливают аппаратуру. Теперь все завлабы у Феде в руках. Работать можно. Должность нелегкая, но... на виду, по крайней мере.

Одно лишь весьма огорчало Федею: одновременно с новым назначением он не был введен в ученый совет. Правда, его предшественник Глебов тоже не был членом совета, но он не имел ученой степени. Зато

предшественник Глебова точно входил в ученый совет. Могли б и Федю ввести... Ведь он занимает во ВНИИЗе должность более высокую, чем многие члены ученого совета. И Федя решил, что если ставить вопрос об этом, то только сейчас, на первых порах как раз удобно. Однако к генеральному он решил не идти. Тот просто не понял бы его, то есть понял бы не так, как это нужно. Еще глупей было идти к заму по науке — Шашечкин сейчас бы приписал ему карьеризм, анархизм или еще чего. Он пошел к первому заму Александру Николаевичу, человеку новых веяний, который был за Федю уже потому, что тот новый, сравнительно молодой и явно не бурбон.

— Как? А разве ты еще не член совета? — удивился первый зам, но в тоне его сквозила ирония. И это не понравилось Атарину. Не мог же председатель совета не знать своих членов. К чему этот цирк? Федя холодно пожал плечами. — Нет, надо ввести, и непременно. Непременно! — воскликнул Александр Николаевич. — Вот мы сейчас поручим это Тихону Ивановичу — старик дело знает. Субординация, брат! Ничего не поделаешь.

И прежде чем Федя успел возразить, Александр Николаевич снял трубку и, нажав кнопку, соединился с заместителем по науке. Федя слышал лишь то, что говорил хозяин кабинета.

— Нет, ну зачем так? Нет никакой экстренности. Давайте пустим обычным порядком, это ваша епархия, вы и сориентируйтесь, как это лучше провести... Да. Вот именно, чтобы нас правильно поняли. Если нас будут правильно понимать, то и мы будем — что? Будем правильно понимать. А если мы будем правильно понимать, то и — что? — совершенно верно: и нас будут правильно понимать! Вот видите, дорогой Тихон Иванович, как мы с вами отлично понимаем друг друга! Прекрасно! Прекрасно!

Положив трубку, Александр Николаевич сказал:

— Шашечкин — сплошное очарование. Я испытываю каждый раз большое наслаждение, беседуя с ним. — Первый зам остановился и добавил с нарочитой медлительностью: — Мы введем тебя в это святилище и обставим весьма торжественно этот акт.

Федя встал и тяжело вздохнул: как бы все это не ему нужно, но вот приходится, что поделаешь. «Цирк, цирк, — подумал он, выходя. — Но все-таки я правильно сделал, что пошел. Пусть там медленно, через полгода, но дело сделано, а сами они вряд ли бы догадались».

В то время многие ждали от Феди переворота. Мастера надеялись, что он займется тарифами и оплатой; инженерная молодежь ожидала новых перемещений и перспективных работ; специалисты надеялись, что наконец-то им будут созданы условия для экспериментальной работы. Пришел человек сравнительно молодой, со свежей мыслью, не чиновник, ученый со степенью и опытом административной работы, а главное (и это тоже не осталось тайной), с полномочиями, которых не имел Глебов, оттого что не ладил с генеральным директором. Атарину же генеральный, как передавали, прямо сказал: «Все вопросы, связанные с опытным производством, в том числе кадровые, решайте самостоятельно».

Если б предшественник был снят с должности за развал работы, Атарину было б логично начать свою деятельность с перестройки, с введения новых порядков, но Глебов ушел на повышение. Опрометчиво было начинать с ломки того, что было при нем. Машина налажена и работает. Федя это понимал. Но главное состояло в том, что им, как и многими начинающими начальниками, владело стремление доказать, что и он может отлично руководить так, как это вообще положено, то есть представительно, серьезно, солидно, с достоинством и в то же время демократично.

Но что значит руководить солидно, серьезно? Если ты дал два-три серьезных решения какого-то вопроса, то вот тебе и серьезность; если ты, невзирая на то, вверх или вниз пошел твой предшественник, поломал существующее при нем рутинное правило, — вот тебе и достоинство; в противном случае черты эти становятся лишь более или менее интригующей формой.

«Сперва я докажу, что могу руководить, как все, а затем уж начну вводить свое новое», — рассуждает иное лицо. Но «свое» и «новое» надо иметь. В чьей голове оно есть, тот, не оглядываясь на то, что скажут, что подумают и вообще не гадая о последствиях для собственной судьбы и карьеры, начинает вводить то, что считает полезным и необходимым. Но для этого надо иметь еще и гражданское мужество. И умение брать на себя ответственность.

Следующая ступень — это когда руководитель хоть и пытается действовать, но в пределах, с оглядкой, готовый тут же и раскаться и признать собственные ошибки. Наконец, последняя, низшая ступень — это когда вновь назначенный товарищ говорит: «Пусть идет как идет», совсем не задумываясь над тем, что если что-то идет, то, стало быть, им движут какие-то силы. Это все равно как если б машинист летящего вперед паровоза, приняв на ходу смену и взглянув на жаркую топку и добрую скорость хода, сказал бы: «Вот пусть так и идет». Так и идет, пока в топках не сгорит уголь и на пути несущегося состава не встретятся светофоры и стрелки. Тут уж нельзя полагаться на авось вывезет, нужно смотреть: не прем ли на красный свет? То есть надо действовать.

Федя это все понимал. Более того, ему как способному администратору хотелось кипучей деятельности, перестановок, нововведений и т. п. Он знал людей. Наконец — и эту черту в нем особенно ценил Хрусталеv, — Федя умел предвидеть промышленную конъюнктуру, мог верно оценить перспективность той или иной конструкции с точки зрения ее запуска в серию. Промышленники знают, как это важно, потому что для запуска машины в серию нужна огромная подготовка производства, и если заранее предугадать, можно выиграть в сроках...

Еще год-два назад в нем появлялась бескорыстная радость при виде перспективной конструкции, он оживлялся, потирал руки и, устроившись со всевозможными удобствами, начинал изучать чертежи. Нацелив на узел кончик карандаша, он говорил конструктору: «Здесь, здесь все завязано!» Но случившийся раз сбой, когда вопрос о запуске в серию был решен не в зависимости от качества образца, а силой деловых качеств и имени ведущего конструктора, вышедшего напрямую на главк, поколебал Федю, ускорив душевные сдвиги в нем.

Теперь он рассуждал: сейчас главное не скомпрометировать себя каким-нибудь необдуманным решением. Не так-то просто было добиться этого положения — зачем рисковать? Другое дело, если б директор при назначении сказал ему: «Товарищ Атаринов, нужен новый качественный уровень. Дать образцы отрасли... Выйти на экспорт... Вытеснить на мировом рынке СИП...» — и в таком духе. Но он же этого не сказал! Бесспорно, возможны и некоторые нововведения, но в пределах. Солидно. Дстойно. Респектабельно.

И, наметив примерную линию поведения, Федя начинает мечтать. Ему представляется, что он присутствует на совещании у генерального. Совещание оканчивается, но Николай Афанасьевич говорит: «Моих заместителей и вас, Федор Аниканович, прошу остаться...». И вот они, несколько руководителей ВНИИЗа, покидают конференц-зал и следуют за директором в его кабинет, а Остров и другие завлабы с завистью смотрят им вслед. «Прошу располагаться», — приглашает Николай Афанасьевич. Чай, сигареты... И начинается серьезное обсуждение какого-то важного вопроса в узком кругу. «Федор Аниканович, а ваше мнение?» — спрашивает директор. Он начинает излагать свою точку зрения.

В глазах генерального появляется живой интерес: «А что? По-моему, разумно», — говорит он, и сидящий тут же Тихон Иванович, поймав директорский взгляд, тотчас кивает в знак согласия, и другие замы тоже кивают.

Все это очень живо предстало в воображении Атаринаова как вполне реальная мечта, но он тотчас устыдился этих мыслей. «Глупости все это, чушь, бред, главное — дело. И я докажу», — сказал он себе и задумался.

Но чем больше он думал, тем больше им овладевали сомнения: какое дело главное? Хорошо Хрусталеву. Сняли микрон и выжали из машины более высокую точность, здесь все ясно. Или та же соосность! Стукнул, как в том анекдоте, молотком по станине — и ось стала на место. «Плати тысячу долларов». — «За что? За один удар?!» — «Но надо знать, куда стукнуть».

«Главное — дело». А какое конкретно? Жать на проценты, как того требуют плановики, или тратить десятки, сотни нормо-часов на обработку какого-то одного образца машины, как того хочет Хрусталева? Скажут: нужно и то и то. Но «и то и то» нереально. Значит, надо как-то приспособливаться, чем-то поступиться. Или уж лезть на рожон. Но и в этом выборе Хрусталева и Атаринаова не равны. Вон Игорь какой год конфликтует с ОТЗ. И что? Ну не дали заслуженного изобретателя (получил Тубанов, у которого вдвое меньше патентов, и те лишь на уровне техусовершенствований, изобретений нет; но Тубанов никому ни в чем не перечил, всех связал услугами, компанейством). В остальном Игорь ничего не потерял, кроме времени и нервов. А план спрашивают с него, с Феде. Так или не так? Тогда о чем говорить?! — сердился Федя. И чем дальше он так размышлял, тем глубже заходил в лабиринт вопросов, ответов на которые не было. Не было у Феде и желания вести по этому поводу споры с Игорем.

Феде, который с увлечением обсуждал с Пашей Коридовым оттенки должностных отношений, был уже не нужен Хрусталева. Ну получили астрономическую цифру четыре восемьсот — и что? Не это решает, по крайней мере, в богоспасаемом ВНИИЗе. И из этого следует делать выводы.

Но Атаринаова не хотел заметно отходить от Игоря и даже боялся ссоры. Во-первых, потому, что после ссоры Игорь мог стать неуправляемым — упреется, с ним уж ничего не поделаешь, а пожалуй, и перейдет в другой лагерь. Этого тоже нельзя допустить. Игорь знает слишком много слабостей Феде, чтобы Феде позволял ему сделаться своим открытым врагом. Во-вторых, ссора с Хрусталевым тотчас после назначения Атаринаова на новый пост могла повредить ему, Феде, в общественном мнении. Нет, открыто ссориться с Хрусталевым не нужно. Надо как-то иначе, размышлял Федя. Он огляделся вокруг себя и вдруг заметил Владимира Ивановича Рузина, своего заместителя. Небольшой остролицый человек смотрел на своего нового шефа умными, всепонимающими глазками. Он уже пережил, что его обошли, не поставив вместо Глебова. Конечно, он был задет. Если б поставили человека постарше, за пятьдесят, со званием, тогда б Рузину не было обидно. Но Федя был его ровесником и, по мнению Рузина, как работник не имел никаких особых преимуществ перед ним, кроме банкетной представительности. Но факт свершился. Атаринаова — человек неплохой, с ним можно работать, об этом Рузин слышал от многих. А раз так, надо найти с ним контакт, решил он. И стал логически рассуждать. Он имел злой и циничный ум, потерялся в управленческих коридорах, поднаторел и ждал случая выдвинуться. Теперь ему предстояло работать на Атаринаова. «А он на этом месте долго не усидит, возьмут замом, и тогда мне важна будет поддержка Атаринаова», — рассуждал Рузин.

Сейчас, при Атаринаове, его закадычный друг Хрусталева пойдет

вверх. Жлобикову врежут, чтоб не встревал, и тот замолчит — службу знает. Какой вывод из этого? — спрашивает Рузин себя и отвечает: если Хрусталева неизбежно пойдет вверх, то почему бы ему, Рузину, не способствовать этому? Вполне логично. Уже кто-то, кажется Лена Арцруни, поговаривала, что авторов БМ представят на Госпремию. Отчего бы ему, Рузину, не выступить инициатором в этом вопросе, если все предreshено? Атаринову менее удобно, как-никак друзья, и все это знают. Логично? Вполне. Надо действовать.

И Рузин отправился вниз, на поплавок, осмотрел образцы, изготовленные на БМ, заключение лаборатории, переговорил с Хрустальевым и Тишкиным и поздравил их с успехом. В оценке был сдержан, сказал лишь, что, по его мнению, БМ выходит за рамки обычного технического усовершенствования, и, значительно улыбнувшись, добавил: «Мы доложим, а там уж начальство решит», имея в виду Атаринова. Как решит Атаринов, в этом он не сомневался.

Владимир Рузин был человек дела. Он решил поднести сюрприз шефу в виде проекта решения по БМ. Следовало дать полную характеристику БМ, сопоставить данные, достигнутые на Белой Машине, с результатами аналогов, пролистать иностранные технические журналы, привести в подкрепление зарубежные данные — словом, это была работа. И Рузин дня два корпел над документами. «Шеф попросит подготовить документацию, — торжествующе думал он, — а я ему: пожалуйста, готовый проектик. Сила! Вот так у нас работают, товарищ Атаринов».

Извечный враг Хрусталева Жлобиков вдруг стал проявлять деликатность, на которую, оказывается, был прекрасно способен, и не вмешивался в дела опытной мастерской, даже предложил увеличить ее штат за счет цеха. Как и Рузин, Жлобиков действовал с оглядкой на давнюю и известную всему ВНИИЗу дружбу Хрусталева и Атаринова.

Разумеется, приближая Пашу к себе, Федя внимательно присматривался к новому другу: это тоже важно, чтоб тебя не скомпрометировали. Конечно, Паша не аналитик, у него неглубокий ум, но надо быть объективным. Норму научной продукции он выдает, пусть это компиляция, но всегда на актуальную тему. У кого можно узнать последнюю информацию по любому вопросу? У Павла!

В свою очередь, Коридов как-то незаметно вошел в жизнь Феде Атаринова и стал необходимым ему человеком. И надо отдать должное, он сумел окружить Федею мелочной, но приятной внимательностью. Он доставал билеты на модные спектакли и даже один раз повел Федею в директорскую ложу. Оглядывая из ложи зрительный зал, Федя испытывал радость приобщения...

Коридов первый заговорил с Рузиным о возникшем охлаждении Атаринова к бывшему другу. Вначале было Рузин не поверил и сказал, что это очередная байка, каких немало. «А ты присмотрись», — посоветовал Паша. Рузин был озадачен. Человек деловой, он не вдруг понял, что происходит. Но припомнив последние недели, отметил для себя, что ни разу не видел Хрусталева в новом кабинете Атаринова. Он не придавал значения этому, но теперь, в свете коридовской информации, дело получило новый, неожиданный и приятный ракурс. И он решил впредь до выяснения не соваться с проектом по БМ. И, проверяя Пашу, сам стал прощупывать почву.

Хрусталева вдруг почувствовал вокруг себя пустоту и достал свою старую записную книжку. У него было три старинных, еще довоенных приятеля по школе — Варнаков, Гринберг и Прохоров, с которыми он

не часто, но систематически виделся. Их связывало довоенное детство, и хотя до войны они прожили пятнадцать—шестнадцать лет, а после войны — треть века, но тот, первый период жизни был бесконечно длинней, чем просуществовавшие пулей послевоенные годы. Там, в детстве, были не годы — эпохи. Из всего 6-го «б» в поле зрения остались эти четверо, и они держались за свои редкие встречи. Собирались у Хрусталева в большой старинной квартире, где когда-то ставили елки для маленького Игоря и его друзей, потом ставили большие елки для его ребяташек, теперь же ставили маленькие, потому что все выросли и следовало дожидаться третьего поколения.

Михаил Гринберг заведовал экономическим сектором в крупной организации, и позиции его были крепки. Но ершился и любил пофрондировать.

Над судьбой Кости Варнакова Хрусталева не раз задумывался и искал ей разгадку. В этом человеке смолоду жила этакая гусарская бравада. С легкой усмешкой, сорвавшись с первого курса, пошел в армию. Там ему предложили военное училище, поступил, хотя вовсе не был военным человеком и не любил дисциплину. И служил с гусарской бравадой, не очень старательно: его демобилизовали без пенсии, не дав дослужить до срока. Теперь, в сорок пять, состоя в клерковой должности в заштатной проектной организации, он уже не мог улыбаться с прежней бравадой и пригорюнился надолго. Личная жизнь у него не сложилась; мог поддаться с удовольствием, но пьян не бывал, был крепок и сохранил рыцарские замашки. Любил задумчиво тянуть бочечное пиво у ларька, в сторонке, поглядывая куда-то вдаль. Ввязывался в уличные несправедливости, случалось, дрался, бывал бит, но привычек своих уже не менял.

Последний из четверки — Юрий Прохоров — был высокий, худой, молчаливый, с пробивающимся сквозь сетку морщин младенческим выражением лица, мягкий интеллигент, врач, несколько поуставший от совместительств в больницах на разных концах города и приглашаемый совещать всюду как специалист-патологоанатом: эпикризы его были безукоризненны. Прохоров происходил из питерской рабочей семьи, желавшей видеть сына ученым.

День встречи был назначен в пятницу. В последнюю минуту выяснилось, что старшая дочь, студентка, пригласила к себе на этот же день однокурсников послушать поп-музыку. Но решили ничего не менять, старшее поколение выбрало себе кухню, отдав молодежи все комнаты.

Кухня в квартире, как во всех домах старинной планировки, была значительных размеров и отделена от остальных помещений. С высокого потолка на блоке, под зеленым абажуром спускалась круглая лампа. Марина взялась было жарить бефы, но Варнаков не выдержал и попросил разрешения самому зажарить мясо. Он снял пиджак, засучил рукава, обнаружив широкие в локтях руки, повязался передником и занялся делом. Сосредоточенно работая с бефами, Костя отбил их, наперчил, посолил и поставил на газ сковородку раскалывать, а сам взялся за лук, тонко его нарезаю, жмурясь от остроты.

— Вообще я б на месте Михаила ушел... — неожиданно изрек Костя, впрочем, это было в его манере: вдруг повернуть.

— Ну с чего? — спросил Хрусталева.

— А что здесь? Что он имеет? — агрессивно воскликнул Костя.

Хрусталева знал его с детства, видел каждое движение души. «Ты о себе или о нем?» — хотел спросить Хрусталева, но это означало обидеть старого товарища.

Зашипело мясо, брошенное на раскаленную сковородку. Костя, наклонясь, пригляделся к пламени и убавил его. Хрусталева подошел к

окну. Уже стемнело. Вдали вырисовывались знакомые с детства верхушки деревьев. Он открыл коньяк.

— Ну давай, а то, я вижу, у тебя настроение сегодня неважное. Что дома-то?

— А ничего... все то же. Я развожусь. Квартиру размениваю.

Хрусталеv молчал. И это было известно. И бесполезно было обсуждать: все равно Костя ни на что не решится и не уйдет. Весь роман и женитьба Кости на его нынешней жене происходили на глазах Игоря. И здесь все делалось с бравадой: «А, ладно! И все». Хотя б любовь была, хотя б она длилась месяц! Будто нарочно он все делал против своего желания.

— Жизнь кончена, надо как-то дотягивать.

— Все-таки нам больше повезло, чем тем ребятам, что лежат на Курской дуге, на Пискаревском кладбище.

Костя вздохнул.

Приехал Михаил Гринберг, и по тому, как он вошел и заулыбался, стало ясно, что он доволен компанией, хотя в улыбке сквозила ирония. Эта ирония много ему портила в жизни, сердила его собеседников, особенно из числа мнительных, и совершенно напрасно, потому что Михаил был, в сущности, очень безобидным человеком, хотя и ершился. Росту выше среднего, он имел высокий, большой лоб. Некрасивое лицо постоянно освещалось живой улыбкой. Выпив рюмку, он тотчас заговорил об экономике тепловых электростанций; с чего, почему, при чем здесь электростанции — было неясно, но говорил он интересно и увлеченно. Во всем рассуждении его сквозила свежая молодая наивность, смешная для сорокапятилетнего человека. Хрусталеv тотчас подхватил его мысль.

— Вот странно, я тоже думал о том, — сказал он, — мы все налегаем на мощности, а везде ли они нужны?

— А надо считать. Сколько? Где? Электростанций, машин, тракторов. Чтоб вложенные средства давали отдачу. Вкладываем-то мы много, Игорь, и в этом суть... А отдача запаздывает, — говорил Гринберг.

Костя Варнаков хмурился, он был далек от этих тем.

— Ну а что, у тебя, Михаил? Как с шефом? — дождавшись паузы, спросил он, имея в виду, что Гринберг в прошлую встречу материл своего шефа.

— Да ну! О чем говорить!? Ему б журналистом быть, пописывает статейки, а впрочем, такие сейчас в моде... популяризаторы! Но заведешь с ним речь о серьезном, об экономике — и чувствуешь: ему абсолютно... до феньки все это! — Он фыркнул. — И получается, идиот не он, а я, что все принимаю всерьез.

Наконец явился и Прохоров. Сел, выпил по настоянию шумевших друзей штрафной и тотчас погрузился в приятную атмосферу ассоциаций и воспоминаний.

— Отец, к тебе пришли! — сказала дочь, заглянув в кухню.

Хрусталеv вышел в переднюю. У дверей несколько в виноватой позе стоял сосед по этажу Крестов в шлепанцах, с книгой в руках, подполковник милиции; он часто брал у Хрусталеvых книги, интересовался русской историей, читал Соловьева.

— Извините, Игорь Николаевич, не знал, что гости у вас... Пришел обменять, — сказал он хорошим волжским говорком со звенящим тембром, подавая хозяину книгу, — это первый том, в целости и сохранности, можете проверить, полистать. Там хотел я один листочек интересный такой вырезать, но потом, думаю, зачем же соседу пакость-то делать... — Он улыбнулся. — Нет, за вторым я зайду потом как-нибудь,

— Второй том я вам дам сегодня, но прежде вы выпьете с нами рюмку коньяка. Зайдемте по-соседски, помните, вы меня раз к себе затащили в ваш праздник? И я заспорил с вашим полковником.

— Ну и память у вас, Игорь Николаевич... Но долг платежем красен. Если только на минуточку.

— Ладно, идемте, что торговаться.

Они вошли в кухню. Крестов оглядел присутствующих с хорошим незаметным профессионализмом, тотчас узнал всех, поздоровался, разговор сразу смолк. А затем Марина достала спрятанную вторую бутылку, и ужин продолжился в лучших русских традициях.

— Мы вот говорили, Николай Иванович, что у нас на Руси беспорядка много, бездельники развелись,— сказал хозяин, как бы вводя гостя в курс и поднеся штрафной бокал.

— Да что вы, Игорь Николаевич, когда же это на Руси порядок-то был? Его у нас отродясь не было,— отвечал Крестов, принимая коньяк.— Ваше здоровье!— Он выпил и продолжал:— Томик, что я принес-то... руками разведешь. А — история.

— Ну нет, я теперь не верю этому автору. В прошлом году я тоже был в восторге и от первого и от второго тома, а прочел новую вещь — это уже не то: и грубо и, я бы сказал, пошло. А главное, я увидел, как он делает историю, и у меня пропал к нему интерес. Начисто!

— Нет, там тоже есть любопытные вещи... Хотя и спорные! Согласен,— значительно сказал Крестов.

Костя несколько присмирел при новом госте, нахохлился и вдруг врезался в разговор, с налету заявив, что мы напрасно разрушили бога, отказались от религии, то есть не привлекли ее к себе же в помощь. Это была старая Костина мысль.

— Так, наверное, это не мы разрушили бога, Константин Дионисевич. По-моему, еще до нас тут постарались,— выждав паузу, произнес Крестов.

— Кто? — вскинулся Варнаков, готовый к баталиям.

— Много кто... Да достанет одного Льва Толстого.

Пошел разговор о боге, Толстом, Достоевском, Эйнштейне, Бермудском треугольнике, йогах, последней версии Амбарцумяна. Беседа обретала все большую приятность, и было счастливо думать, что в жизни есть какая-то тайна, что не все ясно и просто, как железобетон. В самом деле, если наша жизнь, рассуждал Хрусталев, лишь узкая полоска, которую надо пройти, и ни до нас, ни после нас ничего не было и не будет, то, очевидно, самое простое и разумное — это уйти из жизни, что раньше или позже все равно случится. Толстой признается, что, придя к этой мысли, он даже прятал ружье, чтоб не соблазниться и не убить себя.

— Но это уже неверие,— сказал Крестов.

— Во что? В бога?

— И в самого себя.

— Да, но тут встает другая серьезная именно для нас проблема. Загробной жизни нет, значит, особенно важно, чтобы здесь, на земле, человеку было воздано должное по заслугам, ну а коли люди мне не воздают, так я себе сам воздам: хватай, пользуйся! И хватают.

— Позволь, я экономист, меня интересует, что следует считать эквивалентом! Чем должно быть воздано — деньгами или как? Что должно быть критерием? Материальное, духовное? — спросил Гринберг.

— Труд. И только!— отвечал Хрусталев.— Меня не устраивает, например, что у нас есть один такой Паша-бездельник, который уже лет десять занимается научной организацией своих собственных дел. Для отвода глаз постоянно заводит какие-то картотеки авторов по специальности и еще другими возмущается, а под шумок лезет в с. н. с.

и пролезет. Так вот, я не хочу, чтобы мне платили одинаково с ним, а мы уравниены в ставках.

— О нет, ты сужаешь, Игорь!— воскликнул Костя.

— Может быть, я примитивен, но я хочу справедливости! Не равняйте меня с бездельником!

— Ишь чего захотел! — рассмеялся Костя.

— А ты напрасно, эта мысль, пожалуй, совершенно правильная,— вмешался вдруг Прохоров.

— Ерунда!

— Ну-ну, Костя,— рассмеялся Юра точно так, как в школе, когда он, как всякий аккуратный мальчик, всегда приходил с готовыми уроками, Костя же не всегда. И — смешно было видеть — с бравадой шел к доске, шумно проваливался и возвращался на место, чувствуя себя героем.— Отдельные недочеты у нас еще все-таки есть.

— И у тебя недочеты случаются?

— Костя, я не знаю, наверное, и у меня бывают они,— с подчеркнутой рассудительностью выпившего человека возразил Прохоров.— Даже очевидно бывают.

— Но тебе не так страшно и ошибиться, а? Покойнику-то все равно.

— Что ты, Костя?! Меня же контролируют. Мои заключения под лупой читают. Аргументировать надо. Чтоб все обоснованно, комар носу не подточил.

— А в вашей профессии таких проблем, наверное, нет?— обратился хозяин к Крестову.

— У нас дисциплина, Игорь Николаевич,— мягко ответил сосед и после паузы продолжал:— Но и у нас свои проблемы. Приходит молодежь с университетским образованием, очень уверенны, умеют говорить, а улицы не знают. Я вон в молодости как пришел в органы после войны, поручили район города, так я, наверное, с год изучал все проходные дворы и выходы. Шагами вымеривал! Если преступник ушел, я уже знал, куда, когда и где он может выйти, откуда появиться, где его брать сподручнее. Что вы! Улица — это наука! Кто сейчас занимается этим делом? Кому охота? Легче сидеть за столом и рассуждать о воспитательной роли милиции.

— А кому же ловить преступников?— спросил Гринберг.

— Организуйте общественность, дежурство дружинников,— неприницаемо отвечал Крестов.

— У нас все девчата записались в дружинники: слух прошел, за дежурства прибавляют дни к отпуску,— сказал Костя.— А вообще изучай приемы самбо!

— Лучше карате,— уточнил Крестов.— При всей симпатии к нашим отечественным приемам, я б предпочел именно карате: от него практически нет защиты. Балет! Красивая вещь, если работать по-настоящему. У нас есть истинные мастера... Жаль, в моей молодости не было у нас карате. А сейчас уже поздно — не все возьмешь. Мускулатура не та. Профессионализм — великая истина. Но попробуй доберись до него. Труд, один труд...

— Михаил вот ты как экономист скажи: какой вид принуждения к труду дает больше эффекта — экономический или внеэкономический?— спросил Костя.

Гринберг наморщил лоб, готовясь ответить. Но его опередили:

— Кто-то из великих философов сказал: делай, что должно, и будь что будет.— Крестов поднял рюмку.— Вот и все принуждение.

— Это сказал Толстой,— отвечал Костя.

— Это французская пословица, Толстой произнес ее перед смертью,— поправил Хрусталеv.

II

Все вдруг стало немило Хрусталеву во ВНИИЗе, и он решил немедленно уйти в отпуск. Зашел в местный комитет справиться о путевках.

Зоя Марковна была всемогущая дама без возраста, числившаяся на скромной должности, но благодаря своим контактным талантам пользовавшаяся огромным влиянием. И по части путевок тоже кланялись ей все вплоть до заместителей директора. К ней шли с шоколадом, розами и с комплиментом. Из милости она иногда делала чудеса, поцарски бросая на стол две путевки в Карлови-Вари или предлагая круиз по Средиземноморью в каюте-люкс. Как подлинному мастеру, ей тоже хотелось иногда бескорыстно показать свою доброту и, словно фокуснику, показать фокус: нет сигареты — и вот она уже во рту, дымящаяся... Так и Зоя могла вдруг одарить вас, если сумели найти к ней подход, зеленоватым блоком «ПЭЛ-МЭЛ» или крученным ручным способом чаем № 95, по сравнению с которым прославленный цейлонский — жалкий бесцветный напиток. Чем труднее была задача, тем азартней, вдохновеннее делалась Зоя. Замшевые куртки, югославские сапожки — это была рядовая, ординарная работа, как и синие унитазы из ФРГ. Но шкура уссурийского тигра, или таджикский шелк, или тот же бочонок зернистой икры — это да, тут требовалась ювелирная работа.

Зоя — это талант, и ни одна из многочисленных ревизий, проверявших хозотдел, не могла предъявить ей никакого обвинения. Она работала честно, в этом суть, ну а классическое умение устанавливать контакты — это уже от бога. Она весьма тонко разбиралась, кто чего стоит во ВНИИЗе. Поэтому, несмотря на то, что Хрусталева пришел к ней без сувенира и даже без комплимента, она, безнадежно взглянув на него, заговорила с укором:

— Ну вот зачем? Зачем, милый Игорь, вы меня ставите в такое тяжелое положение?! Почему бы не предупредить хотя бы за месяц? Вот я сейчас должна оставить все дела и заняться одной вашей путевкой. Хорошо. Я так и сделаю, брошу все дела.

— Не надо, я думал... Может, случайно?

— А что случайно? Какое случайно в сезон? Надо работать, и я брошу все и буду заниматься вашей путевкой, пусть другие будут обижены, — в своей любимой манере витийствовала Зоя, — а если меня вызовет Шашечкин и спросит, почему я не выполнила его поручения, я скажу: «Тихон Иваныч, я доставала путевку нашему Игорю Хрусталеву. Я была вынуждена».

— Ну, если так трудно, не надо.

— Это трудно, это очень трудно! Садитесь... У меня есть единственная путевка, но я ее уже обещала одному тоже очень уважаемому товарищу. Однако ему я буду вынуждена отказать...

— Мне не надо чужой путевки! — начал было Игорь и встал, но тут он заметил, что другая сотрудница, кусая губы от смеха, делает ему знак, который мог означать лишь одно: молчите и соглашайтесь.

Через полчаса, получив в профсоюзе разрешение на скидку, Хрусталева отправился в кассу за путевкой.

Едва Хрусталева вышел из отпуска, как к Феде явился Жлобиков с данными по зарплате. Средний заработок по мастерской Хрусталева был выше, чем по цехам опытного производства.

— С этим надо бороться, — нахмурился Федя.

— Да, Федор Аниканович! Я ж постоянно с этим воюю, хотя на меня некоторые и обижаются... Тот же Игорь Николаевич!.. Ладно, думаю, пусть как хочет. А спросят — скажу как есть, — и Жлобиков замолчал в полном расстройстве от такой ситуации.

— И вы считаете, что перерасход фонда зарплаты за счет мастерской?— спросил Федя.

— Так вот глядите! Ихний средний и наш.— Жлобиков принялся объяснять, но Федя уже вызывал Хрусталева.

— Игорь, садись... Видишь, какое дело: к тебе претензия — перерасход фондов,— начал Федя и сделал сдерживающий жест рукой.— Я все понимаю — возня с БМ, лекальные работы, класс точности... Все верно! Но надо укладываться. Нельзя. Мы будем спрашивать и с него и с тебя. Это деньги.

Игорь подумал, что худшие предположения его подтвердились: Федя, не разобравшись в сути, считает, что проявляет принципиальность, делая выговор Хрусталеву и даже, пожалуй, гордится этим. Да нет, хуже, это уже работа на публику. Он вызывал на ковер. А он-то думал, Федя призывает его как соратника.

Однако в Игоре еще тлело сомнение: а может, здесь что-то скрыто? Может, напротив, Атаринов хочет его поддержать?

— У меня вопрос к начальнику цеха... Сколько у вас получает четвертый разряд? Ну, допустим, тот же Фетюхов или Майкин? — спросил Хрусталев, стараясь быть сдержанным, но по привычке говоря отрывистым возбужденным тоном.

— Я сейчас не помню,— сказал Жлобиков,— около ста человек, где же там!

— Вы не помните, а я знаю. У Фетюхова среднемесячный — двести семьдесят. Это четвертый разряд! Да вы что, братцы?! И еще удивляетесь, что я плачу двести пятьдесят более высокому шестому разряду. Шестой у нас — это все бывший восьмой! Это не тот шестой, который теперь пораздавали в цехах.

В это время отворилась дверь и тихо вошел Рузин.

— Не помешаю?— Присел в уголке нога на ногу и завозился с трубкой.

Уже по нескольким фразам Рузин ухватил, в чем суть спора. Спорить тут было глупо.

Он понимал, что Хрусталев ничуть не повинен в перерасходе фонда. Тарифная сетка разработана для огромного большинства рабочих, а корифей вроде Тишкина под нее не подходят, как всякое исключение. Однако умный руководитель знает, как поступать. Хрусталев же платит, но не все умело оформляет, а Жлобиков при их-то отношениях использует любой случай. Сейчас Игорь затронул существовавший на опытном производстве порядок, а стало быть, косвенно и его, Рузина, который контролировал финансы. И Рузин тотчас сделал выбор, на чью сторону стать. Учел он и информацию Паши Коридова, которая в этом столкновении находила явное подтверждение.

— Минуточку,— вмешался Рузин,— если позволите, Федор Аниканович, я проясню. Игорь, ты напрасно ломишься в открытую дверь. Правильно, мастер выводит зарплату, это его обязанность. Уж если до конца откровенно — да, в какой-то мере он регулирует, потому что, ты сам знаешь, есть работы более выгодные и менее выгодные, спроси любого рабочего, он подтвердит.

— А так не должно быть, чтоб более выгодно и менее выгодно,— вскинулся Хрусталев.— Это от худого нормирования.— «Опять я не то говорю»,— подумал он.

Рузин рассмеялся. Хрусталев вновь подставился для удара.

— А что нормирование? Сходи на пятый этаж к Гуревичу, у него диссертация о принципах нормирования в нашей промышленности.— Рузин усмехнулся, показывая шефу, как несерьезен аргумент, но тут же поправился.— Кстати, без юмора уже: труд серьезный. Советую почитать.— Он посопел трубкой.

— Не всякая операция поддается нормированию, — устало сказал Хрусталеv. — Все зависит от мастерства. Возьми, например настройку машины типа ЭС-2. Дай ты ее Тишкину с шестым разрядом, он тебе отъюстирует ее за смену. И дай ее же новым шестирязрядникам — они провозятся неделю и хорошо, если за неделю сделают. Как нормировать?

Рузин понял, что здесь он будет прижат, и решил славировать, подменить одно понятие другим.

— Ну почему? С научной точки зрения, все можно пронормировать и обосновать соответственно. Но вопрос в том, на сколько процентов выполняет норму тот и другой. В этом суть, дорогой товарищ Хрусталеv! Производительность труда! Альфа и омега. — Рузин снова набил трубку. Он уже понимал, что ведет беспронгрешную игру.

— Да, вот именно, — насторожился Федя. — Главное — это производительность! — И он поднял палец.

— И если с этой позиции сопоставить данные по цеху и по твоей мастерской, то не знаю, не знаю, — проговорил Рузин, как бы огорчаясь, что данные эти будут не в пользу Хрусталева. То был его старый прием.

— Я ничего не хочу доказывать, — сказал Жлобиков, поднимая руки. Дошло. Понял, кто с кем играет.

— И у тебя, и у тебя, братец, бывают накладки, ты тоже очень-то святым не прикидывайся, — вдруг повернул Рузин, как бы желая быть объективным и ставя этим самым точки над «и» в их споре тоже. Он взглянул на Атаринова и понял, что тот одобряет его.

— Ну хорошо, вы все правы, я не прав. Так? Переведите мою мастерскую на бригадный подряд! И все будет как на ладони... Но вы же уходите от этого! — вскричал Хрусталеv.

Атаринов метнул вопросительный взгляд в сторону Рузина. Рузин сосредоточенно прошелся по кабинету, склонив голову и как бы обдумывая. Но у него все уже было обдумано: перевести мастерскую на подряд — это значит устроить бенефис Хрусталеvu, он со своими корифеями рванет, и тотчас обнаружится слабина в других звеньях. В глубине души Рузин был уверен, что при большом желании коллектив мастерской мог один закрыть месячную программу всего опытного производства. Железные мужики...

— Но ведь ты потребуешь создания особых условий... — озадаченно проговорил Рузин, будто прикидывая.

— Чепуха! Самые обычные...

— Хе-хе, обычные, — усмехнулся Рузин, словно раскусывая высшую мудрость, поскольку чувствовал, за ним пристально следит шеф. — А в принципе я за. Пожалуйста! Мне только проще, и если Федор Аниканович даст добро, со следующего месяца можно попробовать. — снова повернул Рузин, понимая, что такое легкое согласие его со ссылкой на мнение шефа неизбежно насторожит Федю, который не во всем еще разобрался и, видимо, не настроен на быстрые реорганизации.

— Федя, а? — с надеждой вскричал Игорь.

— Разберемся, — снисходительно улыбнулся Атаринов, как бы солидаризируясь со своим замом.

Рузин понял, что выиграл партию без потерь, и поднялся. За ним встал и Жлобиков.

— Ну что ты творишь? Где перерасход? Какой перерасход? Качество — это дополнительно вложенный труд, — горячо заговорил Игорь, едва закрылась дверь.

— Нет, ты зря так, ей-богу, Игорь, сразу идешь на конфликт, только восстанавливаешь людей против себя. Зачем? — с мягкой укоризной,

очевидно желая заглушить конфликт, заметил Атаринов, чувствуя, что Игорь прав, но сознательно перенося спор в другую плоскость.

— А затем, что они завели тебя с пол-оборота словом «перерасход» — и ты сразу же на меня.

— Мне ж неудобно, Игорь! Все знают, что мы друзья, а я должен быть объективным.

— Что мы, по контрабанде друзья? Не о том говоришь. Ладно. Скажи лучше, каким ты нашел глебовское наследство.

— Работы тут и работы... Одни комиссии чего стоят! Вот на будущей неделе приезжают из ЦК профсоюза проверять, как ведется соревнование... Кстати, наведи у себя в мастерской порядок с обязательствами, мне уже говорили, у вас там никто этим не занимается. Профоргто есть?

— Кто говорил?

— Не важно.

— Нет, важно! Кто это в первый же месяц наговаривает глупости?.. Чтоб столкнуть лбами?!

— Спокойно, Игорь! У тебя что — полный порядок с соревнованием? Зачем так?.. Зачем обострять? Возьми со своих рабочих обязательства, положи в папочку, — уже миролюбиво заговорил Федя, вновь чувствуя правоту Хрусталева, — придет комиссия — у тебя полный порядок. Проблемы-то нет!.. И дела на полчаса. — Он уже совсем добродушно пожал плечами и улыбнулся.

Игорь Николаевич горько вздохнул.

— Да совестно ж, ей-богу!.. Если б у нас во ВНИИЗе всерьез занялись этим!

— Чем именно?

— Итогами. Взять двух человек. Рабочих. И по-настоящему сравнить их работу. Кто лучше? Почему? С учетом всех элементов от дисциплины до качества. Соревнование — это, если хочешь...

— Мощный рычаг! — усмехнулся Федя. — Так, еще что? — Атаринов взглянул на часы и вдруг принял решение: — Поехали к Алке, а? Я уже давно не был, все как-то не выбраться, то одно, то другое. И идут, и идут...

Что-то подсказывало Хрусталеву: поехать — значит, простить Феде его отступничество. Он попытался заглушить этот голос: ему хотелось ехать к Алле. Федя же, почувствовав колебания Игоря, решил непременно взять его... Это будет хорошим компромиссом и сгладит неприятный спор. Паша хорош для дела, для информации, а иногда приятно и с Игорем.

Из подъезда они вышли вместе, причем Федя демонстративно взял Хрусталева под руку и вел его, как бы демонстрируя единение. Это нужно было сделать, потому что слухи о разладе между Хрусталевым и Атариновым уже муссировались среди коридорной публики.

У проходной ждала старая «Волга», которую Федя попросил у диспетчера. Когда уселись, Федя сжал руку друга и значительно взглянул в сторону водителя. Игорь не удивился. Он знал тревожную Федину натуру: все конспирировать. Уже и секрета-то нет никакого, а он все: «Тс... только строго между нами».

Они вышли неподалеку от дома Аллы и направились к гастроному.

— Федя, скажи, а ты что-нибудь решил с ней? Точнее, решился?

Атаринов блеснул щелками своих скифских глаз и загадочно улыбнулся. Ему хорошо было, весело. Немного смущала встреча с Аллой. Но он был не один. Он не звонил ей недели две, и она гордо молчала. Что поделаешь... Пусть привыкает: однажды он может и вовсе не позвонить.

Из перспективных дел Федя наметил выдвижение молодежи, что всегда вызывает уважение к руководителю и устанавливает за ним репутацию прогрессивного человека. Но, посмотрев штаты, Федя убедился, что молодежь и так выдвинута дальше, кажется, некуда. Квалифицированных специалистов не хватало, в то же время на должностях диспетчеров, технологов и даже старших технологов числились молодые люди и девицы с десятиклассным или среднетехническим образованием. По-человечески все было ясно, и Федя прекрасно понимал, что они обретают здесь, во ВНИИЗе, очень необходимый им для поступления в вузы производственный стаж. Дети были дисциплинированы, вовремя являлись с обеда, исполняли мелкие поручения, но доверять им сколько-нибудь серьезную работу было немыслимо. И на станки их тоже нельзя было ставить, хотя бы учениками: они значились как ИТР. К генеральному Федя решил не ходить с этой мелочью. Он попытался было переложить решение на зама по науке, тем более что Александра Николаевича не было и всеми делами ведал Тихон Иванович Шашечкин. Тот выслушал Атарина, лучезарно взглянул и сказал:

— А ты их уволь. Всех, всех разгони! Что это такое? Нельзя, нельзя... Этак мы в трубу вылетим. Мы ведем важнейшие разработки. Государство нам доверило. А мы — нет, не оправдываем доверия. Не оправдываем! Один я еще пытаюсь бороться...

— Как их уволить? — опешил Федя, уже предчувствуя подвох. — Если по графе «несоответствие должности», значит, нужно создать комиссию и устроить переаттестацию.

— Вот и действуй, а как же, государство тебе доверило. Мы не можем, что это такое, бездельников кормить! Тут, брат, нужна принципиальность, а ты как думал? Глебов там всех пораспускал... Нет, посмотришь на вас, молодежь, — один я держу твердую линию. Иди и действуй!

«Я один... — вздохнул Федя, выйдя от старика, — а сам выбил квартиру во внизовском доме для сына с семьей», — с досадой подумал он, и опять ему стало обидно. Теперь Тихон хочет поставить его в конфликтную ситуацию, в том числе с некоторыми членами ученого совета, дети которых также набирали производственный стаж! Хорош... Чего ж он сам их не уволит, у него как у зама власти побольше... «Да что, это самый важный вопрос, что ли? Есть дела поважнее».

— ...Федя, я вот подумал, тебе надо провести какое-то заметное мероприятие, — сказал Паша Коридов, входя к Атарину уже на правах совсем близкого знакомого.

— В каком смысле? — спросил патрон.

— Понимаешь, чтоб руководство и вообще в коллективе сказали: вот, мол, пришел Атарин — и сразу что-то заметное.

— Вообще надо подумать, — сказал Федя, потирая руки. — Ты как разумеешь?

— Ну, скажем, научно-техническую конференцию?

— Что? В институтских масштабах? А в связи с чем? Тема?

— Тема? Тема выкристаллизуется в процессе... Важно, чтоб тебя поддержали в дирекции! Николай Афанасьевич даст добро, и ученый совет поддержит без слов.

— Да в чем, в чем? — темпераментно воскликнул Федя; его иногда раздражала поверхностность нового друга, и сейчас Федя был не прочь этак слегка приложить его: болтаешь, так хоть думай прежде! Но тут он задумался. Пусть Паша брякнул, но, с другой стороны, сейчас и впрямь не худо бы проявить инициативу. — А почему конференция? — спросил он. — Да еще в институтском масштабе? Скажут, вмешиваюсь не в свои функции, зачем мне это надо?

— Возьми одно опытное производство. Сейчас много пишут о наставничестве. Конференция по... по опыту распространения... Или по внедрению. Важно — дело.

— Да, это сейчас злободневный вопрос,— задумчиво проговорил Федя, и ему представилась заманчивая картина: конференц-зал до отказа заполнен и он, Федя, открывает... А что, по крайней мере заметно. Уже само слово к о н ф е р е н ц и я, солидно звучит.

— А чего, и ведущих специалистов привлечь, того же Игоря Хрусталева.

Федя испытующе взглянул на Пашу Коридова.

— Пусть выступит. Трибуна! Почетно... И я поддержу.— Федя напряженно задумался и постучал по столу пальцами.— Генерального попросить, а? — уже азартно спросил он.— Не откажется?

— Не думаю. Сообщить в «Вечерку». Дадут! Членкор — уровень.

Федя даже встал из-за стола, исполненный планов, и прошелся по кабинету. Да, вот это и есть масштабность руководителя. Так и делаются дела, размышлял он, мечтая о том, как конференция получит отзвук в районе, в городе... А там! Могут поинтересоваться, чья инициатива. Все!

— Надо думать, думать!— повторял он, расхаживая по кабинету.— Я всех заставлю работать!

Но снова наступал конец месяца и блестящая перспектива перевыполнения вдруг стала проблематичной. Пришел встревоженный Рузин, который понимал, что Атаринову н а д о выйти с перевыполнением. Это вопрос чести.

Вся загвоздка была в автомате Лучанова: работы по нему считались оконченными, почти две недели он простоял в цехе, ожидая приемки. Но на последних контрольных испытаниях сверла пошли с превышением допуска и с довольно большими отклонениями. Вызвали Лучанова со свитой, они возились третий день, каждый час посылали образцы на замер. Отклонения не уменьшались. И Атаринов при всем своем уме не знал, что предпринять. Одно дело, скажем, перебросить людей с объекта на объект, разрядить пробку, организовать перевозку и т. п. Но когда образцы шли не с допуском ± 001 , а с колебаниями до ± 005 и еще большими и сам конструктор не мог понять, в чем дело, тут даже Федя был бессилён. Паша мгновенно убрался из кабинета, видя, как вдруг переменялось настроение Атаринова. Рузин тоже напряженно искал, сидя против шефа.

— Что ж они раньше-то думали?!— нервно возмущался Федя.

Он сам, проходя по цеху, видел простаивающий автомат. Сколько времени потеряно!

— Первые образцы были будто бы в пределах, Лучанов носился, показывал всем. А теперь забарахлило... Это бывает. Думаю, что все дело в нарушении соосности в самой машине.

— Так что ж?! Пусть устранят.

— Это может пахнуть двумя неделками. Надо ж причину найти.

— Хорошо. Что предлагаете? Может, замену, а? Что у нас на выходе? Есть что-нибудь? Резерв, резерв!

— Есть кое-что. Но хотелось бы лучановский автомат, уже о нем столько разговоров было. Его ждут.

— Все верно. Но если реально?

— А реально...— Рузин посопел трубкой и метнул испытующий взгляд на шефа,— попросите вашего друга... Соосность — это его конек, кого там он возьмет из своих тузов? Сделают или прояснят.

— Хрусталева? Никакой проблемы.— И Федя потянулся к трубке.

Хрусталева с Тишкиным прошли в пятый цех и присоединились к консилиуму ученых и производственников. Схема была с новой кинематикой. Сама станина была несколько облегченной формы для машины этого класса точности.

— Случаем, не из синтетики? — усмехнулся Тишкин.

Пустили автомат. Машина стреляла сверлами, то есть деталями сложной конфигурации, и производила эффектное впечатление. Но Хрусталева удручало большое количество зубчатых пар. Они с Тишкиным тотчас поняли друг друга, и пока Лучанов со своей группой теоретизировал, Тишкин разобрал головку автомата и вновь собрал ее. Снова запустили, отнесли образцы в лабораторию: сверла шли в пределах допуска.

— Странно, однако, — сказал Лучанов, с недоумением глядя на Хрусталева, — в чем игра-то?

Тишкин с нарочитым недоумением смотрел на автомат, как бы сам удивляясь, что же произошло: ничего не сделал, разобрал, собрал — и ось встала на место. Чудно! Когда шли к себе, Тишкин сказал:

— Не, это не жилец, машина-то их... Метальцу пожалели. Разве что с цеха спровадить, а не жилец.

— Приближается двойной юбилей Тишкина, — явился однажды к Феде Хрусталева, — шестидесятилетие со дня рождения и сорок лет трудовой деятельности, все на одном месте, заметь, раньше здесь самостоятельный завод был.

Такую игру Федя видел на два-три хода вперед.

— Полагаю, что в кадрах это известно. Они следят. Что положено, то получит. Есть пожелания? Предложения? Давай. Рассмотрим. Только помни — мы не Кировский, не «Голубое», не «Большевик». Мысли реально.

— При чем здесь Кировский, при чем «Большевик»?! Не его б руки — вы б не закрыли месячную программу! — вскричал Хрусталева.

— Да. Мне говорили, что эти чудаки что-то напортачили при сборке автомата, а он заметил. Ну и что?

Снова в кабинете неслышно появилась тень маленького человека с острым лицом. Он уже не спросил хозяина кабинета, не помешает ли, а тихо сел в уголке.

— Эти чудаки не что-то напортачили, а Тишкин сделал то, что может сделать лишь он один; они до него сидели неделю — и не могли добиться соосности. И, может, еще просидели б неделю, если б не Тишкин. — Хрусталева было неприятно, что Рузин снова стал свидетелем их спора.

«Каждый наш разговор по работе переходит в ругань... Надо кончать», — подумал Атаринов, когда Игорь вышел.

— Да вы не реагируйте, Федор Аниканович. Ваш приятель — неуправляемая личность, известный спорщик, мы уже с этим свыклись, — вздохнув, заметил Рузин.

— Я уже не реагирую, — ответил Атаринов.

Утром Атаринова вызвал генеральный. Вернувшись, Федя попросил к себе Рузина.

— Мы должны в самый короткий срок представить ученому совету свои предложения на предмет выдвижения кандидатов на Государственную премию. Союзную! Давайте думать. Николай Афанасьевич сказал: «Нужна серьезная кандидатура, чтоб прошла все инстанции. Обсудить всесторонне, с учетом всех факторов».

— На ученом совете будет рассматриваться несколько кандидатур?

— Да, но, между нами, генеральный дал понять, что ученым уже присуждали, а от опытного производства никто не получал, и если мы

выставим серьезную кандидатуру, серьезную со всех точек зрения, поддержка обеспечена! — победно и вместе с тем озабоченно сказал Атаринов, стараясь не встречаться взглядом со своим собеседником.

Уже идя от генерального, Федя мысленно взвешивал кандидатуру, и в голову ему пришел Хрусталева с его группой. Хотя о Белой Машине и не было особенных разговоров, но мнения Острова и Мацулевича, ведущих специалистов, стали известны: они высоко оценили достигнутые результаты. Возможная неотвратимость ситуации, когда представление Хрусталева на премию будет неизбежно, озадачила Федю. «Пусть получает», — говорил он себе. Он, Федя, всегда приносил себя в жертву товариществу — так примерно шло подкорковое мышление, хотя почему, собственно говоря, заслуженное выдвижение на Госпремию хотя бы и друга есть жертва? Десятки авторских свидетельств! Пять капиталистических стран купили патенты на его изобретения! Кому же еще давать?!

Придя к такому выводу, Федя стал прикидывать, как воспримут в коллективе выдвижение Хрусталева и как это отразится на его, Федином, авторитете. Если ученый совет утвердит кандидатуру Игоря голосованием, то какой-либо мотив выдвижения по дружбе отпадает. Ученый совет достаточно авторитетен. С другой стороны, как-никак и на Федю придутся лавры: не побоялся, открыто поддержал самого близкого друга, а? Сейчас уже для его личного престижа важно, чтоб выставленная им кандидатура была лошадкой, на которую можно ставить. Так, кажется? Странно сошлись их интересы!..

— А что, — как бы с вызовом начал Рузин, — а что, давайте толкнем Хрусталева и К^о? Парень он, конечно, ершистый маленько... Станет лауреатом — успокоится, — с допускаемой Федей вольностью этак простецки сказал Рузин.

— Хрусталева? Давайте взвесим все за и против. Есть другие кандидатуры?

— Ну вот — Лучанов! В общем, как ни странно, тоже котируется, — заметил Рузин, как бы возмущаясь такой несправедливостью, когда кто-то может котироваться, кроме Хрусталева.

И Федя вдруг почувствовал облегчение.

— Вот и обсудим! — воскликнул Федя и шало повел глазами. — Там — автомат! Тоже перспективная вещь. А если у него еще шанс есть быть запущенным в серию?!

— Это точно. Сверла — массовый вид продукции, серия обеспечена. Возможно, потребуется доработка, — подстраховался Рузин.

«Отвечет, — веселился он. — Чудаки — одно можно сказать». Лично ему, Рузину, были безразличны оба кандидата. Как специалист объективно он скорее склонялся к Хрусталева. Но боялся усиления влияния Хрусталева на шефа: если они сплутаются по всем пунктам, он, Рузин, может стать лишним: Атаринов сделает дружка своим заместителем и Рузина куда-нибудь передвинут. Логично?

— Федор Аниканович, вам как близкому другу, возможно, и неудобно... Хотите, я выступлю с инициативой? — бросил он пробный шар. «Даю ему карт-бланш, пусть», — подумал Рузин.

— А что? В принципе это наш актив! — сказал Федя. — Премию получат не верхние этажи, как всегда, а мы, опытничики, а?

— Само собой. Глебов это поставит, конечно, себе в заслугу, но все равно неплохо!

— А почему Глебов? Его давно нет.

— Глебов же поддержал Хрусталева с его идеей Белой Машины и добился выделения средств. Это известно... Но в конце концов не имеет значения кто. Важно — дали.

— Безусловно, — согласился Федя и задумался.

— Один, один, Леночка! Был Владимир Иванович, только что вышел. Но Федор Аниканович, кажется, говорит по телефону, — благодумствовала Екатерина Игнатьевна.

— Как новый шеф-то, сердитый? — спросила Лена.

— Кто?! Федор Аниканович? Что вы, Леночка!.. Это душа человек... И такой широкий, доступный. Да ведь вы ж его знаете.

— Немножко знаю.

— Чудесный человек, просто одно удовольствие работать с ним. Минуточку, я узнаю.

Она заглянула в дверь, полуприкрыв глаза, повторила:

— Еще говорит... Позвольте, Леночка, если мне, старухе, память не изменяет, вы вместе с Федором Аникановичем пришли к нам, в один год?..

— У вас отличная память, Екатерина Игнатьевна. Мы однокурсники.

Федя сидел в тяжелой, усталой позе — вполборота к окну. Откинутые назад волосы, четкий профиль с большим, но пропорциональным лицу носом придавали ему внушительный вид.

— Можно к тебе? — спросила Лена.

Он взглянул на нее и медленно улыбнулся.

— О, Лена! Красивая восточная женщина... Разумеется, заходи.

— Пожалуйста, не надо. Я к тебе пришла не как красивая женщина, а как подчиненная с делом. Не знаю, с чего и начать... Знаешь, я лучше подам тебе заявление. Оставляю. Одна лишь просьба: если нет, просто порви, без всяких резолюций.

— Поймай! Что за чепуха?.. Давай-давай сюда... Еще чего, бюрократию разводите!

Прочел, положил на стол с озабоченным видом.

— У тебя сейчас какая ставка?

— Сто тридцать. Я уже двенадцать лет на этой ставке.

— Так. А там?

— Сто пятьдесят. Прошу учесть, меня уже дважды обещали перевести на старшего инженера.

— Ленка, ей-богу, такую красивую женщину, как ты, должен кормить муж.

— В наше время мужья не кормят, Феденька. Или кормят такие короли, как ты с твоим другом Игорем. Вы пробились, а я застряла. Ты знаешь, я развелась с Басовым? Купила кооператив, Танька уже в восьмом классе, представляешь? Ты знал ее совсем маленькой.

Федя улыбнулся снисходительно, как взрослый улыбается ребенку, прощая ему наивность.

— А ты совсем не меняешься.

— Постарела-постарела... Ну, как на новом месте?

— Понимаешь, познакомился со штатами — столько неразберихи! Все на местах, ставки заняты, не уволишь. И не один я решаю.

— Я понимаю, но заявление оставить можно?

— Зачем? Будет возможность — переведем.

— Возможность есть, именно сейчас. Я точно знаю. Я бы иначе не пришла. И, прости, это не блат. Был бы Глебов — пришла б к нему. У меня стаж, квалификация... Сдала кандидатский минимум, но с диссертацией пока сложно!

— Верю. Но сейчас бессмысленно говорить — нет ставки.

— Ставка есть. Точно говорю, по нашему же технологическому бюро.

Атаринов круто повернулся и нажал на клавиш прямой связи:

— Михаил Александрович? Здравствуйте, это Атаринов. Скажите, у нас — я имею в виду опытное производство — есть свободная ставка

старшего инженера?.. Нет? Это точно? Так... Ясно, благодарю вас.— Он положил трубку.— Слышала? Это зам по кадрам, который курирует ИТР.

Арцруни, блеснув большими раскосыми глазами, подошла к телефону.

— Где у тебя местный? Можно, я позвоню?

— Пожалуйста.— Федя подвинул один из аппаратов.

— Только не смотри, какой я наберу номер.

— Ну-ну!.. Ой, Ленка, ты все та же! — Он рассмеялся.

Она набрала номер, прикрыла трубку рукой, тихо сказала: «Это я» — и перешла на полусшепот. Перегсворив, обернулась к Феде:

— Так вот, Феденька, ставка есть! Но я не хочу подводить свою знакомую.

— Кто она? Клерк?

— Это не важно. Повторяю, я не хочу подводить людей. Скажу лишь одно: твой зам Рузин в курсе. Достаточно? Больше я тебе ничего не скажу. Привет!

— Постой, Лена! Ну подожди... Я разберусь, выясню все эти ваши тайны мадридского двора... Сядь. Надо по делу поговорить...

Внезапно вспыхнула лампочка селектора. Федя нажал кнопку.

— Я могу зайти сейчас на минуту? — раздался голос Хрусталева.

— Заходи,— ответил Федя и еще больше помрачнел; не будь Лены, он бы сослался на совещание, которое в самом деле должно было вскоре начаться.

— В наших стенах встретились три однокурсника, это слишком много для делового разговора: надо ехать в «Кавказский»,— сказал Хрусталева, садясь в кресло против Лены. Он взглянул на часы.— А что?

— Ну, разве вы соберетесь!.. А соберетесь, так уж, верно, без меня, найдете кого-нибудь помоложе. Или возьмете восходящую звезду вроде Берковой. Кажется, тоже ваша приятельница?

— Не восходящая, положим, а давно взошедшая звезда. Это по части Хрусталева, у него был с ней роман,— усмехнулся Федя.

— Федя, перестань...

— Ладно, скромничай. Но, между прочим, она, конечно, не без таланта, но — но! Еще и внешность и папа...— Федя покосился на Хрусталева своими скифскими глазками, и складки его крупного лица хитро задвигались, но, спохватившись, он нахмурился и принялся шарить по столу.

— Федя, на ходу один короткий вопрос. Бобров ушел к Острову на сто семьдесят, его ставка старшего инженера освободилась, и я прошу перевести нашего конструктора. Светлая голова, восьмой год у нас.

— А я восемнадцатый, Игорь,— сказала Лена.

— А! Тогда все. Прошу прощения, снимаю, Федя. Бобровскую ставку надо отдать Лене, она же специалист, ведет самую сложную технологию. То есть это бесспорно!

— Не знаю. Мне пока ничего не докладывали об этой ставке. Возможно, Остров через Шашечкина увел ставку себе. «Отдай» — несерьезно! Ты... ты несерьезный человек! Делим шкуру...

— Что несерьезно? — вспыхнул Игорь. Он сдерживал себя, чувствуя, что сейчас может произойти то, после чего общение с Федей станет невозможным.

— Нет, но ты сам не замечаешь за собой...— Федя искал, за что б зацепиться, чтоб доказать, что Игорь зарвался.

Но Хрусталева угадал это.

— Вот что, Федор, не ты ты занял позицию. Я не о ставке...

— Игорь, ради бога! Ну надоело слушать твои претензии и обиды! — взмолился Федя несколько аффективно.

— А мне надоели глупости! Мы, специалисты, от тебя дела ждем, а ты что придумал? Конференция по наставничеству... Кого наставлять? У нас институт, профильное производство, молодежи очень мало. Для чего тогда огород городить?

— В любом случае полезно.

— Для кого? Я выйду, как ты предложил мне, и буду убеждать Тишкина, что наставничество — полезная вещь? Его и убеждать не нужно, он бы рад иметь ученика, ему нужен подручный, а где он? У нас в мастерской ни одного молодого рабочего...

— Кто виноват? — уцепился Федя, вновь чувствуя, что Игорь прав.

— Так кто ж пойдет три года корпеть над плитой, тереть о плитку кубик, учиться ощущать микроны, если у нас в мастерских уравнили труд мастера с подручным? Парадокс получается: если б тот же ученик сидел, скажем, на девяноста рублях и знал, что, когда он чему-то научится, ему положат полтора, к примеру... А вы ему сразу полтора как минимум даете — так зачем он будет корпеть?

— Если мы не дадим ему те же полтора, он просто уйдет, и все. А у нас и так не хватает рабочей силы.

— Пусть уйдет. Да нет, не уйдет! Не тот сейчас народ, чтоб за рублем гнаться. Уходят от беспорядка. Помню, на фронте была у нас рота Драгина. Там больше, чем в других ротах, потерь было, потому что через ночь к фрицам ходили языка брать. И что? В эту роту все стремились попасть! Почему? Потому что порядок был... Сам Драгин принимал, еще испытание делал — подползи, чтоб тебя не заметили. приемы требовал. И все равно просили: «Возьмите!»

— Ну правильно, больше шансов отличиться. Орден, то-се...

— Ты все повернешь в эту сторону.

— Демагогия!

— Мальчики, не заводитесь! Ребята, ну вы же старые друзья! Мы всегда восхищались вашей дружбой... Сейчас вас ссорят элементарно, квалифицированно. И если тут Пашенька Коридов втесался, то ясно, кто мутит воду!

— Да при чем здесь Паша какой-то?! — вскричал Хрусталеv. — При чем он? Что Коридов лентяй и бездельник — это известно! Да что его винить? Нет, не Пашу надо винить.

— Довольно, Игорь! — Федя демонстративно встал.

— Да не пижонься ты перед нами хоть! Мы-то знаем, чего стоит твое пижонство. Но сейчас речь о серьезных вещах. Ты опускаешься до интриг! До непорядочности!

— Что? — бледнея, сказал Атаринoв. Лицо его стало непроницаемым.

— Ежели у тебя есть вопросы по моей машине, мог бы спросить у меня. Присылал Рузина. Теперь Коридов зачем-то взял чертежи БМ, торчит в библиотеке, обложившись иностранными журналами. Зачем?

— Я ему не поручал. Но между прочим, товарищ Хрусталеv, к твоему сведению: Коридов — кандидат наук и научный сотрудник нашего института. И он вправде!

— Ну не ври хоть! Твоему Паше до лампочки все на свете, и если б не ты... если б не надо было тебе...

— Вон из кабинета! — вскричал взбешенный, покрасневший от стыда и гнева Атаринoв.

— Мальчики, вы с ума посходили!

Хрусталеv пошел на Атаринoва. Лена бросилась между ними. За дверью послышалось покашливание, затем она отворилась, и вошел худенький остролицый человек.

Лена оказалась права — ставка была, и пока в кабинете Атаринаова шел спор, Рузин диктовал заявление молодому человеку, заочнику, еще одному претенденту на должность старшего инженера. Нужно было получить резолюцию Федей, что Рузин и собирался сделать сегодня вечером. Затем Владимир Иванович позвонил Паше Коридову, с которым у него были странные отношения: они нигде не встречались помимо службы, не были знакомы семьями, но имели совершенно четкий деловой контакт и всегда пользовались взаимоподдержкой. Паше, например, и в голову не приходило вести с Рузиным такие беседы, какие вел с Федей: Рузин просто не понял бы, зачем тратить время на рассуждения о том, какие преимущества имеет та или иная должность. Но, как человек деловой, ценил в Паше его информированность. И использовал этот канал. Паша, со своей стороны, не понимал этой рузинской манеры козырять тем, что другие скрывали. Любил Владимир Иванович обнажить свой прием и сбить собеседника с толку.

По звонку Рузина Паша тотчас явился, сверкая своими цейсами.

— У нас аврал: начальство жаждет новых лауреатов. Посему мне важно знать, что думают тузы из совета,— говорил Рузин, как всегда слегка эпатируя и тревожа.

Паша был готов к такому вопросу. Он сообщил Рузину, что Остров весьма сдержанно отозвался об автомате Лучанова, не подписал заключение и потребовал провести новые испытания с контрольными замерами каждой сотни изделий.

— Следовало ожидать. Станина, хребет слаб, отсюда смещения соосности,— констатировал Рузин.— Ну а что Лучанов? У него еще нет инфаркта?

— Пытается бороться. Вышел на Горового.

— Ну, с товарища Горового не много возьмешь: где сядешь, там и слезешь. Любит песочком посыпать. Но первый ком поручает другому. Руки не пачкает,— говорил Рузин, насмешливо глядя на собеседника.

— А что, Федя всерьез двигает Хрусталева?— спросил Паша, в свою очередь.

— Эк вон! Забрало вас, а? Смотрю, Аниканыч наш дергается между своим дружкой и лучановской группой, воображая, что ищет истину. Теперича ты! Знает кошка... Ладно, шучу. А что? Даже если без скидок, их станочек может сделать погоду. Это смотря как поднести! Дифракционные пластины — валюта и мировой уровень!

— В конструкции нет ничего принципиально нового,— поспешил Паша.

— А направляющие?

— Давно известно, что фирма СИП...

— Может быть, может быть. Но они не патентовали, значит, приоритет наш. А мы это любим,— говорил Рузин, который хотел показать Паше, что Белая Машина достойна премии, но если он, Рузин, захочет, то все-таки отведет группу ее создателей.

Полагая, что сейчас не до шуток, Паша с недоумением смотрел на собеседника.

— А если толкнем неуправляемого товарища Хрусталева? Что там? Какова его конъюнктура в ученом совете?— спросил Рузин.

— Видишь ли... На него будут смотреть как на креатуру Атаринаова, а к Феде там не очень...

— Открыл Америку! А вообще потеха вся эта игра. Химики!— говорил Рузин, и Паша в такт кивал, хстя был совершенно сбит с толку: кто химик и для кого потеха вся эта игра?

Но вот Рузин пожал плечами, как бы осуждая, как все это делается. И Паана, до которого теперь дошло, в каком смысле надо удивляться, тоже пожал плечами. И так они сидели, пожимая плечами, и удивля-

лись с той мыслью, что так, видно, свет устроен, иначе нельзя и это забавно.

Между тем в институт приехал видный ученый. Он ознакомился с заключением по дифракционным пластинам, наблюдал работу Белой Машины и дал о ней очень высокий отзыв, высказав его, правда, в устной форме; он даже сделал паузу, надеясь, видно, на вопросы, но вопросов не последовало. Федя произнес несколько общих фраз и повел смотреть автомат Лучанова.

Илья Подранков тоже поздравил Игоря Николаевича и, пожимая ему руку, сказал своим степенным, протяжным голосом:

— Святое дело, старик! Было бы мне на десяток лет меньше, бросил бы все к шуту и пошел к тебе рядовым механиком. Ей-ей! И знаешь, посылай всех...— Он наклонился к Хрусталеву и смешно закончил фразу, не выходя из парламентских границ.— А родина тебе зачтет это.

— Спасибо, Илья,— довольно мрачно отвечал Хрусталеv, и тонко чувствующий собеседника Подранков спросил:

— А че у вас там с Федькой? Слыхал краем уха... Он ведь нормальный мужик, и все б мы в его роли...

И он заговорил о сложном положении руководителя. Он рассуждал правильно, в хорошей манере мэтра, получившего несколько лет назад заслуженного изобретателя.

— Думаю, все уляжется, а с Федюхой ты не ссорься, зря! Я искренне рад был его назначению: башка варит, а чего еще?— посоветовал Подранков.

Впервые за двадцать лет Хрусталеv почувствовал нежелание идти на службу. Стараясь не смотреть ни на кого, спешил он пройти сквозь все коридоры в свою мастерскую. Он всерьез стал подумывать об уходе. Но это означало уступить и обнаружить, что ты побежден. И с кем же останется Федя, черт подери?! Как недалеко! Нет, он не продержится долго. Впрочем, как знать... Останутся Подранков, Остров— этих двоих хватит, чтобы давать идеи. Рузин будет тянуть производство, Федя— представлять, и каждого своя роль устроит. А он?

13

— За встречу,— корректно предложил Викентий Степанович, вопросительно взглянув на жену из-под очков. И поднял маленькую коньячную рюмку.

— Да, за встречу.— Хрусталеv на мгновение задумался.— Я шел к вам пешком через мост, остановился посредине моста и смотрел, как идет ладожский лед. Там быстрина и льдины несутся по реке, обгоняя друг друга...

— Я тоже сегодня шла через мост и видела,— задумчиво проговорила Катя Беркова,— льдины толкали одна другую, та— третью, третья— четвертую, и движение сталкивало несущиеся далеко друг от друга льдины.

Большая петербургская профессорская квартира находилась в тихом месте, и звуки города почти не доносились сюда. Медленно ходил маятник напольных часов Буре, напоминая блокадный стук метронома— тот тоже ходил медленно, когда не было тревоги, а при первых звуках сирены менял темп на быстрый.

— Да, мама твоя была неординарный человек, и это виделось. Помню, первый раз я зашла к вам и сразу поняла, что это твоя мама,— говорила Катя Беркова,— вы ведь похожи... В те годы ей было тогда что же?

— Сорок лет,— отвечал Игорь.— Всего! Я сейчас уже старше.

— Послевоенные годы были трудными,— заметил Викентий Степанович.— Катенька, кофе?

— Да, пожалуйста, если не затруднит. Игорь, вам кофе, чай?

Они были то на «вы», то на «ты».

— Да, можно кофе. Все равно у меня бессонница, сплю со сновидениями.

Кротко улынувшись, супруг вышел, и вскоре из далекой кухни слабо донеслось гудение кофемолки.

— А отчего бессонница? — спросила она.

— Не знаю.

— В отпуске бывали — санаторий, дом отдыха? — Она перешла на «вы». — вопросы касались нынешнего.

— Когда-то очень часто.

— И каждый раз уезжали на три-четыре дня раньше срока?

— Уезжал даже на неделю раньше. Откуда вы догадались?

— Нет у вас никакой бессонницы, Игорь,— вдруг рассмеялась она,— просто это свойство вашего мозга — быстро восстанавливаться. Есть люди с повышенной утомляемостью,— уже с академической значительностью продолжала она, но он остановил ее.

— А что еще есть, Катя? — спросил он, прикладывая к голове пальцы правой руки.

— Ты вот о чем,— рассмеялась она, будто смехом хотела защититься от вопросов.— Я очень мало могу сказать, Игорь... Наш мозг — замкнутая система.

— Как солнечная?

— Нет, как вселенная.

— Стало быть, и своя бесконечность?

— Да, именно бесконечность. Миры. Системы...

— Стоп! Но вот эта бесконечность кончилась моей черепной коробкой или кожным покровом — и дальше, дальше что?

— Ты не заметил парадокса в своем суждении...

— Заметил, заметил! И, стало быть, она продолжается — за. И все? Вторая замкнутая система, несколько большая, чем мозг? Затем третья, четвертая — и снова до бесконечности? А знаешь, я теперь лучше представляю себе бесконечность! Да, да! Раньше я понимал это лишь математически, в формулах...

— Ты нисколько не изменился, и это хорошо,— сказала она.

— Катя, но ты уходишь от ответов. Скажи что-нибудь про меня!

— Игорь, ты сам все про себя знаешь. Ты волевой человек.

— Какой там! Ничего я не знаю и мучаюсь и своей глупостью, и ошибками, что постоянно допускаю в оценке людей, и мрачностью, и неумением войти в обыкновенный контакт. Все во мне дурно и не удовлетворяет меня. И это ужасно. Я даже иногда повторяю: «Ужас, ужас...»

— Вот! Именно поэтому ты и сумел нанести четыре тысячи восьмисот канавок-делений на один миллиметр поверхности... И все же мы не вольны! — подхватила она его мысль.

— А тот, кто управляет внутри нас, волен?

— В пределах своей системы,— улынулась она. И вдруг провела языком по губам, напоминая ему привычку молодости.

— А в пределах всех систем — кто?

— Мы же с тобой договорились, что есть бесконечность.

— Какая тогда бесконечность подсказала тебе позвонить мне?

— По-моему, я говорила. Я прочла в «Вестнике» о твоей Белой Машине... Признаюсь, мне показал это референт, которому я поручила собирать наиболее важную информацию по всем отраслям.

— Допустим. Но почему я перед твоим звонком думал о тебе? И не то что мелькнуло на мгновение, а очень сосредоточенно?

— Это чистое совпадение.

— Пусть совпадение. Тогда погадай мне, как когда-то гадала... И все совпало!

— Что совпало? — насторожилась она.

— То, что ты нагадала. Абсолютно точно! Не помню всех твоих слов, но помню так, как запомнил я... Ты предсказала мне нелегкую жизнь — так оно и вышло; ты предсказала мне позднее раскаяние — это оказалось верным в двух смыслах; ты сказала, что сердце мое успокоится в казенном доме, — это уж точно так и вышло, если можно назвать наш ВНИИЗ казенным «домом». Только ведь и там не успокоилось!

— Но то была шутка. Совершенная шутка, я же прекрасно помню, мы вернулись после купания всей компанией и зашли к тебе. Я увидела карты. А в войну, девочкой, в эвакуации, я жила в квартире с одной серблянкой и видела, как та гадает. Ну и запомнилось... И просто пошутила.

— Вот вы пошутили, Катерина Петровна, а шутка роковой оказалась.

— Полноте, Игорь Николаич, кто с кем шутил?

— Погадайте теперь. У вас есть карты? — попросил он.

Она быстро, с какой-то лихорадочностью в движениях раскинула карты на столе.

— Это я? — Он указал на короля в центре.

Она кивнула и продолжала метать. Большая красивая голова ее покачивалась в такт движениям рук. Так было и четверть века назад, только она тогда была первокурсница и ждала и поминутно вспыхивала. И все могло пойти по иному руслу. Не пошло.

— Ну, по-моему, все плохо, — сказал он, взглядевшись в карты.

— Почему все? Ты знаешь карты?

— Приблизительно... Я обложен черными.

— Но важно еще сочетание, что с чем ляжет. Да, определенно какие-то осложнения в казенном доме. Тебе противостоит вот этот король!.. Упорно стоит против тебя, и мешает, и не уходит. Дальше — пустые хлопоты... Но подожди, пока еще не все, еще один круг потерпи... С чем останешься?

Карты мелькали в ее руках, и вдруг она, торжествуя, схватила короля тref и сбросила его в груды.

— Как, почему? — вскричал он.

— Он сам ушел и должен был уйти!

— Неправда!

— Зачем мне обманывать? Это неинтересно. Теперь для сердца...

Вошел улыбающийся своей кроткой улыбкой муж с кофейником на подносе...

— Игорь, скажите, а сохранилась ли компания? Впрочем, о некоторых я знаю... На каком-то совещании я видела Юру Прохорова, патологоанатомы его знают, — снова заговорила она, когда кофе был разлит.

Тогда, в юности, они были в одной компании и между Катей и Игорем предполагалось что-то вроде романа. Но появилась Марина, действовавшая с упорной уверенностью, и Катя отошла в тень сама. Позже вышла замуж, и он уже реже слышал о ней. Слышал лишь, когда кто-то из общих знакомых передавал: «Катюша оставлена в аспирантуре», «Беркова, слышали?! Защищала кандидатскую — ученый совет единодушно присвоил докторскую, это раз в сто лет...»

— А Костю Варнакова помните?

— Военный?

— Да, тогда старлей...

— «Офицер приехал в отпуск» — так объяснили вы мне затянувшийся кутеж.

— Все точно... Он давно на гражданке, не сказал бы, что преуспевает, но у него отличный сын и хорошая библиотека,

Она рассмеялась — жестко, понимающе.

— Кто еще? Стогов Валерка, физик, помните?

— Худенький, маленький? Его прочили в гении.

— Не состоялся. Впрочем, вытянул на допента, похоронил двух жен... Такой же маленький, только телстенький... Не встречаемся.

— А Гоша, многосзначительный юноша, всегда молчал?

— Гоша Куликов? С этим видимся... Основательный семьянин, три сына. Работяга, слесарь! Высшей квалификации, ас. Я пытался перетащить его к себе в мастерскую, но он не хочет оставлять свой завод.

— Ой, как я люблю тех, кто это умеет... Высшее мастерство! Преклоняюсь! — воскликнула она, и в глазах вспыхнула прежняя живость. — У нас в клинике есть сестра такая, Мария Нестеровна, безошибочно попадает шприцем в любую вену, а у иных больных вену очень трудно найти! Чрезвычайно трудно... Так мы ее на руках носим. К сожалению, кроме моральных стимулов, я ничем не могу ее поощрить...

— Но ведь не везде нужна высокая квалификация, — заметил супруг, прикоснувшись губами к маленькой рюмке.

— В медицине везде, — быстро возразила хозяйка.

— Но, скажем, в низшем звене...

— О, здесь тоже очень важна квалификация. Мы делаем уникальные операции, продолжающиеся иногда по пять часов и более. Но затем важен, я бы сказала, не менее важен послеоперационный уход. Отдельная палата, индивидуальный пост — это все хорошо, но если нет этого ухода, этой сердечности — все прахом. И здесь у нас есть ветераны, тетя Нюша и тетя Даша, — мертвого выходят... Но их всего две и дежурят не каждые сутки. И тогда я прямо говорю родственникам: «Обеспечьте уход».

— И тогда квалификация решается очень просто, — улыбнулся Викентий Степанович.

Хрусталеv молча наблюдал за спором супругов, который, очевидно, имел свою историю.

— Извини! Но в понятие «высшая квалификация» я включаю и отношение к труду! — сказала Беркова.

— Отношение к труду — это моральная категория. Оно может быть добросовестным или недобросовестным независимо от квалификации.

— А по-моему, нет. Мастер не может работать плохо, — вставил Хрусталеv. Он вмешался, чтобы снять возникающую напряженность. Ему было ясно, откуда она идет: от разницы в положении супругов, которая не могла не задевать даже такого кроткого человека, каким был Викентий Степанович, кандидат и старший преподаватель в вузе.

— Но позвольте, если взять промышленность... Там возможны и даже необходимы разные квалификации, — настаивал он.

— Совершенно точно, но! Но! — повторил Хрусталеv, будто это возражение было ему знакомо и продумано. — Возьмем самую распространенную профессию — токаря. Нужны люди разной квалификации по разрядам. Одному поручается точить с точностью до пяти десятитысячных миллиметра, другому — с точностью до десятки. Но и черновую обдирку тоже можно производить с разной степенью квалификации: можно точно выполнить задание, а можно задать не тот режим, значит, уже на станок другая нагрузка, не оптимальная, и он скорее изнашивается, наконец, можно экономить режущий инструмент, а можно посадить резец на первой же детали.

— Но это и есть отношение к труду, — удивился Викентий Степанович.

— Не только. Надо еще и уметь! По-моему, в пределах каждого разряда или категории существует своя степень квалификации.

— Это очень точная мысль, — сказала Беркова.

— Но самое страшное — это когда человек по своим способностям может работать по пятому разряду, а претендует на шестой. И требует!

— Это закономерно. На этом зиждется весь прогресс, — возразил хозяин.

— Игорь Николаевич имеет в виду другое, — вмешалась Беркова. — Возьмем пример из иной сферы: не всякий певец может взять нижнее ля или верхнее фа. Не позволяют голосовые связки. И если он все-таки берется за партию, где есть нижнее ля, и не берет его, получается фальшь. Вот о чем речь.

— Но все-таки само стремление развить полнее свой голос объективно закономерно, — миролюбиво закончил Викентий Степанович.

Никто не возразил ему.

14

Все, в том числе домашние, заметили, что Игорь Николаевич стал последнее время спокойнее; на службе он уходил от споров и конфликтов. Он наконец снял копию со своего ветеранского удостоверения, оформил остальные документы и подал их в кооперативный гараж.

В самом ВНИИЗе тоже поулеглись страсти.

Сообщение на ученом совете делал Рузин — по производственной линии. Он в целом положительно охарактеризовал и БМ и лучановский автомат, но отметил некоторые недостатки. В результате дискуссии — в ней приняли участие такие влиятельные члены, как Остров, Горовой, — мнение определилось окончательно: решено было представить монументальный теоретический труд группы ученых по нормированию (точнее — по некоторым аспектам), а с машинами пока подождать до получения более впечатляющих результатов, которые несомненно последуют. Таким образом, и авторы не были обижены и справедливость восторжествовала. Правда, оказавшаяся на заседании (очевидно, по чьему-то приглашению) инженер-технолог Арцруни попросила слово для реплики уже после выступления Горового и очень спокойно привела цифровые данные Белой Машины в сопоставлении ее со швейцарским и американским аналогами: данные были в пользу БМ. После этого по всем нормальным канонам следовало либо подвергнуть сомнению приведенные Арцруни данные, либо сделать какие-то выводы. Сидевший рядом с Хрустальевым Подранков пожал Игорю Николаевичу руку, шепнул: «Поздравляю, старик!» — но Ленина реплика как-то повисла в воздухе. Подранков с недоумением покрутил головой, а взявший в заключение слово генеральный директор, как бы отвечая на реплику, заметил, что иногда надо прислушиваться и к практикам. Тем дело и кончилось. Видимо, решили, что поскольку все обговорено, то переигрывать неудобно.

Между тем Федя вполне освоился в новой должности, и даже ревнивый Рузин вынужден был признать, что хватка у него есть. Со временем он произвел ряд перестановок, приятно щекочущих людское самолюбие: так, например, начальник технологического бюро стал одновременно именоваться замом начальника производства, а Рузин стал официально именоваться первым замом. «Ну, это как раз верно», — заметил Рузин, не изменяя себе, ибо сама постановка вопроса («это как раз верно») предполагала, что есть нечто другое, с чем Рузин не согласен. Ставку старшего инженера по просьбе Рузина отдали юноше-заочнику, зато Рузин, в свою очередь по Фединой просьбе, изыскал возможность, и Лене добавили пятнадцать рублей к ее ставке, так что она почти ничего не потеряла.

Вопреки предсказаниям Хрусталева конференция по наставничеству прошла на хорошем уровне. И надо отдать должное Паше, он поста-

рался. Организовал прессу, выступил с сообщением, сказал коротко и то, что нужно. Основной доклад делал Атаринов, присутствовал генеральный. С сообщениями выступили секретари комитета комсомола, Жлобиков и молодой рабочий (нашли-таки, и даже станочника!). Все говорили о пользе наставничества и о распространении передового опыта. А затем Федя давал интервью корреспонденту «Вечерки». Назавтра под вечер Паша, радостный, принес Феде свежий, только вышедший номер газеты с заметкой «Опыт мастеров — молодежи!», с подзаголовком «Наставничество — в центре внимания ученых и производственников». Федя понес газету генеральному, и тот с улыбкой наклонил голову в знак одобрения.

Конференция дала толчок новому важному мероприятию — созданию на опытном производстве научно-технического совета; однако, чтобы не противопоставить его ученому совету, этот орган называли постоянно действующим научно-техническим совещанием, в задачу которого входила и выработка рекомендаций по наиболее эффективному использованию; затем был проведен месячник рационализации и изобретательства, а также ряд других мероприятий.

Словом, Федя был удовлетворен тем, что сделано. Одно огорчало его и отвлекало — черновая сторона его деятельности, составление справок, все вплоть до канцелярщины: не мог же он использовать самолюбивого Рузина на технической работе — Рузин был его заместителем, а ему требовался энергичный помощник с инженерным образованием, чтобы был на подхвате, примерно такой, как у генерального. Секретарь есть секретарь: ею могла быть пенсионерка Екатерина Игнатьевна, высококвалифицированная машинистка, милый человек, которая умела любезно подать чай и ответить на телефонные звонки — не более. Но в штатном расписании такая должность не предусматривалась. Федя подумал, что со временем надо ввести ее. А что, это современно — иметь помощника, это и есть научная организация труда. Долго он подбирался, прикидывал, но законным путем должность помощника никак не удавалось пробить, а обращаться к директору он как-то стеснялся. Наконец приятель-инспектор подсказал ему ход: поменяться с Островым ставками — отдать лаборатории инженерную ставку, а взамен получить ставку лаборанта. «Ну и что?» — не вдруг понял Федя. Но приятель тут же объяснил ему тонкость: инженера неловко сажать в приемную, а лаборанта вполне. Можно поставить ксеракс или счетную машинку, чтоб видели — человек занят делом.

С неделю Федя колебался, наконец решился. И в приемной у него появился мобильный юноша лет тридцати, тотчас усвоивший свои несложные обязанности. Наконец-то сбылось: Федя шел с работы домой и вслед за ним шествовал интеллигентный юноша и нес его портфель. В течение дня Федя не раз вызывал помощника, и тот входил к нему с блокнотом и записывал его мысли.

Несмотря на неприличную сцену в Федином кабинете, когда Лена с трудом увела Игоря, несмотря на ряд предупредительных акций со стороны Феде, наконец, несмотря на искреннюю, возникающую временами и делающуюся все устойчивее неприязнь Феде к Игорю, неприязнь во многом взаимную, — инерция старой, двадцатилетней дружбы временами брала верх. Кроме того, им приходилось сталкиваться по работе.

Теперь, после БМ, Игорь работал над созданием станка с беззубчатыми передачами. Новая работа — выполнение предсмертного замысла одного из учителей его, А. И. Кирьянова, главы школы советского станкостроения, — увлекла Игоря, и он уже меньше вспоминал и переживал Федино коварство. Иногда оно само напоминало о себе. Вдруг бухгалтерия отказывалась принимать наряды без визы Жлобикова. Тот, разумеется, визировал даже не глядя, держа в уме: а вдруг снова дружба

помирятся, так мне ж и по шее. Эту унижительную для Хрусталева процедуру придумал Рузин, который был очень любезен с Игорем Николаевичем, приветливо улыбался, охотно выслушивал. Но когда Хрусталев обращался к нему с какой-то реальной просьбой, связанной с выделением фонда или получением серебрянки, то Рузин, как будто бы умный человек, начинал нести совершенную околесицу, словом, играл в дурачка. И Хрусталеву невольно приходилось идти к Феде. И Федя решал. Выделял станок или подписывал сверхурочные.

Лишь однажды во взаимоотношениях их явилось нечто, напоминавшее прежнюю дружбу.

Как-то Федя позвонил Игорю часов в десять вечера и просил приехать. Тон просьбы насторожил Хрусталева, он поехал и застал Атарина в нервном состоянии. Он был один, на столе стояла початая бутылка коньяка.

— Хочешь — выпей, — предложил Федя, — я уже хватил.

— Что случилось? — спросил Игорь.

— Только между нами... Строго!

— Это ты Паше говори. Я, впрочем, догадываюсь. С Аллой что?

— Она тебе звонила?

— Нет. Но она была у нас. В мое отсутствие. У Марины.

— Понятно, — сказал Федя, побледнев. — И что?

— Ну, Федя, ты меня спрашиваешь такие вещи. Поговори сам с Мариной. Я не вхожу в такие подробности.

— Алла совершила глупость... То есть возможно... Я ничего не знаю.

— Да знаешь ты! Как ты можешь не знать? Если уж позвал, говори, в чем суть.

— Упущен срок, и она договорилась на дому у кого-то. Позвонила мне и просила заказать такси и ждать у телефона.

— Где конкретно она?

— Не знаю. То есть... Предполагаю.

— Ты зря.

— Что зря? — наливаясь краской, спросил Федя.

— Хорошо, не будем, но когда-нибудь ты горько пожалеешь.

— Что поделаешь. Так сложилось...

— «Сложилось!»! В иных случаях я тебя понимал и поддерживал, а здесь...

Раздался телефонный звонок. Хрусталев взял трубку.

— Это я, — услышал он, — такси можешь отпустить. Меня уже довели, я дома.

Расставшись с Аллой Скавронцевой, Федя очень недолго оставался на перепутье. Паша Коридов, заехав к нему в воскресенье на «Жигулях», забрал Федю, повез за город. По пути они заехали в Отрадное и остановились у дачи, где, по словам Паши, жила его родственница, она же владелица дачи и очень милый человек Лерочка. Навстречу гостям от крыльца с лаем бросилась японская болонка, которую Паша тотчас укротил: «Фебочка, Фебочка, это мы, свои...» Вслед за болонкой на крыльцо вышла статная и, по-видимому, еще не старая женщина, Калерия Тихоновна, встретившая гостей с приветливым покровительством. Дача была современная, со всеми удобствами и даже паровым отоплением. Калерия Тихоновна подала чай (отличный, цейлонский) с домашним печеньем, и завязался общий разговор. А затем Паша отправился регулировать клапаны, которые что-то стали постукивать, а Федя остался наедине с хозяйкой. Он вдруг тотчас же почувствовал доверие к ней. Двумя-тремя умными, ненавязчивыми вопросами она настроила его на откровенную беседу, и Федя, вечно все от всех скрывавший, вдруг

откровенно рассказал Калерии Тихоновне о всей своей жизни, но благородно, не бросая ни в кого комьев, вот так, мол, «не сложилось». Хозяйка поощряла рассказ вопросами, свидетельствующими о понимании и сочувствии. Ни одного обличающего вопроса, к которым так склонны женщины, задано не было. Установилось взаимное понимание. Ответной исповеди не последовало, но кое-что хозяйка поведала. Долгое время муж болел, фактически он уже перестал быть личностью, которую можно было уважать, но она исполнила свой долг до конца и довольна этим.

Хозяйка зажгла электрический камин («Вот надо бы настоящий установить, да все никак руки не дойдут»), и при его свете Федя как-то совсем неожиданно открыл, что Калерия Тихоновна не только хороший собеседник, но и интересная женщина. Кроме того, она обладала тем, что он давно интуитивно искал, а тут уж сомнений и быть не могло: представительность была налицо. Явная. Так что вернувшийся через пару часов Паша Коридов увидел на столе бутылку «Киндзмараули» и открытую банку икры — привезенный гость был одобрен хозяйкой. Под это дело он попытался было намекнуть насчет баньки попариться — баня была во дворе, — но встретил довольно сдержанную улыбку хозяйки. И Федя запротестовал: мол, и так столько беспокойства доставили.

— Да, это ж надо заранее, — тотчас поддержала Федю Калерия Тихоновна.

— Вот неудобство владельцев автомобилей, — сказал Федя, — сейчас Паше бы бокал вина, а нельзя, за рулем.

— Пожалуйста, может оставить машину у меня в гараже, он большой, две свободно помещаются. Поедете на электричке. Десять минут ходьбы.

— Федя, как? — спросил Паша.

— Я человек демократичный, мне все равно — пешком или на машине, — сказал Федя.

— Ничего, обойдется, а привез человека, надо и отвезти его на машине, — распорядилась хозяйка, и Паша тотчас согласился не пить.

На обратном пути Паша, не дожидаясь вопросов, сам заговорил о Лерочке. Он как-то сразу пошел напрямую и начал со слов:

— Видишь, я тебе прямо и откровенно... Это нормальная, хорошая баба. (И ведь не убоялся этого слова!) Была замужем... Вышла о ч е н ь рано за полковника, героя, который боготворил ее...

Паша заговорила с таким шармом, как бы совсем не идеализируя, но в то же время отдавая должное.

— Она работает или как? — спросил осторожный Федя.

— По-моему, она что-то получает за мужа... Но вообще она довольно нужное лицо в городе, — отвечал Паша и, заинтриговав приятеля, сообщил, что Калерия Тихоновна — старший администратор-распорядитель Управления театральных касс. — Ты ж сам понимаешь, при том ажиотаже, который имеют наши некоторые спектакли, весь город в ее руках, — добавил Паша.

— Это бесспорно, — согласился всегда реально мыслящий Федя и задумался.

— У нее такая квартира...

Но у Феде уже имелся городской телефон Калерии Тихоновны. Глупо о чем-то думать, но отчего же не встретиться, не поддержать контакты, полезные в любом случае? И, солидно выждав пару деньков, Федя позвонил ей вечером. «А я сумерничаю» — услышал он мягкий голос. Он поехал. Она была одна, стол был накрыт, и Федю поразила сервировка. Он чувствовал серьезность обстановки — не опережал событий и ушел ровно в одиннадцать, почти уже увлеченный ею.

Калерия Тихоновна опытным взглядом с первого же знакомства

поняла, что нужно этому полагающему, что он очень молодой, человеку: ему нужно диктовать. Не благородничать, не играть в ненужную женскую растерянность, а четко, уверенно и убедительным голосом диктовать. Это надо уметь. Не быть навязчивой, не раздражаться, а главное, знать, что именно диктовать.

И вскоре уже Федя изрекал Паше истины, что «мы уже старые», что в его годы думать, чтобы заводить молодую жену, смешно, а главное — не нужно. Всему свое время. И вообще во всем нужна солидность, основательность... Когда развивающийся роман получил свое логическое завершение, Федя уже ходил по струнке. Конечно, бродя по коридорам большой пустынной ее квартиры, беседуя с будущим пасынком — молодым, недавно вышедшим из училища офицером, Федя иногда сомневался. Но постепенно в самой психологии его происходили сдвиги, имевшие необратимый характер. Он первый заговорил о необходимости оформить их отношения законным образом. Пасынку с семьей Федя отдал свою однокомнатную, а сам переехал к ней. Паша стал домашним человеком у Атариных. Единственно чего Федя не смог освоить, это полковничьей «Волги», он терялся за рулем, и машину обычно вела Калерия.

15

К этому периоду наивысшего процветания Феди и относится его последняя встреча с Хрусталевым.

— Собирается небольшой мальчишник. Калерия в Карлових, лечится. Приходи! Приходи с Мариной, если хочешь, но женщин не будет,— сказал Федя однажды.

— Я не знаю, смогу ли...

— А что за дело? Заходи ненадолго хоть. Давай! Ну что, ей-богу!

Внимательный анализ последующих событий показывает, что Федя не имел никаких хитрых замыслов, приглашая к себе Игоря. Все было значительно проще, чем можно предположить. Прикидывая состав приглашенных, он заметил, что придут все новые люди и никого из старых. Он даже хотел вместе с Игорем пригласить Лену Арцруни, но потом решил, что могут неверно понять; между тем к Феде обещал заехать один из заместителей директора, человек во ВНИИЗе новый и перспективный, некто Борис Борисыч... Да что там искать-то: Феде просто хотелось видеть Игоря в своей новой квартире — отчего же отказывать себе в таком желании? Зачем усложнять жизнь? Может же человек скромно отметить хоть и не круглую дату, но все-таки сорок пять и пригласить к себе товарища юности? Федя вообще не искал сейчас обострений и был бы не против, если б Паша и Игорь искренне подружились.

Жена не советовала Игорю идти. Вначале и он решил, что не пойдет к Феде. Потом заколебался и нарушил свою же заповедь — верь первому чувству.

Едва Игорь переступил порог квартиры Атарина и разглядел состав приглашенных, расположившихся в гостиной с голландскими обоями, с финской горкой с хрусталем и фарфором и богатым, заставленным бутылками и закусками столом, едва он почувствовал первую реакцию гостей на свой приход, как понял, что совершил ошибку: ему не нужно было приходить. Он заметил снисходительное недоумение Рузина и Коридова — не тому, что он пришел, они знали, что он приглашен, но что он принял приглашение; прочие же — Краморенко, Шастин, Пигусов — встретили Хрусталева обычно, но тоже с оттенком некоторого удивления. Все знали о ссоре Игоря с хозяином дома. За столом хозяйничала Зоя Марковна, следившая за юбилейными датами сотрудников и по случаю отсутствия хозяйки дома добровольно вызвавшаяся

помочь. «Все вам налажу, мальчики, пригублю за здоровье Феденьки нашего и уйду, а вы уж тут веселитесь»,— говорила она. Она же закупила продукты во внизовской столовой— бифштексы, цыплят, твердокопченной колбаски и т. д.

Федя провел Игоря по квартире. Все было как у людей, стремящихся идти в ногу с модой: хрусталь, подсвечники, иконы, ковры. К сему было добавлено старинное реставрированное дворцовое кресло. Над кроватью, занимавшей половину спальни, висело бронзовое распятие Христа.

— Она верующая? — спросил Игорь.

— Нет, что ты!

— Это хорошая работа,— заметил Хрусталева.

Борис Борисыч позвонил и сообщил, что заедет попозже. Теперь ждали лишь одного человека — члена и доктора. Наконец явился и он, и все по команде хозяина стали рассаживаться. Как видно, в подборе приглашенных Федя руководствовался разумным принципом: он пригласил, во-первых, тех, с кем работает,— как Рузина, затем людей популярных, как Краморенко, признанных работников, как Пигусов, и, наконец, восходящую величину — Шписа. Поскольку коронный тамада Федя не мог предсказывать на собственном торжестве, тамадой единогласно избрали популярного Краморенко.

— Я поручаю произнести первый тост другу юности дорогого юбиляра Игорю Николаевичу Хрусталева. Давай, Игорь! — сказал тамада.

Сидевший на самом конце стола Игорь растерялся. Он не готовился к тосту и, кажется, слишком затянул паузу, ставшую оттого двусмысленной. Он искал в себе слова о Феде и не находил. Пауза затягивалась. Кругом были чуждые ему люди — аудитория, из которой ничего нельзя почерпнуть. Чувствуя неприличие создавшейся ситуации, он заговорил о верности. Это было бестактно.

С этого момента началось падение Хрусталева в глазах общества. А он с досады выпил водки, но не опьянел, а помрачнел и насупился. Веселье же пошло своим чередом. Встать и уйти было б глупой демонстрацией. Однако когда все веселятся, а один не веселится, то его начинают зацеплять вольно или невольно. Чтобы исправить двусмысленность хрусталева тоста, слово предоставили Зое Марковне. И она встала, напомаженная, насурмленная, вся в таджикских шелках и березкинских шалях, эффектная для своих шестидесяти, и звенящим задорным голосом даже с какой-то задушевностью заговорила о человеческих достоинствах юбиляра, приближаясь к сути этак кругами, перебежками...

— Я очень люблю Федю, Федюшу нашего! И я могу сказать прямо, что вот он...— Тут она запнулась, словно что-то мешало ей высказать глубоко потаенную, дружескую любовь к Феде, ей только внятную, а потом стала пытаться извлечь из себя искренний звук и сорвалась, как срывается безголосый певец, слышались фальшиво-дребезжащие нотки, хотя лицо играло вполне, этим она владела.— Что вот он... он!..— идет тонкий поиск нужного тона,— ну, вот — хар-роший человек! — наконец сгрузила она с себя полтонны.

И еще зашла кружок, а уж затем, войдя в берега, рассказала историю. Уже в русле.

— Закончить свой тост я хочу примером, для меня лично памятным. О деталях не буду. Это было уже давно. В нашем институте шло распределение квартир, решали — кому... Вышло так: либо я должна была получить, либо Федор Аниканович. В тонкости вдаваться не буду, мне лишь известно одно: когда Феденьке сказали... Ну, словом, он узнал, то сказал: «Нет, пусть эту квартиру отдадут Зое Марковне. Я по-дожду». Товарищи! На такое способен не каждый!

«Что за чушь,— размышлял Игорь, не оценив такт Зои Марковны,

желавшей заглазить его же промах, — первую квартиру Феде хлопотал я. А про Зою и речи не было». В это мгновение взгляды их встретились, ораторша прочла обличение в глазах Хрусталева.

— Да, друзья мои, не каждый способен на такой самоотверженный поступок. Вот, например... — И она, уже наперед зная, кого приведет в пример, и зная, что ничем не рискует, обвела, однако, всех присутствующих глазами, как бы выбирая, и, естественно, остановилась на Хрусталева. — А вот наш Игорек, которого я тоже очень люблю, хотя он не верит в это, он бы, пожалуй, так не поступил. И еще, наверное, кто-нибудь... тоже так бы не поступил. Только, ради бога, я не хочу никаких обид. Игорь, я назвала ваше имя потому, что вы ближе сидите.

Да брось она эту реплику Краморенко или Коридову — посмеялись бы, и все. Что ж на правду-то обижаться, и верно — не поступили бы так. В крайнем случае отделайся шуткой. Хрусталева хотел что-то сказать, сдержался и помрачнел еще более. Злись себе — на сердитых воду возят. Зоя, опять-таки потому что была спец, заметила сочувственный взгляд хозяина, брошенный в сторону Игоря. Это озадачило ее, она замолчала и ушла в тень — пусть Федя думает, что ей неловко, сболтнула лишнее. Но зато другие были, казалось, благодарны ей за выпад против Хрусталева. Паша, запьянев, целовал руки и рассыпался; даже Пигусов (а это уже посерьезнее) сыпал комплименты: «Милая, обаятельная...» — и хотя она привыкла к подобострастию, но ей это было приятно.

По-другому реагировал на этот демарш Хрусталева: «Ну ладно, Паша — мразь, подхалим. Но Пигусов, Пигусов — ему-то что в ней? Тот же Рузин ухмыляется, но достойно ведет себя. Или, быть может, все они для меня как в кривом зеркале?»

— Нет, нет, мальчики, я пошла, пора мне. Вон и Игорек обиделся на меня. Игоречек! По-честному, я дружески.

Зоя ушла, как и предполагала, после нескольких тостов, провожаемая молодыми, красивыми, лебезящими перед ней мужчинами. Затем все вновь расселись за столом, и началась добрая мужская попойка. Настроение Хрусталева постепенно менялось. Да что, в самом деле, бурю в стакане воды устраивать! — размышлял он. Смешно! На кого обижаться! И что вообще произошло? Он пришел к старому другу Феде, с кем вместе начинали жизнь, и этого не зачеркнешь. И выручали друг друга не раз, и правильно, так и надо. Половина жизни, причем лучшая, прожита, что еще? Все это — и Паша, и Зоя, и Федино пижонство, — это преходящее... А суть? Да вот, в чем суть? Зачем? Кто послал нас? Почему в сорок первом он выбежал из вестигюля за минуту до того, как здание разнесло бомбой? Что толкнуло? А в армии? Там и не сосчитаешь!.. И ничего не известно. Восьмерочку положили горизонтально — и все. Бесконечность! И никто ничего не понимает, только одни честно, а другие с умным видом...

Федя взглянул на тамаду, но тот спорил с Пигусовым. Сейчас умолкнут, решил Федя, и он возьмет слово и произнесет потрясающий тост. Об Игоре и их дружбе. В конечном счете дирижер здесь он, Федя Атаринов. Так рассуждал Федя и уже обдумывал первую фразу тоста, что должен был всех примирить. И смолкли, и Федя уже оглядел, у всех ли налито, чтобы встать с бокалом, но другой дирижер уже взмахнул палочкой и подпивший, а потому осмелевший Паша Коридов резанул Хрусталева:

— Ну и пусть, а я скажу, да! Вот, Игорь... Ты используешь дружбу с Федей в своих целях! И... и подводишь его! Все это знают! — Голос его звучал запальчиво, зло.

До Хрусталева не вдруг дошел смысл сказанного, он не поверил, что можно так явно и нагло ссорить его с Федей у всех на глазах. Может, ослышался?

— Ты что, серьезно считаешь, что я использую дружбу с Федей в корыстных целях?

— А что — нет?

Федя еще мог поправить положение, но он сидел, опустив глаза. Его смутила фраза «все это знают». И он вновь заколебался. Мгновение, которое могло что-то предотвратить, прошло. Игорь схватил бокал с вином и плеснул им в лицо Коридова. Но движения его были не так четки, как обычно, Паша увернулся, и по тому, как быстро он это сделал, можно предположить, что он ждал подобной реакции. Красное вино пошло в голландские обои. Паша сидел через человека от Игоря, и Хрусталеву было не с руки действовать правой. Он повернулся и хотел ударить его левой, но Паша опять увернулся, хотя и частично, и сильный удар пришелся не в лицо, а по голове, так что Игорь зашиб руку, хотя и не заметил этого. Паша упал, потом вскочил. И все вскочили. Сделалось смятение. Кто-то кричал. Федя страшно побледнел: он понял, что Игорь вошел в редкое состояние неуправляемости и это уже и н ц и д е н т, о котором завтра узнают во ВНИИЗе. Встал Краморенко: — Все! Тишина! Командую я! Хрусталева, ни с места, я самбист! Я не Паша.

Затем, сделав знак, он направился к двери, ведущей в коридор, а за ним все остальные гости, в том числе Паша. Игорь остался один.

«Эх, смазал, дурак... Да что ж теперь?! Что они там совещаются? Уйти? Скажут, сбежал. Нет, пусть вернуться и вынесут свой суд», — размышлял Хрусталева. Но ведь провокация ссоры была столь очевидной! Он взглянул на светлые, золотистые, видно очень дорогие обои, по которым расплозлось темное пятно. Когда гости покидали комнату, он услышал брошенное кем-то, но не Федей, словечко «проучить». В отворенную дверь он заметил, что у выхода кто-то встал. Гнев овладел им, но он тотчас подумал: нет, эти бьют по-другому — в спину.

Он вдруг почувствовал совершенную трезвость и ясность мысли. Он не раскаивался и жалел лишь, что удар был неточен.

Краморенко вошел первый, быстро идя согнувшись и слегка раскачиваясь. Он улыбался.

— Ничего не было. Понял? Надеюсь, тебя такой вариант устраивает?

— Мне безразлично, что вы там придумали, — сказал Игорь.

— А зачем так? — миролюбиво продолжал Краморенко. — Между прочим, ты мог выиграть. Мог! А ты проиграл.

— Ты ж сидел рядом, ты свидетель, кто начал!

— Милый мой, это уже никого не интересует. Ты полез в драку и испортил обои, испортил настроение виновнику торжества — Феде. Тут некоторые хотели проучить тебя: Федя вступился.

— Потому что он знал, чем это кончится.

— Э, милый мой, связали б и извалтузили как цуцика. Не пикнул бы.

— Уж не ты ли б связывал? Больше-то некому.

— Нашлось бы кому. Да и я б приварил по-самбистски: метишь в морду — не мажь!

— Ты ж мне и помешал! Ты справа сидел.

— Неправда. Я как раз откинулся назад со стулом. И бил бы правой наотмашь. А ты хотел хуком сделать его. Не вышло. Ну все, идут. Ни слова об инциденте. Ничего не было.

— Эх, Юра, существуют понятия более важные, чем самбо, — с горечью сказал Хрусталева.

Гурьбой, шумя, разговаривая, вошли остальные гости и стали рассаживаться по своим местам как ни в чем не бывало, с веселым выражением лиц. Молчал лишь Паша да Рузин временами поглядывал в

сторону Хрусталева, внимательно поглядывал. Федя улыбался, мило беседовал, но от тостов воздерживался.

Игорь воспользовался первой возможностью, чтоб уйти незаметно.

16

После этого инцидента отношения Атарина с Хрусталевым стали сухо официальными. В один прекрасный день Атарин распорядился загрузить Хрусталева сверкой технической документации — работой, которой обычно занимаются конторские работники или инженерная молодежь. Игорь пошел к Феде. Тот, очевидно, ждал его.

— Все этим занимаются, — наставительно сказал Федя.

— Во всяком деле есть черновая сторона. Но в данном случае для меня это просто неквалифицированная работа. Я не буду.

— Как хочешь. Существует производственная дисциплина. Генеральный скажет — неуправляемая личность! Сократят ставку.

— Пожалуй... По твоему представлению.

— Я отказываюсь продолжать разговор на эту тему! Можешь вообще не работать!

— Я не на тебя работаю. Мы можем выйти первыми с беззубчатой передачей — эта идея носится в воздухе. Но ты не хочешь. Тебе это не нужно! Ты ж поставлен, чтоб думать об отрасли...

Так же как Хрусталеву было неловко жаловаться на Атарина, так и Федя не мог возбуждать дело против бывшего друга. Все официальные инстанции рассудили бы это как недоразумение. Причем виновным оказался бы Федя как старший по должности: не создавай конфликтную ситуацию.

С другой стороны, Игорь не мог апеллировать к общественному мнению, что, мол, его загружают мелочами (и в этом был тонкий Федин расчет). Тут бы Хрусталева поддержки не получил, ибо огромное количество работников, в том числе и инженерная молодежь, занимающаяся сверкой, рассудили бы: да, конечно, Хрусталева — величина, изобретатель, но почему бы и ему иногда не заняться тем, чем постоянно занимаемся мы? Ничего, ничего, пусть, как мы, поищет...

— Порфирий Юстинианович? С вами говорит Игорь Николаевич. Это тот человек, с которым вы за обедом говорили о тарифной сетке и который...

— Выручил нас с валами? Товарищ Хрусталева! Как же, как же... А мы тут вспоминали о вас. Слушаю-с.

— Вы мне дали свой телефон и сказали: если что — звоните. Вот мне и приспела надобность в вашем совете, а может, и помощи.

На следующей неделе Хрусталева был у Порфирия Юстиниановича.

— Видите ли, специалисты вашего класса нам очень нужны и возможности есть, не скрою, у нас всегда в резерве ставка... Но я заранее скажу: если ваш директор будет против вашего перевода, наш не станет настаивать, потому как нас уже критиковали, что кадры переманиваем. Если по-доброму, тогда дело другое. И довод убедительный: идете на повышение.

— Но вы предупредите, что я не имею ученой степени.

— «Не это решает», — улыбнулся Порфирий Юстинианович, — это ваше выражение, а я запомнил. Но у нас не степень решает. Нет!

Теперь Хрусталева боялся получить отказ у себя. Пришел новый директор, мобильный руководитель, сразу объявил, что лично займется кадрами.

В кабинете генерального теперь сидел Сидор Семенович, пожилой ученый в очках. Он пробежал заявление, взглянул на Хрусталева и сказал:

— Хорошо, оставьте.

— Я бы просил решить этот вопрос сейчас,— сказал Игорь Николаевич.

— А что такая спешка?

— Видите ли, там, в «Голубом», мне предложили лабораторию, и как раз мой профиль. Так или иначе я все равно уйду.

— А, выдвижение! Ну что ж, не смею препятствовать: человек идет на выдвижение, никаких обид — это мой принцип. Только позвольте! «Голубое» — это же чистое производство, вы потеряете дополнительный отпуск. Вы в курсе этого?

— Степени у меня нет, Сидор Семенович, и дополнительного отпуска тоже.

— А... Ну что ж, тогда все правильно.

И директор написал резолюцию. Хрусталеv вышел радостный, что дело кончилось так быстро. В отделе кадров он тотчас получил обходной лист. Но на следующий день его пригласил Пронин и сухо спросил о причинах ухода.

— Игорь Николаевич! Вы запланировали работы — кто же будет осуществлять эти планы? — спросил он.

— Очевидно, мой преемник.

— Нет уж, давайте без формальных отговорок. Именно вы специализировались на точной механике, и мы вас поддерживали. Что произошло, объясните? Может быть, мы пригласим и товарища Атаринова? — прищурился Пронин и метнул свой быстрый взгляд, который тотчас напомнил Хрусталеvu тогдашнюю их беседу. — Да что, черт возьми, наконец! Какая кошка пробежала между вами? — воскликнул Пронин, который, конечно, все знал. — Ну соберитесь вы в домашней обстановке, что ли, по-русски, как говорится...

— Этап пройденный.

— Вот вам пример: личное тесно переплелось с общественным и личное превалировало,— наставительно сказал Пронин. — Ну что ж, силой удерживать не будем, но нехорошо! И для вас нехорошо, вы совершаете серьезную ошибку — в пятьдесят лет кадровые работники не меняют место службы... Поздно! Тем более учитывая особенности вашего характера.

— Какие именно? — спросил Хрусталеv.

— Ну, знаете, есть люди, которые легко и просто меняют среду. У вас это сложнее...

Хрусталеv перешел в «Голубое объединение». Ему дали небольшую лабораторию с четкой, близкой его профилю тематикой работ. Коллектив составил пестрый: были и просто отличные исполнители, которым только дай направление — и они поведут дело; были и самостоятельно мыслящие, со своими идеями. Но Хрусталеv видел и чувствовал: он посильнее и тех и других — его пригласили отнюдь не из благотворительности. Как специалиста его тотчас признали. Но несмотря на все это, несмотря на то, что здесь не было дерганья, не было той коридорной публики, наконец, Фединой гвардии, Хрусталеv скучал по своей прежней работе. Самый счастливый период жизни остался там, во ВНИИЗе, или где-то дальше, куда он все чаще и чаще уходил в часы раздумий, раскатывая назад ленту времени, и еще дальше, в военную юность, совсем-совсем дальше — в довоенные годы, где все было так счастливо и беззаботно и были мама и папа... Видел ли тот далекий мальчик себя в будущем? Вот когда все было впереди.

Уход Хрусталева в «Голубое объединение» на должность завлаба не прошел незамеченным. По ВНИИЗу тотчас пошли круги — что? как? почему? Потребовалась приемлемая для общественности, психологически достоверная версия о причинах ухода. И такая версия была выра-

ботана заинтересованными людьми; она, во-первых, состояла в том, что сам факт ухода — это своего рода протест Хрусталева против того, что ему не дали премию за создание БМ (пункт этот был удачно придуман, так как вызывал у всякого обратную реакцию; а почему, собственно, тебе непременно должны были дать премию? Пожалуй, можно подосадовать, но уходить нелогично, что это еще за протесты); во-вторых, версия, то есть еще одна причина ухода, состояла в том, что новый директор решил взять твердый курс на научные кадры, а при такой ситуации Хрусталева, не будучи кандидатом, мог лишиться персональной ставки; в-третьих, потому, что Атаринов, став начальником опытного производства, смог объективно оценить деловые качества своего бывшего друга и убедился, что да, Хрусталева — неплохой специалист, работать может, так говорили в кулуарах, но как организатор и руководитель мастерской он уже не отвечает новым, возросшим требованиям. Таким образом, для различных групп и веяний были придуманы разные причины на выбор. Да и не слишком-то много было разговоров! Тот же Санька Серов, собираясь на очередной симпозиум в Амстердам, услышав об этой новости, недоуменно возвел складки на лбу, как бы ища высшую мудрость, и тотчас распустил их: «А че? Закономерно. Раз пошел на Атаринова — тупиковая ситуация» — и заговорил о преимуществах железнодорожного транспорта перед авиацией, особенно для поездки на небольшие расстояния («В спальном вагоне хоть отоспишься, черт поberi... Нет, я больше люблю в поезде»); Илья Подранков в своей доброй обаятельной манере говорил: «А чего Игорь с Федей не поделили? Федюха — умный мужик». Он даже зашел к Атаринову поворчать, но был так приветливо встречен и облакан, что ограничился недоуменным вопросом и тут же добавил: «А чего вообще-то? Уж три с половиной сотни ему там положат — и лаборатория!»

Федя долго искал кандидатуру для замены Хрусталева. Взвешивал. Не без колебаний назначил начальником мастерской спокойного пожилого инженера Никифорова, который скоро наладил отношения со Жлобиковым, заявив, что «коллектив один и будем делать общее дело». И хотя в последующие месяцы мастерская не дала ни одной собственной разработки, а ВНИИЗ, имея свое опытное производство, стал прибегать к заказам на стороне (когда шла речь об изготовлении прибора высокой точности), — несмотря на все это, мастерская числилась на хорошем счету и никаких конфликтов с отделом труда у Никифорова не возникало.

17

— Садитесь, Федор Аниканович, — любезно предложил Пронин.

Федя сел не развалясь, но вполне непринужденно.

— В парткоме есть мнение: послушать ваш отчет, — объявил Пронин.

Помедлив мгновение и собравшись с мыслями, Федя спросил, чем это вызвано.

— Речь о плане, вопрос актуальный, я бы сказал — всегда актуальный. А что вас, собственно, удивляет? Хотим послушать, как идут дела на опытном производстве.

— Что, были сигналы? — насторожился Федя.

— Да ведь смотря что считать за сигналы. Если иметь в виду жалобы или анонимные письма, то таковых нет. А коммунисты заходят к нам, делятся своими соображениями, высказывают мнения... Для нас это тоже сигналы, они идут постоянно.

— Ясно. И что, создается комиссия?

— Ну, разумеется, вопрос будут готовить как положено.

— Что ж, мы только рады будем, — сказал Федя.

Уже по дороге к себе Федя подумал: то, что его будут слушать,

уже есть признание. Глебова ни разу не слушали на парткоме. Слушают, чтоб распространить положительный опыт. А если и найдут недостатки, покритикуют— пусть! Это всегда полезно, а что сделано, то сделано. И Федя стал прикидывать, что сделано положительного. И насчитал немало. И по росту производительности труда и по внедрению новой техники. Освоены новые виды продукции. Никаких особых конфликтов не возникало. Конечно, если задаться целью копать, всегда можно найти... Но сейчас это не принято.

Вернувшись к себе, Федя велел свистать всех наверх. Явились оба зама и начальники цехов.

— А какой вопрос именно? — спросил Рузин.

— По опыту распространения. Тут и рост производительности и внедрение новых передовых методов. И вообще надо готовиться.

— И по кадрам?

— И по кадрам.

— Словом, отчет!

— Ну да, отчет, как обычно...

— Но чаще все-таки они выносят какой-то определенный конкретный вопрос. Это бы лучше.

— Вопросы достаточно определенные, Владимир Иванович.

Рузин посыпал трубкой, анализировал. Он смотрел на это более пессимистически. Допустим, слушали б, как распространяется на производстве почин Смирнова или Веретёхина. Постановили б: не распространяется, усилить пропаганду. Дали б рекомендацию, делов-то! Но если поставлен отчет, значит, практически проверка всей работы, по всем позициям. И Рузин стал прикидывать, как это может отразиться на его положении как первого зама. Под кого подводят лопату?

— Надо кликнуть Пашу Коридова, он всегда в курсе,— снял трубку Федя, когда они с Рузиным остались одни.

— Вряд ли, это не его каналы,— заметил Рузин, и Атаринов послушно положил трубку на рычаг.

Настроение его ухудшилось. Он почувствовал, что нуждается в умном советчике, и сейчас с надеждой смотрел на Рузина.

— Кто их знает, а возможно, все проще,— как бы побеждая собственные сомнения, сказал Рузин.— Запланировали, решили послушать... И нам же поручат составить проект решения совместно с комиссией. Возможно и так?

— Но нам надо все-таки быть готовыми.— Федя значительно поднял палец.

— Это понятно,— кивнул Рузин и снова задумался.

Наибольшее беспокойство вызывала мастерская Хрусталева, так ее по-прежнему неофициально продолжали называть.

— Как специалист Никифоров, конечно, послабее предшественника. Но с документацией вроде благополучно,— промолвил Рузин.

— Это тоже немаловажно, чтоб ни приписок, ни фиктивных нарядов. Владимир Иванович, я вас прошу лично проследить за этим.

— Все понятно,— вздохнул Рузин,— хотя в известной степени все это условно,— вдруг обескуражил он шефа.

— Если так, вообще все условно!

«„Послабей предшественника...” Смешно! — думал Федя, когда Рузин ушел.— Никифорову до Хрусталева как до звезды небесной! Но вот пожалуйста, Хрусталева нет, а дело идет и, между прочим, план выполняется и даже перевыполняется. И никакой катастрофы не происходит. Все потому же: не это решает! Ну? Факт же! По идее, если б это решало, Никифорову следовало б сказать: дорогой товарищ, ну, не тянешь ты, не тянешь, и к тебе никто не обращается за помощью, ты и чертежи-то с трудом читаешь, а до седых волос дожил... Чем же ты занимался, дорогой друг?! И в характеристике одни комплименты...

«Уравновешен. Умеет находить контакт с коллективом. Пользуется авторитетом». А соосность ты мне найдешь?! Не слыхал? Вот поэтому у нас все так и идет...» — вздохнул Федя и вызвал Никифорова.

Никифоров был приятный человек лет шестидесяти, спортивный блондин с выражением на лице самого искреннего простодушия, которое, быть может, и было наигранным, но самую малость. Он явился с папкой и аккуратно сел, не опуская выжидающего взгляда. «Держитесь, однако, службу знает», — подумал Федя.

— Слушаю вас, — сказал Атаринов весьма суховато.

Никифоров открыл папку и доложил об итогах последнего месяца.

— С этим я знаком уже, — остановил его Федя и нервно застучал по столу пальцами, что всегда служило признаком нарастающего раздражения.

— Думаем досрочно завершить программу квартала. К двадцать пятому.

— На чем, на тисочках? — прищурился Атаринов. Он знал про этот заказ со стороны, абсолютно не отвечающий профилю мастерской, но выгодный с позиции выполнения объема работ в нормо-часах.

Никифоров в недоумении пожал плечами.

— Все правильно, — кивнул Федя, — жизнь есть жизнь, тисочки тоже нужны и нам нужны проценты... А кроме?

Никифоров вновь пожал плечами.

— Все нормально, Федор Аниканович, в коллективе создана здоровая атмосфера...

— Атмосфера есть, а вот разработок чего-то не видно, — вдруг жестко, с холодной административной вальяжностью, как только умел он один, приложил Федя.

Простодушие на лице собеседника проступило еще сильнее. Не желая портить отношение с подчиненным накануне отчета, Федя повторил свое: «Нет, все правильно» — и уже исподволь повел речь о том, что вот был Хрусталеv, которого критиковали («И справедливо критиковали»), но все-таки мастерская хоть и редко, но давала свои конструкции, приспособления, автоматику, которые отрасль брала на вооружение; что здоровая обстановка и отсутствие конфликтов — это хорошо, но нужно дело (в этом месте Федя даже вспыхнул: «Вы себе эти тисочки в заслугу не ставьте... Не тот профиль!»). Никифоров раскрыл свою папочку и попросил разрешения доложить сводку выполнения на вчерашний день. «Дак!» — чуть было не вырвалось у Феде, но он сдержал себя, понимая, что нельзя нарушать правила игры и что это может обернуться лишь против него, Феде.

— А как используется СО-4? — спросил Федя.

Станок СО-4 с программным управлением добывал еще Хрусталеv, предполагая использовать его для высокоточных фрезерных работ.

— Отлично приспособили, Федор Аниканович! Запустили партию ключей. По программе работает.

— Ясно.

Уже после ухода Никифорова, овладев собой, Федя подумал: напрасно он дал волю своим порывам. Сидит человек и пусть сидит. Не нервнует, не требует, не претендует — сейчас именно такие нужны.

Моя повесть подходит к концу. Восемнадцать лет я, специальный корреспондент «Известий», писал о людях нашей промышленности и науки, а до «Известий» в ленинградской печати, в «Литературной газете». Сегодня я хочу вспомнить тех, о ком мне случилось писать в продолжение этих десятилетий.

Надежные рабочие лошадки, герои мои...

Я вспоминаю вас, Георгий Иванович Фишкин, механик с Сестрорецкого инструментального. Это вы всю жизнь искали соосность в машинах, как называют станки профессионалы, и находили ее после того, как десятки специалистов со степенями и без разводили руками.

Вспоминаю вас, создателя «голубой оптики» с Ленинградского оптико-механического — ЛОМО, механик Леонид Алексеевич Селиванов! Это о вас сказал гениальный конструктор уникального телескопа Баград Константинович Иоанисиани: «Прибор отдайте юстировать только Селиванову. Он один, больше никто». Потому что только вы можете установить по сетке микроскопа зеркальный нож модулятора с допуском лишь в полмикрона!

И все же оптикам повезло, у них генеральный — Михаил Панфилович Панфилов, тоже рабочая лошадка. Начал с мастера почти полвека назад... Тянул участок, потом цех, производство, затем завод и теперь знаменитое ЛОМО, Ленинградское оптико-механическое объединение... Михаил Панфилович любит находить умных людей, не боится конкурентов, и, слава богу, ему нечего их бояться. Я помню нашу встречу уже в экспрессе Москва — Ленинград. Мы разговорились о проблемной статье одного бывшего ленинградского директора. Вы сказали об авторе: «Да... Мужик-то он смелый! А вот насчет механизации не очень... Ее ж надо сквозь себя пропустить». Сквозь себя!

А знаете ли вы, как появился проект первых отечественных сверхточных прецизионных станков? Жил в Питере до войны у Сенной площади, рядом с Троицким храмом увлеченный юноша Алеша Кирьянов. Работал на станкостроительном имени Свердлова вначале чертежником, потом старшим техником. И все было впереди. И все оборвалось 22 июня сорок первого. От брони мечтательный юноша отказался. В бою под Нарвой был ранен и попал в плен. А весной сорок пятого к командиру дивизии, освободившей узников лагеря военнопленных, привели исхудалого человека. Он твердил: «Ради бога, бумаги и помещение!.. Я могу все забыть, я три года держу в голове проект». А в шестидесятые годы Алексей Иванович уже скрестил меч с коронной швейцарской фирмой СИП, и Франция впервые предпочла кирьяновские станки сиповским. А когда я написал об этом, мне позвонил какой-то Паша Коридов или Рузин из их конструкторского бюро и сказал: «Конечно, Кирьянов — личность, но дайте мне его ставку, лауреатство — я тоже выдам». Через некоторое время в «Ленинградской правде» появился некролог с портретом А. И. Кирьянова. Тоже, наверное, нашлись завистники: «Ох, как крупно дали!»

Бывший Обуховский завод, ныне «Большевик», за Невской заставой. Какие там есть цехи, какие площадки! Разверзаются своды, открываются небеса — и остановишься, пораженный гением трудолюбия и мастерства...

«Будете писать — напишите: мастерство у нас мало ценят. Квалификация падает, утрачивается стимул обрести мастерство. И подмастерья теснят мастеров, а этого нельзя допускать...»

Это сказал обуховский лекальщик-наставник, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета РСФСР Петр Николаевич Иванов; не себя он имел в виду, ибо он-то получил все и на знаменитом «Большевике», где много людей со званием, его называли Герой из Героев. И словно заколебалась под ним земля, он, знаменосец города, открывавший праздничные народные шествия, на склоне лет устало повторял: «Не ценится...» Безотказный был человек. Рабочий. И сгорел на работе, и гроб с его телом плыл над толпой среди цехов обуховского гиганта. И сын Иванов Николай Петрович, тоже мастер, достигший отцовского мастерства, в отца, но покруче характером и говорит порезче: «Жестче надо с лодырями, с бездельниками, прижать бы их!»

В приемной парткома царила Зинаида Николаевна, в прошлом партийный работник, теперь пенсионерка и технический секретарь. Строго из-под роговых очков с разными дужками она оглядывала входящих своим колким взглядом. В приемной всегда сидели два-три человека — пропагандисты из актива. И нельзя было доставить ей большего удовольствия, чем спросить, где найти нужную цитату. Вы еще не успевали договорить свою мысль, как Зинаида Николаевна, значительно улыбаясь, кивала и говорила: «Да, да, помню. Это нужно смотреть в девятом томе третьего издания. Я все привыкла по-третьему... Вы посидите, я сейчас...» — шла в парткабинет и возвращалась торжествующая с томиком в руках.

Здесь существовали свои традиции, например шутить, вести светские беседы, громко разговаривать было не принято, и если кто-либо нарушал их, Зинаида Николаевна смотрела с недоумением. Рассказывают, что Зинаида Николаевна много лет провела на Крайнем Севере, а потом вернулась на свой завод, пришла в партком, а как раз шло заседание и кто-то, кажется тот же Тишкин, объявил: «Товарищи, вернулась Зина! Наша Зина...» Заседание прервали. Многие слышали это имя, окруженное ореолом легендарных лет. Так совершилось второе явление Зинаиды Николаевны в этих стенах. Все привыкли к ее строгому облику, который, казалось, теперь уже не менялся.

В дни заседаний партийного комитета привычный ритм невольно нарушался. Многие приходили сюда задолго до начала заседания, чтоб ознакомиться с проектами документов, справками, протоколами прошлых заседаний, однако общий стиль оставался прежним.

Федя пришел подтянутый, в темном галстуке. Он отлично знал здешний стиль и прежде всего подошел к Зинаиде Николаевне. Она улыбнулась с обычной любезностью и подала ему интересующие его документы. Справку комиссии он, разумеется, читал и принимал участие в ее редактировании. По его просьбе комиссия в констатирующей части вписала фразу о последовательном росте производительности труда; тут важно было само слово «последовательный», что отвечало общей тенденции НТР. Теперь Федя хотел убедиться, осталась ли эта фраза в окончательной редакции. Если выкинули, это плохой признак. Федя сдержанно, стараясь не волноваться, искал эту фразу, нашел наконец и облегченно вздохнул.

Вошел Рузин. И Рузин здесь был другой, сдержанный, и не только не бравировал своей греховностью, но, напротив, проявлял в обхождении обаяние, на которое, оказывается, был прекрасно способен.

— Владимир Иванович! — негромко позвал Федя своего заместителя.

Рузин не спеша, с достоинством встал и подошел к шефу.

— Смотрели? — спросил Федя, указывая на справку, чтобы как-то начать разговор. — Имею в виду после обкатки?

— А чего? Все нормально, по-моему, — отвечал Рузин, и на мгновение в выражении его лица мелькнула ирония и тотчас погасла.

— Зинаида Николаевна, наш вопрос первый? — спросил Федя.

— Первый и единственный, — отвечала она, в то время как ее белые прозрачные руки четкими отработанными движениями производили необходимую работу с бумагами.

— Что, серьезно? — насторожился он.

— Конечно! А вам — радоваться... По крайней мере смогут без спешки, детально все рассмотреть, а это всегда приятно.

Федя улыбнулся ей в знак согласия и отошел. Зинаида Николаевна встала и, держа локти слегка на отлете, вошла в кабинет секретаря, затем вернулась и, торжественно оглядев собравшихся, сказала:

— Товарищи, прошу всех приглашенных пройти в кабинет.

Было ровно три часа.

Зинаида Николаевна заняла свое обычное место рядом с Прониным и так же естественно, как в приемной, продолжала работу с бумагами, так что каждый документ попадал в руки того лица, кому он требовался в данный момент. Члены парткома сидели, как обычно, за столом, состыкованным с секретарским. Пронин объявил повестку дня заседания, ее тут же утвердили и перешли к рассмотрению вопроса.

Федя рассказал о работе опытного производства. Председатель кратко повторил то, о чем говорил Федя, и подтвердил приведенные Федей цифровые данные. Перелом начался со слов: «Однако надо различать задачи, стоящие перед производством вообще и перед опытным производством. Наше опытное производство по идее должно быть мастерской отрасли по выпуску образцов. В какой же мере наши опытники решают эту задачу?»

— Какие будут вопросы к докладчику? — спросил Пронин.

Сидевший прямо против секретаря Остров попросил уточнить, за счет чего растет производительность труда. Федя оскорбился: что, здесь дети сидят? Не знают за счет чего? Демагогия!

Остров продолжал:

— Вопрос мой продиктован чисто практическими соображениями: если раньше наши заказы на специнструмент и приспособления выполнялись в течение максимум месяца и мы считали, что это слишком долго, то теперь, при возросшей производительности труда, на заказы уходит полтора-два месяца как минимум. Где логика?

Люди оживились. Парадокс: производительность растет, а работают медленней.

— В таких случаях надо говорить конкретно, — бросил реплику Федя, — сроки определяются трудоемкостью выполняемых работ!

— Федор Аниканович, я говорю о системе: сроки удлинились.

— И намного! — поддержал Горовой. — Вообще любая мелочь стала проблемой! Никогда такого не было...

Федя понял, что обсуждение принимает неожиданный оборот. В нем вспыхнуло возмущение, но он сдержал себя и начал набрасывать новые тезисы. Почему сбрасывается со счета организация производства товаров широкого потребления? Крупнейшие заводы — Кировский, «Большевик» — организовали у себя цехи ширпотреба, мы тоже не остались в стороне. Это во-первых... Во-вторых...

Отворилась дверь, и боком, делая извинительный жест обеими руками, вошел Тихон Иванович Шашечкин, уселся в уголке. Федя совсем растерялся: он надеялся, что от дирекции придет генеральный или Борис Борисыч, в крайнем случае, а от Тихона всего можно ожидать. Уж и очки надел и талмуд свой достал.

— Какие еще вопросы к основному докладчику? — повторил Пронин.

— Меня интересует: чем вызвана необходимость брать заказы со стороны? — спросил Мацулевич.

— Какие именно? — уточнил председатель.

— Скажем, те же гаечные ключи. Я могу понять, что в этих изделиях имеется потребность, но у нас опытное производство! Я еще раз повторяю: опытное! Со своим профилем, со своими особенностями. Мы отвечаем за отрасль, — со сдержанным негодованием говорил Мацулевич.

Федя тотчас определил, кто нагнетает обстановку — завлабы, которые административно не подчинялись ему. Он-то надеялся, что они у него в руках: от него зависит, чей заказ пустить в первую очередь, кого и попридержать... И вот восстали. И теперь катят бочку. Сроки

удлинились?! А чертежи дают в каком виде? Формально он мог бы не принимать заказ... Хрусталеv приучил их выполнять по наброскам, это кустарщина. С этим надо бороться. И, взяв слово для справки, Федя с достоинством высказал свои мысли.

— Мы за инженерный подход,— закончил он.

— Инженерный подход состоит в правильном понимании задач опытного производства,— парировал Остров и сослался на пример с Белой Машиной: изменение формы направляющих с учетом силы земного притяжения производилось вообще без предварительной коррекции чертежей, по-кустарному, на глазок, но дело от этого только выиграло, такова одна из особенностей опытного производства и... ручного творческого труда.— Чтoб не быть голословным, спросим одного из создателей БМ. Терентий Кузьмич, вам Хрусталеv давал какой-нибудь чертеж? — повернулся Остров к Тишкину.

— Это по «бугорку»? Как же! Игорь Николаевич сам рисовал чертеж.

— Долго рисовал?

— Ну, сколько?.. Набросал минут в пять.

— В одной проекции?

— А сколько их надо? Главное — мысль понять.

— Терентий Кузьмич, вы очень хорошо сказали: главное — мысль понять,— добавил Остров.

Атаринов взглянул на Пронина. Но по выражению его лица нельзя было понять, на чьей он стороне. Он внимательно следил за разворачивающейся дискуссией, и лишь когда один из выступавших поставил под сомнение целесообразность выпуска товаров народного потребления, Пронин заметил, что выпуск товаров массового спроса нельзя ставить в вину, в печати было обращение к руководителям машиностроительных заводов создать цехи для производства товаров народного потребления, но, разумеется, не в ущерб основным задачам, это он подчеркнул.

— Я согласен,— заявил Остров,— но Федор Аниканович ратовал за инженерный подход. В какой степени это относится к организации производства товаров, пользующихся спросом?

— В такой же степени,— ответил Федя, пожав плечами.

Остров тонко улыбнулся и сел.

— А что такое инженерная позиция? — поднялся вновь Мацулевич.— Прежде всего, я полагаю, это технически грамотная позиция...

Федя вспомнил: Мацулевич дважды останавливал его в коридоре и просил ускорить изготовление, в общем, несложного прибора в мастерской Никифорова. И Федя, кажется, звонил... Или не звонил? Неужели они так и не выполнили заказ? Тогда понятно.

— Инженерный подход, между прочим, состоит и в том, чтобы уметь считать,— продолжал Мацулевич.— Если себестоимость тех же ножниц у нас на производстве в три раза выше, чем на профильном предприятии, то встает вопрос: какой смысл? Нужна специализация!

— Минуточку, но если себестоимость высока, откуда может быть рост производительности?

— Вам объяснили: на гаечных ключах повышают.

— Ну, здесь как раз существуют определенные инструкции.

— Интересно, если б Хрусталеv руководствовался ими, в какой пятилетке он сдал бы свою машину?

Снова всплыло имя Игоря Хрусталева. И тут же заговорили о текучести кадров. Посыпались имена кадровых рабочих высокой квалификации — вот кто уходит, не случайные люди... Федя решил не давать спуску. Он подтвердил, что да, ряд рабочих уволился в связи с заменой высококвалифицированного ручного труда механизацией.

— Заблуждение и уверенность в том, что НТР ведет к деквалификации кадров,— не ново,— кинулся вновь Мацулевич,— неожиданно слышать это здесь! А когда я или другой завлаб просят вас ускорить заказ, вы, Федор Аниканович, ссылаетесь на нехватку квалифицированных рабочих. И снова нет логики...

— К вопросу о квалификации: какой станок легче наладить — нашего старичка ДИП-200 или современный прецизионный типа СО-4? — послышалась реплика.

Расстроенный Федя, уже не подумавши, брякнул:

— У Форда на конвейере трудятся рабочие самой низкой квалификации. А, между прочим, в чем, в чем, а в плохой механизации его нельзя упрекнуть...

И тогда попросил слово Тихон Иванович Шашечкин.

— Атаринов ссылается на Америку,— сказал он,— но всем известно, что с фордовского конвейера сходят машины среднего класса. И сам Форд так считает. Но в той же Америке и, кстати, во всех промышленно развитых странах наиболее точные работы производятся с помощью ручного труда! И тот же конвейер собирают вручную. И автомашины высшего класса только ручной сборки...

Этот консервативный бюрократ Шашечкин брал на себя роль прогрессиста! И колол его, Федю...

— А зачем нам ссылаться на Запад? — патетически восклицал Шашечкин, чувствуя, что общественные симпатии на его стороне. — Что нам Форд?.. Тишкина нашего возьмите. Кто из присутствующих видал, как работает Тишкин? Вот, скажем, Терентий Кузьмич, тебе поручили изготовить калибр или что там еще... Ну пусть калибр. С чего ты начнешь работу?

— Мерительный инструмент делать надо, хотя б скобу. Чем промерять-то? Если по-серьезному...

— Терентий Кузьмич, ты правильно сказал: если по-серьезному! Вообще говоря, существуют мерительные инструменты, тот же штангель, микрометр... Но это нет! Это не для уникальной детали. А для идеальной точности — скоба. Для промера одной лишь детали. Прежде чем браться за деталь, рабочий думает о мерительном инструменте, чтобы использовать его всего лишь однажды. Товарищи, это и есть партийный, государственный подход к делу.

— Но это же крайне непроизводительно,— бросили робко.

— Что? Непроизводительно? Да кто ж на калибрах и эталонах строит производительность?! — воскликнул Шашечкин, весь сияя.— Грамоту надо знать! Производительность закладывается в инструмент, в образец!

Что-то знакомое. Кто-то уже говорил это Феде, и не раз. Игорь, вот кто!.. Тот Игорь, с которым они вместе возмущались консерватизмом и вероломством Шашечкина... Как все странно повернулось!

— И здесь мы должны отдать должное этому... Хрусталеву! Он, конечно, ренегат, что сбежал... и замашки анархистские, но свою задачу он понимал, твердо держал линию: все детали их теперь уже, можно сказать, знаменитой машины изготовлялись вручную, без применения копировальных устройств, так, Терентий Кузьмич? Вот!.. А теперь возьмите общеизвестный пример — наши телевизоры. Миллионами сходят с конвейера. Полная унификация, стандартизация, специализация — и никаких проблем, никто не жалуется. А потому что вначале отработали технологию и потрудились руками такие вот корифеи, как Терентий Кузьмич! Потом — пожалуйста, на конвейер. И мы — отработчики. А наше опытное — библия отрасли. Ты Библию-то читал? — под общий смех бросил Шашечкин Атарину.

Теперь Федя видел: практически все завлабы, все члены ученого совета выступили против него. Из авторитетных специалистов промолчал лишь Илья Подранков. Он сидел, понурив голову и стараясь не смотреть в Федину сторону. «Уж мог бы сказать несколько слов,— думал Федя,— ему всегда шли навстречу... Каждый о себе. Только!» Но в глубине души он не мог утешать себя, что Шашечкин коварен и давний враг его или предвзяты отдельные члены комиссии...

— Товарищи, вот здесь поступила записка: интересуются, как используется камера для производства высокоточных работ в подвальной отсеке мастерской Хрусталева... прошу прощения — Никифорова,— сказал Пронин.

И прежде чем Федя успел сообразить, поднялся Никифоров и не без самодовольства проинформировал собравшихся, что помещение отнюдь не пусто, а используется для хранения поступающих заготовок — болванок.

— Это в голове у кого-то пусто, — отчетливо проронил Горовой. Оживление...

— А во сколько обошлось институту оборудование в подвальной части здания уникальной камеры, не зависимой от земных колебаний? Кто в курсе?

— Это делалось поэтапно, в течение нескольких лет, — озабоченно отвечал Рузин. Он курировал финансы.

— Все-таки общая сумма?

— Что-то около полутора миллионов. Этим Хрусталев занимался, он имел прямой контакт с Глебовым. Точно я затрудняюсь ответить... Наступило недоброе молчание.

— Чему ж удивляться, — произнес Остров.

Это был нокаут. Больше никто ничего не говорил. Все стало ясно.

Подводя итоги обсуждения, Пронин заметил, что проект решения парткома в его нынешнем варианте нуждается в значительной доработке. Поступило предложение об укреплении руководства опытным производством. Федя был бледен, но держался с достоинством. «Ничего, пусть...» — повторял он, чувствуя, что ему не хватает воздуха.



ИЗ БЕЛОРУССКОЙ ЛИРИКИ



ПИМЕН ПАНЧЕНКО

Солдатские вещи

...Вот и вернулся ты с фронта, солдат.
Как гимнастерка твоя порыжела!
Счастливы мама, и сестры, и брат,
И земляки... А кругом поредело.

Кто-то до срока достиг седины.
Рядышком слезы соседские льются:
— Как повезло вам! Вернулся с войны!
Ну а вот наши уже не вернуться...

Поровну в чарках и водки и слез.
Влагу со щек утираю украдкой.
Малый недостаток я с фронта привез —
Сумку, ремень да шинельную скатку.

И котелок я с войны приволок.
Как приглянулся он младшеньким нашим!
Жалко мне, что ли? Пошел котелок
В дело — для игр и, конечно, для каши.

Переоделся в цивильное я,
Галстук опять повязал неумело.
А гимнастерка бывалая моя
Чьи-то озябшие плечи согрела.

...Память не стоит опять бередить.
Все же вопрос задаю не впервые:
Как ты, приятель, сумел сохранить
Старые вещи свои фронтовые?



Много ли радостей у человека?
Больше тревог, затруднений, забот.
Радует нас — так ведется от века —
Птиц возвращенье, весенний прилет.

Выглядит странник из давней скворешни,
Первые листья начнут шелестеть —
Сердце наполнится бодростью весенней,
Сам ты готов над землю взлететь.

Скажет приятель твой доброе слово,
С милой улыбкой подкатится внук —
Жизнь превосходной становится сясва,
Новые строки рождаются вдруг.

Нынче весельем наполнена горница —
Звонко в окно постучалась пчела,
Ласточка перечеркнула все горести,
Старая липа цвести начала.

Аркадию Кулешову

Притихла боль.
Одна тоска тупая...
Ни позвонить тебе, ни отыскать.
Я тихо по следам твоим ступаю.
Как не хватает мне тебя, Аркадь!

Листок от ветки отлетел к несчастью,
Не удержу его,
Не догоню.
Костер зажег ты на шоссе Варшавском,
Вновь прихожу я к этому огню.

Живу в кругу твоих стихов и песен,
На той земле, где средь лесных полян
Задумчиво текут Вихра и Беседь,
Вливаясь в жизнь, впадая в океан.

Как поступал ты — так или иначе?
Кого любил ты
Или не любил?
Заводят спор мемуаристы наши,
А суть одна —
Ты Кулешовым был.

Ты мудрым был,
Все отдал отчей речи,
Тебя всегда поэзия вела
По светлым руслам белорусских речек,
И капли солнца
Падали с весла.

Осенний день.
На юг умчались гуси.
Над Свислочью, под вербою седой
С тобой бедой и радостью
Делюсь я,
Советуюсь по-прежнему с тобой.

Нам без тебя трудней дается слово.
Мы — в поиске.
А по орбите лет
Вершит свой путь планета Кулешова
И неизменно излучает свет.

* * *

Какой ты увидишь маму
Во сне, обращенном к детству?

С бывалым серпом средь жита,
С улыбкой голубоглазой?

А может, в халате белом
На ферме, где гомон птичий?

А может, впервые в школу
Идешь ты, ведомый мамой?

Руки ее натружены,
Но серьги в ушах сверкают.

Какой ты увидишь маму
Во сне, обращенном к детству?

Одну, постаревшую в бедах
Или с отцом невероятным?

А может, в снегу, убитую
Под грозным военным небом?..

Какою приснится мама,
Такою будет и песня.

ПЕТРУСЬ МАКАЛЬ

* * *

Влечет нас быстрая езда.
Столетия скоростного дети,
Мы, так уж повелось на свете,
Стремглав несемса кто куда.
И я спешу, лечу, как все.
Мне ни к чему дорожный посох.
Как общежитье на колесах,
Автобус мчится по шоссе.

Вперед! Сосед прижат к соседу,
Прильнуло платье к пиджаку.
Веселье, споры. Люди едут,
Привыкнув к тряске, к сквозняку,
Тут все впритык — сирень, железо.
Баян, румянец калача,
А рядом с немотой протеза
Тепло здорового плеча.

Тут с дамским сапожком
в соседстве
Сапог натруженных кирза.
Тут смех и горькая слеза
Нерасторжимы, словно в детстве.
Шоссе мерцает, как вода,
А все ж покрытие не гладко,
Машину треплет лихорадка,
Одна езда, одна беда.

Тут от внезапного рывка
Дорога дыбится прямая.
Пусть будет верною рука,
Баранку чуткую сжимая.
Шуршит бетонная тропа,
Мелькают рощи и предместья,
Сидим, стоим, рискуем вместе,
Сто жизней — как одна судьба.

Жажда

И я тут был. И я со всеми пил
Из необъятной и бездонной чаши.
Вобравшей беды и победы наши,
Однако жажду в ней не утопил.

Неутоленный, к ней всегда везде
Я припадал, а все казалось —
мало.

Обычно лишь текло по бороде,
Хотя и в рот порою попадало.

Из рук ту чашу выронив однажды,
Тебе, мой сын, растущий человек,
Я не богатство передам, а жажду.
Ее б хватило мне на новый век.

* * *

Трубили в небе журавли,
Предвестьем холодов тревожа.
Просторы зябнущей земли
Зима врасплох застала все же.

День ото дня, день ото дня
Средь голых ив и листьев палых
Все явственнее суетня
Приготовлений запоздалых.

Все тучами затенено,
Но и в потемках ветровейных
Мураш былинку, как бревно,
Усердно тащит в муравейник.

Дорогу вихри замели,
Струятся снежные извивы,
И белый свитер для земли
Поземка вяжет торопливо.

РЫГОР БОРОДУЛИН

Огнепоклонница

Богобоязненной мама была,
С трепетным сердцем,
С душою-иконницей,
Но, созидательница тепла,
Больше была она
Огнепоклонницей.

Пламя печное кормила из рук
Тонкой берестой,
Сосновыми чурками,
И огонек, разгоревшийся вдруг,
Цвел, охраняемый
Пальцами чуткими.

Цвел он,
Живым обдавая теплом,
Пламячко вкусно хрустело
поленьями.
Снег, обнимавший сугробами дом,
Тoже, как печка,
Служил утеплению.

Мать, словно сватью свою,
На кутью
Молнию в дом
Пригласила б доверчиво,

Но, возвращаясь к житью-бытью,
Утром лучины щепала
и вечером.

Искры вздувала, подставив
ладонь.
Словно зерно от половы
Отвевала,
Верила свято в домашний огонь,
Разумом, сердцем и зрением
Верила.

И хоть в дыму потемнело чело,
Жар до конца
Не тускнел в ее облике.
Полымя боли ее вознесло,
Как пепелинку,
К высокому облаку.

Чтобы следы мои
Не замело,
Чтоб не робел я
Пред снежною конницей.
Щедро оставила сыну
Тепло
Акулина Андреевна —
Огнепоклонница.

* * *

Из лучших лучшие стихи
Тебе я напишу.
Еще я их кормлю с руки
И не взлетать прошу.

Окрепнуть крылья их должны,
Еще растут они.

Птенцов младенческие сны
Случайно не спугни.

Поверь, они взметнутся ввысь,
Чтоб душу всколыхнуть.
Прошу я, терпеливой будь
И взлета их дождись.

Высота

Высота не терпит суеты.
Небосвод
Беседует с долиной.
Птицы,
Овцы,
Чабаны,
Цветы
Здесь царят.
Гадюки — ни единой.

Луг альпийский — как Олимп.
Светлы
Нимбы радуг над земным
простором.

Высотой распятые

Орлы
Всю планету обнимают взором.

Ирис в белых крапинках
Красив.
Абрис круч штрихами снеговыми
В небеса вписался,
Повторив
Облаков недоное вымя.

Речки серебро,
Заката медь
И высокогорная оправа.
С ними породнясь,
Парить и петь
Можешь.
Ползать не имеешь права.

Январская гроза

Сперва измаяв духотой
 Притихшую Гавану,
 Прохладный,
 Праздничный,
 Густой
 К рассвету ливень грянул.

Излом трескучих молний крут,
 Грома зенит прошили.
 Китами по воде плывут
 И фыркают
 Машины.

Край тучи вспышкой обведя,
 Сверкает шнур запальный.

Стекают капельки дождя
 С мохнатых листьев
 Пальмы.

Январский ливень, с высоты
 Низвергшийся наклонно,
 Окрасил заново кусты,
 Балконы,
 Кровли,
 Кроны.

А солнце блещет серебром
 Сквозь пряди тучи рваной.
 Грохочет
 Первый зимний гром
 Над утренней Гаваной.

АНАТОЛЬ ВЕЛЮГИН

Из давнего дневника
(Осень 1945)

Тишина на Тихом океане
 И в Берлине тишина руин.
 Мирно полыхают на поляне
 Зарева негаснущих рябин.

Тишина слышней прошедшей бури.
 Чуть зардеет небосвода край,
 Сам себе на палубе «Миссури»
 Приговор подпишет самурай.

И снимает свой шелом Россия,
 А над нею журавлей ряды,
 И звенит их клик от крымской сини
 До Курильской каменной гряды.

МАКСИМ ТАНК**Поэзия**

На тебя загляделся я так,
 Что уже и не видел дороги
 И, ступив босиком на большак,
 О камня разбил свои ноги.

Как заслушался я, как ловил
 Голос твой на крутом перевале.
 Даже грохот окрестных лавин
 До меня доносился едва ли.

Если я тебя так полюбил,
 Что мне камни и грома раскаты?
 Об одном я спросить позабыл —
 Полюбила ль меня ты?

В субботу,
 Когда было завершено
 Сотворение мира,
 Объявили выходной
 И устроили маскарад.
 На праздник явились
 Все звери и птицы
 В таких удивительных нарядах,
 Что и сам творец

* * *
 Не сумел распознать,
 Кто здесь кто.
 Оттого и сейчас
 Ненароком выходит промашка:
 Покличешь ангела —
 Возникнет черт,
 Запустишь камнем в негодника
 И слышишь —
 Плачет обиженный ангел.

Сегодня меня посетили
 Прибрежные жители,
 Пригласили
 На похороны реки.

Боже, ну кто бы подумал,
 Что мы сумеем ее пережить!
 Сколько в ней было живучести,
 Целительной свежести,
 Весеннего озорства...

От прощальных слов,
 Произнесенных анстами,
 Цаплями и журавлями,

* * *
 От плача
 Осиротевших чибисов
 Дрогнуло даже стальное сердце
 Того экскаватора,
 Который копал отводную канаву,
 И пришлось посылать
 За срочной технической помощью.

А в целом
 Все проходило нормально,
 Настолько нормально,
 Что кое-кого удостоили премии
 За похороны реки.

Склонилась верба над водой
 И в луговом затишьи,
 Как я, расставшийся с тобой,
 Кому-то письма пишет.

Весенние послания
 Надеждой переполнены,
 А в летних — пчел жужжание,
 Крыл стрекозиных молнии.

* * *
 И только осенью глухой
 Тоска средь нудной морosi
 Те строки в блеклый колер свой
 Окрашивает горестно.

Плывут листки, близка зима,
 А верба все качается,
 Как я, ответного письма
 Напрасно дожидается.

Куковала серая кукушка
 Ранней раню.

Но тут ее обступили
 Композиторы,
 Фольклористы,
 Литературоведы,
 Любители природы.
 Одни стали перелагать ее песни
 На собственный лад;
 Другие — записывать
 На магнитную пленку;
 Третьи вознамерились

* * *
 Изучить ее интимную жизнь:
 Отчего она не занимается
 Воспитанием своих птенцов,
 Отчего в ее напевах
 Только двухсложные стопы
 С переходящим ударением?
 Четвертые пожелали,
 Чтобы она им поворожила.

— Теперь ты понимаешь, —
 Призналась погрустневшая
 вещь, —
 Отчего я остерегаюсь
 Куковать...

АЛЕКСЕЙ ПЫСИН**Баллада о дубе**

У друзей в сибирской стороне
Встретил я и вербу и осину
И по звуку узнавал лесину,
Беларусь напомнившую мне.

Тут, взойдя с уступа на уступ,
Высились стволы на перевале.
А иные словно на привале
Осеяли склон... А где же дуб?

Отвечали сосны: — Он, отстав,
Дремлет на лугу. Идти непросто.
Груз нелегкий — желуди и звезды,
А в пути немало переправ,

Бурелом, распадки, островки,
Бездорожья топкого отрезки... —
Дуб шагал. Следов тугие всплески
Сразу превращались в родники.

На привалах — стойбищах своих —
Сосны озираются и кедры,
Шепчутся, считая километры.
Может статься, дуб догонит их?

Перевел ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ.



С. СЛАВИЧ



КОНФЛИКТ

Повесть

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

С Татьяной договорились заранее, она обещала быть к двенадцати. Ближе к вечеру должна забежать мама, чтобы пройтись по сервировке рукой мастера. Специально гостей не приглашали, но ожидалась человек десять — все свои.

Софья Петровна включила на кухне радио, надела передник, открыла дверцу холодильника и, обозревая его содержимое, попыталась, как всегда, наметить план. Надо было все успеть и в то же время не измочалиться к вечеру, добиться успеха малой по возможности кровью.

Радиоточку на кухне так и называли — ее радио. Во время последнего ремонта квартиры года три назад она специально проследила, чтобы сделали сюда проводку, и всякий раз, оставшись одна, включала это свое радио. Муж, а вслед за ним дочка посмеивались: ну в самом деле, зачем тебе производственная гимнастика или передача «На полях страны»? Она отвечала: вам, спортсменам и аристократам, может, и не нужно, а мне интересно. Хотя и ей в этом сплошном потоке интересно было далеко не все. Но случалось интересное. И потом, послушав известия, можно было не читать газеты.

Да и слушала по-разному. Кое-что воспринималось, как ставший привычным шум воды из скрученного крана — на него и внимания не обращаешь, — а то вдруг прорвется хорошая музыка или что-нибудь веселое.

Сейчас передавали не веселое, а бодрое, но ей и это нравилось. В этом дражайший супруг переделать ее не смог. Бодрость и уверенность в себе остались. Когда-то он объяснял их «закваской комсомольской богини», а теперь говорил, что в Софье Петровне «бушуют гены ее мамочки».

«Нам нет преград ни в море, ни на суше...» — пело ее радио.

Итак, сорок лет. Много или мало? Хорошо или плохо?

Сейчас сорокалетних даже женщинами средних лет не называют. Тридцатилетние-то (бальзаковского возраста!) сходят за девочек. Следовательно, сорок — не много, а значит, и хорошо.

Физически вполне в форме, пока никаких — тьфу, тьфу! — модных нынче болячек. А что касается службы, то тут все говорит само за себя. Если берут в аппарат, значит, считают, что человек полон сил и м о ж е т. Такая теперь установка. И вот ее взяли.

Собственно, этот момент и был самым приятным, потому что наверх Софья Петровна не стремилась, после первого разговора попросила время на раздумье, сомневалась, а согласившись, специально оговорила, что останется на полставки в клинике. Это последнее можно было, кстати, и не оговаривать, все само собой разумелось. Вообще, как теперь понимала, она держалась тогда в несвойственном для нее ключе. Обычно решала быстро и уверенно, а тут вдруг сомнения и даже некоторая робость. Шутка ли, зовут в главные терапевты области!

Правда, видела, что начальству, которое все наперед решило, ее сомнения нравятся. Зачем-то объясняла, что эти полставки ей нужны не ради денег, а чтобы не порвать с непосредственной лечебной работой, что больше всего хотела бы заведовать пульманологическим отделением — у нее и диссертация по хроническим пневмониям, а тут как раз место заведующего освободилось...

Странное дело, еще совсем недавно она, как и большинство ее коллег, относилась к начальству несколько иронически: чиновники. А оказавшись в этом кабинете, перед облеченными властью людьми, которые смотрели на нее доброжелательно, но и снисходительно, изучающе, которые собирались резко изменить ее судьбу, для которых проблема полставки в клинике (а обычно требовалось специальное разрешение и еще следили, не совпадает ли подработка с часами основной работы) была не стоящей отдельного разговора деталью, — столкнувшись с этим, испытала даже некоторый трепет. Вспоминать о нем было неприятно, но, очевидно, другие, сталкиваясь теперь с нею самой по работе, чувствуют нечто подобное. А она поднялась над какими-то мелочами и перешла в новое качество, перебралась, если говорить житейски, из общего вагона в купе. Это, пожалуй, чего-то стоило.

Вот только кухня и субботние постирушки, забота о дочери и напряженность, которая не покидала ее, когда бы ни подумала о муже, остались прежними.

Татьяна пришла раньше обещанного, и в четыре руки дела на кухне пошли живее.

— А где принцесса?

— После школы пойдет сразу к бабушке, — ответила Софья Петровна, заранее зная, что примерно будет сказано дальше.

— Балуете. Белоручкой растет.

Софью Петровну эти разговоры о воспитании раздражали. Почему-то активней всего их ведут те, у кого нет собственных детей. И великими педагогами становятся, как правило, бездетные люди...

— Я тоже росла белоручкой, а пришло время — и всему научилась.

— Попробовала бы не научиться! При нашем-то Ленечке!..

Еще больше раздражало, когда о муже говорили так вот: наш Ленечка. Тоже, нашли общее достояние. Почему-то каждая считает возможным заявить притязания. Таня, правда, старый и верный друг, хотя и тут...

— А что он подарил тебе?

— Посмотри сама. Сверток на серванте. Перевязан розовой ленточкой.

Таня вышла и тут же вернулась.

— Не пойму, что ты все бурчишь? Не нравится розовая ленточка? И зачем врешь? Ленточка развязана, значит, подарок видела. Но молодец! Ай да Ленечка! В нашей дыре достать такое нужно уметь.

— А он и умеет.

— И прекрасно, — сказала Таня. — Хуже, если б не умел.

Работа спорилась в ее руках. Почти не глядя на кусок окорока, она ловко нашпиговала его чесноком, и Софья Петровна в который раз привычно думала: какая хозяйка, жена и мать пропадает, засыхает на

корню в Татьяне! Ей бы сад, огород, семью в полдюжины ртов — со всем бы справилась. Но ни мужа, ни детей не было, нет и, как теперь уже ясно, не будет. Слава богу, недавно появилась однокомнатная секция в кооперативном доме, а то и жилья своего не имела — мыкалась по углам. Нынешнюю свою квартиру вылизывала, как кошечка шкурку, но сама же и говорила: «Для кого? Ведь только ночевать и прихожу...» Ночевала она, как Софья Петровна отчасти знала, а отчасти догадывалась, не всегда одна, но большой радости, а тем более счастья это, кажется, не приносило. На людях держалась, однако, бойко и независимо. «Босяк фасона не теряет», — говорил о ней, посмеиваясь, «наш Ленечка», и были минуты, когда Софья Петровна подумывала, что ему о Тане известно больше, нежели ей, ближайшей Татьяниной подруге.

— Ты с какой ноги, кума, встала? Или недополучила чего сегодня?..

Наедине Татьяна иногда позволяла себе пошловатые и двусмысленные пассажи. Причем двусмысленность была не в словах даже, а в почти неуловимой скабрёзной интонации. Делала это, как сама объясняла, «с психотерапевтической целью». Софья Петровна привыкла не обращать на них внимания, но сейчас слегка порозовела, хотела одернуть, но смолчала, зная, что «этого босяка» не переговорить.

— Лимоны есть? — спросила Таня. — Так я и знала. Вынь сверток у меня из сумки.

Когда Софья Петровна развернула в прихожей сверток и заахала, найдя в нем, кроме лимонов, французские чулки на резинке, Таня крикнула:

— Не вздумай и это отдать принцессе! Ей еще рано, а тебя мы должны сделать самой элегантной дамой области... Кто знает, в чьем обществе придется бывать теперь, — хохотнула она, — а там, глядишь, и раздеваться.

В этом была вся Татьяна. Лимоны в эту пору и в Москве непросто купить, а уж в нашем городишке... О чулках же таких только слышали. И ведь для себя искать, доставать не стала бы. Зачем только нужно ей прикрывать доброту этим ерничеством...

— А ты знаешь, — сказала немного погодя Таня, — когда мы познакомились, мне казалось, что имя София тебе не идет.

Юбилей, как видно, располагал к воспоминаниям.

— Не понимаю, — возразила Софья Петровна, — как может идти или не идти имя? Бывают, конечно, глупости вроде Авангарда Ивановича или Арчибальда Харитоновича, но обыкновенное, привычное имя, Софья или Татьяна, как оно может не идти?

— Не говори. Был у меня друг сердечный по имени Юра, так вся любовь расстроилась из-за того, что я не могла называть его иначе как Егор...

— Не выдумывай. Не было у тебя никакого Юры.

— А ты уверена? Это было как раз в тот период, когда ты, движимая прекрасным патриотическим порывом, отправилась поднимать здравоохранение в нашей сельской глуши...

Напоминания об этом коротком периоде действовали на Софью Петровну по-разному. Иногда умиляли, иногда задевали. Случалось, видела в том времени причину всех своих действительных и мнимых несчастий. Сейчас сказала только:

— И что же?

— Он, дурачок, ревновал. Считал, что у меня был до него какой-то Егор, которого я забыть не могу. А имя Егор ему просто было больше к лицу. Крепкий, надежный... Сейчас жалеть, конечно, не приходится, а тогда до хрипоты доказывала, что Юрий и Егор суть модификации одного и того же имени — Георгий.

Это могло быть правдой, а могло быть и обычным Татьяниным трепом, поэтому Софья Петровна сдержанно улыбнулась.

— Да ты не смейся. Он мне знаешь что на это сказал? «Ах, еще и Георгий!»

Теперь они смеялись обе.

— Однако,— сказала Софья Петровна.— А какое же имя мне идет?

Татьяна ответила не сразу. Сперва посмотрела внимательно, будто прицеливаясь (или прицениваясь?).

— Сначала мне казалось — Ольга. А теперь думаю, что Лидия.

— Ничего не понимаю.

— И я тоже. А разве все нужно понимать? Кое-что надо просто чувствовать. Почему одни любят блондинок, а другие брюнеток?

— А ты кого любишь?

Таня хитренько улыбнулась:

— Такой роскоши я себе не могу позволить. Я люблю тех, кто любит меня.

Между тем Софье Петровне вдруг вспомнилось: покойный отец, Петр Сергеевич, когда спросила его, как хотел бы назвать внучку (он не уходил из больницы почти сутки, пока она не разрешилась, благо отделение, которым он заведовал, находилось под одной крышей), устало отмахнулся: «Хватит того, что тебя назвал Софьей. Дсвольно с меня ошибаться». Как уязвил ее тот ответ! Столько мучилась, так старалась, так жаждала жалости, сострадания, любви... Отец, правда, тут же поцеловал и сказал: «Отдыхай. Ты хорошо потрудились».

А имя дочери она дала сама: Надя. Не случайное имя — Надежда. Надежда Леснидовна Забродина...

— Ты знаешь,— говорила, нарезая лимон, Таня,— все дело, наверное, в том, что тебя называют Софой. Софа тебе решительно не идет. Я и сегодня это почувствовала, когда услышала от этой дуры Надъярных: «Наша Софочка, наша Софочка...»

— Она-то что?

— Говорит, тебя назначили председателем какой-то комиссии.

— Ну и что?

— Да как же: терапевт должен вынести суждение о работе хирургов. А где главный хирург области?

Татьяна считала, что имеет право знать подробности. В самом деле, не от Надъярных же узнавать что-то о своей подруге! Сегодня и без того пришлось притворяться, будто ей все известно. Надъярных, конечно, как врач, хоть и доцент,— ноль, дура, но баба хитрющая.

А Софья Петровна испытывала странное чувство. Здесь, на кухне, и именно сейчас ей предстояло совершить важный поступок, который определит многое в будущем. На короткий миг нужно решительно отстранить от себя паутину дружеских уз, не порвав, не разрушив их. И опять вспомнился тот давний эпизод в роддоме, когда отец тоже словно бы отстранился от нее. Их нежная привязанность осталась, но отец показал ей, что она уже не девочка, а мужняя жена, мать, женщина, которая сделала свой выбор. В сущности, отец показал ей тогда, что хотя этот выбор ему не по душе, он, по-прежнему любя дочку, признает отныне ее полную суверенность: «Ты хотела этого? Так распоряджайся собой сама».

Сейчас было по-другому. Надо было самой утвердить эту суверенность...

Татьяна с любопытством ждала излияний и новостей, а Софья Петровна сказала:

— Так, милая, мы провозимся на кухне до вечера. А имениннице еще нужно принять ванну и уложить волосы.

Уже говоря это, поняла: не то, не то! Не умеет она, что ли, или не может?

Таня посмотрела на нее удивленно:

— Ты что, не хочешь говорить? Не надо. Только не превращайся, кума, в индюшку. Это тебе тоже не идет.

Леонид Михайлович входил в подъезд, испытывая после тенниса легкую усталость и столь же легкий голод.

Почтовый ящик был забит газетами, и он вынул их — медицинскую, экономическую, «Комсомольскую правду», «Советский спорт», — с мимолетным раздражением подумав о своих клушах, жене и дочери, об их равнодушии к печатному слову. Жена заразила этим и дочь, а девочке поступать в будущем году в институт, и, похоже, в какой-то из гуманитарных, а там как обойтись без газет?

Удивительные существа женщины! Могут поднять переполох из-за ерундовой простуды дитяти и не обратить внимания на что-то гораздо более существенное. Чтение газет и выступления, даже пустейшие, на семинарах — это же для студента гарантированная четверка, а то и пятёрка на некоторых экзаменах. А в один день или месяц к такому чтению себя не приучишь... Надо понимать!

Впрочем, это настроение было не для сегодняшнего вечера.

Лифтом Леонид Михайлович, когда возвращался домой один, не пользовался и сейчас легко взбежал к себе на четвертый этаж. Еще на третьем почувствовал вкусные запахи, которые проникали на лестницу, и понял, что вся команда в сборе и все готово к приему гостей.

У жены было какое-то особое чутье на него — это и льстило и раздражало, — она даже под гром своего радио обычно ухитрялась услышать, как Леонид Михайлович открывает дверь, поэтому, сунув газеты в карман, а букет под мышку (розы были роскошные и на улице привлекали внимание), он с особой осторожностью поворачивал ключ. Хотелось появиться с этими цветами вдруг, внезапно, обрадовать свою старушку, которой, надо признать, временами приходится с ним не сладко. Поначалу все получилось, он уже зашел в прихожую и закрыл за собой дверь, но тут его увидела дочка. Леонид Михайлович заговорщически приложил палец к губам, однако она то ли не заметила этого, то ли не захотела заметить, громко сказала:

— А вот и наш Ленечка!

У нее был странный, как замечали посторонние, высокий, приятный, но ломкий голос. Однажды кто-то из знакомых, человек сведущий, заметил, что если бы не эта ломкость, девочка могла бы петь, и петь недурно.

Сюрприз был испорчен, но бог с ним.

Появилась Татьяна:

— Какие розы! И в эту пору! Где ты их достал?

Он поцеловал ее в щеку. В этот вечер ему особенно хотелось, чтобы все были добры друг к другу.

— Ты маг и чародей, — сказала Татьяна, и он был благодарен ей за это.

— Неотразимчик, — улыбнулась дочка.

Уже не впервые Леонид Михайлович слышал от нее это дурацкое слово, но и на сей раз решил оставить без внимания. Однако теща уже вмешалась:

— Надежда! Как ты разговариваешь с отцом!

Можно было бы посоветовать ей прислушаться, как внучка разговаривает иногда с нею самой, но Леонид Михайлович и этого не стал делать: не будем сегодня ссориться... Он подошел к Полине Матвеевне, по-прежнему держа цветы в руке, поздравил с именинницей и тоже поцеловал в щеку: будем, будем добры друг к другу.

Жена делала вид, что очень занята у плиты, и не повернулась, даже когда Полина Матвеевна воскликнула:

— Софочка, ты посмотри, какая роскошь!

У тещи тоже был высокий, приятный, но как бы надтреснутый голос. Леонид Михайлович не переставал удивляться, как много его дочь унаследовала от бабушки, и остро чувствовал свое бессилие перед этим. Удивительный (хотя что уж тут удивительного, наверное, обычное дело, просто ему это кажется удивительным) прыжок в наследственности через поколение. Эдакая чехарда. Софья белобрыса и слегка курноса; несомненно хорошенькая женщина, но типичная чалдонка, вся в отца, Петра Сергеевича. А Надюшка смугла, цыганиста — вылитая бабка, хотя, может быть, и от него, Леонида Михайловича, втайне утешал себя он, тоже что-то есть. Ему самому больше нравился северный, молочный, «аржаной», как он говорил, тип женщин, но, глядя на Надежду, он понимал покойного Петра Сергеевича: хороша была в молодости баба Поля, не по-здешнему хороша! Чувствовался Восток, но без горбсности, без коротконогой грузности.

А бессилие Леонид Михайлович испытывал оттого, что понимал: не только ведь голос и стать можно унаследовать, но и вздорность характера, упрямство, легкомыслие в житейских делах.

— Знаете, о чем я подумала, глядя на эти розы?— сказала Полина Матвеевна.

— Знаю,— мягко улыбнулся в ответ Леонид Михайлович, наклонился и поцеловал ей руку.

Он и в самом деле знал. В эту позднюю осеннюю пору с уже начавшимися заимками, пожалуй, только еще один человек в их городе мог бы принести такой букет жене: Петр Сергеевич. Но тому, надо признать, было легче. Петр Сергеевич был могущественный человек. Он был для больных не только доктор, но как бы и пастырь, исповедник, наставник. Это, как и многое другое, Леонид Михайлович понял уже после смерти тестя. Воистину то был последний из могикан. Сколько, бывало, поздравлений приходило «дорогому Петру Сергеевичу» на праздники, а как хоронили его! Теперь уж нет таких лекарей. Теперь спешка, суета, телеграфный стиль в разговоре; чуть что — норовят отфутболить к узкому специалисту, а тот человек действительно узкий, а специалист сомнительный; теперь чуть что — на стол, под нож, в онкологию!

Все еще держа цветы в руке, Леонид Михайлович подошел к жене и обнял ее. Почувствовал, как она напряглась и слегка шевельнула плечами, отстраняя. Ну и бог с ней. Так или иначе, все, кому нужно, увидели любовь и согласие. А теперь не худо бы перекусить...

Наде Забродиной все происходящее сейчас в доме казалось ужасно забавным. В то же время она побаивалась и даже стыдилась происходящего, потому что понимала: рано или поздно «наш Ленечка» задастся вопросом, как эта открытка попала в руки его жены. Человек он проницательный и сразу догадается, что бабушка тут ни при чем. Бабушка не умеет ничего скрывать. Но даже если бояться нечего, на душе было гадко: что ни говори, а, выходит, предала отца. Но кому предала? Матери! Предательство ли это?

Оправдание, конечно, найти можно: в самом деле, как прикажете вести себя дочери, в руки которой попадает письмо, избобличающее отца в супружеской неверности? Что делать с этим письмом? Она и в руках-то его с трудом держала — тряслись руки. Отдала маме.

Но что казнить, когда дело сделано? И потом, все происходящее было действительно забавно. Особенно смешно выглядел отец с этими цветами. И бабушка, которая тоже ничего не подозревает, радуется

праздничности, миру и согласию в семье. Хотя отец, кажется, что-то унюхал.

Жаль маму... А Татьяна-то как спует, ни минуты не усидит на месте. По всему видно, хочет предупредить Ленечку.

А Ленечка щами увлечен. С каким изяществом ест! Кажется, что не у себя на тесной кухоньке, а на каком-нибудь дипломатическом обеде. Или на тех обедах щей не подают?

Надо признать, что Ленечка, несмотря ни на что, прелесть. Не с кем и сравнивать. Может, и мать в чем-то виновата? Говорят же, что нельзя так перед мужчиной выкладываться. Но, с другой стороны, с ним просто невозможно по-другому...

Надя вспомнила прошлогоднюю школьную историю.

...Девчонки из их класса почти поголовно влюбились в нового физика, а она только пожимала плечами, а однажды сказала подругам, что они просто телки и никогда не видели настоящих мужчин. Что тут поднялось! Особенно старалась Машенька Белокурова, словно брала реванш за то, что вечно была в компании второй.

— Ах, ах!— дурачилась она.— Покажите мне наконец героя вашего романа!

И тогда Надя сказала:

— Хорошо, покажу.

— Когда же, сударыня, когда?— не унималась Машенька.— Мы сгораем от нетерпения!

Помолчав, Надя сказала:

— Приглашаю вас в гости. Пятнадцатого марта. Не всех,— жестко добавила она, а потом как бы смягчилась:— Ладно, приходите все.

Вот тут они озадачились и замолкли.

За две недели, которые оставались до назначенного срока, Надя полностью подтвердила свою домашнюю репутацию великого организатора и тирана. То, что ее шестнадцатилетие будет отмечено в субботу вечером, 15 марта в просторной бабушкиной квартире, возражений не вызвало. Надя, кстати, недавно была перепрописана в этой квартире, чтобы прекратить посягательства горжилотдела на избыточную площадь. Было сломлено и ожесточенное сопротивление давнему Надиному желанию иметь собаку, щенка шотландской овчарки, колли. На этот раз бабушка капитулировала, и отец обещал собаку достать. Последнее требование Надя изложила так: поскольку за все ее школьные годы отец ни разу («Подумать только,— демагогически восклицала она,— ни разу!») не был на родительских собраниях, он обязан принимать вместе с нею ее гостей. Мама и бабушка как захотят, а он — обязан. Когда в четверг он сказал, что должен ехать в командировку и вернется вечером в воскресенье, Надя заявила, что пусть поступает как знает, только, вернувшись в воскресенье, он ее дома не найдет. Сейчас она и сама не знала, насколько серьезной была эта угроза и была ли она связана только с приемом гостей. Ее ультиматум произвел неожиданное действие, мама заплакала и бросилась обнимать ее со словами: «Она все видит и понимает! Бедная, бедная девочка!..»

Кое-что она и вправду видела (напряженность в доме) и слышала (разговоры матери с Татьяной о странных субботних и воскресных командировках отца), но понимать просто не хотела.

А еще ведь кипели страсти и в школе. Все у нее что-то хотели выведать: правда ли, что приезжает из Москвы то ли ее дядя, то ли двоюродный брат? правда ли то, правда ли это?..

В субботу она встретила гостей вместе с очаровательным полугодовалым рыжим (и роскошное белое жабо), остроносым, кареглазым щенком.

— Знакомьтесь, это Мики.

Машенька Белокурова протянула руку, и пес подал ей лапу. Машенька расхоталась:

— Значит, это он и есть? Злая шутка! Ты, Забродина, умнее нас всех.— Это был ядовитый комплимент, потому что умнее всех в их компании считалась сама Машенька.— Наш физик,— продолжала она,— действительно щенок рядом с этим Мики. Мне сказали недавно, что он боится мышей и живет под каблуком у тещи...

Все были веселы, доброжелательны, хотя и немного скованы поначалу. Подавляла старая докторская квартира с высокими лепными потолками, книжными шкафами, тяжелой мебелью. Кажется, только Машенька Белокурова чувствовала себя здесь, впрочем, как и повсюду, уверенно. Гостей пригласили сперва в Надину комнату (раньше в ней был кабинет Петра Сергеевича), а потом в столовую. Пили чай из сияющего, медного, украшенного медалями самовара, резали огромный торт с шестнадцатью свечами...

Отец появился, когда все уже были за столом. Поцеловал, сел рядом, как-то незаметно взял ее руку, убрал со стола и надел колечко. Надя даже вздрогнула от радостной неожиданности, не смогла удержаться, выхватила руку, поднесла к глазам. Кольцо было тоненькое, девичье, но — золотое, с крохотным сверкающим камешком. Как он догадался? Как угадал размер?

Смеялись, пели, танцевали. Надя попросила отца пригласить Машеньку и наблюдала за ними. Отец что-то говорил, а Маша смеялась.

Надя тоже танцевала, но мало: не хотелось оставлять щенка, которым норовили завладеть подруги.

Прием закончился рано; Надя со щенком вышла проводить гостей. И на лестнице, и у подъезда, и на троллейбусной остановке галдеж они поднимали невероятный, но Надя ждала своего и дождалась. Рядом с нею будто нечаянно опять оказалась Маша Белокурова.

— А отец у тебя... Даже не ожидала...

— Что ты имеешь в виду?

— Не знаю. Шарм, наверное...

— А попроче ты не можешь?

— Не строй из себя дуру, шарм — обаяние,— сказала Машенька; бедняга, она не знала, что за все это (заносчивость, высокомерие) рано или поздно будет бита.— Но такое чувство, будто он желает всем добра и никому не завидует.

— Так и есть,— подтвердила Надя.— А чего завидовать, когда мы все его любим.

— Что значит — все?

— Ну вот и ты тоже.

Машенька фыркнула было, но вдруг рассмеялась — ей это давалось легко.

— А что касается Мики,— сказала Надя,— то ты ошиблась. Мики — девочка...

— Но имя Мики в англоязычных странах...— заторопилась Машенька.

— Не знаю,— перебила ее Надя,— пока не бывала. А моя Мики — девочка, или, попросту говоря, сука.

Оставшись одна, Надя еще раз полюбовалась колечком под уличным фонарем и медленно пошла в переулок. Ведя на поводке эту великолепную собаку, она воображала себя в длинном платье, выше ростом и старше годами.

С родителями по возвращении у нее состоялся странный разговор.

— Жаль, что вы родили меня одну.

— То есть?

— Надо было еще мальчика.

— А если бы опять была девочка?

- Значит, надо было рожать, пока не получится мальчик.
- Это еще зачем?
- Потому что очень жаль, что на свете нет мальчика, похожего на моего папу...

Однако что было, то сплыло. Сейчас другой праздник и ждали других гостей.

Отец покончил со щами, и бабушка вернулась на кухню. Она выходила, потому что ее раздражали плебейские вкусы зятя: на завтрак, обед и на ужин готов хлебать щи. Она не понимала, зачем эти щи, когда через час садиться за стол.

Мать, словно подчиняясь необходимости, пошла приводить себя в порядок. Татьяна воспользовалась этим: не обращая внимания на Надю, что-то зашептала на ухо Леониду Михайловичу. Незадолго до этого, вот так же не обращая внимания на Надю, она шепталась с мамой. Тогда Надя различила две фразы: «Так, может быть, и ты?» — чуть ли не с ненавистью сказала мама. «Нет, к сожалению», — зло ответила Татьяна.

Гостей поразили розы, и женщины дружно пели хвалу Ленечке, укоризненно поглядывая на собственных мужей.

Против Надиного ожидания (или наоборот: как и следовало ожидать), все складывалось очень мило. Татьяна ни на шаг не отходила от матери, «давила на психику», и, кажется, довольно успешно.

Поскольку большинство собравшихся были медики, застольный разговор быстро вошел в профессиональное русло, и только Леонид Михайлович и Надя не принимали в нем участия.

Праздничный ужин благополучно катился к завершению, когда в прихожей задребезжал звонок. Он был резок и требователен, и все замолкли.

Открыть пошла Полина Матвеевна. А дальше произошло нечто совершенно поначалу непонятное.

— Сюда, сюда, — говорила она кому-то в прихожей. — Несите ее сюда.

Она снова появилась в комнате, пяясь и раздвигая локтями портьеры. А вслед за нею вошел мужчина, держа перед собой корзину с цветами. На вопрос, от кого цветы, он сказал, что в корзине есть записка, рюмку коньяка не без сожаления отверг, объяснив, что за рулем, и тут по одежде, по облику все увидели, что он таксист; предложенную ему трешку небрежно сунул в карман и был таков.

Не сказать, чтобы эти цветы были лучше тех, что принес Леонид Михайлович, но любопытства они возбуждали больше, и общественность с нетерпением ждала обнародования записки. Записка, вложенная в изящный продолговатый конверт, какие делали на местной фабрике по московскому спецзаказу, была следующего содержания: «Милой Софии Петровне Забродиной в знаменательный для нее день — с пожеланием ей самой и всем ее близким благополучия и счастья. В. В. Белокуров».

— Это который Белокуров? — спросила Полина Матвеевна.

Ее голос, высокий и чуть надтреснутый, показался особенно резким, потому что у всех остальных этот вопрос — «который?» — даже не возникал: Вячеслав Васильевич Белокуров был институтский профессор и виднейший в их городе хирург.

— Старик уже умер, мама, — сказала Софья Петровна. — Это его сын.

— Умер? А почему я не знала? — Она считала, что должна знать все. — Петр Сергеевич его не любил.

Однако давняя нелюбовь друг к другу двух уже умерших стариков никого сейчас не интересовала. Занимало другое.

«Отчего это Машенькин родитель вдруг ударился в гусарство?» — думала Надя Забродина. Она видела его однажды и нашла, что он слишком для Машеньки стар, смахивал скорее на деда — никакого сравнения с «нашим Ленечкой». Странно, что мама и бабушка говорят о нем: сын старого Белокурова. Как о молодом.

Размышляя об этом, Надя в то же время пыталась как бы поймать какую-то едва брезжившую мысль. Ничего не получалось. Мысль ускользала, рвалась. Оставалось лишь ощущение того, что белокуровские цветы — их пышность, рассчитанная неожиданность их появления — должны помочь Наде понять нечто и в самой Машеньке. Вот так вдруг показалось.

О гусарстве профессора Белокурова думали — хотя по-разному — и другие.

«Узнаю старого ловеласа», — мечтательно улыбалась дама-рентгенолог.

«Очень, очень вовремя», — думала Татьяна. Ей казалось, что эти цветы дают Ленечке хороший шанс спустить на тормозах предстоящий шекотливый разговор.

Всем, однако, стало вдруг очевидно, как существенно изменилось положение Софочки Забродиной. Кто бы мог подумать!

К концу вечера, как всегда, чрезмерно воодушевился милейший человек, бывший пациент Софьи Петровны, который стал другом дома, помнил все семейные торжества Забродиных, а последнее время стал все явственнее определяться при Татьяне, что вызывало шуточки, но и некоторое ожидание тоже. Татьяна, хоть и досадуя, порой чувствовала себя обязанной принимать в нем участие, вроде бы несла ответственность за него... Вот и сейчас Татьяна, выдерживая эту неведомо как навязанную ей роль, пыталась его урезонить.

— Ну при чем тут это, Вася! — увещевала она милейшего человека. А Леонид Михайлович подошел, приобнял:

— Конечно, конечно! — И подлил коньячку.

— Я вам вот что скажу, Михалыч, — продолжал милейший человек. — Эти штучки вашего профессора я вижу насквозь. Жалею, что сам не сообразил, не додумался. А где выращивают эти гвоздички, мы тоже знаем — вместе с огурцами, луком-пером и редиской. Сами строили теплицу...

— Какая разница? Все на земле растет.

— Не говорите. Там бросовое тепло от электростанции...

— А растениям все равно, какое тепло. Лишь бы тепло было, — нечаянно скаламбурил Леонид Михайлович.

— Растениям! А мне — нет.

Понять ход мыслей, логику рассуждений этого милейшего человека было и в самом деле не просто.

— Вы же умный человек, Михалыч, и должны понимать разницу. Это они пусть как хотят, а мы-то видим разницу между тепличными гвоздиками профессора и этими розами. Вы хоть знаете, какого сорта розы? «Глория деи!» А знаете, что «Глория деи»?

— Знаю, — улыбнулся Леонид Михайлович. — Божья слава!

— Точно! — торжественно подтвердил милейший человек. — За чем-то их так назвали!.. А я недавно говорил с садовником — не понимает даже смысла этих слов.

— Забылись. Историческая амнезия, — все так же улыбнулся Леонид Михайлович, и не понять было — ласково или насмешливо.

— Вы все шутите. При чем тут эта ваша...

— Амнезия — потеря памяти. Какая уж тут шутка. Спросите

врачей.— Леонид Михайлович сделал широкий жест: врачей и в самом деле оказался полон дом.— Слова стали не нужны, их и забыли.

— Это только кажется, что не нужны!

— Перестаньте спорить! — решительно заявила Татьяна.— Скажи лучше, как ты достал свои розы?

Это была то ли игра в поддавки, то ли некая, так сказать, наигранная комбинация: уж кому-кому, а Татьяне происхождение цветов было известно. Однако Леонид Михайлович непринужденно отыграл реплику:

— Мне это было проще, чем Белокурову. Я-то готовился заранее...

Это была правда, и он сказал о ней с милой скромностью.

— А все-таки? — не унималась Татьяна, готовя самый эффектный момент.

Леонида Михайловича эта настойчивая старательность заставила снова улыбнуться, хотя было совсем не весело.

— Цветы сегодня прилетели из Сочи... — сказал он и сделал паузу.— А что касается деталей, то в них нет ничего интересного.

— Позвольте, позвольте! — вмешалась дама-рентгенолог.— В деталях, может быть, вся прелесть!..

Когда Леонид Михайлович начал рассказывать о деталях, Софья Петровна поднялась было, чтобы помочь матери подать чай и не слышать всего этого, но Татьяна усадила ее и сама отправилась на кухню.

— Надежде пора уже спать, — сказала Полина Матвеевна.

— Все понято с полуслова, — весело отозвалась Татьяна.— Подадим чай и отправим вас домой.

Молодые Забродины жили в окраинном районе новостроек.

— А может, пойдешь ты со мной? — предложила, появляясь на кухне, Надя.— А бабушка пойдет с этой, которая в бородавках, и ее мужем. Они тоже живут в центре.

«Ах ты моя радость! — подумала Татьяна.— Тебе так хочется пообщаться со мной, что забыла даже об упрямстве: рано! не буду! не хочу!.. Видно, страх как хочется кое-что повыспросить у меня».

Мелькнула мысль и о милейшем человеке Васе — в начале вечера у Татьяны возникли кой-какие планы в связи с ним, но теперь сказала себе: «Не гони лошадей!..» Может, это даже к лучшему. С Васей не надо спешить и самой проявлять инициативу. Пусть шевелится, совершает поступки, а там мы посмотрим...

Через несколько минут они с Надей ускользнули, попрощавшись только с бабушкой.

Чтобы не мучить ребенка, разговор завела сама Татьяна.

— Ты замечала, как плохо мы начинаем относиться к людям, которым хотя бы по нечаянности сделали гадость? А? И хорошо относимся к тем, кому сделали добро... Правда, ты, моя радость, пока делаешь добро единственно самим фактом своего существования на белом свете...

Риторика, однако, Надю не устраивала.

— Ты сказала ему, что письмо принесла я?

— И тебе не стыдно спрашивать об этом? Какое ты все-таки дрянцо, моя радость... Объясни лучше, как оно попало к тебе.

— Нечаянно. Вышла гулять с Мики, вижу в ящике беленькое... Я его сперва и брать не хотела. Пусть, думаю, бабушка...

— Это хорошо, что ты его не оставила бабушке. Только этого нам не хватало... Но как додумалась отдать матери?

— А что надо было делать? — с несвойственной ей плаксивостью сказала Надя.— Отдать ему?

— Тебе сколько лет, Надюша?

— Сама знаешь, скоро семнадцать.

Надо было знать принцессу, чтобы оценить этот ответ. Будь ей хоть

чутью легче, только бы и буркнула: «Сама знаешь», — а теперь все-таки: «Скоро семнадцать». Не хочет ссориться. Жалко девчонку. Она-то здесь ни при чем.

— В твои годы я понимала, что подметные письма надо просто выбрасывать.

— А если это правда?

— А ты как думаешь: это правда? — спросила Татьяна и спохватилась: «Зачем это я?»

— По-моему, да. — Надя заплакала. — Ладно, пусть я гадкая, но он, он!..

— А если это неправда? — сказала Таня.

Надя перестала всхлипывать.

— Ты же сама знаешь, что правда. Неужели у всех взрослых отношения построены на лжи? Даже у этой, которая в бородавках, с ее мужем?

— Далась тебе ее бородавки! А она лучший рентгенолог города. И взрослые, между прочим, вырастают из детей... — Эта невеселая шутка прозвучала как оправдание, но Надя не обратила на нее внимания, думая о своем.

— А мама перед ним только что не стелется...

— Может, посоветуешь ей, как вести себя? Ее-то оставь в покое. Что ты в этом понимаешь? Она его любит. Когда-нибудь сама поймешь, какое это счастье так вот стелиться.

— Нет уж, дудочки. Со мной такого не будет.

— Не зарекайся, моя радость. Твоя мама была покрепче тебя. Насчет счастья я, конечно, загнула, но против себя не попрешь. Уж я-то насмотрелась на деловых женщин и не скажу, что они счастливее таких дур, как я...

«Зачем это я?» — опять подумала Таня. В самом деле — зачем? Сказывалось, наверное, выпитое. Хотя сколько там она выпила!.. И вдруг мелькнуло: а ведь девчонка ревнует отца. Ей-богу.

А что касается деловых женщин, то это была давняя Татьяна мысль. Довелось наблюдать нескольких таких, делающих карьеру. Что поделаешь, к сорока годам сам запас впечатлений позволяет любому из нас делать соответствующие выводы. Особенно врачу. И, пожалуй, еще учителю. Софья Петровна изволят, правда, подтрунивать: какой ты, дескать, доктор? Обыкновенная косметичка. Только и название что врач. Однако же не кто иной, как сам Антон Павлович Чехов писал: в человеке все должно быть прекрасно — и лицо, и одежда, и что-то там еще. Вот мы и боремся с морщинами да прыщами, выполняя веление времени и заветы классика. Что ж до наблюдений, то лучшего места, чем кабинет врача-косметолога, и не сыщешь.

Пришлось наблюдать таких удачливых, ушных, таких железобетонных особ, кто поначалу казалось: какие могут быть сомнения? Директор фабрики. Премьерша драмтеатра. Главная в городе по торговой части... Живут как хотят и как считают нужным. А в конце концов выходит: не то.

Ну вот та же директор... Лет пять назад ушел муж. Плюнул на роскошную квартиру, дачу, машину, на путевки в санатории и на хитрого продавца (Татьяна нашла потайную тропку к нему, сегодня лимоны были от него), плюнул на все, благо дети уже выросли, и ушел к тихой, скромной женщине, у которой нашел душевное спокойствие и уют. Директорша пережила это без особых страданий, а может, и вообще без страданий. Муж, человек обыкновенный, непробивной да и собою невидный, небось казался ей к тому времени чем-то вроде вышедших из моды туфель: еще крепкие, не износились, выбрасывать жаль и уже не наденешь. Но, главное, ей некогда было страдать. Как же: пленумы, сессии, совещания, командировки, поездки не то в Швецию, не

то в Швейцарию в составе какой-то делегации... А теперь жалуется: и на работе пошли нелады. Ни начальство, ни сама она ничего не поймут. А причина самая обыкновенная: старость, старость грядет... Что же в перспективе? А все то же: знакомое нам одиночество.

Но директриса хоть детей успела в молодости родить, где-то есть даже внуки. И к старости вдруг пробудилось от этого нечто сентиментальное. А у премьерши, которая пришла недавно советоваться по поводу дряблости кожи, и того нет. У этой не было времени рожать. Потерянно улыбнулась, когда Татьяна перед зеркалом оттянула ей кожу на лице, на шее: «Старух играть не могу, не получается...» Неужели это ей когда-то завидовали все городские девчонки, а Софочка после «Оптимистической трагедии» даже потребовала от Петра Сергеевича непременно достать ей, Софочке, кожанку!..

Нет, женщина не должна изменять своему естеству, приносить его в жертву или подчинять чему-либо. Счастья это наверняка не даст. Но, с другой стороны, где же тогда ее собственное, Татьянино счастье?

Однажды довелось услышать, что у нее-де «удивительно пластичный характер». Не поняла и даже готова была обидеться. Последовало объяснение: уживчивый, мягкий. Припомнила, что еще в школе Софочка фыркала: «Ты как чеховская душечка. Как можно дружить со всеми?» А Таня не находила в этом ничего плохого. Кажется, Петр Сергеевич сказал тогда, будто душечка — не рассказ, а сама душечка — нравилась Толстому. Петр Сергеевич говорил еще: «Ты слишком категорична, Соня.— Он называл дочку только так.— А люди бывают разные. Одни, как чугун, застывают в форме, в которой их отлили, а другие, как вода, вино или молоко. Тут суть в том, что это. А молоко не перестанет быть молоком оттого, что его перельют в другую посуду». Татьяна готова была с ним согласиться, когда вдруг Софочка сказала: «Но оно прокиснет в нечистой посуде...» Петр Сергеевич улыбнулся: «Рано или поздно оно все равно прокиснет».

Давно это было, странно даже, что запомнился разговор. А молоко, кажется, действительно прокисло. Правда, и чугунно-твердой Софочке за эти годы досталось.

Проводив гостей и Полину Матвеевну, принялись за уборку. Будь его воля, Леонид Михайлович составил бы все на кухню, но жена не терпела грязной посуды.

Возились молча, и в конце концов молчание сделалось невыносимым. Позвякивали и позванивали тарелки, бокалы, ножи, вилки, когда их собирали со стола, а в комнате словно бы нарастало напряжение. Временами Леониду Михайловичу казалось, что от жены прямо-таки веет ненавистью.

Он же испытывал досаду и раздражение, но их смягчала жалость. Леонид Михайлович подошел бы к жене и сказал, что все, что волнует ее сейчас, яйца выеденного не стоит, а главное — то, что он любит ее и дочь, однако знал: это не будет принято, начнется выяснение мелочей, обстоятельств, и все они будут против него.

Молчать дальше тоже было нельзя.

— Любопытная встреча была у меня сегодня с Белокуровым,— сказал он.

Жена, как и ожидал, промолчала, а Леонид Михайлович ощутил, что к ненависти прибавились презрение и брезгливость.

Надо было найти точные, безошибочные слова, и он старался.

— Ты не думай, что я хочу уйти от разговора об этой идиотской анонимке. Если захочешь, поговорим и о ней, но профессор меня удивил. Ей-богу.

Они и до того встречались на кортах. Но Белокуров вел себя как большой барин. Получалось это у него вполне непринужденно. Все должны были ухаживать за кортами — своеобразная плата за право играть. Но Вячеслав Васильевич был освобожден от каких бы то ни было забот. У него был постоянный партнер — преподаватель кафедры физвоспитания их института. А если тот почему-либо не приходил, бросал все дела и составлял ему партию обычно околачивающийся здесь же тренер спортобщества. Ждать, когда освободится корт, или самому спешить освободить его Белокурову не приходилось. Он приходил, играл и уходил. Играл, кстати говоря, для своих пятидесяти пяти (или около того) весьма недурно, и это словно оправдывало его особое положение.

Леонид Михайлович находился в ином качестве. Он был как все. Брал метлу, шланг, поливалку, ждал очереди. Себя как теннисиста оценивал спокойно и трезво, но, естественно, входил в азарт, радовался удачам, огорчался поражениям.

Они — Белокуров и Леонид Михайлович — не интересовали друг друга, жили, как сказал бы Леонид Михайлович, в разных измерениях и были в разных весовых категориях. Тем удивительнее было, когда сегодня профессор подошел к нему, дружески, как с давним знакомым, поздоровался, сказал: «Вы свободны? Может быть, сыграем?..»

— Ты понимаешь, — говорил Леонид Михайлович жене, — я, глупец, объяснил сперва его внимание своими успехами в теннисе. У меня, кстати, начали получаться выходы к сетке...

Игра шла вначале ровно и бесцветно. Но скоро Леонид Михайлович понял, что Белокуров держит ее в своих руках. Стоило Леониду Михайловичу проявить прыть, как Белокуров неожиданными и точными ударами одергивал его и ставил на место. Он набирал очки на своих подачах, но, как видно, не стремился к разгромному счету.

Досадно было проигрывать пожилому человеку, и Леонид Михайлович начал было горячиться, однако увидел, что все равно проигрывает: слишком велика разница в классе. А горячась, можно показаться смешным.

В какой-то миг он определенно ощутил не только отточенность в игре партнера, но и стоящую за нею уверенность в себе, чуть ли не беспощадность. Это чувство пришло как раз после того, когда Леонид Михайлович чуть было не загорячился, но вовремя оценил положение. Все его наиболее удачные, как он считал, удары словно бы встречали стенку — ту самую стенку, перед которой тренируются начинающие.

Не понять было: зачем Белокурову вообще эта игра с явно слабейшим противником? Его постоянный партнер томился рядом...

— ...Ему нужен был совсем не я!

Закончив партию, они обменялись рукопожатием, хотя обычно после таких случайных встреч это не было здесь принято. Белокуров пошел рядом. «Вы напрасно проявили нерешительность. Надо было еще прибавить», — сказал он. Это можно было понять как ободрение, утешение, своего рода комплимент, но и как подтрунивание тоже: что ж ты, мол, дернулся, а по-настоящему пойти на обострение не посмел?.. Леонид Михайлович проблеял, как готов был теперь признать, что-то в ответ и взял свитер, которым был накрыт его роскошный букет.

Это было удивительно: серый, промозглый, тонуший в сумерках день и вдруг — цветы. В них была, как всегда в цветах, некая покорность судьбе, но было в этой обреченной красоте и нечто торжествующее. Они явились так, будто в грязной, полутемной комнате сдернули покрывало с мраморного изваяния.

«У вас какое-то событие?» — спросил Белокуров. «День рождения жены», — объяснил Леонид Михайлович. Профессор оживился: «Софьи Петровны? Я ведь помню ее еще студенткой, такой почти, как наши дочери сейчас. Не спрашиваю, сколько сегодня Софье Петровне, но обязательно передайте мои поздравления...»

Он говорил еще что-то о Софье Петровне, о том, как рад ее успехам и надеется, что она со временем вернется в институт.

— По-моему, ему что-то от тебя нужно. Я подумал об этом еще тогда, а потом вдруг эта корзина...

— Ты как был, так и остался чужаком и в семье и в городе, — жестко ответила Софья Петровна. — Затеял разговор, чтобы напустить туману и спрятаться вместе со всеми своими пакостями. Нашел чем пугать! Мы, чалдоны, народ крепкий, не то что некоторые хлюпики. Вот и Белокуров тебе всыпал. Правильно! Не стоило бы и отвечать на твои глупости, да не хочу, чтобы ты думал, будто и на этот раз одурачил меня, увел в сторону. Белокуровы давно хотят помириться с нашей семьей. Папа презирал старика — не знаю, что там произошло у них во время войны, они служили в одном госпитале... Презирал как человека, хотя и считал отличным хирургом. Я была на последнем курсе, когда старый Белокуров пришел к папе мириться. Профессор, завкафедрой пришел к простому врачу. Опять-таки не знаю, о чем они говорили, но вечером папа сказал, что младший Белокуров, Вячеслав Васильевич, делает мне через своего отца предложение... Ясно?

— Ах боже ты мой! — воскликнул Леонид Михайлович со всем доступным ему сарказмом. — Как в лучших домах Лондона и довоенной Жмеринки. С полным соблюдением правил игры... И чего же ты, милая, отказалась? Меня-то, твоей единственной любви, еще не было на горизонте...

— Потому что была дурой, — сказала со злостью Софья Петровна.

— И какие вы, к чертям, чалдоны! Среднеарифметические городские жители... Ты не знаешь, что было у отца с Белокуровым, а я знаю. Мне Петр Сергеевич сказал, потому что считал не чужаком, а родным и близким человеком, который, несмотря ни на что, будет жалеть и любить его т е л к у...

— И ты жалел и любил... — тихо заплакала Софочка.

Господи! Столько беспомощности и отчаяния было в ее слезах. Что же остается, когда женщина выплечет и эти слезы? Ненависть? Пустота? По совести говоря, Леонид Михайлович испытал на миг нечто близкое суеверному страху. Не сам страх, а тревожное подобие его, сходное с тем, что чувствуешь, когда летучая мышь неожиданно и беззвучно мелькнет у твоего лица. Он наклонился к жене, но она устало сказала:

— Отстань. — И провела рукой по глазам так, будто убирала паутину с лица.

РАБОТА

То, что ее начальник — заведующий областным отделом здравоохранения — испытывает к ней расположение не только как к дельному работнику, Софья Петровна поняла уже после нескольких дней на новом месте. Такое случалось и прежде. С девических лет мужчины не обходили ее вниманием, и она принимала его как нечто должное, разумеющееся и неизбежное, но всегда чувствовала себя способной справиться, так сказать, с ситуацией.

А теперь на первых порах появилось беспокойство. В данном случае сложности такого рода были совсем ни к чему. Тем более что заве-

дующий был ей симпатичен — по-доброму, без всяких романтических оттенков. Хотелось быть с ним просто в хороших и по возможности ровных отношениях, а «это» вносило, как теперь говорят, нестабильность.

Многое зависело от того, как он поведет себя дальше. Вариантов немного: одни проявляют грубую или грубоватую активность, другие ограничиваются туманными словами, намеками, взглядами, — какой женщине не приходилось сталкиваться со всем этим набором знаков внимания! Но они требуют какого-то ответа, а просто отмахнуться, одернуть или не заметить — иногда значит обидеть. Так, во всяком случае, это воспринимается некоторыми, леший бы их взял. Обычно Софья Петровна было на это наплевать, однако на сей раз осложнений не хотелось.

Был еще, наверное, путь эдакого ни к чему не обязывающего кокетства, дурашливости, игры. Но ей он не подходил. Недаром и покойный отец и Татьяна считали ее слишком прямолинейной. Да и муж тоже, только называл это по-другому: «Ты не чувствуешь полутонов...» Сама Софья Петровна думала, что они ошибаются, к сорока годам жизнь кой-чему научила, но вот сейчас разыгрывать спектакли не могла и не хотела.

Между тем беспокойство оказалось преждевременным и напрасным. Был момент, когда Софья Петровна даже подумала: а не ошиблась ли, не выдумала ли невесть что? Станным образом испытала при этом не облегчение, а нечто непонятное — если не чувство потери, то все же некоторое разочарование и уязвленность. Удивилась сама себе и едва не рассказала обо всем Татьяне.

Однако потом все же убедилась, что самое первое впечатление ее не обмануло. Более того, увидела деликатность этого человека. Он наблюдал за нею весело и доброжелательно, а иногда как бы любовался ею, и это было приятно, внушало спокойствие и придавало уверенности. Софья Петровна, в свою очередь, стала присматриваться к шефу.

Он был не так прост. Как-то заметила, что ему не нравится название его должности — заведующий. Однажды сказал, что у поляков она называется — главный врач воеводства. Это-де звучит. А что — заведующий? Даже завмаг и завскладом теперь директор магазина и начальник склада... Говорил полушутя, и надо было бы ответить, если уж отвечать, так же полушутливо, а Софья Петровна возразила, что у нас есть главный врач районной больницы и есть заведующий кафедрой в институте — вряд ли в этом случае заведующий захотел бы поменяться местом с главным.

Он посмотрел на нее особенно пристально, как смотрят, когда хотят понять, случайно ли сказанное собеседником. Софья Петровна слегка покраснела. Нескладно получилось. Вспомнила, что когда-то он был главврачом именно районной больницы, а теперь идет слух, будто метит в заведующие кафедрой мединститута. Выходит, она его нечаянно этим поддела.

Честолюбив. Скрытно честолюбив. И вообще, подумала она, скрытен, хотя выглядит доброжелательным. Но ведь честолюбие не уживается с настоящим доброжелательством... «Впрочем, — успокоила себя Софья Петровна, — нас его честолюбие не касается, оно этажом выше и направлено в какую-то совсем другую сторону. А раз так, то со мной вполне может быть действительно доброжелательным...»

Как жизнь разводит и сводит людей! Она ушла с кафедры, где, кстати, в недалеком будущем маячила доцентура, а он рвется на кафедру...

Ее уход даже домашних озадачил. В самом деле: зачем ушла? Работы добавилось — раньше только и забот было что о группе студентов, специализировавшихся по терапии, да о нескольких больных, которых

вела. В деньгах не выиграла. Некоторая власть и больше самостоятельности? Может быть. Хотя все это весьма относительно. Потому что позвали и предложили? Предложили все-таки повышение, и в деньгах если не выиграла, то и не потеряла.

С особенной настойчивостью все это выясняла Татьяна. Стала даже непривычно, испытующе поглядывать на подругу, будто присматривалась или прислушивалась. Объясняла: «А шут его знает, чего еще можно от тебя ожидать...»

Леонид Михайлович, при котором зашел однажды такой разговор, усмехнулся: «Это в ней опять пробудился общественный темперамент». Ну что ж, не исключено, хотя признаваться себе в этом не хотелось.

Татьяна недоумевала еще и вот по какому поводу: то, что позвали и предложили, — несомненный факт. Но как заметили, как нашли, как обратили внимание? И как это вообще делается? Может, подсказал кто-нибудь? Но тогда кто? Софью Петровну на первых порах это тоже занимало, однако потом Татьянина настырность стала раздражать.

Для нее самой все в конце концов сводилось к одному: надоело. Опротивело толчение воды в ступе, осточертела бабья кафедра с вечными склоками, выяснением отношений и слезами. Но вот теперь, когда освоилась на новом месте, все чаще подумывала, как бы извлечь хоть какую-нибудь выгоду для дела, которым занималась, из того, что в городе есть мединститут. Думала, конечно, применяясь к своим масштабам, собственные возможности не переоценивала.

— А ты не от злости это, а? — спрашивала Татьяна.

— Помилуй, какая злость? На кого?

— Да на весь мир.

— Ушла сама, никто не выживал, даже уговаривали остаться. Нас и на совещании недавно песочили: плохо используются вузовские специалисты...

— То, что на совещаниях говорят, дели на двадцать. А этих что еще можно заставить делать? Студентов учат, врачебные конференции проводят, больных консультируют...

Софья Петровна отвечала:

— Как они это делают, я, слава богу, насмотрелась.

Нет, пожалуй, все-таки не от злости хотела заставить их ловить мышей. Но и некоторая злость была: баре, аристократы... Вместе с тем задевать их побаивалась. Они ведь, эта публика, только до поры рохли, а попробуй тронь — сомкнут ряды, ошетинятся. У всех связи, повсюду родичи, друзья. «Как, впрочем, — думала при этом, — и у нас тоже»...

Главным качеством человека, облеченного властью, Софья Петровна считала наличие принципов и конструктивных идей. У нее самой с этим все было в полном порядке. Незыблемым правилом положила: куда бы ни приезжала, общение начинать с осмотра больных, а не с бумаг.

«Ах, ах! — говорила Татьяна. — Красиво и сразу производит впечатление: начнем с больных...» «А почему бы и нет? — думала Софья Петровна. — Что тут плохого?»

Но дело было не только в этом. По собственному опыту знала уровень коллег — районных эскулапов. Из этого уровня вытекала главная конструктивная идея: постепенно повсюду внедрить хотя бы по одному толковому терапевту. С виду скромная задача была, однако, не из легких. Кое-где, по-видимому, ее так и не удастся решить, останутся вечные болевые точки; есть такая глухомань, куда знающего себе цену, опытного, зрелого и непьющего врача никакими калачами не заманишь. Да и предложить какие-нибудь особенные калачи Софья Петровна, увы, не могла.

С самого начала решила Город (вот так, с прописной буквы мыс-

ленно именовала областной центр в отличие от нескольких районных городков) на первых порах не трогать. И это, как поняла, совпало со взглядами начальства. Когда ее кандидатуру согласовывали, а потом утверждали, всякий раз упоминалось, что в пятьдесят восьмом — шестидесятом годах она работала в сельской больнице и имеет, так сказать, опыт. Получалось чуть ли не три сельских года. Во время первого разговора Софья Петровна смущенно заикнулась было, что в действительности работала немногим больше года, но сама же и осеклась: кому интересно слушать о ее беременности, о родах, об отпуске за свой счет? И потом, все равно ведь не скажешь, как в конце концов отец, Петр Сергеевич, снова поехал в ту дыру, поговорил с кем нужно — и отпустили, вернулся с трудовой книжкой дочери, где все нужные отметки стояли честь по чести.

Однако мимолетное колебание было замечено и истолковано в ее пользу: приятно видеть скромность, которая не хочет, чтобы ей приписывали то, чего не было. А вообще, как поняла потом, никого это не интересовало, все было решено и теперь выполнялся лишь ритуал.

Еще одно правило, которого Софья Петровна придерживалась, — намечать на каждую неделю, а то и на месяц вперед план. Чаще всего из этого ничего не выходило, однако она убеждала себя, что какие-то опорные моменты необходимы и помнить о них надо, чтобы не потонуть во всякой чепухе.

Сегодня ее наметки рухнули с самого начала, когда секретарша шефа, дама представительная и, как говорили, влиятельная, хотя на чем держится ее влияние и существует ли оно вообще, Софья Петровна понять пока не могла, вручила ей пачку документов, сказав:

— Тут есть кое-что срешное.

Вот так всегда. Нужна справка для обкома. Но почти такую же готовили недавно для облисполкома. Сохранился ли черновичок? Впредь надо оставлять себе копии.

Что еще? Жалоба. «Плоды просвещения»...

Вот от чего можно затосковать. О медицине судит каждый. О чем еще говорят с такой же легкостью? Разве что о футболе и хоккее. Знаатоками чувствуют себя все.

Ругать врачей проще простого. Люди болеют и умирают. А ни болеть, ни умирать никто не хочет... Правда, Софья Петровна в этих рассуждениях не позволяла себе заходить далеко. Конечно же, есть справедливые жалобы. Среди коллег встречаются такие тупицы, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Но жалуются обычно не на них. Уж не потому ли, что тупицам нередко бывает присуща какая-то первозданная хитрость? Когда нужно, умеют поточить лясы, поддакнуть, посочувствовать, прописать какую-нибудь ерунду.

Чаще всего жалуются, потому что не хотят примириться со смертью, не могут согласиться с тем, что никто не виноват, что все мы смертны. Реже — ради самооправдания, чтобы снять с себя вину, хотя она иной раз так очевидна. Но что скажешь матери, которая по невежеству, лени или глупости потеряла ребенка, а теперь все спихивает на врачей? Приходится блеять: «Летальный исход оказался неизбежным ввиду поздней госпитализации, причиной которой было несвоевременное обращение...» И жаль эту бедную женщину и в то же время чувствуешь к ней что-то недоброе. Лжет ведь, и не во спасение, а так, по инерции. Хотя и эта ложь, если разобраться, имеет свои причины, просто не всегда нам дано их понять.

Случались трагикомические жалобы. Как-то Деду Морозу, главному хирургу, пришлось одну такую разбирать... Человеку сделали операцию. Диагноз сообщили только жене, самого больного перевели на инвалидность. А мужик, оклемавшись, задурил от безделья — водка, женщины... Жена в конце концов не выдержала и брякнула: у тебя,

мол, рак, сдохнешь скоро, а туда же... Подумал бы, дескать, лучше о душе да о семье. А что ему душа? По современной науке, ее и нет вовсе. А семья — дочка замужем, сын служит, жена осточертела. Когда услышал о раке и что смерть рядом, совсем сошел с тормозов. Продал что мог, жену бросил, сошелся с какой-то девкой, и хуже ему не становится, помирать не спешит. Жена и написала жалобу на врачей, которые разбили ее семейную жизнь тем, что неправильно сказали о здоровье мужа. И смех и грех.

Однако что же выпало Софье Петровне на этот раз? Глянула на подпись: ветеран войны и труда такой-то. Одно это уже не сулило ничего доброго: старики въедливы и времени у них предостаточно... Да, главное: жалоба адресована в министерство и прислана для проверки уже из Москвы. С грозным сопроводительным письмом.

О чем же старик пишет? Но прежде Софья Петровна посмотрела на даты и удивилась: жалоба-то пришла из Москвы две недели назад, а срок разбора ее установлен в три недели. Где же она пылилась и почему?

У заведующего было труднопроизносимое отчество. Его звали Гурий Иоанникиевич. Татьяна, когда на первых порах любопытствовала: ну что там у тебя и как? — однажды заметила, что родителей и отчество себе, конечно, не выбирают, но этого Иоанникиевича вполне можно было бы в повседневном обиходе сократить до Ивановича или Аникиевича.

— Аникеевича, — поправил Ленечка. — Так правильней.

— Это зачем же сокращать? — спросила Софья Петровна, и Леонид Михайлович как бы поддержал:

— В самом деле...

— Да хотя бы для удобства простых трудящихся.

— А ежели теперь это модно? — опять словно бы не согласился с Татьяной Леонид Михайлович. — Носить джинсы и быть Иоанникиевичем, прикуривать от французской зажигалки и числить свою родословную от протопопы Аввакума...

Софья Петровна давно поняла нехитрую игру этой парочки в таких вот случаях, но последнее время они объединялись против нее все чаще. Случаи были пустячные, несерьезные, а все равно досадно. Особенно когда это случалось при дочери. Но в тот раз дочь оказалась на ее стороне:

— А по-моему, папа с Татьяной не правы. Не он же выдумал этого Иоанникиевича. Вот если бы он так назвал своего сына, было бы действительно смешно. А отказываться от того, что есть, по-моему, нехорошо: получается, будто он стыдится деревенских родственников.

Леонид Михайлович хоть и не сразу, но возразил:

— Дело не в деревенских родственниках. У нас работает Махмуд Захарович. Кажется, таджик или туркмен. Никакой он не Захарович. Да и не приняты у них отчества. А вот называют как удобней. Он сам же и предложил. А у этого вашего госпиталя уж не претензия ли на самобытность? — Леонид Михайлович помолчал. — Хотя бог его знает, может, он и прав. Кому какое дело? Тем более что это вполне безобидно.

С этим, пожалуй, и Софья Петровна согласилась бы.

— А почему ты назвал его этим гос-пи-таль-ером? — слышался ломкий голосок Нади.

Леонид Михайлович оживился:

— Был такой монашеско-рыцарский орден — госпитальеры. Их еще называли и о а н н и т а м и. Вот я и вспомнил. Тогда же — это средние века — были храмовники, или тамплиеры. Ты должна помнить по Валь-

теру Скотту. Один чудак мне недавно рассказывал, будто предпринимаются попытки...

Софья Петровна едва сдержала ироническую усмешку: сел на своего конька, сказывается гуманитарное образование...

Заведующий, когда зашла к нему, говорил по телефону, и разговор был, видно, не из приятных. Даже подумала: вот сунулась не вовремя. Но, положив трубку, он посмотрел на нее доброжелательно, как всегда. Он был рад ее видеть.

— Мне передали жалобу...— сказала Софья Петровна, собираясь объяснить всю сложность положения: ответ в министерство должен быть точным и убедительным, а времени в обрез...

Но Гурий Иоанникович, улыбаясь, упредил ее:

— Знаю, все знаю.— И опять посерьезнел.— Подвел милейший Дед Мороз.— Он снова на мгновение улыбнулся — одними губами, как бы извиняясь за, может быть, неуместный фамильярно-шутливый тон.— И обижаться на старика не приходится, еще неизвестно, какими сами будем в его возрасте. Ночью схватило сердце — звонила его жена...

Еще раньше Гурий Иоанникович жестом пригласил Софью Петровну сесть.

— ...Кроме вас, поручить просто некому.

Это она понимала, но сроки, сроки!

— Он, кстати, кое-что успел сделать. Вы посмотрите бумаги у него на столе. Основные документы должны быть уже собраны. Вам с членами комиссии остается обобщить и написать справку.

Да! Нужно создать комиссию...

И снова Гурий Иоанникович упредил ее:

— В комиссии доцент Надъярных и начмед областной больницы — ваш добрый знакомый...

Он говорил не начальственно, не наставительно — скорее дружески. Наверное, это вообще должно быть присуще начальству — знать, как с кем разговаривать. Если это так, то с нею он нашел верный тон. Уходя Софья Петровна знала, что все сделает к сроку. Но перед уходом Гурий Иоанникович сказал ей еще вот что. Сначала выдержал паузу, подводя черту под деловой частью разговора, а затем сказал:

— Хочу дать вам совет... Или рецепт? Только вы его, как говорят в рецептуре, *divide in partes aequales* — разделите пополам. Ладно? (Несколько озадаченная таким предисловием, Софья Петровна кивнула.) Вы его, с одной стороны, забудьте, а с другой — все-таки запомните. Как руководителю этой конторы мне невыгодно, чтобы вы его помнили,— Гурий Иоанникович рассмеялся,— а как человеку, который — как это точнее сказать? — испытывает к вам добрые чувства, мне вас жаль. Так вот: вы слишком серьезно, даже напряженно ко всему относитесь. А работа есть работа. В том числе и эта...

Одним пальцем, несколько небрежно — и это чувствовалось — он слегка подвинул к ней жалобу, которую Софья Петровна, садясь в кресло, положила на стол.

— Будьте легкомысленней. Хотя бы иногда. Ладно?

Найдя черновик прежней справки и поправив в ней по мелочам кое-что (вместо «председателю облисполкома» — «секретарю обкома», несколько новых фактов и примеров), Софья Петровна отдала ее машинистке. С этим было покончено, можно браться за жалобу.

Суть ее заключалась в том, что доктора погубили двадцатилетнего парня. Плохо ему стало внезапно, в районную больницу привезли на «скорой помощи», а дальше никакого лечения не было. Мать не отходила от него и все видела: порошки да капельки. Как ни просили родители перевести сына из районной больницы в областную, где есть настоя-

щие специалисты, этого вовремя не сделали. Перевели тогда только, когда потеряна была всякая надежда.

Ветеран войны и труда Е. Н. Самохвалов считал это преступной небрежностью, требовал привлечь виновных в смерти его сына к самой суровой ответственности, и если это не будет сделано, грозил жаловаться выше.

Бедные люди! Конечно, все тут построено на эмоциях, но как их не пснять!

Важно, однако, самой не бросаться в крайности. Для этих несчастных все ясно. Медицина-то — «сфера обслуживания». «Покупатель всегда прав!» Значит, кто-то должен быть виноват...

Между прочим, в сопроводительной бумаге эта возможность тоже не отметалась, бумага требовала проверить оказание помощи на всех уровнях, прислать выводы комиссии, но послать также историю болезни и протокол вскрытия — чтобы самим можно было разобраться. Автор бумаги, похоже, не заблуждался насчет своих кадров и не очень им доверял.

Историй болезни было две — из районной больницы и областной. Софья Петровна нашла их в серой папке с тесемками, которая лежала в столе у Деда Мороза. Там же были объяснения районных эскулапов. Старик и впрямь кое-что успел сделать.

Велик соблазн попытаться найти ответ сразу на все в этих объяснениях, и Софья Петровна не устояла перед ним. Почему-то обрадовалась, наткнувшись на фамилию начмеда районной больницы товарища Губадулина. Знала его давно, еще студентом — вела их группу. Был старше всех: положительный, тяжеловатый на подъем мужик. Из фельдшеров. В студенческие годы женатый и даже имевший детей. Это он сам так рекомендовался: товарищ Губадулин. И сейчас писал в объяснении: «Председателю комиссии по разбору жалобы гр. Самохвалова Е. Н. от начмеда Лосьвенской районной больницы тов. Губадулина В. С.».

К сожалению, дальше он сообщал, что в период пребывания в больнице больного Самохвалова исполнял обязанности находившегося в отпуске главврача и был занят в основном монтажом котельной по переводу ее на жидкое топливо. С этим больным к нему обращались единственный раз: просили выделить санитарный транспорт для перевозки в терапевтическое отделение областной больницы, «который и был выделен».

Ну что ж, вздохнула Софья Петровна, по крайней мере можно надеяться, что предстоящей зимой в Лосьвенской больнице будет тепло. Тов. Губадулин если берется за что-либо, то доводит до конца. Экзамены пересдавал по нескольку раз, но в конце концов получал свою тройку...

Объяснительная записка районного терапевта была пространной. Да, мать больного действительно просила перевести сына в областную больницу, но его состояние не внушало тогда опасений. Об этом шел разговор с областью, но не очень, как видно, серьезный. Болезнь-де известна: холецистит, гастродуоденит, лекарства у вас есть, а мест у нас, в области, нет... Сказали об этом матери, она и отстала.

Так прошла неделя. И вдруг грянула беда.

«Я лично позвонил в санавиацию. Мне ответила дежурная. Я просил вызвать к нам врача-консультанта. У меня спросили, что с больным. Я вкратце описал состояние больного. Дежурная просила подождать — она пригласит консультанта, и через некоторое время я разговаривал с заведующей терапевтическим отделением областной больницы Вишняковой В. Я. и доложил, что состояние больного тяжелое, нужно к нам приехать...».

Мужики, видать, заматались.

«Она просила рассказать подробнее, интересовалась транспортабельностью больного и посоветовала отправить его к ним...».

Итак, Вишнякова, судя по всему, сдвинуться с места не захотела. Шут ее знает, что тут оказалось главным — нежелание лететь на «курузнике» в эту осеннюю непогодь или действительная забота о больном? Думать о Вишняковой плохо не хотелось — толковый врач, отделение на хорошем счету и дел в нем хватает.

Оставалось, однако, ощущение пустоты и суеты. Впрочем, там же лежало объяснение самой Вишняковой. Дед Мороз времени не терял.

«30 августа (в субботу) мне позвонил лосьвенский районный терапевт по вопросу перевода больного Самохвалова, 20 лет, в областную клиникускую больницу...».

Софье Петровне не понравилось упоминание о субботе. Ах какая доблесть! Даже в субботу она занята делами... Но вот, кажется, то, чего до сих пор не хватало:

«Я спросила, исключили ли хирурги острую хирургическую патологию органов брюшной полости...»

Конечно же, конечно! С этого и надо было начинать.

«Райтерапевт ответил: 26/VIII больной осмотрен опытным анестезиологом, который раньше работал хирургом, и он исключил острую хирургическую патологию органов брюшной полости, установив клинический диагноз: хронический холецистит, гастродуоденит,— и откорректировал назначения...».

Господи! Это еще что за уровень: опытный анестезиолог, который раньше работал хирургом? Но, кажется, и Вишнякова это оценила:

«Я рекомендовала срочно вызвать санавиацию для исключения острой хирургической патологии, что не было сделано...».

Последние слова кем-то подчеркнуты красным карандашом.

То ли из-за «опытного анестезиолога», то ли потому, что подчеркнутые красным слова звучали явно обвинительно, Софья Петровна насторожилась. А дальше вообще в пору было запутаться. Районные деятели писали о внезапно разразившейся беде, о катастрофе и о своей беспомощности, которая заставила их снова звонить и звать, а по Вишняковой выходило, что больного так или иначе должны были доставить к ней «в плановом порядке» и во вторник доставили...

Правда, к тому времени она сама заболела и с высокой температурой ушла домой, дав все необходимые распоряжения врачу-ординатору. Три дня болела и потому больного Самохвалова не видела.

Рядом с этими словами все тем же красным карандашом поставлен вопрос. Софья Петровна поморщилась: нельзя так вот во всем не доверять. В том, что Вишнякова в самом деле заболела, она не сомневалась. Удивление вызывало другое: слишком уж жестко и холодно отмежевалась от истории, к которой все-таки имела касательство. На нее не похоже, репутацией дорожит. Объяснила бы хоть что-нибудь... Не может или не хочет? Тонная дама. Говорить с нею, конечно, бесполезно.

Что же происходило в отделении? Должно быть объяснение ординатора, но его нет. И Софья Петровна обратилась к тому, с чего, может быть, следовало начинать: к истории болезни.

Что за документ история болезни! Сколько дискуссий кипело вокруг него в разные годы! Сколько лекарских проклятий из-за нудной и большей частью пустой писанины раздавалось и раздается! Оно и верно: писанина иной раз отнимает времени больше, чем общение с больным. И на эту писанину часто обращают внимание больше, чем на лечение. Но есть у истории болезни одно важное качество. Она может быть — как и люди, которые ее заполняют, — глупой, небрежной, неряшливой, даже неграмотной (чего в жизни не бывает!), однако преднамеренно она не лжет. И причина не в чьей-то высокой честности.

Просто люди, заполняющие историю болезни, не знают, чем все кончится, вынуждены писать как есть, не могут заранее подогнать решение под ответ. Так было и в этой истории болезни из районной больницы.

Деду Морозу, по-видимому, пришлось ездить за нею.

Самый глухой, но и самый красивый район. Софья Петровна отличала среди деревьев только елочку, черемуху, березу, липу, рябину, но в этом ли дело — тамошний высокоствольный лес всегда казался ей прекрасным. Да он и был таким.

Запомнилось как-то услышанное, что один наш Лосьвенский район по территории больше великого герцогства Люксембургского — что же говорить о всей области!.. Когда-то это нравилось, возвышалось в собственных глазах: вот-де мы какие! Сейчас было безразлично. Толку-то... Как говорит Татьяна, жить в деревне хорошо, только до ветру бегать зимой холодно.

Небольшие деревеньки с сохранившимися кое-где деревянными церквушками, небольшие пашни. Но были и леспромхозы с множеством машин, а последние годы поговаривали о строительстве огромного комплекса по производству фанеры, древесностружечных плит и чего-то еще.

Больница в Лосьве помещалась в трех одноэтажных деревянных постройках, расположенных буквой «П» и соединенных дощатыми тротуарами. Представила себе, как обошел все этот Дед Мороз, расспросил одного, другого, полистал бумаги, поцокал вставной челюстью и махнул рукой: «Пишите».

Легко сказать! А как признаться, что опростоволосился, если в результате — шутка ли! — человек помер...

Сейчас, когда известен финал, история болезни, запечатлевшая состояния теперь уже умершего человека, симптомы, диагноз, назначения, анализы на клеенных листочках, описание кардиограммы, пометки об артериальном давлении, пульсе, температуре, казалась только способом прикрыть смятение и беспомощность. Софья Петровна знала, однако, что это не прикрытие, а подлинная картина метаний, поисков истины, которая лежала, может быть, совсем рядом.

История болезни предстала как некий странный портрет. Будто вместо фотоснимка человека дали рентгеновский снимок.

Кстати, подумала вдруг, а почему и в самом деле нет рентгенограммы?..

Но что все-таки происходило потом, в областной больнице? Папка Деда Мороза содержала только то, что касалось Лосьвы. Конверт для истории болезни из областной больницы оказался пустым. Хотя нет, в конверте лежала бумажка. «История болезни, объяснение Матвеевой, протокол вскрытия у Надъярных», — прочитала Софья Петровна. Подчерк был Деда Мороза.

Значит, ординатор — Матвеева! Та с а м а я Матвеева, или, вернее, дочь того с а м о г о Матвеева...

Услышав от шефа имя доцента Надъярных, Софья Петровна поняла, что дело не в слухах, не в сплетнях — просто Надъярных тоже член их комиссии. А то ведь подумала: до чего же скоры эти слухи! Сама она еще понятия ни о какой жалобе не имела, а Надъярных уже что-то говорила Татьяна.

А участие в комиссии Надъярных к лучшему. Женщина энергичная, напористая, вот пусть и проявляет свои лучшие качества. Надо только поторопить. А может, и торопить не придется, лишь напомнить о себе и попросить вернуть взятые документы: Софье Петровне не терпелось ознакомиться со всем, чтобы быстрее покончить с кляузным делом.

Торопить и в самом деле не пришлось.

— Да-да, нам нужно непременно увидаться,— сразу сказала Надъярных, когда Софья Петровна позвонила ей.— Думаю, сегодня же. Справка почти готова. Да, все ясно.

Она говорила, как бы отсекая возможные вопросы — эдакая властная манера. Не сказать, чтобы Софье Петровне это нравилось, однако решила не обращать внимания.

Встретились после обеда. В разговоре тот же напор и некоторая покровительственность:

— Не беспокойтесь, я уже во всем разобралась. Нравится нам или нет, но придется наказывать. Врачи, конечно, виноваты. Прежде всего в районной больнице. Лечение было неправильным. Я тут пишу: «Не было адекватной коррекции внутренних сред, вводились сильнодействующие лекарства, вместо того чтобы установить наличие острого заболевания, вызвать хирурга и оперировать больного. Хирург на консультацию не был вызван ни разу».

Как ни жаль эскулапов, думала Софья Петровна, но все это правда.

— Так вы думаете, нужно было оперировать.— Она не то чтобы спросила, а скорее просто отметила показавшийся важным момент, но Надъярных посмотрела более чем выразительно.

— А вы сомневались? Но зачем же тогда, по-вашему, и меня и этого Деда Мороза включили в комиссию?

Софья Петровна даже почувствовала неловкость.

Верно: первоначально в комиссию входили два хирурга и сам облик у нее был, так сказать, хирургический. Исходили, видимо, из того, что и больной был хирургический. Софья Петровна могла бы, правда, спросить, зачем же тогда именно ею заменили Деда Мороза, но это не имело смысла. Пикироваться не хотелось. Надо было заниматься делом.

— Хорошо, с районной больницей ясно, а как, по-вашему, с областной?

— Не лучше.— Надъярных взяла со стола Деда Мороза пепельницу и достала из сумки папиросы.— Вишнякова, вместо того чтобы лететь в Лосьву, затеяла по телефону дискуссию...

— А лететь нужно было именно Вишняковой?

Софья Петровна не собиралась защищать тонную даму Вишнякову, но должна же быть справедливость. Лететь-то, судя по всему, следовало хирургу.

Надъярных затягивалась глубоко, а дым выпускала шумно. «Как мужик»,— подумала Софья Петровна.

— Но обратились к ней. А потом эта дипломатическая болезнь. В результате в отделении осталась одна Матвеева.

— Та самая...

— Вот именно. Что с нее спросишь?.. Спасибо, не побоялась быть хотя бы откровенной.

— Это она может.

— Еще бы! Вы читали ее объяснение?

— Оно у вас.

— Читать, собственно, нечего. Осмотрела — можете себе представить, как это было,— пригласила дежурного хирурга, тот тоже ничего не нашел.

— При чем же тут Вишнякова?

— А порядок в отделении? Коррекция начата тоже с опозданием, из терапии в реанимацию больного перевели через двадцать часов... Это уже стиль... Не думайте, будто я имею что-нибудь против Вишняковой. И в справке о ней ничего нет. Вот основной вывод: «Из-за поздней госпитализации в областной больнице крайне тяжелого состояния больного заболевание не было распознано и в связи с этим не назначено нужное лечение».

Без сакраментальной фразы о поздней госпитализации не обошлось.

— Это все? — Софья Петровна вложила в интонацию всю осторожность, на какую была способна, но за вопросом все-таки угадывалось разочарование: негусто...

— Нет, почему же. Дальше о консультациях.

Надъярных порылась в сумке, доставая новые листки. Рылась, как показалось, долго, словно испытывала терпение собеседницы. Софья же Петровна терпеливо молчала, разглядывая ее. Вспомнила, как много лет назад удивилась, узнав, что доцент Надъярных — женщина, да еще и с нежным именем: Таисия, Таисия Павловна. Как ее боялись студенты! Да и сейчас боятся — самый строгий экзаменатор. Татьяна, правда, говорит: вечный кандидат, вечный доцент. Но легко сказать, а попробуй-ка сама стать доцентом.

Разгладила наконец свои бумажки.

— Вот: «В течение 15 часов больной наблюдался вызванными на консультацию дежурными хирургами. Из-за крайне тяжелого состояния больного, при наличии мягкого, не вздутного живота и выраженных признаков обезвоживания, гипокалиемии, гипонатриемии у больного не была распознана острая патология брюшной полости...» Так... Затем перевели в реанимацию.

Она опять замолкла, шелестя бумагами. Перебить или поторопить было как-то неловко. Неужели это с прежних, студенческих лет стало?

— Фамилии хирургов вы потом укажете?

Для справки нужны были фамилии. Но, спрашивая, Софья Петровна по-новому и неприятно ощутила перемену в своем положении. Раньше если и спросила бы, то просто из любопытства, а теперь по долгу службы. И не спрашивала — напоминала, что нужно указать. Не только для справки — для выговоров и проработок: не распознали.

— Да-да, конечно.

Почему же сразу не указала?

Неприятно она все-таки курит. Как папиросный мундштук обслюнявила... Наверное, и ест неряшливо...

— Так... «В реанимационном отделении состоялся консилиум в составе заведующего кафедрой госпитальной хирургии профессора Белокурова...»

Софья Петровна сразу оживилась.

— «...и заведующего анестезиологическим отделением Лебедева. Был заподозрен тромбоз мезентериальных сосудов...»

Наконец-то что-то начало проясняться! Надъярных продолжала читать, а Софья Петровна думала, как неожиданно и удачно все разрешилось. Да если бы она с самого начала знала о причастности Белокурова, не было бы никаких сомнений и тревог. А то ведь подняла панику из-за сроков, засуетилась, даже почувствовала раздражение. Сейчас ей было жаль Таисию Павловну, которую коллеги большей частью называют по фамилии, а студенты и вовсе тетя Лошадь. Правда, упоминание о Белокурове заставило вспомнить об открывшейся вчера Лечечкиной пакости... Невозможно с этим примириться, невозможно!

Надъярных между тем читала:

— «Отсутствие признаков механической кишечной непроходимости подтверждается клиническими признаками: живот был мягкий, не вздут, не было схваткообразных болей...»

— Спасибо,— остановила ее Софья Петровна.— Я дочитаю сама. Думаю, что основа для справки у нас есть. Вы меня очень выручили.

— Почему только вас? — возразила Надъярных.— Нас, членов комиссии, трое.

«Зануда, — подумала Софья Петровна. — Какая же ты все-таки зануда». Спорить не стала, сказала лишь:

— Теперь мы отдадим это перепечатать, а завтра сговоримся о новой встрече. Втроем.

Вернувшись от машинистки, застала Надъярных разговаривающей по телефону. Открывая дверь, услышала:

— Передайте, что все в порядке. Он знает о чем. Да, я скоро вернусь.

СЕМЬЯ (СТАРЫЙ ДОМ)

Жизнь на два дома имела не только свои преимущества, но и неудобства. Особенно это чувствовалось на первых порах. Стоило, скажем, заболеть Надюшке — и начиналась суета. Конечно, у стариков ей лучше было: бабушка не работает, дед — врач, квартира в центре... Но, пожив у них, девочка делалась балованной, капризной. Да и Софье Петровне чисто житейски приходилось нелегко.

Потом долго и тяжко болел Петр Сергеевич. Лежание в больнице не имело смысла, и он большей частью находился дома. Надо было помогать Полине Матвеевне, и тут Леонид Михайлович с Софочкой, как ни трудно было, оказались на высоте. Особенно Леонид Михайлович. Он проводил с больным, пожалуй, даже больше времени, чем Софья Петровна, частенько ночевал на раскладушке, которую ставили рядом с диваном Петра Сергеевича.

Может быть, именно тогда старик и раскрылся перед ним по-настоящему, хотя не стремился скорее всего ни к какому раскрытию. Вряд ли ему нужен был собеседник в те бессонные ночи — просто слушатель. А может, и слушатель был необязателен, а надо было отвлечься от боли, от ожидания затянувшегося конца. Но есть слушатель — и слава богу. И хорошо, что человек не чужой, не случайный, а свой, который и без того уже немало знает и, главное, готов принять твою версию, твой вариант правды, готовый просто поверить, не требуя нудных и часто пустых объяснений или доказательств. Перед своим, близким не надо выламываться. Что-либо доказывать или объяснять не было, как видно, ни сил, ни охоты.

С удивительной простотой и откровенностью говорил он о себе, о своих близких и о чужих людях, не боясь, что эта откровенность может когда-нибудь обернуться против него самого. Ему это было уже не страшно.

Болезнь и смерть Петра Сергеевича сплотили их. Теща, до того не очень жаловавшая Леонида Михайловича, прониклась вдруг к нему горячей симпатией. Тогда они даже подумывали: а не съехаться ли? Плюнуть на эту окраинную квартиру и переехать в дедовское жилье... Однако Леонид Михайлович почти сразу же спохватился. Упаси и помилуй! Здесь, в своей двухкомнатной секции на четвертом этаже, он сам себе хозяин, никому ничем не обязан. Что бы ни произошло в семье, это никого, кроме него, жены и дочери, не касается. Там же хоть и четыре комнаты, у него самого собственного угла не окажется. Там хозяйкою будет несчастная ныне Полина Матвеевна, которая, придя в себя, опять станет тем, кто она есть: человеком добрым, но вздорным, привыкшим признавать только Петра Сергеевича и считаться только с ним. Будь она стара и беспомощна, никуда бы, конечно, не делись, съехались, но теще-то всего пятьдесят три года. Еще, чего доброго, снова выскочит замуж. Сейчас это модно. Последние свои суждения Леонид Михайлович, правда, не высказывал, помалкивал, как и о кой-чем другом.

Словом, воссоединение под одной крышей не состоялось, но известная перестановка произошла: Надя обосновалась у бабушки. А это означало жизнь опять на два дома, трату денег, времени и все-таки, неуверенность.

Особенно страдала от неуверенности Полина Матвеевна. «Опять приезжали квартиру смотреть,— рассказывала она, и Леонид Михайлович уже не знал, правда это или плод ее мнительности.— Приезжали, но к нам не зашли. Были внизу — там квартира по планировке такая же...»

Однако как-то из жилотдела или исполкома приезжали на самом деле, осматривали квартиру. Это было при Наде, и она изображала потом, как удивлялись визитеры толщине стен, высоте потолков, просторности кухни и прихожей, добротности оконных переплетов и дверей, красоте паркета, сверкающей меди старых ручек и кранов, изящному эркеру в гостиной (снаружи он выглядел как фонарик, а внутри — уютный будуар, переглядывались и обменивались жестами, смысл которых не вызывал сомнений: да, это то, что надо).

На хозяев — бабушку и внучку — они почти не обращали внимания, и тогда решительная девочка Надя заявила, чтобы они больше не приходили. Во-первых, потому, что из-за этого волнуется бабушка, а во-вторых, ничего у них все равно не выйдет. «Здесь выросло три поколения нашей семьи,— сказала она патетически,— начиная с прадедушки, который построил не только этот дом, но и тот, между прочим, в котором находится теперь горсовет. Если же,— пригрозила она напоследок,— не оставите нас в покое, то я буду жаловаться в Москву своему дяде, и уж он, будьте уверены, найдет на всех управу».

«Что ты наделала! Как ты могла!» — шепотом причитала Полина Матвеевна, когда эти люди ушли. А Леонид Михайлович в который раз дивился дочери. Житейские расчеты ей покамест явно были чужды. Но для нее жить в этом доме значило нечто большее. Она воспринимала дом чуть ли не как родовое гнездо.

Удивительно, но факт: больше никто не приходил. Почему и надолго ли — не понять, однако оставили в покое.

До прошлого, XIX века у нас, кажется, не было таких домов. Строил каждый для себя, кто что мог. Кто дворец, кто особняк, кто скромный домик, а кто и халупу. Но для себя. А это был многоквартирный дом, тогда их называли доходными.

Тем, кто строил такие дома, их жизненный уклад, наверное, казался нерушимым. Иначе не стали бы вкладывать капиталы. Но как быстро разлетелся этот казавшийся незыблемым уклад! Сегодня, читая книги тех времен и о тех временах, удивляешься: как могли люди не чувствовать близости столь основательных перемен!

Родитель Петра Сергеевича, архитектор, оказался и после революции нужным человеком. Ну а кроме того, квартира была не из лучших, да и семья тогда была не маленькая. Уплотнять не стали...

Старый дом пережил немало разного, однако выглядел новее недавно построенных домов. Внешне, по крайней мере, он был несомненно свежее и приятнее их... Произошли перемены, и нынче жильцов нескольких коммунальных квартир как-то незаметно расселили по окраинным микрорайонам. Жильцы при этом не пострадали, переселяя, им давали, как правило, отдельные секции в современных домах. Но суть дела была не в этом. Бывшие коммуналки с висящими на кухне и протянутыми вдоль коридора бельевыми веревками, со множеством счетчиков, выключателей и лампочек в том же коридоре и на кухне (у каждого свое), с табличками на входной двери — такому-то звонить один раз, такому-то два, а таким-то и четыре — возвратились в свое первоначальное состояние, снова после ремонта стали просторными апартаментами на одну семью.

Вот и теперь поселился здесь еще кто-то, загонявший свою темную «Волгу» прямо под окна, на тротуар.

Возле этой машины Леонид Михайлович и увидел в уже наступавших сумерках Надю с собакой. А рядом какого-то старика, который сердито стучал клюкой о тротуар. По-видимому, происходило что-то неприятное.

Леонид Михайлович хотел было броситься на помощь дочери, но Надя демонстративно повернулась к старику спиной и пошла прочь, ведя Мики на поводке. А навстречу ей уже спешила Татьяна.

То, что Надя не стала ввязываться в скандал, было хорошо, но уж больно резко — до дерзости — она ведет себя последнее время. Да вот и сейчас повернулась и ушла с таким пренебрежением... Хотя кто его знает, что там случилось. Старость отнюдь не всегда признак мудрости.

Леонид Михайлович видел, как обрадовалась Мики Татьяне: поднималась на задние лапы, норовила лизнуть лицо, а Татьяна со смехом отбивалась и пятилась, оберегая свое светлое пальто. Потом вся троица направилась в сторону сквера, где обычно выгуливали собаку. Мики царственно шествовала чуть впереди, а Татьяна и Надя выглядели как сопровождающие ее лица. На ходу Татьяна оглянулась на старика: видимо, Надя рассказывала о происшествии.

Провожая их взглядом, Леонид Михайлович подумал, что Татьяна заняла слишком большое место в жизни дочери, и почувствовал не то чтобы ревность, но некоторую досаду. Сомневаться в привязанности, даже преданности Татьяны не приходилось, и все же нормально ли, чтобы она потеснила, пусть невольно, отца и мать? Что касается его самого, то, думал он, бог с ним — наступает пора, когда главной советчицей девушки становится мать. Но жена, словно бы ничего не замечавшая, вызвала раздражение. Как же, великая деятельница! Сегодня вернется небось демонстративно поздно, не будет разговаривать, отвечать на вопросы, и в квартире станет уютно, как в склепе... Все давно знакомо, но легче не делается. Подумал, правда: «Не мальчик, пора угомониться... — Но тут же вернулся к прежнему: — Сама и виновата... Если бы знала, как мне все надоело, ей-богу, успокоилась бы... Да что с нее спрашивать — ушла в общественную жизнь... Лучше бы поинтересовалась, каким опытом делится с дочерью ее бойкая и разбитная подруга».

Эти мысли о Татьяне (сам понимал) были несправедливы, гадки, приходили в недобрые минуты, но приходили. Он стыдился их, потому что по-своему любил Татьяну, ценил за то, чего не нашел в жене, — был у Татьяны сочувственный интерес к его, Леонида Михайловича, ковырянию в старых книгах, альбомах, журналах. Пустое занятие? Может быть. Но ведь не все же функционировать. Да и сама Татьяна не чужда была книжным, театральным интересам, проявляла вкус. Ленечка, случалось, говорил ей то, чего не решился бы сказать жене, и все-таки...

Лет десять назад Татьяна забеременела. Спрашивать, от кого, было бесполезно (при всей своей общительности Татьяна была скрытна во всем, что касалось ее личных дел), да Леонид Михайлович поначалу и не знал ничего, лишь заметил едва уловимый шорох в доме. А однажды нечаянно услышал: «Нет, Сонечка, рожай лучше ты второго — помогу выходить». Сказано было искренне, хоть и горестно. Такое не забывается. А Надежда? Ведь возится с ней с пеленок. И все же...

Леонид Михайлович усмехнулся, вспомнив, как та же Татьяна посмотрела на него хитренько и сказала: «А ты, Ленечка, демократ только для себя. А вообще жуткий домостроевец, сторонник феодально-байских пережитков». Так или иначе, но то, что Таня занималась сейчас дочкой больше, нежели мать, его определенно раздражало.

Глядя им вслед, он подумал и о том, как счастливо и гармонично пережила Надя подростковый возраст, когда дети нередко бывают угловаты и неуклюжи. Судя по бабке, на которую она похожа, можно

надеяться, что столь же гармоничной физически она останется и впредь. Правда, бабка по нынешним понятиям отнюдь еще не бабка...

А ведь дочь наверняка уже в кого-то влюблена... Кого она приведет в дом? Почему-то он был уверен, что Надя не уйдет, а приведет кого-то. Но даже и в этом случае дочь станет совсем другой...

— ...Ты знаешь,— говорила Надя,— а животные лучше нас. Глупее, конечно, но лучше. Глупость и ум — это ведь еще не самые главные показатели...

Спорить Татьяне не хотелось, и она ответила только:

— А мне всегда казалось, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

— Почему же тогда мы все так любим маленьких детей? Они-то интеллектом не отличаются...

— Надеемся, что вырастут такими же умными, как ты.

— Нет, правда. Люди тоже страшно глупы, особенно взрослые — у них это заметнее. Не во всем, конечно. Денежки они считать умеют и если обмануть нужно друг друга... А вообще — глупы. Ведь что должно отличать человека? Духовность. Да ты не смейся. (Татьяна вовсе не смеялась.) Это не я выдумала. Духовность. А что у них все время на уме?

— Что же?

— Такие пошлости, что и говорить не хочется... А послушай, о чем говорят люди. Ради этого не стоило приобретать дар речи. Лучше бы семечки щелкали. Ты думаешь, случайно дети рано или поздно разочаровываются в родителях?

— Ты уже разочаровалась? А наоборот не бывает? Когда родители разочаровываются в детях?

Говоря это, Татьяна подумала: «Кажется, первый раз в жизни выступаю с позиций стариков...»

— Родители в своем разочаровании сами виноваты. Они слишком многого ждут от нас. А нам нужны от них только справедливость и честность.

— Ой ли. Ты не забыла еще что-нибудь? Заботу, например, и любовь?

— Заботу и любовь даст своим щенкам и моя Мики...

Татьяна улыбнулась (аутотренинг: «Не позволяй овладеть собой отрицательным эмоциям. Подумай о приятном и улыбнись, заставь себя улыбнуться»).

— Уж не она ли натолкнула тебя на сравнение людей и животных?

— Нет. Тут есть один пьяница. А у него собачка. Трезвый он еще ничего, а когда напьется, издевается над ней. А она ему все прощает. Я однажды пробовала заступиться, когда он ее ударил ногой, так — представляешь? — она на меня же и бросилась.

Татьяне не понравилась отстраненность, с какой Надя это говорила. Даже глянула исподтишка на девочку с тревогой. А та выглядела рассудительной, степенной. Удивительные пошли дети! Там, где родители размахивают руками и рвут голосовые связки, они спокойноенько прозносят суждения. Может быть, за этим кроется некий холодный огонь? А может, нет ничего, кроме опустошенности и разочарования?

— Ты взяла случай необычный...

— Почему? Пьют очень многие, просто не у всех есть собака для сравнения.

— А если взять для сравнения другую пару?

— Например?

— Тебя и Мики. Ее ты тоже считаешь лучше себя? Или ты, может быть, исключение?..

Надя посмотрела озадаченно и рассмеялась.

— Ты мне скажи,— продолжала Татьяна,— откуда это у тебя?

— Что?

— Не финти. Сама же говорила о честности.

Пустив Мики на свободу, Надя повертела узенький ремешок с карабином-защелкой и сказала:

— И ты как все. По-вашему, если человек думает не так, как вы, его обязательно кто-нибудь этому научил.

— Ладно, считай, что мне уже стало стыдно.

— Конечно! — сказала Надя саркастически. — Я вот думаю, неужели и дедушка был таким же обманщиком?

— Ты, милая, сегодня разболталась, — рассердилась Татьяна. Догадаться, в связи чем Надя сказала это, было нетрудно.

— А вы всегда так, когда нечего сказать: разболталась, многое себе позволяешь, замолчи... Если не обманывал, то потому, что был старым. Он на сколько лет старше бабушки? Почти на двадцать?

— Вот что, моя радость, я тебе не мать, воспитывать не собираюсь, но всякое свинство выслушивать тоже не намерена.

— А разве это не правда? — с поразительным на Татьянин взгляд упрямством твердила Надя. — Женится, когда ей и восемнадцати не было. Я посчитала недавно. Бабушка родилась в семнадцатом, а мама в тридцать пятом...

— Ну и что?

— А ему самому уже под сорок было.

— Ну и что?

— А то, что я давно уже все понимаю, а вы считаете меня маленькой дурочкой. Если хочешь, могу объяснить: старый с молодой женой не очень-то...

— Господи, что ты выдумываешь! И если бы не знала, о ком говоришь!

Татьяна понимала, что выдумать что-либо Надя могла только с помощью бабушки. Что за беспокойное создание Полина Матвеевна! И не Полина ведь вовсе, а Пелагея. О том, правда, никто почти не знает, но в этом вся она. Не Пелагея, как в паспорте, а Полина — так «интеллигентнее». Не просто жена известного в городе врача, а существо капризное и баловатное. Такой она отнюдь не была, но быть такой ей казалось признаком утонченности и принадлежности к какому-то высшему кругу. Перед мужем Петром Сергеевичем трепетала — вот уж кто действительно был для нее существом высшим. И вместе с тем даже в последние годы, имея замужнюю дочь, не прочь была изобразить из себя молоденькую жену при старике, намекнуть на какие-то романтические обстоятельства, которые соединили их.

А ведь была надежной и верной женой, в которой Петр Сергеевич никогда, кажется, не усомнился. Были годы разлуки, ставшие особенно страшными после того, как Петр Сергеевич безвестно пропал на войне в конце сорок третьего. Татьяна хорошо помнила то время, они с Софочкой уже ходили в школу. Полине Матвеевне шел всего двадцать седьмой год, в городе полно военных — здесь формировались части для отправки на фронт, — работала в госпитале сперва санитаркой-нянечкой, а потом медсестрой (единственное после замужества время, когда служила), смотреть ни на кого не хотела, высохла, почернела, как галка... В ней проснулось что-то истовое, работала как одержимая, стала даже захаживать в церковь. Но все это будто отрезало, едва летом сорок пятого пришла первая весточка от Петра Сергеевича, а спустя полгода появился и он сам.

Другие пришли героями, победителями, а Петр Сергеевич был в плену. И если уж говорить об этом, как не вспомнить, что именно Полина Матвеевна сказала тогда: «Господи! Какая чепуха! Пройдет все и забудется. Главное, что жив остался, жив!» Петр Сергеевич

отнес эти слова за счет ее легкомыслия. Полина Матвеевна словно тяжкий груз сбросила, снова переложила на мужа свою ношу, свои заботы. Но оказалась права. Во всем права...

— Ты хоть знаешь, как твоя бабушка первый раз появилась в этом доме? — сказала Татьяна. — Кем она была? Деревенской девчонкой! Нянькой! Нянькой твоего дяди Сергея, которого ты, по-моему, и не видела никогда... У дедушки умерла первая жена — ты хоть слышала об этом?

Конечно, слыхала, но что ей до этой первой жены, до незнакомой чужой жизни, которая, едва вспыхнув, тут же погасла?

Дурацкий разговор. Девчонка треплется, расчесывает какие-то свои прыщички, а она, Татьяна, завелась совершенно напрасно. Ведь ничего не сможет ей сказать — не решится да и не имеет права.

Не так давно умер девяностолетним почти стариком тогдашний (в давно прошедшие времена) начальник железнодорожной милиции — последний, кажется, из всех, исключая, конечно, саму Полину Матвеевну, кто помнил ее историю.

«Я еще, хе-хе, предупреждал Петьку, Петра, хе-хе, Сергеича: смотри, как бы она тебя не обокрала. Промышляла, как говорится... Я это хорошо помню. Мы ее сперва приняли за цыганку. Потом видим: одна, а с цыганами такого не бывает; босячки нашей не чурается, а цыгане держатся отдельно... Забирали несколько раз. Удрала как-то из линейного отделения в форточку. Тоненькая была. Дежурный Евсюков только отвернулся, глядь — ее нет. Хе-хе... Даже под стол заглядывал — не мог поверить. И ни за что не хотела признаться, как зовут и откуда. Ну я, конечно, обо всем дознался. Их, весь эшелон, пригнали с Кубани. Приехали под зиму, едва успели несколько землянок вырыть, спали на нарах вповалку...»

Он ухмылялся, будто чего-то не договаривал, давал понять, что еще немало знает и мог бы порассказать, да вот то ли не может, то ли не хочет. Однако расспрашивать (а старик явно ждал этого), задавать вопросы было противно, тем более что ни сама Полина Матвеевна, ни Петр Сергеевич ни о чем подобном и по прошествии многих лет не упоминали. Правда, Полина Матвеевна несколько раз говорила — отрешенно и спокойно, как о чем-то давно переболевшем, — что она с пятнадцати лет круглая сирота и никого, кроме этой семьи, у нее нет на белом свете.

«...А теперь, хе-хе, смотри, какая важная дама...»

В его смехе и словах Татьяна угадывала нечто похожее на удивление и бессилие человека, которого если не прямо обманули, то непонятным образом провели. Похоже, ему казалось даже, что провели не только его самого. То, что разрешил докторишке (тот осматривал задержанную шпану на предмет выявления заразных болезней) взять девчонку к себе в няньки, не вызывало сомнений. Лучше нянька, чем воровка и подзаборница. Но то, что они как бы забыли об этом, не испытывали благодарности, и сейчас злило до невозможности.

А он ведь не просто разрешил, закрыл глаза, но и бумажку подмахнул, по которой шустрый доктор прописал ее, выправил хлебные карточки, документы. Польшка-то первые год-полтора духу боялась милицейского, а теперь — смотри ты! — семейка в начальство выбилась, сам прокурор — сосед ее по подъезду...

Дурацкий разговор, дурацкий! Не нужно было и начинать.

Надя сама заговорила о другом. Вот какие теперь умные и высоко-сознательные дети. Разговор, однако, недалеко ушел от прежнего.

— Ты заметила, — рассуждала Надя, — чем старше люди, тем больше они любят вспоминать прошлое? О войне, голоде, лишениях. И чуть ли не обижаются на молодых, когда те недостаточно, как им кажется, сочувствуют. Так что же, надо притворяться? Как я могу сочувствовать,

если не знаю, что это такое? Ужасно любят рассказывать о своих несчастьях, особенно о болезнях. А другим это скучно.

Бесхитростная естественность этой девочки иногда ставила в тупик и казалась — а может, и в самом деле была? — черствостью.

— Ты слишком прямолинейна, — сказала Татьяна. Ей почему-то вспомнилось, как в домашнем сочинении по «Мертвым душам» Надя расписала Собакевича, какой тот хороший человек, лучший во всем романе — и крестьяне у него сыты, и избы стоят крепкие... Взрослые спорили с ней до хрипоты, бабушка, которая ничего в этом не понимала, но внимательно прислушивалась, хотела просто порвать тетрадку, а девочка невозмутимо стояла на своем. — Ты слишком уж прямолинейна...

— Но разве это не правда? Люди ведь большей частью только на словах сочувствуют.

— Ты же знаешь, что это не так.

— Нет так. Сочувствовать — значит, чувствовать то же самое. А как я могу сочувствовать, если не знаю, что это такое? Боль или голод нужно испытывать самому, а иначе получается притворство.

— Да нельзя же так категорично! Люди из других стран сочувствуют, например, голодающим в Индии и стараются им помочь — в чем тут притворство? — Татьяна улыбнулась (аутотренинг: «Возьми себя в руки, не злись — от этого портится цвет лица и появляются морщины»).

— Знаешь, давай поставим опыт — поголодаем сами...

— Давай! — обрадовалась Надя. — А как долго?

— Для начала три дня.

— Так мало?

— А ты пробовала когда-нибудь ничего не есть три дня?

Первое испытание ждало их через несколько минут. Вернувшись домой и вымыв лапы собаке (Мики сама пошла в ванную), они услышали:

— Мойте руки — и за стол. У нас сегодня ветчина — Леонид Михайлович достал...

Татьяна с улыбкой посмотрела на девочку. Та сглотнула слюну, но решительно отказалась:

— Мы не будем.

Татьяна знала, однако, что так легко от бабушки не отделаешься. Полина Матвеевна была убеждена: если ребенок потерял аппетит, значит, он нездоров. Объясняться не хотелось — пусть это берет на себя Надя, — и Татьяна поспешно откланялась.

Поздно вечером у нее зазвонил телефон.

— Ну как ты? — спросила Надя. Она говорила почти шепотом — по-видимому, чтобы не слышала бабушка.

— Ты о чем? — притворилась непонимающей Татьяна.

— Я хочу спросить: а чай пить можно?

— С сахаром или, как всегда, с вареньем? — насмешливо спросила Татьяна. — Какой же это будет голод? Можно пить только воду. — Она поймала себя на том, что испытывает нечто похожее на злорадство. — Воды пей сколько хочешь.

— А ты сама ничего не ешь?

— За кого ты меня принимаешь? — Свое возмущение Татьяна выразила спокойно, зная, что иногда это действует сильнее, и подумала: а пожалуй, и в самом деле надо слегка перекусить.

Она уже хотела, как всегда на ночь, выключить телефон, когда раздался новый звонок. Значит, не миновать все-таки объяснений с Полиной Матвеевной... Но это была Софочка.

— Что вы там с Надеждой затеяли?

— Ты о чем, кума? И почему не здороваешься? Или рядовые труженики для тебя теперь мелочь пузатая?

— Перестань ерничать. У меня и без того забот хватает, а тут эта паршивка объявляет голодовку и второй день в рот ничего не берет...

Татьяна едва не рассмеялась: второй день! Баба Поля явно перегнула палку.

— Ну и что? Раньше люди постились и ничего дурного не было. Был даже великий пост. Весной, по-моему. А у мусульман на какой-то праздник целый месяц не едят с восхода солнца и до заката...

В ответ слышались короткие гудки: Софочка в сердцах бросила трубку.

СОМНЕНИЯ

Разложив на следующий день бумаги, Софья Петровна никак не могла свести концы с концами. Так иногда бывало у матери с пасьянсом. Полина Матвеевна в таких случаях простодушно хитрила сама с собой, сама себя обманывала, чтобы все сошлось, а иногда сердито сгребала карты, разрушая хитроумную, но незадавшуюся комбинацию.

Привычка раскладывать пасьянс осталась с войны. Сперва просила погадать на трефового короля поселившуюся у них старуху из эвакуированных, а потом и сама овладела этой премудростью. Занятие пасьянсом придавало ей вид созерцательный и самоуглубленный, даже значительный. Но лишь до тех пор, пока все ладилось.

После возвращения Петра Сергеевича занятие потеряло свой первоначальный смысл, однако «интеллигентная» привычка понравилась и осталась. Сохранилась, правда, и эта манера раздраженно сгребать карты, если пасьянс не получался.

У Софьи Петровны, впрочем, и характер был другой и дело на сей раз оказалось посерьезнее.

Не понять было: то ли она невнимательно слушала вчера Надъярных, то ли Таисия Павловна, когда читала свою справку, второпях кое-что пропустила. Сейчас Софья Петровна находила некоторое несоответствие этой справки другим документам. Истории болезни, например. А ведь посылать надо все вместе, наверняка кто-то будет читать и сравнивать. Нельзя же выставлять себя перед людьми из министерства болванами!

Надъярных пишет о «наличии у больного мягкого, не вздутного живота», отчего-де и не была распознана острая патология брюшной полости. В конце справки опять: «Отсутствие признаков механической кишечной непроходимости подтверждается клиническими признаками: живот был мягкий, не вздут, не было схваткообразных болей». А в истории болезни совсем другое: боли в животе, живот вздут.

По-иному об этом говорится в протоколе вскрытия. Но тогда надо отметить противоречия и разобраться в них, не дожидаясь, пока нас ткнут носом другие. Для того и комиссия.

Вот так понадейся на кого-нибудь... Все нужно делать самой, проверять каждое слово, и тебя же еще будет обвинять в буквоедстве. С милейшей тети Лошади взятки гладки, написала и ушла в сторону. Ей что, она ученая дама, может быть рассеянной.

Папку с документами с вечера взяла с собой, вертела и читала так и эдак. Утром перед работой забежала к матери посмотреть, что там вытворяет Надежда, и не удержалась — снова достала, раскрыла, чтобы еще перечитать. На минутку уединилась с матерью на кухне, а вернувшись, застала дочь с протоколом вскрытия в руках.

— Что там вы придумали с Татьяной? — спросила резко.

Надя посмотрела на нее как-то отрешенно. Софья Петровна заглянула ей через плечо. Протокол был открыт на главной части: «Групп молодого мужчины правильного телосложения, пониженного питания,

живот не вздут...» Озабоченно подумала: «Вот опять о том же». «Кожные покровы бледны, с серым оттенком, перчатки липнут к грудным мышцам. В брюшной полости 300 мл желтовато-розовой прозрачной жидкости, брюшина блестящая, гладкая...»

Надя вскочила вдруг и, даже не глянув на опрокинувшийся при этом стул, бросилась из комнаты.

Ей стало плохо. Она плакала и корчилась в спазмах над раковиной. А Софья Петровна стояла рядом, совершенно растерявшись. И тут на нее коршуном налетела Павлина Матвеевна, оттеснила в коридор, сняла с вешалки пальто, сунула в руки:

— Иди, иди к себе на службу. Доктора!..

Не дожидаясь, пока Софья Петровна оденется и уйдет, она обняла внучку, похлопала по щекам, вытерла лицо, как малому ребенку.

— Успокойся, моя ласточка. Поди приляг...

А Софью Петровну саму впору было утешать. Она чувствовала себя без вины виноватой и несчастной. Хорошенькое начало дня! И в то же время мимолетно думала: в медицинский девчонке идти нельзя (леяла все-таки эту мысль). Коль ее так развезло от протокола вскрытия, то что же будет на настоящем вскрытии!! От папочки, от «нашего Ленечки», унаследовала эту чувствительность.

Уже с работы позвонила, узнала от матери, что все обошлось, и начала раскладывать бумаги.

Софья Петровна сначала хотела позвонить Надъярных, но передумала. Как раз этого пока не следует делать. Что, собственно, она скажет? Вчера внимала каждому слову, а сегодня, толком ни в чем не разобравшись, все вроде бы ставит под сомнение. Несолидно.

Сомнения, однако, оставались. Сколько ни листала содержимое папки — чудились неопределенность и зыбкость. В истории болезни это, в конце концов, можно понять: не разобрались, метались и описывали, в сущности, умирание человека. Но неопределенность открылась вдруг и в протоколе вскрытия. По совести говоря, может, и тут не нашла бы ничего такого, если бы не разночтения. А они потянули за собой остальное. Отчего он умер, этот двадцатилетний парень? В самом деле, отчего?

Хотелось поговорить, посоветоваться с кем-то. Но с кем? Татьяна отпадала — какой из нее врач? Хотя нет, неправда, Татьяна иногда поражала проницательностью и точностью суждений. Однако не стала обращаться к ней, чтобы не ронять, так сказать, себя, чтобы не возомнила приятельница о себе слишком много, а отчасти, может быть, из-за Нади и вообще бог знает отчего еще, но вот не стала.

Окончательный патологоанатомический диагноз, который она специально выписала на отдельный листок, чтобы всегда иметь перед глазами, был, как теперь казалось, многословен и невнятен. Софья Петровна подвинула к себе протокол вскрытия. Вначале шла читанная и перечитанная описательная часть, которая сегодня так некстати вызвала интерес Нади. «Труп молодого мужчины правильного телосложения...» и т. д. Потом с протокольной бесстрастностью говорилось о восходящей кишке, двенадцатиперстной кишке, а после о толстом кишечнике. В этом ряду ее вдруг остановила одна фраза. Что-то давно знакомое и, кажется, катастрофическое послышалось в словах, которые не ступскали ее от себя... Софья Петровна перечитала еще раз: «Весь тонкий кишечник повернут влево на 180°...» Что из этого следует? И следует ли из этого что-нибудь вообще? «...кишечник темно-красного, почти черного цвета...»

Получалось, как в детской игре «холодно — горячо», когда одна из девчонок искала или угадывала что-либо, а остальные ей подсказывали: «Холодно... Холодно... Тепло... Теплее... Горячо... Опять холодно!..»

Сейчас было явно «горячо»! Если бы понять, подхватить намерк...

Софья Петровна сама не смогла бы сказать, откуда взялись в ней решимость и уверенность. Они будто снизошли на нее и повели за собой, диктуя поступки один за другим. Такой ее побаивалась даже Татьяна, говорившая: «Ты, подруга, как танк: давишь всех подряд».

Полтора десятка комнат и комнатух, которые занимал областной отдел здравоохранения в коридорном тупичке, напоминали коммунальную квартиру, где все знают всё о всех, или, по крайней мере, стараются узнать. Софья Петровна подумала об этом, когда, уже одевшись, вышла из своей комнаты и встретила секретаршу шефа. Готова была поклясться, что та специально покинула свое место в приемной, чтобы увидеть Софью Петровну. Понимающе улыбнулась и проследовала мимо. Что хотела дать этим понять? Шут ее знает. Так, наверное, нужно. А то отпусти чуток вожжи, все разбегутся в разгар рабочего дня — кто в парикмахерскую, кто по магазинам.

А может, присматривается к новому главному специалисту, чтобы составить мнение о нем для начальства?..

На улице серо, гадко, слякотно. Дождь перемежался снегом, и грязная скользкая каша размазывалась под ногами. Прохожие спешили, выглядели смешно и нелепо, как в старом кино с прыгающими кадрами и дергающимися фигурками.

В библиотеке Софья Петровна потребовала старый институтский учебник по хирургии брюшной полости. Это вызвало удивление. Всего-то? Накануне вели серьезный разговор, условились, что для главного терапевта будут откладываться новейшие работы из последних поступлений, и вдруг этот ветхий учебник... Она не стала развеивать скепсис библиотекариши, которая чувствовала себя неотъемлемой частицей местного ученого медицинского мира.

Ничем не выдав нетерпения, взяла книгу, раскрыла. Прочитала всего два абзаца. И никаких открытий они для нее не содержали. Конечно! Конечно же! Фраза, которая зацепилась в памяти, была самой главной. Она неоспоримо подтверждала, что у больного был заворот кишок и его нужно было — это говорилось в учебнике, — не м е д л е н н о, не м е д л е н н о, не м е д л е н н о оперировать. Осознав это, Софья Петровна почувствовала гнев, даже ярость.

«Дура! Безмозглая дура! — Почему-то подумалось прежде всего о Надъярных. — Я тоже хороша, но эта бестолочь — доцент кафедры хирургии, консультирует больных, учит студентов... Ей, видите ли, все ясно... Красиво бы мы выглядели с ее справкой в Москве!..»

Но кипеть раздражением против Надъярных было бессмысленно — себе обойдется дороже. Ее надо принимать такой, какая она есть, а еще лучше не иметь с ней в будущем никакого дела. Вздорная баба и путаница, если только слово «путаник» употребляется в женском роде...

А в самом деле, в таком смысле «путаница» употребляется? Софья Петровна не знала. Получалось, будто родной язык вышел из подчинения. Интересно, а как было раньше, когда деды-прадеды не знали ни словарей, ни школьных правил? Впрочем, это была уже Ленечкина мысль.

Вспомнив так некстати о муже, она помрачнела, но взяла себя в руки, почти физическим усилием заставила снова переключиться на другое. Воспоминания о Ленечкиных пакостях сейчас ей вовсе ни к чему. Переключаться всегда было непросто, но теперь это удавалось. Надо только вызвать еще что-нибудь раздражающее, неприятное.

Благо чувство неловкости, что и сама опростоволосилась, осталось... Конечно, можно найти себе оправдание: вся беда, мол, в нынешней узкой специализации. Сказались-де годы (с сожалением можно

признать даже — долгие годы), отданные пневмонии и еще раз пневмонии. За всем не угонишься. Однако теперь нужно гнаться за всем. А в учебники заглядывать не мешает, оказывается, и после защиты диссертации...

Не терпелось поскорее вернуться на службу и снова разложить свой пасьянс. Так лучше думалось. Она даже заторопилась, но тут же замедлила шаг, потому что знала свой недостаток: при быстрой ходьбе походка делалась некрасивой, тяжелой, грубой. Давным-давно, еще в школе, Татьяна как-то изобразила Софочке, как та ходит, когда спешит, и это навсегда запомнилось. С тех пор следила за своей находкой и присматривалась к другим.

Вернувшись на службу, Софья Петровна, однако, не стала, как собиралась вначале, раскладывать пасьянс, а поспешила в соседнюю комнату, где делили стол два других главных специалиста. Софью Петровну интересовал главный патологоанатом.

Один стол на двоих не располагал к усидчивости, вероятно поэтому почти всегда пустовал, но сейчас Софья Петровна была уверена, что застанет, кого ей надо.

Она не знала, что здесь ей уже прилепили кличку — Извините-пожалуйста. И сегодня был разговор: «А где наша Извините-пожалуйста?» — «Софья Петровна? Понеслась куда-то»...

Но и они, выходит, не знали ее, потому что судили только по этой манере обращаться. А сейчас Софья Петровна была совсем другой. Да, такой ее побаивалась даже Татьяна.

Заглянув в комнату, Софья Петровна сказала:

— Мне нужен журнал конференций.

И была сразу же понята. Она имела в виду журнал, где протоколировались разборы таких вот случаев. Почему-то была уверена, что этот разбирался. И точно! Такого-то числа в конференц-зале областной больницы состоялась «клинико-анатомическая конференция по разбору случая смерти в терапевтическом отделении Самохвалова, 20 лет...». Просмотрела список («На конференции присутствовали...»), быстро пролистала протокол...

Дело-то, выходит, не так просто. Как бы не оказалось, что Дед Мороз заболел совсем не случайно.

Порывшись в бумагах, нашла записку: «История болезни, объяснение Матвеевой, протокол вскрытия у Надъярных». Почерк явно Деда Мороза. А для кого он, собственно, писал? Слабостью памяти, несмотря на возраст, не страдает... Так для кого же записка? Уж не для нее ли, Софьи Петровны? Не готовился ли старик заранее к своему внезапному ночному сердечному приступу?

Областной патологоанатом была похожа на овцу. Кургузая, полненькая, на тоненьких жилистых ножках и с маленькими ручками. Сходство увеличивала прическа: волосы закручены на ушах в два кренделя. Когда-то волосы были естественного рыжего цвета, теперь приходилось подкрашивать. Овца не хотела уходить на пенсию, и пока это удавалось.

— Что-нибудь случилось? — спросила она, и сам голос уважаемой коллеги показался Софье Петровне лживым: прекрасно ведь знает все, что произошло.

— Вы были на этой конференции?

— На которой?

А это уже совсем по-детски. В тетради большого формата, напоминающей амбарную книгу, был единственный тот самый протокол. Софья Петровна даже не ответила. Суховато сказала:

— Как председатель комиссии прошу написать ваше собственное суждение о причине смерти Самохвалова.

— Когда?

- Прямо сейчас.
- Мне нужно посмотреть материал...
- Сейчас и посмотрим. Тем более что вы с ним уже знакомы.
- Успеем ли?
- До конца рабочего дня еще целый час.
- Я полностью согласна с профессором Белокуровым,— предупредила коллега.
- Тем более. Давайте посмотрим, что говорил Вячеслав Васильевич.
- Ей и самой было интересно. В самом деле, что он говорил?
- Присаживайтесь,— пригласила коллегу.— Если не возражаете, я буду читать вслух.

Однако прочитанное Софью Петровну разочаровало. Не ожидала. Не хотелось думать дурно, но почти такой же блудливый тон, как у Надъярных. С одной стороны, то, а с другой — это. Кишечная непроходимость у больного если и была, то вовсе не та непроходимость. А в конце три осторожные, взвешенные фразы: «Казалось бы, функциональные изменения привели к смерти. Можно было где-то раньше произвести оперативное вмешательство. Случай расхождения диагноза со всеми предыдущими диагнозами». И все.

Софья Петровна продолжала листать журнал и будто слышала голос Белокурова: неторопливый, умудренно-спокойный и, как приличествует случаю, печальный.

- С чем же вы согласны? — спросила коллегу.
- В самом начале Вячеслав Васильевич говорил о спайках.
- Но дальше профессор Соколова говорит, что трудно поверить в спаечную болезнь, так как больного никогда не оперировали...
- Вячеслав Васильевич говорил о врожденных спайках.
- Но вот вопрос патологоанатому, который доложил результаты вскрытия: «Врожденные спайки или приобретенные?» Ответ: «Думаю, приобретенные».

— Однако спайки все-таки были,— улыбнулась коллега. Сейчас она совсем не напоминала овцу.

— Судя по всему, были,— согласилась Софья Петровна.— Но вот еще вопрос вашему патологоанатому: «Непроходимость кишечная была?» Ответ: «Нет».

— Правильно,— подтвердила коллега.

И тут Софья Петровна почувствовала, что настал тот самый миг, который нельзя упустить.

— Но как же ей не быть, когда весь тонкий кишечник повернут влево на сто восемьдесят градусов?.. Это написано у него же в протоколе вскрытия. Смотрите,— Софья Петровна подвинула ей протокол.

— Ну и что? — возразила коллега.

— Извините меня, пожалуйста,— тихо сказала Софья Петровна,— но вы же прекрасно понимаете, что это типичная картина заворота кишок.

Коллега опять сделалась неуловимо похожей на овцу. Все дело было, видимо, в наклоне головы. Молчала.

— От вас не требуется писать, кто прав, кто виноват,— продолжала Софья Петровна, понимая, что наступил решающий в этом разговоре момент.— Только диагноз.

— Режете вы меня без ножа,— сказала коллега тоскливо.— А если я ничего не напишу?

— Извините, но в таком случае мне придется специально сказать об этом в справке на имя министра.

Нет, дело не в наклоне головы, а в выражении глаз...

— Тогда, может, завтра?

Отпускать ее, ничего не добившись, было нельзя, и Софья Петровна положила на стол лист чистой бумаги и шариковую ручку.

— Пишите.

— Тогда я только так: «В ответ на ваш запрос сообщаю...»

— Можно и так.

Почерк у коллеги оказался неожиданно четким и твердым. Когда она ушла, Софья Петровна еще раз перечитала ее докладную записку на имя председателя комиссии. В ней главный патологоанатом области сообщал: «Смерть больного последовала от многих причинных факторов, развившихся в связи с основным заболеванием — механической непроходимостью тонкого кишечника».

Подумала: а нужна ли эта записка? Стоило ли настаивать?

Кстати, прямо о завороте так и не написала, а механическая непроходимость — понятие более широкое. Нет ли в этом какой хитрости? Она ведь овца только с виду...

Еще раз подумала о Белокурове. Как бы ей в прежние времена понравилась диалектика Вячеслава Васильевича!

МУЖ

Леонид Михайлович добирался на работу пешком, хоть было и не близко. Повелось это с той поры, когда еще жили в центре, на старой докторской квартире. Кстати говоря, дочери было с ним тогда по дороге в школу. Потом перебрались в новый район, на окраину; автобусы вечно переполнены, решил, что пешком здоровее и проще. Так и вошло в привычку. Позволял себе схалтурить, как сам же и говорил, только в особо непогожие дни.

Этой прогулки да занятий время от времени теннисом оказалось достаточно, чтобы выглядеть хорошо. Посмеивался: другие ограничивают себя в еде, питье, придумывают нагрузки и все равно при малейшем послаблении режима тяжелеют, делаются грузными. А он, Леонид Михайлович, не сдерживает себя ни в чем — ест сколько хочется, не занимается скучной утренней гимнастикой, но вот легок и подтянут. И все само собой, без малейших как будто усилий. Теннисом занимался просто ради удовольствия, а утренняя прогулка давала возможность побыть «наедине со своей душой», подумать о своем.

Посмеивался, правда, добродушно. Понимал: в этом ему повезло. Зато в другом та же природа — или что там скрывается под этим понятием? — словно бы все уравновесила, не наделив напористостью, пробивной силой. Прямолинейность жены иногда раздражала, однако вызывала и зависть. Пусть у нее тоже нет ясно выраженного чувства цели (оно вообще, по-видимому, присуще не столь уж многим), но в той суете, которая именуется жизнью, ее ведет «инстинкт пророчески слепой», и ведет, кажется, правильно, потому что позволяет реализовать себя, найти применение, не противоречащее тому, что заложено в человеке. Леонид Михайлович считал, что сам он такого применения себе не нашел.

«Разбрасываетесь, сударь, и суетитесь. А в результате теряете, как сказал бы шахматист, темп...» Говоря это самому себе, понимал, что куда как снисходителен. Понимал, но не тревожился. А чего, собственно, тревожиться? А теперь вдруг почувствовал: цейтнот.

Ведь что такое жизнь? Неумолимая последовательность поступков, или, как сказал бы тот же шахматист, ходов. Они могут быть значительными и пустячными, могут вести и к победе и к поражению. Могут и никуда не вести — бывает же бег на месте. Их цена может быть разной. Но в любом случае они требуют времени.

А на что пошло его время? Последние полтора десятка лет отданы монстру по имени НИПКТИ. Если даже согласиться, что монстр — слишком сильно сказано, легче от этого не станет. Уже лет пять как

Леонид Михайлович был уверен, что их НИПКТИ (Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт) не нужен никому, кроме тех, кто возле него кормится. Может быть, он даже вреден — какое-то количество химиков, биологов, математиков, инженеров занимается бог знает чем, а еще Писарев говорил, что мартышкин труд не есть работа.

Удивительно было, что Леонид Михайлович оказался тут самоужнейшим человеком. В обычной своей манере посмеивался иногда: «Что бы вы делали без меня?»

Делали бы то же самое — переливали из пустого в порожнее, но таких публикаций, как теперь, не имели бы. Уж это точно.

Пятнадцать лет назад, когда только пришел сюда, составлять статьи, доклады, речи даже нравилось. Не сравнить с прежней учительской каторгой. Разглядывал в газете свою статью, подписанную директором или его замом, испытывая некое странное удовольствие: эх я ему загнул!..

Надо сказать, что Леонид Михайлович и поставить себя сумел. Недолго ведь было разменяться на сочинение резолюций и приветственных адресов, стать палочкой-выручалочкой для каждого. Да к нему и ринулись сначала соискатели, диссертанты и прочие. Отсек, ни с кем, однако, не поссорившись. А это — поставить себя должным образом — было так же важно, как и освоить правила игры, проблематику, терминологию. Освоил.

Сперва над ним еще держали бездельника — заведующего отделом. Эта должность была чем-то вроде места ссылки перед уходом на пенсию разных неудачников. Отдел назывался тогда редакционно-издательским. Но в конце концов при очередной перетасовке заволом сделали самого Леонида Михайловича. Подумать только: он воспринял это как торжество справедливости!..

Институт задумывали с размахом. Предполагалось, что приедут научные светила, но они то ли за столицы цеплялись, то ли видели надуманность затеи, возникшей на гребне очередной волны.

В своей склонности к сравнениям — иногда натянутым и далеким — Леонид Михайлович находил что-то общее между судьбой принявшего его под свой кров НИПКТИ и возникшей тогда же модой на синтетику. Как все вдруг сразу запрезирали х/б! Спешили переоблачиться в капрон, нейлон и прочее. Думалось ли, что пройдет не так уж много лет — и визитной карточкой качества, моды станет пристроченный к рубашке или джинсовым штанам ярлычок — «cotton 100 %»...

Но нет ли перста указующего в том, что его собственная, Леонида Михайловича, судьба оказалась так тесно связанной со случайным переплетением обстоятельств? И работу, которая наконец-то показалась подходящей, и собственную квартиру впервые получил именно здесь (столичные доктора-кандидаты ехать не спешили, а жилой дом — не частый случай — уже построен).

И смех и грех: закрыть иной раз что-либо труднее, чем открыть. Кому-то ведь надо взять промашку на себя, проявить немалую, как оказывается, смелость. А вдруг что-нибудь окажется не так? Если кто-то в инстанциях не согласится? А в городе, где такой вот НИПКТИ реально существует, выполняет план, посылает людей в подшефный район на картошку да и самим фактом своего существования придает городу престиж, за него будут бороться.

Словом, закрыть не решались, но отщипывали то одно, то другое. Редакционно-издательский стал сперва отделом научно-технической информации, потом отделом передового опыта, а теперь — отделом внедрения. Собрали все вместе. Деградация, конечно. И как тут не подумать о себе: да кто же ты есть?

Об учительском прошлом жалеть не приходилось. И не жалел.

Звали в газету — пренебрег и тоже не жалел. Но и здесь все сходило на нет. Во времена расцвета положение было даже оригинальным: филолог в проектном институте. Оригинальным, но вполне естественным. «Знакомьтесь: наш старший редактор — дипломированный филолог». Звучало солидно, говорило и о содружестве муз. Но что делать филологу в отделе внедрения научных разработок?

Когда редакторских должностей не стало, Леонида Михайловича сделали старшим инженером, и это вызвало нарекания разных контролеров и ревизоров: «Что это у вас учитель русского языка разгуливает в инженерах?..» Пришлось уступить, сделали исполняющим обязанности, и. о. старшего инженера, и в этом был привкус униженности. Все чаще вспоминалось:

Жизнь пронеслась без явного следа.
 Душа рвалась. Кто скажет мне, куда?
 С какой заране избранною целью?..

С Леонидом Михайловичем это случалось — какие-то строчки привязывались на день-два, а то и больше. Начинен был строчками еще со студенческих лет. Нет, сам не сочинял и не пел под гитару. Но суждение мог и готов был высказать.

Сперва как бы сами собой накопились заметки о поэтике Тютчева и Фета — поразительно было непонимание современниками сделанного ими, — а однажды, лет пять назад, почти неожиданно для себя лихорадочно и торопливо, ни на что не рассчитывая, написал статью — толчком стало предстоявшее столетие Фета.

Не рассчитывал, не надеялся ни на что, но, когда работа была сделана, сам перестучал ее на машинке и послал в московский журнал. Послал — и приказал себе не думать о ней. Но чего-то все-таки ждал сначала. Потом, когда скромно отшумел юбилей, махнул рукой и перестал ждать. До его ли статьи этим журнальным деятелям! Распечатали ли они хотя бы бандероль с нею? Каждый озабочен своими делами. Что им какой-то провинциал! Слава богу, что никому не сказал об этой своей выходке... А через полгода пришло письмо, в котором его благодарил за внимание (!), отмечали оригинальность некоторых наблюдений (без уточнения, каких именно) и сожалели, что не смогли использовать статью, поскольку номер журнала был спланирован заранее. В искренность сожалений Леонид Михайлович не очень поверил, но кончалось письмо приглашением присылать новые работы и в конверт была вложена авторская карточка — нечто вроде короткой анкеты. Заполнять ее не стал, но и не выбросил. Так и лежала уже который год в домашнем письменном столе среди набросков о Тютчеве и Фете.

В общем, строчки вспомнились не случайно.

...Все мечты, все буйство первых дней
 С их радостью — все тише, все ясней
 К последнему подходят новоселью...

К себе это полною мерой покамест не относил, до последнего новоселья было еще не близко, но вот с некоторых пор пришло как бы его предчувствие.

Вернее, не так. Если даже допустить, что в жизни существует одно-единственное главное измерение, все равно есть и промежуточные финиши; на пути к финалу нужно подняться (или опуститься) на несколько ступенек и на каждой оставить часть самого себя. Первые ступеньки удивительным образом не заметил — пробежал. И прошло время, когда был в своем кружке самым молодым и самым подающим надежды. Господи, неужто это было? Перестал быть самым голодным и самым неустроенным... Но это разве потеря?

Трехэтажное институтское здание выросло вровень с соседней жилой пятиэтажкой и в сравнении с нею явно выигрывало. Город для НИПКТИ не поспешил, отдал бывшую мужскую гимназию, построенную в самом центре на пожертвования купцов и лесопромышленников. Купцы тоже когда-то не поспешили: главная лестница была широкой, мраморной, актовый зал просторный, с хорами, библиотека отделана резным деревом, коридоры широченные, классы огромные... Институт взамен построил новую большую десятилетку. Типовой проект не отличался изысканностью, но гороно устраивал больше: слишком дорого содержат роскошное старое здание. Зато теперь оно заиграло. Лозунги, портреты, красочные щиты в вестибюле, а в коридорах диаграммы, стенды, модели созданных в институте машин и установок... Леонид Михайлович над этим тоже немало потрудился.

Город, хоть и областной центр, был сравнительно невелик, и как же тесно в нем все оказалось переплетено! В прежней гимназии учился тесть Петр Сергеевич, а новую школу построили как раз к тому времени, когда в первый класс пошла Надя...

Отдел внедрения находился на втором этаже, рядом с кабинетом директора, и Леонид Сергеевич заглянул по пути в приемную.

С секретаршей Верой Венедиктовной (Ве́ве — обычно называл ее дружески-фамильярно Леонид Михайлович) — отношения были наилучшие, и он приветствовал ее тоже Фетом:

Встает мой день, как труженик убогой,
И светит мне без силы и огня,
И я бреду с заботой и тревогой.
Мы думой врозь, — тебе не до меня...

Ве́ве оторвалась от почты, которую разбирала, улыбнулась:

— Ошибаетесь. Мне как раз до вас.— И протянула несколько бумаг с резолюциями директора.

На том бы утренний ритуал и закончился, но в приемную зашла Лина.

— Как хорошо, что я застала вас. Вы очень заняты, Леонид Михайлович?

Все еще улыбаясь, он пожал плечами, показал бумаги: на работе, мол, не принято говорить, что делать нечего. Как бы призывая в союзники Ве́ве, повернулся к ней и был потрясен ее взглядом: Вера Венедиктовна смотрела на них с Линой цепко, жадно, заинтересованно. Спohватившись, она мгновенно притушила этот взгляд, но Леонид Михайлович все уже понял, догадка уже осенила его, и теперь он заботился только о том, как бы себя не выдать.

— Что-нибудь случилось? — спросил у Лины, хотя все знал заранее.

— Если найдется минутка, спуститесь вниз — нужно подписать протокол последнего собрания...

На том собрании он председательствовал, а она была секретарем.

Лина ничего не заметила то ли по своей бесшабашности, которая на первых порах так нравилась Леониду Михайловичу, то ли потому, что взгляд милейшей Ве́ве был короток, как удар ножом. Вера Венедиктовна опять склонилась над почтой, но Леониду Михайловичу казалось, что ее ресницы подрагивают от сдерживаемого желания глянуть еще раз, а руки лишь машинально перебирают конверты.

Теперь он знал, кто написал анонимку. И почувствовал облегчение: фактов у Ве́ве никаких, все построено на интуиции и таких вот мелких наблюдениях. Леонид Михайлович опасался большего.

Но зачем ей это понадобилось? Уж он-то всегда так хорошо, так дружески к ней относился... Даже когда она вышла замуж за этого своего чудака, по сути городского сумасшедшего, не позволил в отличие от некоторых других ничего, что могло бы зацепить или обидеть.

А замужество было странным. Тридцатипятилетняя женщина вышла за вздорного старика вдвое ее старше, за изобретателя-маньяка, известного под прозвищем Перпетуй (от «перпетуум-мобиле»). В шуточках по этому поводу недостатка не было — Перпетуй осточертел всем в институте, благо времени пенсионеру не занимать. Резвились до неприличия. Но ведь Леонид Михайлович Забродин все понимал — женское одиночество, крах надежд (а они ведь были когда-то, были!) — и не позволял себе ничего такого...

Значит, вот кто написал анонимку! Странное дело, но это будто камень сняло с души. Он даже не очень сердился на Веве. Едва не рассмеялся. И мысли пошли несерьезные — о том, кто же непосредственно водил перышком, а кто сочинял... А он их держал, так сказать, за интеллигентов.

Ах ты белая мышка, шалунья Веве... (Маленькую, светленькую, будто пропыленную Веру Венедектовну называли за глаза белой мышью. Уж не в том ли причина, что ему, Леониду Михайловичу, пришлось как-то писать в комитет по делам изобретений злой по необходимости ответ на жалобы старика? Но было это до замужества. Значит, все же запомнила и поставила в вину. Значит, уже тогда...

Однако из приемной вышел, не подав виду, хотя и понял, что Веве его встречный взгляд усекла. Пусть это и будет для нее карой: опасение, что расшифрована.

Леонид Михайлович избегал этих встреч на работе, но сейчас надо было идти, и он предупредил в своем отделе, что идет просмотреть протокол перед отправкой. Можно было и не предупреждать, но решил, что так лучше.

Лина встретила его оживленно и весело. Одним движением сорвала свои очки и бросила в ящик стола (она не любила, когда он видел ее в очках, хотя и вынуждена бывала мириться с этим), защелкнула тяжелую дверь на внутренний замок (в комнате никого больше не было), помахала перед лицом Леонида Михайловича ключиком.

— На три дня, на три дня... — напевала она.

Чего-то в этом роде он и ждал. Какая-то подруга или знакомая куда-то уехала или куда-то делась, и комната на три дня в их распоряжении.

Комната! Проблема всех проблем! Летом приходилось встречаться даже «на пленэре». Предложила это, кстати говоря, и именно в такой форме («А что, если на пленэре?»), сама Лина.

Леонид Михайлович не переставал удивляться ее раскованности и свободе; будь он ханжой, сказал бы даже — ее бесстыдству. Но Леонид Михайлович ханжой не был. Посмеиваясь, он говорил иногда, что осуществляет единство слова и дела, переводит на язык реальности то, о чем пишут поэты. Лина говорила иначе: «Если нам хорошо и это никому не мешает, то что же в этом плохого?»

Ей-богу, в чем-то он видел в ней родственную душу. В Лине без очков. Потому что очки ее преображали, скрывали, как маска. Принимала посетителей, выступала на собраниях совсем другая женщина, которую невозможно было представить «на пленэре».

А теперь надо выразить радость, и он улыбнулся той своей простецкой и чуть дурашливой улыбкой, что должна была означать некое обещание. Вместе с тем следовало сообразить, как этот ключик соотнесется с нынешними домашними обстоятельствами. С одной стороны, семь бед — один ответ. Опять же: вести себя сереньким козликком все равно что признать свою вину. Но и обострять обстановку не нужно. Во-первых, куда еще больше? А во-вторых, жаль Соню, жаль Надю.

В последние годы Леонид Михайлович, почти не давая себе в том отчета, все чаще полагался на мудрость случая. Из этого вовсе не выте-

кало, что он его вяло и бездеятельно ждал. Случай надо заметить, оценить; иногда он открыто не проявляется, возникает как бы намеком — вот и пойми этот намек, воспользуйся им. Но теперь и усилий никаких не понадобилось, потребовалось одно: не спешить.

Лина сказала:

— Только знаешь, милый, на всю ночь сегодня не получится...

Вот и хорошо. Это ведь то, что он сам должен был рано или поздно сказать.

— А где это?

— Пятая остановка отсюда. В Слободке.

— Новые дома?

Кивнула. Она смотрела на него доброжелательно, весело, но и чуть насмешливо. Современная женщина, которая берет инициативу в свои руки.

Взгляд раздражал. И Леонид Михайлович сказал:

— Послушай, езжай, отвези протокол и вызови меня...

Взгляд изменился, стал вопрошающим. Не поняла.

— Езжай и звони, что я зачем-то срочно понадобился.

В глазах опять появились чертики.

— Встретимся на остановке?

— Нет уж, лучше в приемной у самого главного...

— Ну Ленечка... — Губы дрогнули. — Ну мужик... А не боишься?

— Я?

— Да я ведь не о работе...

— И я не о ней. — Леонид Михайлович обнял Лину, сказал тихо: — С тобой можно не бояться.

Она отстранилась, испытующе глянула в глаза, чуть улыбнулась и ласково ударила его. Нет, не ударила, а просто коснулась кончиками пальцев щеки. Получилось почти столь же изящно, как если бы в руке у нее был веер.

К себе наверх Леонид Михайлович поднимался в отличном настроении: вот так нужно перехватывать инициативу. Радовало и то, что внизу коридор был пуст и никто не видел его выходящим из той комнаты.

Спустя час Лина отыскала его по телефону в кабинете директора — это была подготовленная случайность. Могло и не получиться. Но получилось. И не надо было ничего говорить, отпрашиваться. Директор сам послал: зовут — беги.

Лина ждала у приемной. Дала адрес и поехала вперед. А он еще прошелся по кабинетам, мелькнул в разных местах. Заглянул в буфет — иногда там удавалось перехватить кое-что. И сейчас повезло: у стойки никого не было, и буфетчица изловчилась незаметно сунуть ему сыру и пару пачек приличных сигарет.

Вот теперь можно ехать.

Район этот Леонид Михайлович знал. От полудеревенского пригорода с грядками и палисадами почти ничего не осталось. Неподалеку от троллейбусной остановки экскаватор с натугой и скрежетом выдирает из земли остатки какого-то фундамента. Стоявший рядом на очереди кирпичный дом был пуст: окна нижнего этажа заколочены, верхнего — выбиты, кусок крыши сорван. Дом старый, трущобный, о таких говорят — клоповник, но смотреть на его пустоту, покинутость и обреченность было неприятно.

Как резко, однако, изменился за считанные годы облик города! Раньше скромно набирал высоту, поднимался этажами по мере приближения к центру, а сейчас двух-трехэтажные центральные улицы казались окраинами. В Слободке строили большей частью кооперативные девятиэтажки. В одной из них жила Татьяна. С некоторой опаской подумал

о ней и решил: вряд ли. Разгар дня, Татьяна на работе. Да если и встретит, не продаст.

Зашел в магазин, пошарил глазами по полкам. Взял бутылку шампанского. Хорошо, что портфель захватил с собой...

...Леонид Михайлович потянулся к столику, взял сыр, преломил. Мимолетно подумал, как ему повезло с этой Линой. И жаль было, что придется расстаться. Тут уж ничего не поделаешь. Затягивать нельзя, и письмишко, сочиненное Веве, тому подтверждение. Он и так уж дошел до некой точки плавания — случалось, хочется говорить какие-то слова, а это тоже опасный признак.

А ведь поначалу отнесся к ней, как к придорожному кусту, как к траве, от которой может отщипнуть каждый, и вот он тоже не удержался.

А может, так оно и есть?

— Говорят, твоя жена стала начальницей,— ни с того ни с сего сказала Лина.

— Говорят,— согласился Леонид Михайлович, не понимая, однако, к чему бы это.

До сих пор они не сговариваясь соблюдали соглашение: не касаться домашних дел друг друга. О ее делах он и в самом деле ничего почти не знал. И не хотел знать. Но это, как видно, мужская позиция, а женщина так не может.

— Я слышала разговор о твоей жене. Совершенно случайно...

— В троллейбусе? Или в магазине?

Как она хочет казаться простодушной! И до чего же хитра! Но ведь и он не лучше. Который, кстати, час? Надо хотя бы к концу дня снова появиться на работе...

— При чем тут троллейбус? Была у папы в госпитале, там и услышала...

Она ждала его вопроса, и он, поддразнивая, уклоняясь, спросил:

— А что с лапой? Говорят, он тоже был большим начальником...

Лина рассердилась:

— При чем тут папа?

Промолчал. Ей нужно что-то ему сказать, но хотела она сделать это, по-видимому, непринужденно, будто между прочим, да вот не вышло. А, собственно, зачем эта игра? И почему он сам раздражается?

-- Хорошо, говори, если так хочется. Но учти: не люблю сплетен.

Леонид Михайлович подумал, что этим своим тоном слегка переборщил.

— Я поняла только одно: твоя жена — ты, конечно, извини меня — сует свой нос, куда не нужно. Поднимает скандал, на котором сама же и свернет себе шею...

Леонида Михайловича коробил этот тон, но надо дать ей выговориться. А Лина замолкла, выжидающе глядя на него.

— По-моему, какая-то чепуха,— сказал осторожно.— Ты сама хоть что-нибудь понимаешь?

— А что понимать? Не лезь, если за уши не тянут.

— Ты сегодня это уже говорила. Но допустим. Я что — должен передать это своей жене?

— Да ведь и так передашь. Без моего разрешения.

— Логично,— согласился он.— А ты что же, выполняешь в данном случае чье-то поручение или просьбу?

— Не выдумывай. Просто услышала разговор о твоей мадам и подумала, что тебе его знать тоже не мешает.

— Спасибо. Только не называй ее, пожалуйста, мадам. Тебе-то она ничего плохого не сделала...

Разговор становился опасным. Милая, радостная игра совершенно неожиданно и почти необратимо грозила перейти в драку.

— Кстати, вы чем-то похожи друг на друга...

— Только этого не хватало! — фыркнула Лина.

— Почему? — мягко сказал он. — Ты хотела, чтобы я был женат на уродке?

Отмолчалась. А Леонид Михайлович потянулся к ней. Он и в самом деле с неожиданной остротой почувствовал (или вообразил?) это сходство. У Сони, правда, волосы светлее, она только недавно стала их подкрашивать, когда появилась седина. А в общем, тот же «аржаной» тип — с некоторой резкостью, взрывной силой, даже грубоватостью, которая, однако, воспринимается не как черта характера, а его, так сказать, изюминка (не вкус, а скорее привкус).

Он потянулся к ней, не добиваясь и не желая ничего, кроме тихого примирения, но встретил удивленно-веселый взгляд.

— Дурачок... Тебе что — восемнадцать? Или думаешь, что Лина жадная? И не злись, не злись, хоть тебе это очень идет... Вот уж нахал, он еще хочет, чтобы Лина любила его мадам... Конечно, мадам хорошо с таким Ленечкой. И не хочет понять, что ее сожрут, если будет дурить... И дочку провалят, в институт не возьмут...

Он закрыл глаза, чтобы не видеть ее, сдержался, чтобы не сбросить прохладную, с острыми коготками руку.

— Ну вот, а теперь Лина займется собой...

«Репортаж...» — подумал Леонид Михайлович.

Она ушла, и почти сразу же зашумела вода в ванной.

Оставшись один, Леонид Михайлович окинул взглядом комнату: стало вдруг любопытно, у кого он оказался в гостях.

Палас на полу; большой ковер ниспадал от потолка и прятался за широкой тахтой, на которой теперь возлежал Леонид Михайлович. Рядом — низенький столик и торшер. Противоположная стена закрыта полированной стенкой; в центральной ее части посуда: фарфор, много хрусталя, индийские кувшинчики и блюдечки из перегородчатой (так, кажется, это называется) эмали, безделушки...

Рассматривая как-то в одном из домов такое же обилие всего этого, Леонид Михайлович подивился ненужности, «нефункциональности» многого. Там было, например (и здесь тоже разглядел), подобие рога из хрусталя, были хрустальные, сверкавшие гранями емкости... «Люблю красивое», — объяснила хозяйка. Тут был резон, и Леонид Михайлович сказал об этом, когда возвращались из гостей. Но Софочка посмеялась: просто люди, у которых есть деньги, покупают что придется.

Ближе к окну несколько застекленных полок были заняты книгами. Они стояли блоками — собраниями сочинений или сериями. По цвету корешков, по надписям на них и суперам Леонид Михайлович узнал Большую советскую энциклопедию, «Библиотеку всемирной литературы», недавние сравнительно издания Чехова, Тургенева, Пушкина, тридцатитомник Достоевского, на который сам он так и не смог подписаться... Несколько плебейски выглядели книги «ЖЗЛ» с сереньким корешком, а в ходу была, по-видимому, только «Библиотека современной фантастики».

На дальней, противоположной окну стене висела чеканка. Ширпотреб.

Нет, что-либо определить невозможно.

Лина вышла уже одетой.

— Ты еще не готов?

— Думаю о нашем разговоре... Операция у отца прошла нормально?

Она пожала плечами:

— Швы сняли, диету отменили...— И вдруг глянула остро, пронизательно: — А ты хитрец. Почему решил, что была операция?

— А что же еще?

— Ладно,— сказала она.— Собирайся и уходи, а я ликвидирую следы нашего пребывания.

В ее тоне появилось что-то нсвое, не понравившееся ему: какая-то не фамильярность даже, а развязность. Или это показалось?

— Можно позвонить?

— Звони.

Он набрал номер и попросил Татьяну.

— Нахал,— улыбаясь, сказала Лина.— Тут же назначает свидание другой...

Принимая шутку, Леонид Михайлович тоже улыбнулся, между тем думая: «Надо кончать, надо кончать...»

С Татьяной договорился о встрече после работы.

Перед тем как выпустить его, Лина выглянула на лестничную клетку.

— Иди!

Он выскользнул, будто вор, но выпрямился и пошел вниз непринужденно и уверенно. Дверь сзади закрылась беззвучно.

Идя от дома к троллейбусу, Леонид Михайлович подумал, что Лина, наверное, смотрит ему вслед, и прибавил шагу: как раз подходила машина.

Не терпелось поговорить с Татьяной, хотел даже ехать к ней сразу же, но одумался, представив себе обстановку косметического салона: бабы в масках, с компрессами, под колпаками и Татьяна, которую рвут на части. Нет, сейчас разговор не получится. Пусть будет как условились.

— Знаешь, на что ты похож? — сказала Татьяна при встрече. — На обсосанный леденец.— И для наглядности втянула щеки.

— А я и есть такой,— криво усмехнулся Леонид Михайлович.

— Что-нибудь случилось?

— Как сказал бы моряк: поступило штормовое предупреждение.

— А если попроще?

Не вдаваясь в подробности, Леонид Михайлович рассказал об услышанных сегодня странных словах. Татьяна вначале слушала недоверчиво:

— Так, значит, и грозятся: «Сожрем, если будет дурить»? — А потом неожиданно легко согласилась: — Это у нас могут.

Но упоминание о Наде («Дочку провалят, не возьмут в институт») ее взорвало:

— Вот негодяи! Девчонка-то при чем?

Она не на шутку разошлась, и Леонид Михайлович досадливо отмахнулся:

— Как раз это меньше всего меня волнует: у Нади и мыслей нет о медицинском...

— А если бы были? — не унималась Татьяна.— В этом ли дело? А сам факт низости? Девчонка им помешала... Да ты не выдумал ли все это?

Леонид Михайлович в ответ выразительно промолчал.

— Значит, правда... Но такое может только баба — и сказать и придумать.

— Хорошего же ты мнения...

— И о тебе не лучшего. Раньше всегда говорила: Ленечка просто добрый, любознательный и силенок у него чуть больше, чем у других, а теперь вижу — обыкновенный кобель. Связался с какой-то...

— Перестань. Я не за этим пришел.

— Ах боже мой! А зачем же?

— Кто занимается хирургией в том хитром госпитале, где лежит ее папаша?

В отличие от большинства женщин, которых еще долго несет по инерции на эмоциональной волне, Татьяна способна была притормозить, тут же вернуться к делу. Леонид Михайлович определял это как мужской склад ума. И теперь она сразу оставила ругань, услышав вопрос, так сказать, по существу.

— Вот ты о чем... Консультирует там Таисия Павловна Надъярных, доцент с белокуровской кафедры.

ВОЕННЫЙ СОВЕТ

Татьяна не ожидала, что милейший человек Вася займет вдруг такое место в ее жизни. Несколько раз ловила себя на том, что улыбается беспричинно и вполне, как сама же определила, глупо.

Еще до вечера у Забродиных он звонил несколько раз, добивался встречи. Татьяна начала даже злиться: да будь же ты мужиком, подстрой сам эту встречу, подкарауль на улице, ворвись в дом, наконец, но не нуди. А этот спрашивает в понедельник, не сможет ли она пойти с ним в театр в пятницу. Тоже театрал! До пятницы еще дожить надо, и кто знает, как сложатся обстоятельства. Ты приди с билетами, уговори, уведи, уволови, а не получится — порви к чертям эти билеты!..

Что-то в таком роде и высказала по телефону под аккомпанемент шума и гама, царившего в косметическом салоне.

Больше всего она не любила занудства. Думала, что Вася поймет и отвяжется, а он и в самом деле однажды ее подстерег. Был столь суров и мрачен, что вызвал к себе сочувственный интерес. Уж не болит ли у него живот, спросила Татьяна. Нет, не болит, ответил вполне серьезно. А спустя минуту предложил выйти за него замуж.

После этого ему бы повернуться и уйти, Татьяна сама отыскала бы его в тот же вечер. Ей-богу. И нафантазировала бы с три короба, и, чего доброго, вообразила бы себя влюбленной. После этого ему хотя бы помолчать, дождаться ответа, а он стал прояснять обстоятельства. Сказал, что вдов (это она знала), но дети выросли и в помощи не нуждаются («Неужто есть еще дети, которые не нуждаются в помощи?» — подумала Татьяна и даже вспомнила анекдот, состоявший всего из одной фразы: «Мы должны помогать своим детям до самой их пенсии»). Вася между тем говорил, что работает главным механиком стройтреста, обеспечен, хочет поменять «Ладу» на «Волгу», имеет дачу, что квартирный вопрос они решат таким образом: Татьяна переедет к нему в трехкомнатную, а ее квартиру они отдадут младшей Васиной дочери (с формальностями он справится)... «Ты смотри,— думала Татьяна,— как он все распланировал...»

— Когда же? — спросила.

— Что?

— Ну это, жениться?..

— Если паспорт с собой, в загс можем сходить хоть сейчас.

Это ее добило. Сначала чуть было не расхохоталась, а потом едва не расплакалась, хотя на слезы была скупа.

— Болван,— сказала она.— Сходить можно в лес по грибы, сходить можно до ветру... Оставьте меня,— перешла почему-то на «вы».

Уже потом, дома, придя в себя, больше всего удивлялась этому своему великосветскому «оставьте меня».

Вася, однако, ее не оставил. В первый момент, видимо, был ошарашен: как видно, долго и напряженно думал обо всем, а через день вечером позвонил домой:

— Ты извини меня, дурака... Не с того, конечно, надо было начи-

нать, но неловко — не мальчик же... А вообще ты мне нравишься. С первого раза, когда нас познакомила Софья Петровна...

Слышно было плохо, в трубке потрескивало.

— Ты откуда звонишь?

— Да тут недалеко, из автомата. Потоптался у подъезда, а зайти не решился... — Голос у него был искренний и жалкий.

— Ладно, я еще не сплю, если решишься, заходи.

Он зашел. Был сперва суетлив и неуверен. Нерешительно достал бутылку коньяка. Она молча приготовила закуску. Потом выпили по рюмочке, и как бы отпустило.

Вот после этого случая Татьяна и заулыбалась, закудаhtала, почувствовала себя — смех и грех! — невестой.

Ее не очень занимало Васино положение, серьезность его намерений и тому подобное. А вот нелепый разговор о цветах, который он затеял с Ленечкой на дне рождения, вспоминался по-доброму. Остальные смотрели тогда на подвыпившего Васю иронически, а Татьяне понравилось, что он знает название этих роз. Трогательным показался и сам его нынешний приход. Крепкий, знающий себе цену мужик переломил гордыню, позвонил, покаялся...

Однако кое-что и тревожило. Говорила себе: не принимай близко к сердцу, что будет, то будет. Но нечто помимо ее воли уже выпустило свои коготки и покалывало и царапало.

Вот и сегодня. Позвонила, велела не приходить, потому что вечером будет занята. Услышав в ответ бурчание и недовольство, сначала даже самодовольно улыбнулась: давай, мол, давай... Потом, чтобы выпустить пар, объяснила: «Буду у Забродиных по важному делу, касающемуся Софьи Петровны». Думала, что этого достаточно, ан нет, бурчание продолжалось: хватит-де околачиваться по чужим домам и греться у чужого огня, теперь у тебя должен быть свой дом и я требую... Не дослушав, Татьяна положила трубку.

Предупреждение Татьяны, рассказ о странных угрозах не произвели на Софью Петровну, казалось, никакого впечатления. Даже обидно — специально договаривалась о встрече, пришла сюда, на старую квартиру, ждала целый час... Софочка только что не отмахнулась. Стоило ли ссориться с Васей?

С гораздо большим интересом Софья Петровна слушала Надю, которая рассказывала о своем сегодняшнем происшествии. Слушала, устроившись в старом дедовском кресле (теперь и не делают таких), сочувственно улыбалась, кивала.

А Надя рассказывала о бездомной собаке, которую увидела в самом центре города. Там напротив почтамта есть одно неприятное место. С одной стороны улицы почтамт, а с другой — универмаг. Вечная толчея. К тому же перекресток, трамвайные линии. И вот в этом скрежете, шуме, многолюдстве, осенней слякоти Надя увидела одинокую, бездомную собаку. До чего же она была жалка и несчастна! Тротуар тесен, узок. На нем полно спешащих, раздраженных людей, и собака бежит от них туда, где просторней — на проезжую часть, на трамвайную колею, не понимая, что там истинная смертельная опасность...

— Ты знаешь, о чем я подумала? — говорила Надя. — В мире становится тесно не только для слонов, китов или львов, но и для собак. Мы захватили все...

Собаку сперва обдала жидкой грязью пробежавшая мимо машина, потом она едва не угодила под трамвай, а когда Надя попыталась прогнать ее проезжей части на тротуар, вконец затравленный пес, не понимая, что ему хотят добра, сам раздражился, оскалился, зарычал на Надю и сделался совсем несчастным в этой своей беспомощной раздраженности.

— Ну что ты поделаешь? Он рычит, вагоновожатая на меня кричит — я ей дорогу загородила, — машины брызгаются, прохожие смотрят как на ненормальную: связалась с собакой... Я ушла, — печально и будто оправдываясь сказала Надя.

Татьяна представила, как это было.

— Молодец, — сказала она. — От имени всех бездомных собак выношу тебе благодарность. А кто будет чистить пальто? Бабушка?

— Я сама. Оно еще сохнет.

— Уже почищено, — проворчала Полина Матвеевна, заходя в комнату.

Девочка вызывала у Татьяны тревогу. Столь многое было в ней до боли знакомо. Вспоминалась собственная, такая, казалось бы, недавняя молодость с ее обостренной, почти болезненной восприимчивостью, страданиями, смутными надеждами, ожиданиями, которые, увы, кончились ничем. Не ждет ли и ее, единственное и лелеемое дитя, всего лишь вереница лет, заполненных пробами и ошибками?.. А родители заняты черт знает чем, и конца этому пока не видно.

— Итак, — сказала Татьяна, — доброе дело частично вознаграждено. Я имею в виду вычищенное бабушкой пальто. А теперь хотелось бы послушать маму...

— Да, мам, — перебила ее Надя, — а правда, что бледная немочь — название совершенно конкретной болезни?

— Правда.

— А я раньше думала, что это вообще. А правда, что врачам запрещают выписывать некоторые лекарства?

— То есть?

— Ну, если их нет в аптеках.

— Зачем же выписывать то, чего нет?

— Я не об этом, и ты прекрасно понимаешь. Тут дело во вранье. Запрещают прописывать даже то, что заведомо поможет. Из-за дефицита. Чтобы не было скандалов.

— А зачем нам скандалы? — снова вмешалась в разговор Татьяна. — Знаешь, как это называется?

— Что? — с вызовом сказала Надя. Она дулась на Татьяну. Это надо же: сама втравила ее в эту голодовку и сама же обо всем проболталась, выставив Надю едва ли не дурочкой...

— То, что ты говоришь. Пустое мудрствование — вот как это называется. Нет, значит, нет. И практически каждое лекарство имеет заменитель. Так что никакого вранья. А теперь позволь мне расспросить кой о чем твою маму. Ты была у начмеда? — спросила она Софью Петровну.

— Это у которого жена в бородавках? — опять перебила Надя.

— В родинках, а не в бородавках, бородавки я бы давно ей свела. И ничего страшного в этом нет. В старину дамы специально наклеивали на лицо мушки. Для пикантности.

— Бр-р-р. Хоть бы волосы состригла...

— Так была или нет?

— Собственно, почему я должна идти к нему? — с видимой неохотой отозвалась наконец Софья Петровна.

— Ты, кума, меня удивляешь. Он что — уже не член комиссии?

— Он — член, я — председатель. Понадобился — вызвала.

— Ах вот даже как! Молодец, далеко пойдешь. И что же наш Митя?

— Он Дима, а не Митя. Он не любит, когда его называют Митей, — сказала Надя.

К Мите надо было привыкнуть, чтобы понять, что он за человек. Добродушнейшая, круглая, всегда улыбающаяся физиономия, чуть спо-

тыкающаяся речь... Леонид Михайлович, увидев его впервые, шепнул жене на ухо: «Он что — подшофе?» А ведь ничуть не бывало!

Это мешало ему очень. Даже при первом общении с больными. Слава богу, юмор у него действительно был и хватало ума вести себя большей частью так, как предписывала созданная самой природой маска. Иногда он, кажется, эксплуатировал ее. А то, что это все-таки маска, хотя, может быть, и невольная, Софья Петровна увидела, когда застала его однажды дома за любимым занятием: выпиливанием. Лицо было сосредоточенным и строгим. Но оторвался от лобзика, фанеры, наждака, лака — и возникла глуповатая на первый взгляд улыбка. При виде ее хотелось сказать: «Ну что ты вечно улыбаешься?»

Однако же разве не знаем мы примеры прямо противоположные: человек, суровый и строгий с людьми, расплывается в улыбке при общении с любимой кошкой или щеглом, которого держит в клетке? Пусть уж лучше будет так, как у Мити...

Тогда же подумала обо всех этих хобби: вот медсестра вяжет ночью на дежурстве, чтобы не задремать, и это прекрасно; но когда врач в свободное время занимается какой-нибудь ерундой, то лучше бы он только ею и занимался... Впрочем, опять же решила, что не пра- ва,— Митя был стоящим врачом.

— Привет, Снегурочка! — сказал он, появляясь на пороге.

Это была его придумка: поскольку старика — главного хирурга — зовут Дедом Морозом, должна быть и Снегурочка.

— Извини, пожалуйста, что пришлось вызывать, но нам пора соб- раться всем вместе. Сейчас должна подойти Таисия Павловна.

— Я-то зачем? — улыбался он.— Я в этой истории — мальчик для битья. Договаривайся с ней, а я подпишу что угодно.

— То есть как это?

— Очень просто. У меня и проект приказа готов: Вишняковой строго указать, Матвеевой строгий выговор...

— А тебе самому? — невольно тоже улыбнулась Софья Петровна.

— Повинную голову меч не сечет, но выговора не миновать. По должности. Знаешь, бывают члены всяких важных коллегий и комите- тов по должности. А есть люди, которые получают выговора по долж- ности. Все правильно... Однако не сам же я буду сечь себя. Об этом вы, наши благодетели, позаботитесь.

Это выглядело шуткой, но в то же время он решительно замахал руками, когда Софья Петровна попыталась всучить ему для ознакомле- ния свой проект справки. Не стал читать — давай, мол, лучше погово- рим о чем-нибудь более интересном.

— Что за ребячество! — упрекнула Софья Петровна, начиная сер- диться.

— Ничего подобного,— продолжал он улыбаться. — Просто не стоит терять времени. Мы виноваты и готовы послушно подставить ме- ста, по которым бьют. Тут один вопрос: что подставлять?

— Да пойми ты, надо смотреть шире! Больница клиническая, ба- зовая для института, а кафедры ведут себя в ней, как столичные со- листы на гастролях в провинциальном театре.

— Не знаю, не знаю. Я даже в кино не хожу, довольствуюсь те- левизором.

—...А может, он прав? — сказала Татьяна.— Ты ведь и сама тол- ком не знаешь, чего хочешь.

— Я? Хочу выполнить поручение, которое мне дали. Установить истину.

— Которая, кажется, никому не нужна. Они сами все знают и обо всем договорились. Нашли даже козла отпущения.

— Я вижу. Матвееву.

— Конечно. Ту самую.

— Почему вы ее называете «та самая»? — спросила Надя.

— Потому что Матвеевых много, а эта единственная. Т а с а м а я.

— Не понимаю.

— Делает что хочет и никого не боится. Пока папа при должности.

— Папа, кажется, зашатался,— заметила Софья Петровна.

— Значит, и она скоро будет, как все. А пока резвится. Знаешь, я ей даже завидую иногда. А она в самом деле виновата?

— Там все виноваты, она просто бесхитростно пишет, как было.

— Так уж и бесхитростно... Ей нравится быть ужасным ребенком. А Митя знать ничего не хочет. Ай да Митя! Его беспокоит одно: по чему будут бить, что придется подставлять — физиономию, загрибок или что-нибудь еще. Для него, наверное, лучше «что-нибудь еще»...

— Меня секретарша наша удивила... — Софочка, кажется, разговорилась.— Рассказала историю на тему: живи сам и дай жить другим.

— Любопытно. Ты не спросила — по собственной это инициативе говорилось или кто-то ее попросил?

— А чего спрашивать? Во-первых, не скажет, а во-вторых, и так ясно.

— Что? — спросила Надя.

— Мне кажется, самой ей лезть в это совсем незачем.

— Не говори,— возразила Татьяна.— Такие любят совать свой нос во все дырки. Тут комплекс: хочется чувствовать себя не просто мелочью пузатой, а лицом значительным. Ты права в другом: она слышит и знает многое. А что наша милая тетя Лошадь?

— Вы как у нас в школе — всем даете клички,— оживилась Надя.— У нас новый физик появился — молодой и довольно симпатичный, некоторые девчонки даже влюбились. А я присмотрелась и вижу: похож на богомола. Знаете, жук есть такой — богомол. Вот и он — ручки сложит, головку наклонит, а мы все хохочем. Это я ему прилепила — Богомол.

Прочитав написанную Софьей Петровной справку, Надъярных сказала:

— Весьма неожиданно.— И спросила, обращаясь к Мите: — Это ваше общее мнение?

Митя, надо отдать ему должное, промолчал. Ответила Софья Петровна:

— Пока только мое.

— Неожиданно и опрометчиво. Что удивляет больше всего.

Надъярных и в самом деле смотрела на Софью Петровну с холодным удивлением, как смотрят на выскочку, парвеню, показавшую вдруг свое истинное лицо. Так разглядывает начальство недавнего своего выдвиженца на крупный пост, который, не успев как следует усесться в кресло, прилюдно учинил пьяный дебош и попал в вытрезвитель. Такого не прощают. Или того хуже: так смотрят на него б л а г о д а р н о г о, который, будучи д о п у щ е н, пользуясь доверием, узнав все изнутри, льет затем грязь, поносит благодетеля, возмнив о самом себе бог весть что. Тут и разочарование («А на вид был такой надежный человек!») и просто: фу!.. Сам взгляд в таком случае намертво перечеркивает будущее, а то и сулит: ты еще у нас попляшешь!..

— Где вы откопали этот диагноз? Его нет ни в истории болезни, ни в протоколе вскрытия... Для вас, как я вижу, не существует авторитетов.— Надъярных отодвинула справку так, будто отстраняла от себя Софью Петровну.— Э т о г о я не подпишу.

— Скандал,— сказала Татьяна.— Так прямо встала и удалилась?

— Не сразу. Заглянула в приемную, но к заведующему не зашла.

— А Митя?

— Не проронил ни слова. Потом поднялся. «Я тоже,— говорит,— пойду».

Леонид Михайлович, который уже некоторое время как пришел, подвел итог:

— Сильный ход. Это я о Надъярных.

— Не вижу ничего сильного,— возразила Татьяна.— А что ей еще оставалось делать? Доказывать? Спорить?

— Но это и есть сильный ход. Поднялась и ушла, зная, что Митя у нее в кармане, что Соня остается одна. А если еще поднажать, припугнуть...

Софья Петровна посмотрела на Ленечку удивленно: ты-то откуда знаешь? Ведь не был же, когда Татьяна рассказывала об этих нелепых и глупых угрозах.

Татьяна поспешила на помощь:

— Я звонила ему на работу. Ленечка еще сомневался, стоит ли тебя расстраивать...

Скривив губки, Софья Петровна покачала головой: ах, какая трогательная забота!

— Был не прав,— отыграл Татьянину реплику Леонид Михайлович. Но было в этом смиренном признании и нечто большее.

Татьяна прикрыла глаза и еле заметно одобрительно кивнула.

— Решать, конечно, придется Соне,— сказал Леонид Михайлович,— но каждый из нас думал об этой ситуации и, может быть, есть смысл...

— Есть,— подтвердила Татьяна.

— Может быть, есть смысл,— продолжал он,— прикинуть разные варианты. Даже если все пойдет по-другому, это никогда не мешает.

А Софья Петровна видела его насквозь, понимала нехитрую игру. Для Ленечки все происходящее — удобный случай показать, что, несмотря на свои пакости, он хороший. Да и пакости ли это? Шалости — вот как это называется. «Сукин сын», — думала она и от обиды, от этого лицемерия, от собственной беспомощности готова была заплакать...

Надя села на широкий подлокотник кресла и обняла мать. Жаль было ее. Но она сама, Надя, никогда ничего подобного не допустила бы. И к жалости невольно подмешивалось презрение.

Софье Петровне виделось что-то унижительное в сегодняшнем разговоре, однако никуда ведь не денешься: одна, в самом деле одна. Да и этот хоть и сукин сын, но не чужой человек и зла определенно не желает.

— Давайте рассуждать,— продолжал Леонид Михайлович.— Случайно Соня оказалась в этой комиссии или нет?

— Этого мы не узнаем,— сказала Татьяна.— Ее назначили, потому что заболел Дед Мороз, а болен он или нет, знает только он и никто больше. Человеку под семьдесят. Мог заболеть, мог сказаться больным, но могли и вытолкнуть на больничный...

— Я могу точно узнать,— послышался вдруг высокий надтреснутый голос Полины Матвеевны, и все заулыбались: забавный у них получался военный совет! — Ко мне приходит убирать женщина, которая убирает и у них. Это такая болтушка и любит выпить... Сегодня она работает там, а завтра будет у меня.

Полина Матвеевна говорила это, не переставая заниматься делом: распускала старый свитер и сматывала нитки в клубок.

— Но зачем старику притворяться? — удивилась Надя.

До чего же ее голос похож на бабушкин!

— Ты лучше мне помоги и не лезь в разговоры старших,— сказала Полина Матвеевна.— А старики ничем не лучше молодых. Каждому кажется, что жизнь еще не кончилась. На инюго посмотришь: такой беззащитный и слабый, такой почтенный и добрый старичок. А вы поинте-

ресуйтесь, каким он в молодости был... А этот всю жизнь притворялся. Когда Петра Сергеевича трепали за сотрудничество с немцами...

— Мама! — крикнула Софья Петровна. Ее взбесило, что та при дочке затеяла такой разговор.

— Это правда? — спросила Надя.

— Что? — вмешалась Татьяна. Для нее это было как бы продолжением их недавнего уличного разговора.

— Ну, сотрудничество...

— Твой дедушка не захотел бросить раненых и попал с ними в плен. А потом был врачом в лагере военнопленных, спасал наших же людей. Ясно? Ну и семейка! — Татьяна вскочила и сделала несколько шагов по комнате. — Девчонка не знает, что за человек был ее дед!..

— Правильно, Танечка, правильно! — поддержала Полина Матвеевна.

— Да и вы хороши, — отмахнулась Татьяна. — До сих пор кофе с булочкой в постель принцессе подаете...

Леонид Михайлович думал между тем об этом феномене — памяти. Гены, человеческая память... Как беспощадно иной раз прошлое с их помощью вторгается в сегодняшний день, даже когда о нем, о прошлом, кто-то хотел бы забыть.

А Надя встала (она все еще дулась на Татьяну), демонстративно поцеловала бабушку и, не сказав никому ни слова, ушла в свою комнату.

— Мы, кажется, отвлеклись, — вернулся к прежнему Леонид Михайлович. — Как я понимаю, с Дедом Морозом все более или менее ясно...

— Вот именно — более или менее, — сказала Татьяна.

— Но тогда новый вопрос. Этот ваш госпитальер... У него есть свой интерес в этой истории?

На сей раз он обращался прямо к жене. Софья Петровна пожала плечами. Сама об этом думала. Как понимать разговор с заведующим, его совет не относиться к делу слишком серьезно? Тогда услышала доброжелательные и сочувственные нотки, но не было ли это предупреждением?..

— По-моему, он порядочный человек и единственное, чего боится, это скандала.

— А без скандала можно обойтись?

— Не получается. — Софья Петровна ответила почти виновато.

Она была очень мила в этот момент. Чуть золотились волосы под лампой, заботы и усталость подсушили, облагородили лицо, а взгляд исподлобья придавал ему мрачноватую настороженность, тревожащую живость.

— Хорошо, тогда в чем корень конфликта? — Леонид Михайлович поспешил оговориться: — Мои вопросы могут показаться наивными, но представь, что тебе придется доказывать свою правоту не у себя на работе, а еще где-то. В чем суть?

Софья Петровна не спешила с ответом, и тогда не выдержала Татьяна:

— Суть в том, что лучше всего, когда жалоба не подтверждается, а тут она верна по всем статьям... Да-да! Одно дело получать благодарности и совсем другое — нахлобучки. Желающих не находится.

— Но почему же, — усмехнулась Софья Петровна. — Митя готов.

— Митя! Уж не принимаешь ли ты его улыбочки за чистую монету? А он хитрее тебя во сто раз. Небось удивляется: чего это она мечется, не понимает, что ли?

— Не исключено, — согласился Леонид Михайлович. — Митя не хочет выходить за рамки сценария.

«Послушать их, так выходит, что повсюду хитрости, намеки, ин-

тригг... Как при кардинале Ришелье...» — думала Софья Петровна. Сама она не могла все же отрешиться от мысли, что происходит какая-то нелепость, может быть, недоразумение.

— Да и в Мите ли дело? — говорила Татьяна. — Ты же прекрасно понимаешь, о чем и о ком речь!

— Может, я неправильно вела себя с Надъярных? Может, надо было помягче — сперва убедить ее?

— В чем? В том, что она дура и стерва? Перестань, кума, притворяться и работать под наив. Ты дергаешься, потому что не знаешь, как вести себя. Замахнулась, а ударить боишься. Да ты не сердись. Я не осуждаю. Ты думаешь, я знаю, как вела бы себя сама? И всем нам ясно, что дело совсем не в Надъярных, не в Мите, а...

— Вот этого я не могу понять! — перебила Софья Петровна. — Ну пусть ошибка, просчет и финал ужасный, но как наслоилось на это все остальное: склоки, подозрения?.. Неужели он позволяет этой Надъярных...

— Обманывать себя? — саркастически спросила Татьяна. — Ну-ну, подруга, давай! Искренне заблуждаться ты уже научилась...

— Перестань, — попросил Леонид Михайлович.

— А что переставать?! Хорошо, — вдруг согласилась она, — давайте подождем, пока этот симпатичный человек Белокуров перекусит пополам нашу Софочку...

«НАДО ИСКАТЬ КОМПРОМИСС...»

Совещание с утра дважды откладывалось, было скучным и, главное, Софьи Петровны, по существу, не касалось: подготовка к зиме. Ну и собрал бы администраторов, хозяйственников! Нет, в сборе весь синклит: яблоку в кабинете негде упасть. «Будто люди сами не знают, что надо готовиться к зиме! — раздраженно думала Софья Петровна. — А если знают, то почему плохо готовятся? И поможет ли им эта говорильня?»

На прибывших из районов лежала своеобразная печать — смесь праздничности и затрапеза. Одеты тщательней обычного — ехали-то к начальству, в область, однако помяты — сказались часы тряски по местным осенним дорогам в крытых брезентом вездеходах.

Софья Петровна заметила своего бывшего студента товарища Губадулина, — он, видно, по-прежнему заменял в Лосье главврача. Заматерел мужик. Вспомнила докладную, в которой он вполне профессионально уклонился от объяснений по поводу случившегося: занимался-де переоборудованием котельной, было не до больных... Чем только не приходится заниматься этим беднягам! Впрочем, говорят, что так не только в медицине. Человек называется инженером, техником, экономистом, а занят бог знает чем...

Садясь рядом, Софья Петровна спросила шепотом: «Как котельная?» Спросила шутя и вовсе не ждала ответа, а Губадулин вскинулся, оживился, полез в портфель за бумагами, заговорил о каких-то форсунках... Софья Петровна почувствовала неловкость, приложила палец к губам, кивнула в ту сторону, где поднялся, чтобы начать совещание, заведующий. Глупая получилась шутка.

С самого начала Софья Петровна решила ускользнуть в перерыв, но не удалось. Шеф сказал: «Вы мне будете нужны». Исидела, слушала, ждала. А понадобилась только после совещания. По вопросу, конечно же, никакого отношения к этому сборищу не имевшему.

Когда остались наконец вдвоем, Гурий Иоанничинович сказал:

— Ради бога, не сердитесь, но вы не поняли меня, и я сам, кажется, виноват. Я только хотел, чтобы вы не исчезали до конца дня. Незачем вам было слушать эти разговоры о двойных рамах и утеплении

водопровода. А сказать, что можете уйти, было уже неловко. Тут ведь свои бюрократические тонкости. С одной стороны, люди не любят сидеть на таких совещаниях, а с другой — считают свое участие признаком принадлежности к какому-то избранному кругу... — Софья Петровна поморщилась, и он в ответ понимающе улыбнулся. — Однако нет худа без добра — теперь вы увидели сразу все наши главные кадры. Когда-нибудь пригодится. — Пожаловался: — Черт знает сколько времени уходит на пустяки... Ладно, вернемся к нашим делам. Нас навестил сегодня профессор Белокуров... — Сказано было с известной долей шутливости, но и вполне уважительно. Уважительность и ирония как бы смягчали друг друга. — Вячеслав Васильевич всячески выражал вам свою симпатию и сожалел из-за возникшего вдруг недоразумения...

Гурий Иоанникиевич подумал, что нашел, кажется, верный тон. Собственно, этот верный тон он нашел сегодня с самого утра.

Тылы Дома Советов выходили на зеленую, не тронутую еще реконструкцией улицу Куйбышева. На нее смотрели и окна заведующего облздравотделом. Это было удобно, особенно летом, когда работали с открытыми окнами. Летом (особенно по утрам) в кабинет вливалась такая свежесть... Но это ли главное в нашей жизни? В районной больнице свежести (притом истинной, черемуховой) было куда больше, а ведь расстался с нею без сожаления.

Как в связи с этим не подумать о житейском раскладе! Вначале мечтой было поступить в институт. Потом ее сменила другая: закончить бы побыстрее, получить диплом, назначение, перестать зависеть от посылок и переводов, которые присылает мама. И это позади. Затем еще одна ступенька, и еще одна. Все в норме. И вдруг однажды тебя осеняет: задача решается правильно, но та ли это задача, которую должно было поставить перед собой?

Поступал в институт, когда еще свежа была память о войне, о голоде и холоде. Нацелился в медицинский, потому что врач всегда, всюду и всем нужен. Специальность, с которой нигде не пропадешь. Все правильно. После четвертого, кажется, курса звали на военный спецфакультет. Уклонился, и правильно сделал, потому что в армии врач — лицо десятистепенное и погоны у медиков в то время были маленькие, беленькие. В армии при всех прочих данных широко может шагать тот, на ком с юношеских лет большие, и притом золотые, погоны пехотинца, танкиста, летчика. Да вот самый наглядный пример: радист, электрик, тот же врач, проплавай они хоть всю жизнь в морях, никогда не выбьются в капитаны. Прямая дорога к этому у судоводителя, штурмана.

Гурия Иоанникиевича все-таки свернуло на карьерную, административную стезю, и пришло понимание себя, понимание того, что его не могло не свернуть. А по-настоящему широко шагать по этой стезе в наше время (опять-таки при всех прочих, конечно, данных) будет, как он полагал, не врач, пусть даже кандидат наук, а инженер, агроном, экономист.

Во дворе обычно стояли одна-две черные машины в ожидании высокого начальства. Для остальных стоянка была на площади.

Гурий Иоанникиевич увидел, как подъехала к воротам легковушка и привычно, по-хозяйски шмыгнула во двор. Узнал светло-бежевую «Волгу» профессора Белокурова. За рулем, как всегда, сидел с а м. Вот человек, который все рассчитал правильно. Его невозможно представить за рулем «Москвича» или «Жигулей». Он не просто заполняет все пространство, в котором находится, но и умеет вполне непринужденно сделать так, что все видят, когда ему тесно, и считают своей обязанностью подвинуться.

Завидовать бесполезно, потому что все равно не научишься вести

себя так уверенно и спокойно. Этому, видимо, не научаются, это, должно быть, сидит в крови, возникает само собой, без специальных усилий, как, скажем, начинают расти усы и борода у мужчины.

Завидовать не надо и потому, что следующий шаг — озлобиться. А озлобленный человек — конченный человек. Нужно быть доброжелательным. Ни к чему не обязывает, а внушает симпатию, доверие.

Гурий Иоанникович испытал необъяснимое желание посмотреть, как Белокуров выйдет из машины, кивнет шоферам, ожидающим своих хозяев (каждый из этих приближенных, доверенных шоферов сам по себе фигура, с которой приходится порой считаться, но Белокуров и для них барин), небрежно, однако без показной небрежности сопляков, щеголяющих обладанием собственной машиной, захлопнет дверцу и не оглядываясь пойдет в дом. Он может протянуть кому-нибудь из этих шоферов ключи: «Посмотри, у меня что-то барахлит карбюратор» — и балованный царедворец примет это как знак доверия одного из членов августейшей семьи.

Вот так сумел себя поставить Вячеслав Васильевич Белокуров.

А в вестибюле ему улыбнется и козырнет постовой милиционер. И все вообще будут ему улыбаться до тех пор, пока улыбается он сам.

Очень хотелось посмотреть. Желание было мальчишески острым. Но для этого надо выйти в приемную, глянуть в окно, у которого сидит секретарша, и тем привлечь ее внимание, дать повод для всяких досужих домыслов. Этого позволить себе он не мог. «Ну и пусть. Приехал-то этот барин все-таки ко мне. Сейчас пожалует...»

Предстоящий разговор не сулил ничего приятного, однако Гурий Иоанникович все обдумал и был готов к нему. Обдумал еще вчера, когда уславливались о встрече. Цель визита по телефону не обсуждалась, причина была ясна обоим. Почти из ничего возникло вдруг недоразумение и породило странные толки. Профессор относился к ним спокойно, но ясно, что пора с этим кончать.

Это понимал и Гурий Иоанникович. Его позиция была вполне корректной. Дружественный, так сказать, нейтралитет — самое большее, что могла позволить должность. По крайней мере, внешне.

Доброжелательность Гурия Иоанниковича была вполне искренней, и все-таки он про себя посмеивался над тем, что профессору, кажется, слегка прищемили хвост — иначе сам не стал бы вмешиваться. Ну что ж, иногда это не мешает. Даже приносит пользу, излечивая от гордыни. Не дай только бог, чтобы он это отношение к себе учуял...

Ради встречи с Белокуровым Гурий Иоанникович отодвинул на полчаса намечавшееся на утро совещание. Время истекло, а Вячеслав Васильевич все не появлялся. В кабинет заглянула секретарша, когда раздался звонок внутреннего телефона.

— Гурий Иоанникович? Приветствую вас... (Он узнал голос председателя облисполкома. За все время работы это был третий личный звонок, обычно, что тоже случалось не часто, председатель соединялся через своего секретаря или просто вызывал к себе. Личный звонок в жизни работника аппарата — немаловажное событие, и Гурий Иоанникович, даже находясь на другом этаже, в другом крыле здания, напрягся, подтянулся: что случилось?) С вами будет говорить профессор Белокуров.

— Голубчик, извините меня, — послышалось вслед за этим. Говорил Белокуров. — Я здесь рядом, вы разрешите зайти?

«Артист, — подумал Гурий Иоанникович. — И прохиндей. Похоже, что в ход пошли силовые приемы...»

— Всегда рад вас видеть. — ответил он Белокурову, а секретаршу попросил перенести совещание еще на час.

Глядя на Вячеслава Васильевича Белокурова, и впрямь можно было подумать: артист. Тренированный голос, легкая и свободная манера двигаться, непривычный для провинции галстук-бабочка (в горошек) и выглядывавший из кармана уголок белоснежного платка...

Встречая его, Гурий Иоанникиевич вышел из-за стола.

— Забавный анекдот мне только что рассказали...

Вячеслав Васильевич был улыбочив и безмятежен, словно только затем и пришел, чтобы рассказать анекдот. Анекдот был банальный, но смешной.

— Это мне рассказал,— Белокуров кивнул куда-то вверх и в сторону,— в связи с предстоящей поездкой.

Еще одной особенностью Вячеслава Васильевича было то, что он говорил о своих делах так, будто все о них знают, не могут не знать. Ничего, мол, удивительного: компанейский человек, живу открыто, у всех на виду. При этом, по убеждению Гурия Иоанникиевича, был хваток и скрытен, в клинике и на кафедре чувствовал себя вполне хозяином. Народ языки у него не распускал, за работу держались даже санитарки — поговаривали, что у Белокурова собственная метода материального стимулирования...

Ни о какой «предстоящей поездке» (кто? куда? зачем?) Гурий Иоанникиевич понятия не имел, но промолчал.

— А почему бы вам тоже не принять в ней участие? Хотя да,— Вячеслав Васильевич как бы вспомнил что-то,— не все сразу. По-дождем. Как, кстати, у вас с языками? А то, знаете, года два назад был казус. Некая дама — не будем ее называть,— доктор филологии, села в лужу: ни английского, ни французского, ни немецкого... Было ужасно неловко. И вообще каждый раз желательно иметь своего человека, знающего язык. Удобней. Пришлось взять это на себя. Так что делайте, голубчик, выводы...

Впечатление было такое, будто их разделяет не стол, а кавава, через которую Белокуров уже перепрыгнул и теперь подбадривает, даже протягивает руку симпатичному ему человеку. Ввериться этой руке было страшновато: освободишься ли потом? И нельзя оттолкнуть ее.

«С языком, когда потребуется, у нас будет все в порядке...» — думал, терпеливо слушая его, Гурий Иоанникиевич.

Кто-то, помнится, сказал однажды о Белокурове: он-де может утопить в словах все, что угодно. Сказано зло, но несправедливо. Более того, глупо, ибо свидетельствует: человек беседовал с Вячеславом Васильевичем и ничего не понял. А профессор обладает истинным умением вести беседу. Не просто о чем попало. То есть о чем угодно, конечно, но даже разговор о погоде получит у него нужные направление и смысл. И сейчас ведь не просто болтовня, а все рассчитано, чтобы произвести впечатление и нажим. Только так.

— Да! — спохватился вдруг Белокуров.— Главного-то я вам не сказал. Все о себе и о себе. С публикацией все в порядке. Ждите в одном из летних номеров.

Он определенно хотел этим обрадовать, потому и преподнес как сюрприз. А Гурий Иоанникиевич все уже знал и подмывало сказать, что знает. Однако сдержался.

Гурий Иоанникиевич собирался защищать докторскую, и требовались публикации. Статья в журнале была принята, да вот залежалась. Разговор с Белокуровым об этом зашел как-то между прочим, и тот сам вызвался подтолкнуть, хотя нужды в этом, как тогда же подумал Гурий Иоанникиевич, пожалуй, не было. Ему уже обещали непременно дать статью летом. Впрочем, пусть Вячеслав Васильевич считает это своим успехом, если ему так хочется.

— Спасибо. Новость приятная.

— Кстати, Николай Николаевич, с которым я разговаривал, входит в экспертную комиссию ВАКа, — многозначительно добавил Белокуров.

А вот это, видимо, важно. Гурий Иоанникиевич улыбнулся в ответ на многозначительную улыбку профессора. Этот ВАК сейчас свирепствует, иметь там доброжелательного человека не мешает...

— Я засиделся, однако, — сказал Белокуров, глянув на часы. — Да и вас со всех сторон тормозят. Слишком беспокойное место. — Он сочувственно покачал головой.

Во время их разговора несколько раз трезвонил телефон, но Гурий Иоанникиевич просил перезвонить позже. Заходила секретарша, извиняясь и говоря: «Это срочно», оставляла какие-то бумаги.

«Ну-ну, давай», — мысленно подтолкнул собеседника Гурий Иоанникиевич, понимая, что начинается главное.

— До меня дошли толки, что расследование, порученное Софье Петровне Забродиной, пошло странным путем...

— Вы информированней меня, — сказал Гурий Иоанникиевич. — Может, пригласим Софью Петровну?

— По-моему, лучше вам это сделать самому.

— Хорошо, — согласился Гурий Иоанникиевич. — До сих пор я считал некорректным вмешиваться... — Белокуров удивленно поднял брови, и Гурий Иоанникиевич поспешил объяснить: — Как я понимаю, вы сами шефствовали над всем. Мы вместе назначили комиссию.

Белокуров досадливо поморщился.

— Вся беда в том, что Софья Петровна не специалист. Я хотел сказать — не хирург.

— Но это в а ш а мысль — поручить расследование именно ей.

— Каюсь, — развел ладони Белокуров.

Это можно было понять и как сожаление о том, что Софья Петровна вообще появилась здесь, на своей нынешней должности. Ведь это он, Вячеслав Васильевич, предложил в свое время: «А что, если взять Забродину?» И вот теперь: «Каюсь».

Гурий Иоанникиевич был несколько даже смущен. Это что же выходит: я тебя породил, я и убью? Слова попереки сказать нельзя? Да и было ли сказано слово?

— Я думаю, все уладится. До сих пор претензий к ней не было. За дело взялась, я бы сказал, горячо.

— По разуму ли горячность? Я знаю за Софьей Петровной один недостаток: слишком прямолинейна. На первый взгляд не так уж и страшно. Но иногда недостаток становится бедой. К власти человека нужно поднимать постепенно, каждая ступенька — фильтр. Тогда исключаются случайности. Селективный, так сказать, подход. А с Софьей Петровной, боюсь, была допущена поспешность. Не ошиблись ли мы? Что толку в горячности, когда не знаешь, чего от нее ожидать?

До сих пор все шло правильно: Гурий Иоанникиевич больше слушал, чем говорил. Но сейчас не мог понять, чего хочет профессор: припугнуть, приструнить через него, Гурия, Софью Петровну или поставить на ней крест? И то и другое не нравилось. Не мог понять и позицию Белокурова по отношению к себе: он что — наставляет, грозит или вызывает на спор?

Лучше было бы и на этот раз подождать, промолчать, но Гурий Иоанникиевич сказал:

— Я почему о горячности — это подкупает. А то ведь гораздо чаще видишь: и не холоден и не горяч. Помните: ты тепел, и я изблюю тебя...

Взгляд Белокурова повеселел, стал заинтересованным и удивленным.

— Вы что, из староверов?

— Село было единоверческое.

Вопрос не удивил — ход мыслей профессора легко просматривался:

среди староверов немало книжников, вот в память отрока Гурия и запа-ла не раз слышанная от отца или деда фраза из писания...

— Странно все-таки устроен человек, — сказал Белокуров. — Ну что нам, современным людям, эти двуперстия, гайтаны, кафизмы, кондаки, когда в мире все перемешалось? А вот обрадовался, будто родственника встретил: наша семья тоже из староверов. Однако единоверцы, должен вам сказать, самое оппортунистическое крыло: с одной стороны, староверы, а с другой — приглашали священников официальной церкви... Одним словом, — он тонко улыбнулся, — бойтесь оппортунизма.

Броде предупреждения. Разговор вернулся в свою колею.

— И потом, почему вы решили, что мне нравится, так сказать, тепленькое? Отнюдь. В делах я предпочитаю холодную трезвость суждений.

«Чего он тянет, кружит вокруг да около? — думал между тем Гурий Иоанникиевич. — Не решается прямо сказать? Ждет, когда это сделаю я? Но не слишком ли многого хочет? Это уже противу правил...»

В самом деле, уважаемому профессору пошли навстречу в главном: была создана такая комиссия, какую он хотел. Чего же еще?

— Чтобы снять обвинения в оппортунизме, — сказал Гурий Иоанникиевич, — я спрошу вас вот о чем: после встречи с Софьей Петровной в приемную заходила доцент Надъярных. Почему она так и не зашла ко мне?

«Игра в поддавки... Право, игра в поддавки. Открещиваться от оппортунизма, прибегая к обинякам!» Ничего другого, однако, не оставалось. Спросить Белокурова прямо, что ему нужно, было тоже против правил игры. Есть вещи, о которых не говорят — о них догадываются. И поступают соответственно.

— Я же говорю: расследование пошло странным путем. Надъярных просто не может с этим согласиться — ее подпись тоже должна стоять под справкой. А странность в том, что Софья Петровна размазывает историю, каким-то краешком задевая и нас. Самое пикантное: истинные герои своей вины не отрицают, она очевидна. Но Софье Петровне этого мало. Ей нужна сенсация. Как молодому прокурору громкий процесс.

«Ерунда какая-то», — думал Гурий Иоанникиевич. Неприятна была сама мысль о предстоящем объяснении с Софьей Петровной. Придется просить не цеплять белокуровскую кафедру, а можно ли ее в этом случае не трогать? Дед Мороз недаром все-таки заболел... К тому же просьбы такого рода сами по себе шиты белыми нитками. Да что говорить — неловко. С Дедом Морозом поговорил бы, пожалуй, запросто, а с Софьей Петровной неловко. Сам виноват, допустил какой-то сентимент, что-то постороннее в отношениях.

— Отмести все это не составит большого труда, — говорил Белокуров. — Но нужно ли создавать прецедент? И потом — воленс-ноленс, а Софья Петровна сталкивает нас с вами. Лично вас и меня.

«Сукин сын. Без угроз не обошелся. И дело представил совершеннейшим пустяком, хотя из-за пустяка сам не стал бы суетиться...»

Гурий Иоанникиевич почувствовал вдруг усталость и удивился этому.

— А что, собственно, грозит кафедре? — Спросил тихо, без вызова, но что-то неприятное в вопросе так или иначе было.

Белокуров ответил спокойно и наставительно:

— Ничего. И дело не в этом. Когда вы сами станете заведовать кафедрой, что, я думаю, не за горами, вы увидите: это особый мир, который налагает особую ответственность. Завкафедрой, если хотите, сюзерен, король в своем крохотном королевстве. Подданные должны чувствовать себя за его спиной надежно и спокойно. Полученное наследство он должен передать в целости, а не растрясти его. Наследство же это — вес, авторитет кафедры.

«Заболеть бы, как Дед Мороз, — подумал Гурий Иоанникиевич, — и

пусть расхлебывают кашу сами...» Но тут же испугался этой слабости и подавил ее. Подспудно поднималось раздражение не только против профессора, но и против Софьи Петровны: что ей, больше всех нужно? Он, заведующий отделом, не боится принять удар на свое ведомство и, значит, на себя, а эта что-то мудрит и выискивает. Понимал, что не прав, убеждал себя, что все делается Софьей Петровной скорее всего из самых добрых чувств. По давней привычке оценивать собственное состояние пытался взглянуть на себя со стороны и тоже ничего утешительного не видел. Случись это с кем-нибудь другим, пренебрежительно поморщился бы. Душевный дискомфорт из-за раздвоения или даже растроения (если оно возможно), а может быть, и еще большего расщепления чувств, желаний, опасений. Что касается Софьи Петровны, то к ней он несомненно испытывал симпатию, в основе которой лежит (если быть откровенным хотя бы с самим собой) элементарнейшее влечение. И до поры это был бодрящий, тонизирующий элемент. До той поры, пока не стала нынешняя дилемма.

— Самое грустное,— говорил Белокуров,— что причиной конфликта стала Софья Петровна. Мы ведь знаем друг друга практически всю жизнь. Я, во всяком случае, помню ее с детства. Наши отцы дружили, работали вместе, служили в одном госпитале на фронте...

О старом Белокурове Гурий Иоанникович слышал. Большой, говорят, был хирург. А ведь действительно получается престолонаследие...

— Хорошо помню ее старшего брата...

— У Софьи Петровны есть брат? — почему-то удивился Гурий Иоанникович.

— В Москве. Не знаю толком, чем занимается, но что-то связанное с границей. Одним словом, ничего личного у меня против нее нет.

— А кто муж Софьи Петровны?

Белокуров ответил не сразу. Помолчал. Посмотрел на Гурия Иоанниковича с любопытством и наконец сказал:

— Кто он? Смазливое ничтожество.

Софья Петровна подивилась и обрадовалась тому, как сходно они относятся к только что закончившемуся совещанию. В самом деле, неужто тому же Губадулину непременно надо было ехать из-за этой его форсунки двести верст? Подкупала откровенность, с какой Гурий Иоанникович говорил об этом. Видно, наболело. Сочувственно подумала и о том, сколь многим приходится заниматься шефу. «Попробуй хотя бы просто упомянуть все наши снабды, сбыты, конторы, управления, тресты или как там они еще называются!»

— Я мельком видела Вячеслава Васильевича, но мне он ничего не сказал.

— А что он мог сказать? Ни у него, ни у меня никакой информации, кроме того, что Надъярных отказывается подписывать справку.

Поверить в это было невозможно, но спорить не стала. Он говорил по-прежнему дружески, и Софья Петровна ответила в тон:

— А ту справку, что подготовила она, не могу подписать я.

— Однако надо же как-то поладить.

— Другого выхода нет,— согласилась Софья Петровна.

— И что же?

— Надъярных не стала меня даже слушать.

— А в чем суть расхождений?

— В диагнозе.

— Это расхождение между вами и ею?

— Да.

Пальцы шефа беззвучно постукивали по стеклу, и Софья Петровна замолчала.

— Но она все-таки хирург...

Софья Петровна промолчала, и то было выразительное молчание: вот именно — все-таки...

— А что говорит вскрытие?

— Мы с Таисией Павловной по-разному понимаем то, что оно говорит.

— Да, бывают сложные случаи...— Эта его раздумчивость перевела разговор в другое русло: будто бы все дело в сложности случая!

Софья Петровна прямо возражать не стала. Сказала лишь:

— Я попросила заключение главного патологоанатома.

— Дала?

Софья Петровна положила на стол листок.

— С чьим же диагнозом это совпадает?

Мог бы, пожалуй, и не спрашивать...

— С моим. Я исходила из заключения, когда писала свою справку.

Это был, как говорил в таких случаях Ленечка, сильный ход. Сама понимала. Вообще-то слукавила, но самую малость. Не такой уж и грех. Тем более никто, кроме нее самой, не знает, что появилось раньше — заключение или справка.

— А вы уверены, что сейчас наш главный патологоанатом не пишет под чью-нибудь диктовку другое, прямо противоположное заключение?

— Не знала, что такое с ней бывает,— сказала Софья Петровна.— Но чего она тогда стоит!.. Вы всерьез допускаете такую возможность?

— Скажем так: не исключаю.

— Извините, но как же с этим мириться?

— А вы думаете, легко найти подходящего человека? Можете предложить кого-нибудь взамен?

Она понимала, что ответ ему не нужен, что вопрос поставлен риторически, и подумала: а ведь он невропат. Совсем не такой крепкий человек, как ей сначала казалось. И почувствовала тревогу, заподозрила игру. Трудно ли изобразить доверительность!..

— Ладно, все это умозрительно,— сказал Гурий Иоанникиевич,— а сейчас перед нами реальность. Это заключение — ваш единственный козырь?

Теперь, однако, Софья Петровна была настороже. Коли речь пошла о козырях, то стоит ли раскрывать все свои карты?

— Я абсолютно убеждена, что оно верно.

— Надъярных небось также уверена в своем...

Софью Петровну покорило это уравниение заведомой — теперь не сомневалась — лжи и правды, но и на сей раз, как и при первом в их разговоре упоминаний о Надъярных, она не стала спорить.

При чем тут Надъярных! Сам Вячеслав Васильевич Белокуров не дал себе труда разглядеть или хотя бы заподозрить у этого несчастного больного заворот кишок... Вот о ком речь, вот о чем престиже пекутся. Может, и поздно было оперировать, может, и не выдержал бы, но если ошиблись, прозевали (и на старуху бывает проруха!), то скажите об этом прямо. Вот в чем суть.

Ни о чем таком Софья Петровна не сказала, но Гурий Иоанникиевич уловил перемену.

— Боюсь, что мы невольно обостряем события. Когда люди расходятся во мнениях, надо искать компромисс...

Он был по-прежнему деликатен и терпелив, хотя теперь Софья Петровна, по правде говоря, подозревала, что за этим терпением кроется некая заинтересованность. Жаль было шефа, хотелось ему помочь, хотелось быть покладистой и снисходительной, понимала, что вот, может быть, и конец их славным отношениям, сожалела об этом. Хотелось плюнуть на все — ведь в конечном счете отдуваться будет он, шеф: главную бумагу, о т в е т, подписывать ему и только ему. Пусть подпи-

сывает, если хочет. Да, но и имя Софьи Петровны тоже мелькнет — в самом низу, уже после его подписи, одной строчкой: «Исполнитель С. П. Забродина». Ее-то зачем выставлять дурой? Как могли они не спросясь впутать ее в эту историю? Неужели не понимают, что это двусмысленно и оскорбительно!

— Хорошо,— сказала, не поднимая глаз,— давайте искать компромисс вместе.

— Как вам это представляется?

— Соберемся — комиссия, вы, Белокуров — и все решим.

— Ну что ж, если другого выхода нет, будь по-вашему...

ОЖИДАНИЕ

День у Леонида Михайловича начался с того, что Веве сказала:

— Прекратите называть меня этой собачьей кличкой и оставьте свои замашки!

Не сказала даже — взвизгнула. Взгляд полыхнул ненавистью. За что? Черт бы их побрал, нашкодят — и сами же ищут виноватых.

«Замашки» Леонида Михайловича заключались в том, что он обращался к ней с подчеркнутой и несколько шутиливой галантностью.

Оставалось только пожать плечами, что и сделал.

Причина выяснилась чуть позже. Не нужно было говорить об анонимке Лине! Она не удержалась и подпустила какую-то шпильку Веве...

Лина сделала это расчетливо, ничего прямо не сказала, так что Веве своей реакцией, по существу, выдала себя. Однако и Лина тем самым раскрылась. Ее имя в анонимке не было ведь названо. И все это равносильно объявлению войны. Зачем? Может, у Лины какие-то собственные планы? Неприятно.

Еще большей неожиданностью был звонок милейшего человека Васи:

— Привет, Михалыч. Надо повидаться. Ей-богу, надо. Дела никуда не денутся, а тут, может, судьба человеческая решается... Если хотите, могу вашему директору позвонить, чтоб отпустил, я его знаю.

Интересные отношения: он ведь не так-то прост, в своих кругах — фигура, а у Забродиных в роли простака. И Ленечка называет его Васей, а он Ленечку Михалычем, хотя разница в годах лет десять — Вася старше.

Приехал в институт, пошли в холодновато-пустынный актовъй зал, закрылись, чтоб никто не мешал, в комнатухе за сценой. Вася волновался, а Леонид Михайлович недоумевал: что ему нужно?

— Об этом легче по-мужски за чаркой говорить, но не хочу откладывать на вечер. Я к вам насчет Татьяны, Михалыч...

Удивился безмерно, но сразу подумал: а почему бы и нет? Он вдовец, она холостячка. Тут другой вопрос: пара ли они? Но кто это знает наверняка, кто может сказать заранее? А сама идея, пожалуй, неплоха.

— Чем же я могу помочь? — улыбнулся. — Только не подумайте, что я против... По-моему, это было бы здорово. Татьяна прекрасный человек, уж мы-то ее знаем...

— Об чем речь, Михалыч. Иначе и разговора не было б. Однако взнудать я ее не могу...

— Ну, это известно как делается. Мне вроде неловко и говорить. — Леонид Михайлович продолжал дружески-сочувственно улыбаться.

— Да тут все в порядке. — Вася крякнул. — Прошли через этот этап, а толку пока никакого.

Ленечка посмотрел на простака Васю недоверчиво и удивленно, а тот опять крякнул.

— Я же не мальчик, чтоб на одной ножке прыгать. Мне нужна жена, хозяйка...

«Быстро они, однако,— подумал Леонид Михайлович.— Чего только не творится у нас за спиной!»

— А с ней самой вы об этом говорили?

— Да если б не говорил, стал бы я вам морочить голову? Посмеивается в ответ и может совершить ошибку. Это я, Михалыч, точно говорю. Я к вам зачем пришел? Подействуйте на нее через Софью Петровну, а потом мне скажете как и что. По-дружески. Ничего плохого в этом нет. Намерения у меня самые благородные...

И снова подумал: а почему бы и нет? Забавно было наблюдать милейшего человека Васю в таком взъерошенном состоянии. Однако непонятно Татьянино поведение. Лучшей партии ей ведь не сделать. Не сказать, чтобы Леонид Михайлович горячо желал ей именно такого замужества, но в самом деле: почему бы и нет? Впрочем, это их дело. Любопытно поговорить с самой Татьяной, но через Софочку даже лучше: будет повод восстановить отношения, помириться.

Кстати, что там у нее, у Софочки, сейчас?

— Мама звонила? — спросила Татьяна.

— Нет. А ты что, сегодня не работаешь?

— Выходной по скользящему графику. Знаешь, что это такое?

Однако Наде скользящий график был неинтересен. Татьяна не разговорила ей как о недостатке об этом неумении или нежелании хотя бы чуть-чуть из вежливости подстроиться под собеседника, поддержать разговор, но многого не добилась. Вот и теперь Надя раздумчиво спросила:

— Что ты думаешь о боге? — Ее высокий, ломкий голос казался иногда жеманным.

— При чем тут бог?

— Понимаешь, мне дали недавно книгу...

— Что за книга? — встревожилась Татьяна.

— Не беспокойся, никакого не старье. Москва, издательство «Наука», тысяча девятьсот семьдесят третий год... Просто хочу проверить свои мысли. Вот он пишет: «Несомненно, у читателей возник вопрос: откуда взялось то первоначальное газовое облако, из которого в дальнейшем образовались скопления галактик и галактики?» Сам ставит вопрос. Понимаешь? И — не отвечает.

— С ума от тебя сойдешь, моя радость. При чем тут все это?

— Погоди,— остановила Надя.— Дальше он пишет: «Примерно двенадцать миллиардов лет назад вся Вселенная была сосредоточена в очень маленькой области. Многие учёные считают, что в то время плотность Вселенной была такая же, как у атомного ядра. А еще раньше, когда возраст Вселенной исчислялся ничтожными долями секунды, ее плотность была значительно выше ядерной. Проще говоря, Вселенная тогда представляла собой одну гигантскую каплю сверхъядерной плотности. По каким-то причинам капля пришла в неустойчивое состояние и взорвалась... Возникает естественный вопрос: не означает ли, что около двенадцати миллиардов лет назад было «начало света»?..» Опять сам спрашивает и снова не отвечает...

«Мне бы твои заботы»,— подумала Татьяна, однако ответила вполне миролюбиво:

— Что же тебя беспокоит?

— Ты слушай дальше. Вместо того чтобы просто сказать «да» или «нет», он пишет: «Отсюда один шаг до представления, что двенадцать миллиардов лет назад был сотворен мир... Надо сказать, что церковники широко использовали и используют описание одного из возможных следствий наблюдаемого разлета галактик для религиозной пропаган-

ды. На этом примере видно, как церковь пытается использовать выводы современной науки, предварительно исказив и извратив их...» Представляешь? А зачем их искажать, когда все и так ясно! Эти выводы принадлежат все м, и он просто боится, как бы его самого не заподозрили. А дальше сплошные противоречия. Вот послушай: «Вообще само понятие «время» при таких огромных скоростях может потерять всякий наглядный смысл. Столь же бессмысленно говорить в таких условиях о каком-то «начале времени»...» Представляешь? Но ведь с а м ж е чуть раньше писал: «...когда возраст Вселенной исчислялся ничтожными долями секунды, ее плотность была значительно выше ядерной!» А разве доли секунды — это не время? И чуть дальше: «...высочайшая цель — найти во Вселенной реальные следы первых мгновений жизни Вселенной...» Значит, было какое-то начало времени!

Татьяна озадаченно молчала. Не ко времени все это, не ко времени! Вот — даже получился каламбур. Но девчонке нужен этот разговор и уклоняться от него не следует. Хотя Татьяна ничего почти не поняла кроме того, что автор книги, судя по всему, отрицает какое-то начало времени и тут же сам говорит о нем, об этом начале...

— Может, он говорит о времени в каком-то ином смысле?

Надя будто только этого и ждала.

— Хорошо. Тогда давай подойдем с другого конца. Вот он пишет: «Основным атрибутом Вселенной с точки зрения философии диалектического материализма является ее объективное существование и познаваемость». Но представь себе верующего человека, который признает объективное существование Вселенной...

— Ты знаешь такого человека? — осторожно спросила Татьяна...

— Знаю, — ответила Надя с некоторым вызовом. — Но дело не только в этом. — Татьяне показалось, что Надя явно торопится уйти подальше от вопроса о некоем совершенно определенном человеке. — Не только! Он говорит о познаваемости и сам же признает, что пока не ясно, есть ли в о о б щ е решение такой важнейшей, основной проблемы, как скачок от неживого к живому...

«Черт знает что», — думала Татьяна. Помнится, в курсе психиатрии говорилось о склонности некоторых подростков в пубертальном периоде к пустому мудрствованию, об упорном интересе к вопросам мироздания, о холодности и даже неприязни к родителям. Это дурной признак. Но, с другой стороны, девочка жива, активна, все в ее поведении мотивировано... Зачем только ей все это?! Хотя — господи! — обо всем ли мы можем сказать, зачем нам оно? Зачем-то, значит, нужно.

— Любопытно, — сказала она.

— Правда? — обрадовалась Надя. — А вот послушай еще: «Огромное разнообразие звезд, включая сюда и нейтронные звезды, планеты, кометы, живую материю с ее невероятной сложностью и много еще такого, о чем мы сейчас не имеем даже понятия, — все в конце концов развилось из этого примитивного плазменного облака. Невольно напрашивается аналогия с каким-то гигантским геном, в котором была закодирована вся будущая, невероятно сложная история материи во Вселенной...» Ты знаешь, он мне даже нравится. Кое-что пишет понарошку, а это вот — всерьез. Он говорит ген, а можно назвать по-другому...

И однако же, в ее серьезности было что-то пугающее Татьяну.

— Ты думаешь... — сказала она, показывая вверх.

С пораженной Татьяну пронизательностью Надя угадала притворство и игру.

— Ты напрасно тычешь пальцем в потолок. С таким же успехом можешь тыкать во все стороны.

«Ах ты паршивка!» — подумала Татьяна. Она протянула руку и

взяла книгу. Библиотечной печати на ней не было, но на внутренней стороне обложки значилось: «А. Чернышев».

— Это что же, тот самый человек, который признает объективное существование Вселенной.

Надя покраснела.

— Как же его полностью величать? Авенир? Авксентий? Или Акакий?

Надя фыркнула, засмеялась.

— Алеша.

— Уже легче. Сверстник, значит, а не какой-нибудь козел, вздувавший так вот охмурить девочку...

Надя продолжала смеяться.

— Чего ты?

— Я же тебя вижу насквозь со всеми твоими хитростями!

— А у меня никаких хитростей нет, я просто боюсь за тебя. Этот твой Алеша с кем-нибудь еще ведет свои беседы?

Видно было, как Надя словно бы застыла, затвердела. Ну и характерец у девчонки!

— При чем тут он! Он как раз считает, что объективное существование Вселенной означает ее существование помимо бога...

— Вот как... А ты? Хотя ладно, это не имеет значения...

— А что имеет значение? — с вызовом сказала Надя.

Был момент, когда Гурий Иоанникиевич тревожно засомневался: а вдруг Белокуров не захочет прийти? Придумать отговорку не так сложно. В самом деле, поставим себя на его место: какого лешего идти? Что такое эта Софочка Забродина в сравнении с ним, могущественным и всюду вхожим человеком? Стоит ли снисходить, самому впутываться в разбирательство, исход которого и без того ясен?

Вячеслав Васильевич сказал, однако, что придет, тем более что у него есть и другие дела в Доме. Не удержался, добавил это последнее. И все-таки полной уверенности не было.

Встретиться договорились в четыре, к концу рабочего дня. Софья Петровна, узнав об этом, была несколько разочарована, ей хотелось решить все побыстрее. Да и Гурию Иоанникиевичу тоже.

Его тревожила не столько сама нынешняя ситуация, сколько то, что ей сопутствовало. Собственное положение Гурия Иоанникиевича оказалось неожиданно сложным. Сам он до сих пор никак в здешние круги не вписался. Явных признаков плохого отношения к себе он вроде бы не чувствовал, но понимал — не дол ю б л и в а ю т. А в таком положении ясно, какая жизнь и работа.

— А мама хороший врач?

Вопрос, на Татьянин взгляд, был некорректный. В самом деле, а если бы на него нельзя было ответить утвердительно? Не скажешь ведь сыну или дочери, что их мать или отец никчемные работники...

— Она доброжелательный, внимательный и знающий свое дело человек. Этого тебе достаточно?

— Пожалуй.

Вот оно, нынешнее поколение. Судит и снисходит. Впрочем, почему только нынешнее? Не так ли было всегда? Сами судили и снисходили, теперь дошла очередь до нас, теперь нас судят и к нам снисходят...

— А мама спасла хоть одного человека?

Почему-то вспомнилось, как сразу после войны соседский Колька спрашивал вернувшегося домой отца: «А ты убил хоть одного фрица?»

— Думаю, что да. Но это не всегда бывает так прямо. Разобралась в сложном случае, назначила правильное лечение — значит, спасла...

— А бывало, чтобы человек из-за нее погиб?
 — Вот это лучше спроси у нее.
 — Мне кажется, ни один врач не обходится без ошибки.
 — Только ли врач!
 — Но у врача это страшней. Ошибся и загубил кого-то. Я бы, наверное, всю жизнь помнила, мучилась...
 — А почему ты этого мальчика, Алешу, не пригласишь в дом?
 Татьяна попыталась перевести разговор на другое, однако Надя заупрямилась:
 — Давай не будем об этом, ладно? Я же не спрашиваю о каких-то твоих делах.

Это попахивало дерзостью, но, с другой стороны, что поделаешь — надо приспособливаться к взрослости девчонки, принимать ее как должное... В конце концов, будем справедливы: разве сами мы не отстаивали со всей решимостью свою независимость? Не удержалась все же от шпильки:

— О чем же угодно тебе говорить?
 — Давай лучше помолчим. Ты знаешь, я и сама думаю: почему до сих пор нет звонка от мамы? Обычно она с работы звонит, даже когда нет причины, просто так, а сегодня знает, что мы ждем ее звонка...

От суетливости Софочку предостерегал еще отец. Говорил об этом, обычно поглядывая на Полину Матвеевну (мать и впрямь была слишком моторна) или в ту сторону (обычно в сторону кухни), где она могла находиться. Полушутливо-полусерьезно Петр Сергеевич посетовал, что вот-де дочка унаследовала от матери не стать, не цыганистую красоту, а манеру чуть что впустую хлопать крыльями. Однако это было скорее предупреждением, воспитательным моментом. Характером Софочка пошла в отца.

А чем суетливость можно подавить, вытеснить? Настоящим делом. Потому что суета — лишь подобие дела. Кстати, об этом же, хотя и совсем по другому поводу, как-то сказал Ленечка: «Занятие и дело — вещи разные, они совсем не одно и то же...» А уж он знает.

И сейчас, чтобы не дергаться в ожидании и тревоге (все время не оставляло чувство, будто забыла, не сделала что-то важное), Софья Петровна решила ехать в больницу.

Палата у нее была небольшая, но смешанная. В самом начале говорила с начмедом Митей, что надо палату профилировать, однако сама же потом и напортила — засомневалась. Сперва хотела вести легочных больных (проще, знакомое), потом решила заняться сердечниками, а теперь назревал новый поворот в круге ее интересов. Митя наблюдал все это, посмеиваясь, говорил, что, право, ей лучше на те же полставки пойти в центральную больницу: не будет, по крайней мере, проблем — прописывать то или иное лекарство или искать заменитель (в том смысле, есть ли оно в аптеке и не слишком ли дорого), назначать процедуру или нет. В центральной больнице эти проблемы, как известно, не возникают.

Софочка, однако, считала, что обыкновенная больница ей удобней. Обделять больных вниманием отнюдь не собиралась, но в центральной нередко лежит публика капризная, ей в любой момент вынь да положь лечащего врача, а как это совместить с нынешними обязанностями главного терапевта? В обычной же больнице можно было самой и гораздо свободнее планировать время.

Что же касается Мити, то с некоторых пор она подозревала, что он просто хочет по возможности деликатнее выжить ее. На шуту ему иметь в подчинении собственное начальство?

Решив отправиться в больницу, Софья Петровна даже повеселела. Впервые поймала себя на мысли, что с облегчением хоть ненадолго по-

кидает контору. Подумала: а зачем ей вообще нужны были перемены? Занималась бы врачеванием... Господи, какая же ерунда эти ее нынешние бумажные хлопоты по сравнению хотя бы с тем, что можно сделать для бабули! Если, конечно, удастся что-нибудь для нее сделать...

По-настоящему бабуля привлекла ее внимание не сразу. Сначала Софья Петровна рассердилась на начмеда Митю: сунул ей в палату старуху, заведомо обреченную на умирание. Сразу, правда, и устыдилась: надо же как-то размещать этих несчастных.

Сперва во взгляде бабули увидела только смирение. Обычно такие обреченные смотрят на доктора с мольбой, отчаянием, и все-таки с надеждой — надо в ответ притворяться, врать... У этой же в выразительном, без тени склероза взгляде были тихое смирение и покорность судьбе. На дежурный вопрос, на что-де жалуетесь, что беспокоит, даже попыталась улыбнуться: разве, мол, не видишь? Она была предельно истощена.

Тумор между тем, как явствовало из истории болезни, не был локализован. Сначала Софья Петровна не придавала этому значения — доводов в пользу рака (обширной, по-видимому, опухоли с метастазами) было предостаточно.

Старуха стала занимать ее и просто как личность. Уходящий, а может, и совсем ушедший в прошлое тип.

К ней ежедневно приходили дочь и зять (тоже пожилые люди) и все сокрушались, что не могут взять маму домой. По их понятиям, неплохо было, что она умирает в больнице. Обращались они к матери по-старому, по-деревенски: на «вы».

В один из таких приходов у Софьи Петровны и возникло вдруг первое сомнение. Дочь кормила старуху чем-то домашним, а бабуля, как показалось Софье Петровне, не просто принимала, так сказать, пищу, а ела с аппетитом. Опять же этот взгляд... А что, если... Нет, нет! Не надо только спешить с выводами.

Сейчас поймала себя на том, что думать о бабуле ей приятно.

В ординаторской, куда зашла, чтобы оставить пальто и надеть халат, Софью Петровну встретили с настороженным вниманием. Задерживаться не стала, направилась в палату. Вот где ее по-настоящему ждали, вот где ей были рады.

Удивительное чувство вызывало это понимание своей нужности. Впервые и с необыкновенной, поразившей ее саму остротой она испытала нечто подобное совсем по другому поводу, но тоже в больнице. Вскоре после родов, когда первый раз принесли кормить Надю, Софочка неумело, с излишней, как потом поняла, осторожностью трясущими от волнения руками пристраивала ее к груди, разглядывала сморщенное личико, животик с наклейкой из лейкопластыря на пупке, крохотные ручки, ножки (на одной из них болтался клеенчатый ярлык с надписью: «Забродина. 15/III, 8 час. Девочка. 3100») и чувствовала при этом нечто непередаваемое и ранее незнакомое: никому досих пор она, именно она, не была так нужна, как этой беспомощной крохе.

Молоко было, пошло легко, охотно, и было состояние, будто она отдает — с наслаждением — часть себя дитяти, которое тоже есть часть ее самой.

Потом все это несколько притупилось, огрубело, как, скажем, грубеет с возрастом кожа. Грубеет, но все же первой воспринимает холод и тепло.

Не сказать, чтобы в те молодые годы она была плохим врачом, но больные относились к ней, новенькой докторше, достаточно равнодушно и, как сама теперь понимала, были, в общем, правы. Перелом произошел настолько незаметно, что впору спросить: а был ли перелом? Просто что-то накопилось, что-то созрело, пришло время — и стала

вдруг замечать в глазах людей ожидание и надежду. Сейчас и бабуля смотрела на нее вот так же.

Старухе было лучше. Кто-нибудь другой этого, пожалуй, и не заметил бы, но Софья Петровна видела: лучше.

Подошла палатная сестра. С самого начала она недолюбливала Софью Петровну и не считала нужным особо скрывать это. Пару раз бурчала о врачах-гастролерах. То, что именно эта недружелюбная, медлительная толстуха оказалась здесь палатной сестрой, Софья Петровна тоже относилась на счет Мити! Но что поделаешь! Говорить что-либо бесполезно: сестер не хватает и это всем известно. Распоряжения выполняет, а настроения ее никого вроде бы не касаются: хочу — хмурюсь, хочу — улыбаюсь, уж это, извините, не ваше дело... Спасибо, что не дерзит при больных.

На этот раз толстуха даже подошла необычно. Во-первых, ее не пришлось звать — похоже, сама дожидалась Софью Петровну. И было на круглом, обычно брюзгливом лице подобие смущенной улыбки. Показав глазами на старуху, сестра наклонилась к Софье Петровне, которая сидела на краешке кровати, и шепнула:

— Ей лучше... И дочь, когда была, заметила.

В прежние времена Софочка непременно вскинулась бы, хоть как-то, а показала бы свои торжество и радость, теперь же только кивнула.

— Лечение оставим прежнее.

За этим их и застал начмед Митя, появившийся вдруг в палате. При нем Софья Петровна не удержалась:

— Думаю, дня через три наша бабуля начнет подниматься. Хватит лежать, дома внуки все равно не дадут покоя...

По лицу старухи текли слезы. Она шептала что-то. Софья Петровна пригнулась, чтобы расслышать. Встала, улыбаясь:

— Не внуки, говорит, а правнуки. Внуки у нее уже взрослые.

Перехватила Митин взгляд, где были недоумение и осуждение: что, мол, за цирк ты устроила? Она понимала этот взгляд: можно ли в таком случае столь легкомысленно давать обещания? Ведь рядом лежат другие больные... Была, однако, уверена: никакого рака здесь нет. Спрятались за рак, потому что не сумели найти ничего другого. А у старухи — крайне редко встречающийся в этом возрасте тиреотоксикоз. Впервые мысль о нем забрезжила, когда увидела ее выразительные глаза. А вся выразительность от пучеглазия. Облегчение принесли уже первые дозы препаратов. Вот так-то, уважаемые коллеги...

Получился нечаянный праздник. Первопричиной была, конечно, бабуля, но неожиданной оказалась и сегодняшняя перемена в сестре-толстухе. Признала! Что ей, казалось бы, это признание! Но, выходит, было нужно и оно. Почувствовала себя свободней и раскованней, поняла: работать будет легче. Праздник.

И в палате стало веселее. Это ведь только считается, будто остальные больные не знают, что бабулю положили сюда умирать. Прекрасно все знают.

Мите проще всего было бы присоединиться к коллеге — одновременно подчиненной и начальнице — в осмотре больных. Но он шел с другим и потому почувствовал себя незванным гостем на семейном торжестве. А здесь и в самом деле хоть ненадолго, а возникла вдруг одна семья с общей радостью: бабуля выздоравливает. А уж если она в свои восемьдесят пять собралась подниматься, то нам и сам бог велел...

— Вы зайдите ко мне, пожалуйста, когда освободитесь, — сказал Митя.

При посторонних они были на «вы».

Продолжая улыбаться, Софья Петровна кивнула в ответ.

Софочка Митю поразила. Возиться с этой старухой, разыгрывать комедию перед больными, в то время как... Да что говорить! Можно подумать, что здесь без нее не обошлись бы.

Поразительна склонность людей переоценивать свои вес и значение. Та же Софочка. Могла бы наконец и догадаться, какое ей место отведено.

Накануне Митя говорил об этом с женой, но разговор не получился. Жена отмахнулась: «Софочка всегда была воображалой...» Что за манера говорить друг о друге, будто им до сих пор по шестнадцать лет! В том ли суть! Воображай себе на здоровье — строй глазки, трясись подолом. Тут-то, однако, дело.

Наколобродила в конторе, подняла волну, а теперь примчалась в больницу спасать бабу. Незаменимый врач! Пора бы понять, что и эти полставки и палата — не более чем синекура. Вот и пользуйся ею потихоньку, не шебарши...

Софья Петровна вошла к Мите со все тем же счастливым выражением.

— Хочешь пари, что старушку я вылечу? Через две недели уйдет отсюда своими ножками...

Как бы сквозь улыбку Митя поморщился. Софочка расхохоталась.

— Что с тобой. Будто укуса хлебнул.

— Да знаешь, как-то неловко заключать пари о здоровье больных.

— Фу-ты, ну-ты! Какой строгий моралист! Ты же сам ее на тот свет списал, а я берусь вылечить. Что же тут дурного?

— Лечи, — с обычным добродушием согласился он. — А когда собирается хурал?

— Забыл, бедненький? — Прекрасно знает: сам будет на нем.

— Задаст тебе трепку Белокуров...

— Ну и пусть. — Она готова была удивиться своему беспечному тону. — Во-первых, за битого двух небитых дают...

— Это когда-то было, — заметил Митя.

— А во-вторых, лучше с умным потерять, чем с дураком найти.

Мите хотелось бы знать, кого она имеет в виду, но сказал только:

— Не задирала бы старика...

— Во-первых, я не задираю, а во-вторых, для меня он не старик — он, чтоб ты знал, когда-то ко мне даже сватался.

— Что ты все «во-первых» да «во-вторых»... — Митя опять поморщился как бы сквозь улыбку, но вдруг расплылся настоящей, обыкновенной своей улыбкой: — Постой-постой! Сватался, говоришь?

— Говори лучше, зачем зазвал, а то я и о тебе слушок пушу.

Она видела этого Митю насквозь. Тоже ведь ждал. Не прошло и пяти минут, как возник в палате. Сейчас будет оправдываться и предупреждать. Зачем только злится? Хотя можно и понять. Так уж устроен человек: у самого рыльце в пуху, а злится на других.

— Ты учти: я буду вызывать огонь на себя.

— Господи, как красиво! Наконец-то я слышу настоящего мужчину... А что еще тебе остается? Ты думал, я буду уговаривать все спихивать на других?

— Погоди... — сказал он несколько озадаченно.

— А чего годить? Действуй. Как задумал, так и действуй.

Глянув на Митю, Софья Петровна увидела, что он слинял. До чего жалок! До чего мы все жалки! Даже делая гадость, хотим чувствовать себя правыми, а когда отнимают эту возможность, хватаемся за другое: воображаем себя несчастными. Вот и этот...

— Ты знаешь, — сказала она, — целый день думаю: что я забыла? А сейчас увидела телефон и вспомнила: надо позвонить домой...

Софья Петровна взяла трубку, но Митя сказал:

— Выключен.

Трубка и в самом деле молчала.

— Какой-то хитрец всю ночь названивал по междугородной. При-
слали счет, а платить нечем. Главбух не дает денег, говорит, что по
этой статье все уже израсходовано.

Похоже, он рад был перемене разговора, хотя сам же его и завел.

А Софочка ощутила тоску и тревогу. На кой черт ей все это нуж-
но? Вот уж поистине в чужом пиру похмелье.

Из пустяка выросло нечто. Так царапина приводит иной раз к
гангрене, к ампутации руки или ноги.

РЕШЕНИЕ

Это было как на сцене в эпизоде с непомерно затянувшейся пау-
зой. Молчали. Надя ушла к себе писать домашнее сочинение. Полина
Матвеевна вязала — время от времени слышалось легкое позвякивание
спиц. Впрочем, иногда Полина Матвеевна вздыхала, видно вспоминала
о чем-то. Глядя на ее сосредоточенное, печальное лицо, Леонид Михай-
лович думал: «А ведь эта вздорная старуха — самый, пожалуй, инте-
ресный человек из всех нас. В ее жизни были великие потрясения,
испытания, а может быть, и страсти. Сама жизнь висела на волоске...
А что мы?»

Другое дело, что она смотрит на бывшее приземленно и буднично,
удары судьбы воспринимает просто как очередные неприятности, но если
подходить к жизни по большому, как теперь любят говорить, счету, то
баба Поля несомненно трагический персонаж...

Татьяна листала какую-то Надину книгу об устройстве Вселенной.
Но думает небось все-таки о своем Васе... Леонид Михайлович усмех-
нулся: сочетание Вселенная и Вася показалось забавным. Хотя, соб-
ственно, почему бы и нет? Говорят же, что человек — это целый мир.
С мириадами клеток, которые, в свою очередь, дробятся на мириады
молекул и атомов, а те состоят из великого множества разных частиц...
Что вверх, к небесам, что вниз, к клозету, материя неисчерпаема. Не-
даром некий шутник сравнил нашу Солнечную систему с атомом, кото-
рый изверг немислимый великан. Изверг вследствие м е т е о р и з м а —
вздутия живота от скопления газов в своем великанском кишечнике.
Название-то какое — метеоризм...

Но если человек — это целый мир, то выходит, что мир в таком
случае может быть умным, глупым, коварным, жестоким и так далее...

Любопытно, что получится у Татьяны с этим Васей. Он-то из тех
мужиков, которые привыкли добиваться своего.

«А ты?» — спросил себя.

Мысли были скачущими, пестрыми. Думалось одновременно и о
жене, которой наверняка достается сейчас, и о Лине, с которой надо
кончать. Подумал почему-то о муже Лины и вообще о мужьях. Из от-
ношений с некоторыми своими возлюбленными Ленечка понял, что
мужья, по-видимому, никогда не знали их такими, какими знал он:
раскованными, яростными, свободными. Бедные мужья! Хотя, с другой
стороны, нужно ли их жалеть, если лошадки сами возвращаются в стой-
ла тихими, умиротворенными и даже с некоторым комплексом вины.
А это, в свою очередь, заставляет усерднее налегать на комут...

Потом без всякой связи с предыдущим вспомнилось сегодняшнее
(уже когда возвращался с работы) впечатление от женщины в трол-
лейбусе. Такое милое, значительное, тонкое лицо... И вдруг, когда вы-
ходила, увидел жилистые худые ноги. Сразу развеялся весь романти-
ческий флер. Сам понимал, что это пошло, несправедливо, даже гадко.

Однако что поделаешь! Так уж есть. Или дело все-таки в нем самом, в Ленечке?..

— Вы бы хоть телевизор включили, что ли,— сказала, снова появляясь, Надя.

— Мультики?— спросила Татьяна.

В доме подтрунивали над этой слабостью. Взрослая девочка могла, разинув рот, смотреть детские мультфильмы.

Надя досадливо поморщилась.

— Не получается?— посочувствовал Леонид Михайлович. Видно, у дочки что-то не ладилось с сочинением.— А какие темы?

Смирив гордыню, Надя молча протянула листок. Там значилось:

«1) Твой нравственный идеал.

2) От Корчагина до героев целины.

3) Вечно живые (по книгам советских писателей о Великой Отечественной войне)».

— Что ты выбрала?

Надя указала карандашом на первую строку.

— А почему не третью? Выбирай что проще...

— Я хотела написать о дедушке. О том, как он остался с госпиталем, хотя и знал, что это означает.

— М-да.— Леонид Михайлович был озадачен.

— Но я не знаю подробностей...

— А он никому ничего не говорил,— сказала Полина Матвеевна.

— Откуда же стало известно?

— После войны его разыскал один из раненых.

— Ты знаешь,— осторожно начал Леонид Михайлович,— я думаю, дедушка был бы против того, чтобы ты об этом писала.

— Наверное. Потому что это о нем самом. Если бы о другом, он не был бы против. Но сейчас дедушки нет...

— Ты не боишься, что подумают, будто ты хвастаешь своим дедом?

— Нисколько.

— Ладно,— снова вмешалась Татьяна.— Твой папочка кружит вокруг да около, чтобы не потерять расположение единственного чада, а мне терять нечего. Чего ты умничаешь, моя радость? Чего ты суешь свой нос куда не надо? Тебе что нужно: удивить мир или получить пятерку за домашнюю работу?

— Неужели ты тоже так думаешь?— обратилась Надя к отцу.

От необходимости отвечать, от жалкой необходимости учить девочку житейской мудрости Леонида Михайловича избавило поскуливание вдруг обеспокоившейся Мики и послышавшийся вслед за этим стук входной двери.

— Мама!— воскликнула Надя.— Наконец-то!

— Ну что? Что?— тормошила ее Надя.

— Дай ей сперва поесть,— добродушно ворчала Полина Матвеевна. Вид у Софьи Петровны был измученный, как после бессонной ночи.

— На черта похожа,— сказала она, поправляя волосы перед зеркалом и слабо улыбаясь.

— Ничего, поешь и снова порозовеешь,— ответила Полина Матвеевна. Она знала свою дочь.

Все, включая Мики, которая не переносила одиночества, перебрались на кухню. Благо кухня в старом доме была не чета нынешним.

— Итак?..— приступила наконец к расспросам Татьяна.

Софочка ответила все той же неопределенной улыбкой — в ней было даже что-то жалкое.

— Да ты что! — всполошилась Татьяна.

— Нет, нет! — заторопилась Софочка. — Все в порядке. Просто я до сих пор в себя не приду.

— Давай по порядку. Белокуров был?

Вячеслава Васильевича встретили оживлением. Вряд ли он специально рассчитывал свое появление, но точнее рассчитать было невозможно. Казалось, ждали только его. Да так оно, собственно, и было. Где-то замешкалась «овца» — главный патологоанатом, — но на это не обратили внимания.

— Начнем, пожалуй, — сказал Гурий Иоанникиевич. — Прошу, Софья Петровна...

Процедуру заранее не обговаривали, и Софье Петровне почему-то представлялось, что все будет иначе, что заведующий возьмет на себя больше: изложит суть возникших расхождений, затем с защитой своей позиции выступит Надъярных, а уж потом она. Чепуха, конечно. С чего бы это предоставлять ей, Софье Петровне, какие-то удобства и выгоды! Решилась — бей. Бей первой. И не жалуйся, если получишь сдачи.

Но вот тут-то и почувствовала, что решимость оставила ее. Все доводы, казавшиеся такими вескими и убедительными, вдруг как бы измельчали. Показалось неслыханной дерзостью — хуже того, глупостью — то, что она заварила эту кашу. И все вообще ее поступки последних дней представились в ином свете.

Как она могла поверить той идиотской анонимке?! Ленечка, конечно, фрукт, но не до такой же степени!.. А что, если какая-то дрянь написала это, чтобы внести раскол в их семью? Какую же роль она, Софочка, играет в таком случае?

А ее заносчивая уверенность с бабкой! В том, что заподозрила ошибку и обнадежилась, нет никакой беды, но не глупо ли болтать об этом, бросать вызов?.. А что, если нынешнее облегчение — всего лишь короткая отсрочка перед смертью?

В таком же свете увиделась и эта история. Ведь на что решилась! По существу, обвинила уважаемого профессора в некомпетентности и лжи. И только ли его одного?

Да кто ты есть? Так ли ты уж сама безупречна? Тебе ли не знакомо чувство беспомощности перед смертью? Разве на твоих глазах не умирали люди, казалось бы, беспричинно и даже вскрытие не могло иной раз толком объяснить, что с ними произошло?..

Тем более случай хирургический. А была ли ты сама по-настоящему хоть раз в шкуре хирурга? Все-то образованности твоей по этой части грош цена. Полистала несколько популярных книжек — и на таком уровне пытаешься вести спор с мастерами, специалистами!..

Отступить было некуда.

— Со студенческих лет, — сказала Софья Петровна, — у меня осталось в памяти, что диагноз заворота тонкой кишки труден. Наибольшее внимание при расспросах больных врач должен уделить болям... Однако на последнем этапе, во время консультации Вячеслава Васильевича, большой был в бессознательном состоянии.

Она могла видеть сразу обоих: Белокурова и заведующего. Лицо Гурия Иоанникиевича было непроницаемым, и все же Софья Петровна угадывала одобрение (он и в самом деле рад был примирительному тону). Будь Гурий Иоанникиевич недоволен ею, нашел бы способ дать это понять, а открытого одобрения и не ждала.

Белокуров поднял было брови при упоминании его имени-отчества,

потом печально поджал губы: да, больной действительно был безнадёжен. Увы.

Еще до этого по его лицу мелькнула тень снисходительной улыбки, вызванной, видимо, студенческими воспоминаниями Софочки.

— Не знаю, почему начала с этого...

— По-моему, очень удачно. Сразу назвала истинный диагноз, то есть выявила предмет разногласий. Сделала это твердо, но не резко.

— Мне, когда была студенткой, и правда повсюду бросалось в глаза: «диагноз труден», «прогноз неутешителен»... Да ты помнишь, наверное, как я хотела уйти с третьего курса. Если бы не папа...

Татьяна кивнула: помню. Полина Матвеевна, вспомнив об этом, вздохнула.

Леонид Михайлович слышал об этом впервые и, признаться, удивился: не ожидал от нее такой чувствительности даже в молодости.

Надя, забившись в угол, напряженно свела брови.

Софья Петровна и сама понимала, как важно было в самом начале хотя бы вскользь обозначить главное. Белокуров пропустил это мимо ушей (или сделал вид?), но Таисия Павловна Надъярных нервически поморщилась и вскинула голову (вот откуда кличка тетя Лошадь!), показывая несогласие.

— Но расспросы расспросами, а существуют объективные данные. Их дают лабораторные и рентгеновские исследования. В данном же случае рентген не был сделан, что непростительно...

Это не вызвало возражений.

— В клинике известен случай, когда диагноз был поставлен лишь на основании понижения хлоридов крови. Но рентген и тогда делался!..

Софья Петровна поймала себя на том, что, как курица, кудахчет одно и то же: анализы, рентген... Сколько можно топтать этих районных эскулапов! С ними и так ясно. На товарище Губадулине (его специально — зачем? — вызвали) давно уже лица нет...

И потом, это неправильный путь. Она не должна втягиваться в спор по частностям. Надо вернуться к главному.

Никогда не думала, что бить первой так трудно! Но, ей-богу же, ничего другого не оставалось.

Помедлив несколько секунд (в эти секунды почувствовала общее скрытое напряжение), Софья Петровна сказала:

— Однако суть дела сейчас в другом: кафедра в лице доцента Надъярных этот диагноз отвергает...

— Почему?

Это нечаянно выскочил товарищ Губадулин и тут же сжался на своем стуле. Нет, не быть ему главным врачом — слишком простодушен... А Софья Петровна подхватила вопрос, он был для нее как подарок. Ну что б она делала, если бы все промолчали? Надо было бы продолжать, доказывать, опровергать. А теперь сказала:

— Почему? Я думаю, на это лучше ответит сама Таисия Павловна Надъярных.

И села.

Леонид Михайлович понимал жену. Говорят, что лучшая защита — нападение. Но это не всегда так. Многие зависят от характера человека. Есть, к примеру, спортсмены и даже команды, которые действуют на контратаках, то есть отражая нападение. О некоторых боксерах так и говорят: «Он любит работать вторым номером».

Шеф явно озадачился, а Белокуров снова удивленно поднял брови. «Ну и бедлам же у вас»,—словно бы говорил он.

Вполне возможно, что Софье Петровне пришлось бы снова вставать и продолжать свою речь, если бы Надъярных проявила больше выдержки, отмолчалась. Да ей достаточно было просто не торопиться, и затянуть паузу, и наверняка тот же Гурий Иоанникович под требовательным взглядом Белокурова сказал бы что-нибудь вроде: «Почему же, Софья Петровна? Продолжайте. Мы слушаем вас». И никуда не денешься! Но тетя Лошадь, вздернув голову, ринулась в бой.

— Вот тут-то, наверное, и началось,— сказала Татьяна.

Софочка кивнула.

— Я ничего не поняла. Ты сказала всего несколько слов и села. Почему? Надо было сказать о них все, что думаешь!

— Погоди, погоди, моя радость,— остановила Надю Татьяна.

— У меня и мысли не было о каких-нибудь хитростях...

А вот в этом Леонид Михайлович жене не поверил. Это ей сейчас кажется, что не думала ни о каких хитростях. А мозг дьявольски изворотлив, в нем рождаются порой такие планы и мысли, что вслух ни за что не выскажешь. Иногда не хочешь о чем-то думать, а все равно думаешь. Мозг — он как бы сам по себе. Он в тебе, и в то же время словно отдельно от тебя...

— ...И мысли не было о каких-либо хитростях, просто язык не поворачивался при всех сказать прямо, что доцент Надъярных...

— Врет?— подсказала Надя.

— Зачем же так грубо, моя радость? В таких случаях говорят: ошибается, дает неверную интерпретацию...

— А получилась хитрость, я как бы спровоцировала ее. Надъярных вскочила: «При чем здесь заворот кишок? Откуда взялся этот надуманный диагноз?»

— А Белокуров?

— Молчал. Ему, по-моему, было неловко.

— Не идеализируй ты его, бога ради.

— Ну почему же! Надъярных-то все время сыплет терминами, демонстрирует ученость, но апеллирует, так сказать, к нему: встаньте, мол, Вячеслав Васильевич, и отбрейте наконец эту выскочку!

— А он?

— Ждал, по-моему, что вмешается Гурий. А тот замкнулся и молчит.

Не надо было приходить, понял Вячеслав Васильевич. Он посмотрел на Гурия Иоанниковича, и тот ответил до странности пустым взглядом. Это как же расценивать? И вообще — что все это значит? Не глупый ведь человек — чем же тогда объяснить эту маску сфинкса? Решил, что Белокуров больше не нужен? Или вполне уверен, что Белокуров справится сам?

Не на крючке ли он у этой дамочки? Софья Петровна, надо признать, для своих сорока лет вполне ничего...

С запоздалым сожалением подумал о начале всей истории. Черт дернул его положиться на этих олухов из районной больницы! Ведь только сейчас узнал, что даже рентген не был сделан. Неужели стареем и притупилось чутье на опасность? А был же сигнал, когда Дед Мороз заболел. Тогда и надо было дать отбой. Тогда еще можно было и амбицией не поступаться, просто развести руки и пожать плечами. А теперь нужно спускаться на тормозах.

Странно, что Софочка так воинственна. Неужели ее до такой степени раздражила Надъярных? Вполне может быть.

Надъярных, кстати, выдохлась, и пора вступать в игру самому. По совести говоря, не думал, что дойдет до этого...

Белокуров помедлил, глядя на Гурия Иоанникиевича — не пожелает ли все-таки тот что-нибудь сказать, — но заведующий лишь кивнул, предоставляя слово профессору.

— Софья Петровна весьма кстати напомнила всем нам о трудностях в диагностике. К сожалению, это и в самом деле так. Софья Петровна, как я понимаю, даже пошла нам навстречу, упомянув о бессознательном состоянии больного, — видимо, чтобы объяснить нашу ошибку, наш, так сказать, недосмотр. Спасибо вам за сочувствие...

Белокуров слегка поклонился Софочке, и это вызвало негромкий, сдержанный, но явственный смехок.

Напрасно он вел себя таким образом. Должен бы помнить, с кем имеет дело, что и с кем может позволить себе... «Ты-то чего?» — подумала Софья Петровна, глядя на смеющегося товарища Губадулина.

— Не надо, — остановил неуместное веселье Вячеслав Васильевич. Он умел держать аудиторию в руках. — Я говорю вполне серьезно. Не так уж часто нам приходится сталкиваться с истинно сочувственным отношением к себе... Другой вопрос, нужно ли оно именно сейчас? Я, если не изменяет память, предположил в разбираемом случае тромбоз мезентериальных сосудов, и это нашло достаточное подтверждение. Почему же вы, милая Софья Петровна, так безапелляционны? Почему речь идет о завороте кишок?

Софочка встала. Можно было бы сказать, что она послушно встала.

Сколько лет прошло с тех пор, когда она, юная студентка, вот так же поднималась и шла сдавать экзамен или зачет ему, обаятельному и даже, на их девчоночий взгляд, еще молодому преподавателю...

— Я могу ответить сразу же.

— Ну-ну, — подбодрил он.

Софья Петровна полезла в сумку.

— Без шпаргалок! — весело воскликнул, войдя в роль, товарищ Губадулин.

А ведь и впрямь получалось забавно.

— Вячеслав Васильевич всегда слыл либералом, — сказала Софья Петровна, — особенно со студентками. Поэтому позвольте мне все же воспользоваться шпаргалкой. — Она достала из сумки книгу, раскрыла и прочитала: — «Заворотом тонкого кишечника называют такую форму острой странгуляционной кишечной непроходимости, которая возникает в результате заворачивания петель кишечника на 180-360-540 и даже 720 градусов». Это из учебника для мединститутов. Третье стереотипное издание. — Она показала учебник жестом циркового фокусника, перегнулась через стол и положила его раскрытым перед Белокуровым. Она, казалось, тоже вошла в роль, но было в этом нечто настораживающее, даже угрожающее. — А вот еще шпаргалка... — Софья Петровна достала листочек из папки. — У больного, как оказалось, «весь тонкий кишечник повернут влево на 180 градусов, темно-красного, почти черного цвета...». И так далее. Это из протокола вскрытия. — Листок она тоже положила перед профессором. — И последняя шпаргалка: «Вскрытие показало смещение (поворот на 180 градусов) петель тонкого кишечника...» Это из справки доцента Надъярных.

Софья Петровна выдержала паузу и оглядела всех. Игра закончилась, никто не смеялся. Только сейчас обратила внимание на Митю — он даже чуть наклонился в сторону, чтобы лучше видеть ее, Со-

фочку. Будто сидел в театре на неудобном месте. Но ведь сам небось выбрал, чтобы не мозолить глаза начальству, чтобы не заставили, чего доброго, подняться и что-то говорить. Гурий был все так же непроницаем, но теперь хмурился: такого хода не ждал, надеялся, видимо, на что-нибудь помягче. Извините, поступаем как умеем, как находим нужным. А если у вас есть в этом собственный интерес, действуйте сами.

Белокуров покраснел — уж не подскочило ли давление? Что поделаешь, шер ами, что поделаешь...

Софья Петровна сказала жестко:

— Надеюсь, все то, что я прочитала, вы уже сопоставили. Неужели кто-нибудь здесь всерьез думает, что, заменив слово «заворот» другими словами — «поворот» или «смещение», — можно изменить сам диагноз? Я думаю, будет достойней и проще, если мы посмотрим правде в глаза и назовем вещи своими именами.

Села.

— Ты, кума, даешь, — сказала Татьяна тихо. — Честно говоря, не ожидала...

Леонид Михайлович вскочил, подошел к жене и поцеловал ее. Он смеялся:

— Вот и отомщены все мои поражения на кортах! Победа! Настоящая победа! И так будет со всяким, кто покусится...

— На что? — дружески-насмешливо спросила Татьяна.

— Это мы сами знаем... — Он радовался еще и потому, что почувствовал, понял: прощен. — Я считаю, что с институтским учебником и с этими цитатами получилось просто гениально. Ведь они все хотели свести на нудный, псевдоученый спор о частностях: потел больной перед смертью или не потел? А Софочка ткнула профессора и доцента носом в обыкновенный учебник. И концовка прекрасна: хватит, мол, коллеги, валять дурака и притворяться. Нашкодили — отвечайте!

Последняя фраза была лишней. Ненароком хлестнул себя самого и понял это сразу. Вот так всегда: перебор. Но Софочка, милая Соня на сей раз тоже смеялась. Все поняла, оценила, но смеялась. Хорошо, когда человеку не изменяет чувство юмора.

Полина Матвеевна, с улыбкой глядя на зятя, как всегда, думала: балаболка, лоботряс, но что поделаешь — дочери с ним хорошо и не будем гневить бога...

— А ты чего, моя радость, надулась, как сыч? — обернулась Татьяна к Наде.

Девочка выглядела не печальной даже, а скорбной.

— Противно, — сказала она. — Вы так радуетесь этой своей победе, что делается противно.

— Это еще почему? — удивился Леонид Михайлович.

— Да вы же совсем забыли об этом несчастном парне...

— О ком?

— Который так ужасно погиб. Даже имени его не вспомнили. Никто вам не нужен. Все о себе, о себе... А его черви сейчас едят...

Она встала и вышла из кухни.

Как ни гадко было на душе, с Гурием Иоанникиевичем Белокуров простился вполне дружески, словно бы говоря: мало ли что случается на службе. Другое дело, что безнаказанным все это оставлять нельзя, тут ничего не поделаешь. Ах, отец Гурий, отец Гурий!.. (Как неожиданно и забавно это возникло: «отец Гурий!»)

Неторопливо идя вниз, отвечая на приветствия, Вячеслав Васильевич продолжал размышлять о разном. Надъярных на ходу сказал: «Не спешите — я вас подвезу». Это следовало понимать как приказ, и она послушно поплелась за хозяином бежевой «Волги». Предстояла вывочка, хотя, если разбираться по существу, не так уж была и виновата.

Усаживаясь за рулем поудобней, он сказал:

— Все еще сгорчаетесь? Не надо. Вы тут ни при чем. Нам нужно было сразу правильно оценить обстановку.

Она-то как раз была «при чем», да перевоспитывать бесполезно.

Шел дождь, и Вячеслав Васильевич сделал крюк, чтобы подвезти ее к самому дому.

— С удовольствием зашел бы попить чайку, но боюсь сплетен,— сказал шутливо.— Молва, она, знаете, беспощадна... Беспощадна,— повторил он.— Недавно мне как-то сказали, что у почтеннейшего Гурия Иоанникиевича, у нашего преподобного отца Гурия, роман с Софочкой Забродиной... Да-да... Я, представьте, вот так же открыл глаза. Конечно, не поверил, а вчера он сам спрашивает: что за человек муж Софьи Петровны? Я хотел остеречь его, а потом подумал: стоит ли?... Сегодня у них все получилось лихо...

Доцент Надъярных понимающе улыбнулась. Она продолжала улыбаться и после того, как бежевая «Волга» скрылась за углом.



Н. ЗЛОТНИКОВ

★

НА НИГООЗЕРЕ

Марату Тарасову.

Друг мой давний,
Вижу дом твой на длинной косе,
Вижу ставни,
Что к утру отсырели в росе.
Отсырели
Петли все, покосился косяк,
Даже щели
Отсырели, да это пустяк.
Вижу, вижу,
Как приветлив, хотя одинок,
Бело-рыжий
Перед лавкой сидящий щенок.
Это случай,
Что судьбы добрый взор
не померк.

По скрипучей
Поднимусь я по лестнице вверх.
За порогом,
Как на свежем лугу поутру,
Пахнет стогом
Сена, высохшего на ветру.
Половицы,
Под ногой прогибаясь дугой,
Словно птицы
Заворкуют одна за другой.
Сумрак серый
Или радость в душе — все равно
С детской верой
Нигоозеро смогрит в окно.

Поздний гость

Вхожу в свой довоенный двор
Неспешными шагами.
Не вижу белый день в упор,
А вижу ночь на Каме.

Не вижу кружевных гардин,
Не слышу песни модной —
Мне чудится, я вновь один
На палубе холодной.

На третьем, пятом этаже
Поют попеременно.

Поет на стынущей барже
Гундосая сирена.

Играет вымпелом вода,
Как сильный ветер ставнем.
И берега плывут туда,
Где этот двор оставлен.

Где жизнь короткая одна
Звала наивно в гости
И где такая тишина,
Как будто на погосте...

Возвращение в стальные

1

В цехе краны над опокою,
Грохот, духота и смрад.
Что ж строишь с тоской глубокою
У раскрытых настезь врат?

Вон за стеклами за тусклыми
Виден неба светлый край.
Но апостол Петр без устали
Сторожит не этот рай.

ДМ. СМИРНОВ

★

ИЗ ЛИРИЧЕСКОГО ДНЕВНИКА

* * *

Знаю, чувства мои беспокойного свойства,
Я тебе доставляю одни беспокойства,
Но теперь без тебя я не мыслю и дня —
Ты во мне открываешь меня для меня.

* * *

Ты где-то ходишь по земле, тем отзвуком живу.
И мир от этого милей во сне и наяву.
А если б не было тебя в далеком далеке,
Сумел ли, сердце торопя, сложить строку к строке?

* * *

Боль мою на свой счет ты относишь теперь,
Словно ты виновата — не что-то другое.
О мой друг, обо мне сокрушаться тебе ль,
Если жизнь сокрушала железной рукою!

Если ночи и дни будто вихрь огневой
Пролетали сквозь сердце, в нем ткань разрывая!
Как еще уцелело, летя по кривой!
Как еще вывозила к просветам кривая!

Не печалься, мой друг Ты совсем ни при чем...



ИННА ГОФФ



ДВУХ ГОЛОСОВ ПЕРЕКЛИЧКА

В № 4 «Нового мира» за этот год была опубликована «Переполненная чаша» Инны Гофф — построенный на известных и новых документах своеобразный рассказ о роли Лидии Алексеевны Авилловой в жизни и творчестве Антона Павловича Чехова. Эта вещь вызвала сочувственный отклик у многих читателей, в том числе у известных литераторов. Справедливости ради заметим, однако, что не всем читателям, приславшим свои отзывы, версия Инны Гофф показалась вполне убедительной, — как всегда, немалую роль играет в таких случаях и сила привычки.

Четвертый номер журнала был уже подписан в печать, когда Инне Гофф посчастливилось найти новое подтверждение своей позиции. Редакция считает своим долгом по отношению к читателям и автору «Переполненной чаши» представить страницы журнала для рассказа об этой находке, развивающей главный мотив предыдущей вещи.

Я предложила нескольким своим знакомым, людям, читающим много и с разбором, узнать рассказ по отрывку, который прочту им вслух:

«Только один раз, в самом начале их связи, она как-то неожиданно разрыдалась и стала говорить о том, что вместо счастья она чувствует унижение и невыносимую тоску. Она даже стала жаловаться Павлу Аркадьевичу на него самого и доказывать ему, что он первый презирает ее и грязнит ее любовь.

Но заметив его омрачившееся лицо и недружелюбный взгляд, она вдруг замолчала, долго сидела неподвижная и задумчивая и вдруг так просто, искренно и серьезно попросила у него прощения, что этой просьбой удивила и озадачила его еще больше, чем слезами и жалобами.

— ...Да, я была несправедлива, — со странным смехом продолжала она...»

Трое не задумываясь назвали «Даму с собачкой». Один усомнился: разве имя Гурова Павел Аркадьевич? И еще один заявил, что это вообще не «Дама с собачкой», хотя и очень похоже.

Я взяла с полки том рассказов Чехова и прочла:

«Анна Сергеевна, эта... «дама с собачкой», к тому, что произошло, отнеслась как-то очень серьезно, точно к своему падению, — так казалось, и это было странно и некстати... Она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине.

— Нехорошо, — сказала она. — Вы же первый не уважаете меня теперь.

...Прошло по крайней мере полчаса в молчании...

— Пусть бог меня простит! — сказала она, и глаза ее наполнились слезами. — Это ужасно.

— Ты точно оправдываешься.

— Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об оправдании не думаю...

Гурову было скучно слушать, его раздражал наивный тон, это покайние, такое неожиданное и неуместное; если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она играет роль.

— Верьте, верьте мне, умоляю вас,— говорила она.— Я люблю честную, чистую жизнь, а грех мне гадок...

— Полно, полно...

Он целовал ее, говорил тихо и ласково, и веселость вернулась к ней, стали оба смеяться».

Сопоставив отрывки, мои знакомые пришли к единодушному выводу: все состояние героев — ее слезы, его раздражение, вызванное неожиданным раскаянием, ее долгое затем молчание и даже переход одинаковы — у Чехова «стали смеяться», а там «со странным смехом»...

Оставалось назвать автора приведенных строк.

— Лидия Авилова,— сказала я.— Это из ее рассказа «Последнее свидание». Он был опубликован в газете «Сын отечества» двадцать пятого февраля (девятого марта) тысяча восемьсот девяносто девятого года. Лишь осенью того же года была написана «Дама с собачкой» и помещена в декабрьской книжке журнала «Русская мысль».

Помню свое ощущение, с которым читала это впервые, — изумление, внутреннее чувство протеста: нет, этого не может быть! В конце концов, случаются же совпадения. Тем более в одинаковой ситуации...

Может быть, Чехов не читал этот рассказ. Иначе зачем бы он прибег к столь схожему описанию? Впрочем, прочитав рассказ Лидии Авиловой, он мог сделать это. Но лишь в единственном случае — нарочно.

Попробуем разобраться в этой странной, на первый взгляд почти неправдоподобной истории. Так или иначе, я держу в руке пожелтевшую от времени старую газету. Но по порядку.

Со дня на день должен был выйти в свет апрельский номер «Нового мира» с «Переполненной чашей», где я попыталась дать портрет писательницы Лидии Алексеевны Авиловой, рассказать о ней и о ее большой роли в жизни и творчестве Чехова. Спустя пятнадцать лет после моего первого прикосновения к этой теме я вернулась к ней вновь, познакомься с доселе неизвестными, неизданными записями Авиловой и ее дневниками.

Ее воспоминания «А. П. Чехов в моей жизни», в которых она рассказывает о сложных, скрытых от посторонних, мучительных и радостных для нее переживаниях, издавались неоднократно, но с оговоркой — не все им верили. Между тем Бунин, близкий знавший Чехова и Авилову, поверил ей сразу. Он высоко оценил мемуары Лидии Алексеевны Авиловой, которая, по его свидетельству, была «необыкновенно правдива».

Отсылаю читателя к четвертому номеру «Нового мира» за этот год и возвращаюсь к вновь найденному.

Я с волнением ожидала выхода журнала, когда в гости к нам пришли наши друзья Клочкивы. Я рассказала им о моей новой работе, среди прочих был упомянут внук Авиловой Гзовский.

— Не тот ли это Гзовский? — спросил Клочкив.— Он преподавал у нас в Геологоразведочном... Ты должен его помнить,— обратился он к моему мужу.— Он читал на первом курсе... Тогда он не был еще ни доктором наук, ни профессором, но это в нем уже угадывалось...

Анатолий Клочкив — геолог. Когда-то они с мужем поступили в МГРИ и год проучились вместе.

Сверили инициалы — они совпали.

— Михаил Владимирович умер,— сказал Клочков.— Но я знаком с его сыном Володей. Симпатичный малый. Он ездил с нами в экспедицию...

Я попросила Клочкова узнать, не осталось ли в доме у Гзовских каких-нибудь публикаций, бумаг, фотографий, связанных с Лидией Алексеевной Авиловой.

Вскоре Клочков позвонил мне. Сказал, что, по словам Володи, кое-что есть, в том числе чуть ли не целый альбом с фотографиями, но все это хранится у его матери Галины Владимировны. Она работает в Петропавловске-Камчатском в Институте вулканологии и приезжает в Москву всего несколько раз в году. Впрочем, вскоре как будто должна приехать. И тогда обязательно мне позвонит...

Она мне действительно позвонила, и мы встретились. Оказалось, они живут совсем близко от нас — менее получаса ходьбы.

— Понимаете, для меня Лидия Алексеевна была просто Мишиной бабушкой. Она его вырастила, он ее очень любил и часто вспоминал... Я очень любила Мишу, и она была мне дорога только этим... Конечно, если бы я знала о ней то, что знаю теперь, я была бы гораздо внимательней и больше бы запомнила...

Мы рассматриваем вместе старинные фотографии. Многие из них я уже видела в доме у Авилых. Так получилось, что Авилы и Гзовские мало общаются между собой, со смертью Михаила Владимировича это общение и вовсе ослабело.

— А вот посмотрите, какая прелестная Лидия Алексеевна в детстве,— говорит хозяйка дома, показывая на милостивую русую девочку.

— Это не Лидия Алексеевна,— говорю я.— Это ее дочь Нина...

В семейном архиве Гзовских я ориентируюсь лучше его владелицы. И вскоре Галина Владимировна уже у меня спрашивает:

— А эта усадьба не их имение?

— Да, это Клекотки.

— Какой маленький дом!..

Сознаюсь, что не надеялась найти здесь для себя что-то новое, неожиданное... Я прочла записи и дневники, полученные мной от внучки Авиловой. Была изучена переписка Лидии Алексеевны с Антоном Павловичем и Марией Павловной, подняты архивы в отделе рукописей Ленинской библиотеки... Что же еще? Тем более работа уже закончена, «Переполненная чаша» написана, принята в журнале, он вот-вот выйдет...

Но не хотелось упустить возможность посмотреть фотографии, поговорить об Авиловой со вдовой ее внука.

Идя сюда, я не ждала никакого сюрприза. Но сюрприз ожидал меня. И не один, а несколько.

На рояле лежала кипа старых газет и журналов, приготовленных к моему приходу. Я просмотрела названия: «Петербургская газета», «Сын отечества», «Живописное обозрение», «Всемирная иллюстрация»... В них рассказы Лидии Авиловой. Иногда совсем маленькие — в рубрике «Летучие заметки», которую вела «Петербургская газета». Иногда большие — в двух газетных номерах...

Как я понимаю, это уцелевшее из когда-то разграбленного «литературного сундучка», оставленного в беспокойные годы на хранение у знакомых. Того самого сундучка, из которого была похищена шкатулка с письмами Чехова, Горького, Бунина...

Чуть поодаль лежит книга в темном переплете. Галина Владимировна протягивает ее мне. Повести и рассказы, изданные в 1894 году. На титульном листе надпись: «Лидии Алексеевны Авиловой от автора».

А. Чехов». Дата внизу цифрами — 95 год, число и месяц в виде дроби и подпись с характерным росчерком. Книга, подаренная Чеховым Лидии Алексеевне после его неудачного к ней визита. В своих воспоминаниях она пишет о том, что получила «сборник его повестей и рассказов с сухой надписью: „Л. А. Авиловой от автора”». Многих, чеховедов особенно, удивляла такая надпись: Антон Павлович, делая дарственные надписи, всегда употреблял полные имена.

Так было и в данном случае, инициалами их обозначила в своей рукописи сама Авилова, не придавая этому значения. В шестом томе писем последнего собрания сочинений и писем Чехова в примечаниях можно прочесть: «Книга не сохранилась». И вот она передо мной!..

Но главный сюрприз ждал меня впереди.

К моему приходу Галина Владимировна составила картотеку имеющих у нее произведений Авиловой. Некоторые публикации повторялись. С этими было проще. То, что было в единственном числе, Гзовская положила в отдельный конверт, сделав на нем надпись: «Уникальные экземпляры». И просила меня заказать копии и для нее..

(Так годами лежавшее мертвым грузом где-то на дне ящика старого шкафа или стола, забытое, никем не востребованное становится вдруг уникальным, бесценным!..)

К чести Галины Владимировны, она, человек решительных действий, из любви к мужу и в его память сохранила все, что касалось Мишиной бабушки. А не то как знать, отыскался бы и когда отыскался этот пожелтевший номер газеты с рассказом Авиловой.

И не странно ли: дом, где хранится книга с дарственной надписью Чехова, был обойден чеховедами. Думаю, что причина в том же неверии — недоверии к мемуарам Авиловой.

Есть незнание. И есть — не-хочу-знание: не знаю и знать не хочу. Жертвой такого упрямого не-хочу-знания на долгие годы стала Лидия Алексеевна.

Вернемся к главному. К рассказу «Последнее свидание», опубликованному в том же году, что и «Дама с собачкой». Эти рассказы продолжили и завершили диалог двух людей, которых, «казалось... сама судьба предназначила друг для друга...».

Диалог их жизни длился в литературе. Для творчества Чехова это было воистину плодоносное чувство. Скрытое от всех, это чувство было не в подтексте — в самом тексте произведений, которые читали все, но в которых прочли не всё.

В «Переполненной чаше» я проследила начало этого диалога. При этом выявилась некоторая закономерность.

1896 год. Лидия Алексеевна посылает Чехову брелок в форме книги с зашифрованными в нем словами: «Если тебе понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». Встретясь с ней на маскараде, он сказал, что ответит ей со сцены. «На многое», — сказал он. И он ей ответил на многое в «Чайке».

Вспомним реплики Тригорина, обращенные к Нине Заречной, подарившей ему медальон, и в нем те же слова, что на брелоке Авиловой:

«Тригорин. Как грациозно! Какой прелестный подарок. (Целует медальон.)»;

«Тригорин. (В раздумье.) Отчего в этом призыве чистой души послышалась мне печаль и мое сердце так болезненно сжалось?»;

«Тригорин. Такой любви я не испытал еще...»;

«Тригорин. Остановитесь в «Славянском базаре»... Дайте мне тотчас же знать...»

Запоминая указанную в пьесе страницу и строчку, скрывающую шутовую реплику, взятую Чеховым из ее книжки, она упустила многое.

Это менее чем за полгода до их встречи в Москве, в которую вторглась жестоко его болезнь. В «Переполненной чаше» я пишу: «Свой девятый вал они пережили в Остроумовской клинике. Ограниченное время, боязнь за его жизнь и его слабость освободили от всего, позволили обо всем забыть...»

Оказалось, диалог продолжился.

Осенью того же 1897 года Лидия Алексеевна послала Чехову вырезки из газет со своими рассказами. Среди них «Забутые письма», рассказ, о котором Авилова пишет в своих воспоминаниях:

«Зачем после свидания в клинике, когда он был «слаб и не владел собой», — а мне уже нельзя было не увериться, что он любит меня, — зачем мне надо было послать «Забутые письма», полные страсти, любви и тоски?»

Разве он мог не понять, что это к нему зывали все эти чувства?»

Чехов в ту пору был в Ницце, ее рассказы ему переслали туда.

Он все понял. Услышал. Он выделил «Забутые письма» из присланного ему.

«Ах, Лидия Алексеевна, с каким удовольствием я прочел Ваши «Забутые письма». Это хорошая, изящная, умная вещь... в ней пропасть искусства и таланта... Я говорю про тон, искреннее, почти страстное чувство».

В рассказе Авиловой женщина пишет любимому человеку, с которым была близка при жизни мужа. Теперь муж умер, и она пишет любимому и ждет его с каждым парходом, но — напрасно.

В записной книжке в том же ноябре 1897 года Чехов записывает сюжет: богатый чиновник, носивший портрет губернаторши четырнадцать лет, отказывается помочь ей, когда она овдовела, болеет...

Но отшутиться не удается. И тогда же, в ноябре, но чуть позже, возникает запись об уважении к тайне. Потом, два года спустя, в «Даме с собачкой» Чехов разовьет и уточнит свою мысль о явном и тайном в человеческой жизни.

«И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может случайному, все, что было для него важно, интересно, необходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его жизни, происходило тайно от других...» Так размышляет в рассказе Гуров. Но это два года спустя. Ключ же к этим размышлениям возник в ноябре 1897-го.

Рассказ о чиновнике и губернаторше никогда не был написан.

В «Забутых письмах», усомнившись в любимом, героиня спрашивает: «Я не могу припомнить, говорил ли ты мне когда-нибудь что любишь меня? Мне так бы хотелось припомнить именно эту простую фразу... Ты говорил, что любовь все очищает и упрощает... Любовь...»

Чехов отвечает Авиловой в рассказе «О любви»:

«...воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни, я не думал о ней, но точно тень ее лежала на моей душе».

Там же: «Мы подолгу говорили, молчали, но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Мы боялись всего, что бы могло открыть нашу тайну нам же самим».

На ее брелок он ей ответил со сцены.

На ее «Забутые письма» — рассказом «О любви».

Можно было предположить, что «Дама с собачкой» — тоже ответ.

В «Переполненной чаше» я пишу: «Мы можем только гадать...» И еще — о «Даме с собачкой»: «Это горестный рассказ о любви без будущего. Рассказ-прощанье».

Последние пять лет они не виделись. С мая 1899 года, когда он пришел на вокзал, чтобы повидать ее. Были только письма. В одном

из них, написанном после долгого перерыва, Лидия Алексеевна пишет Чехову:

«Я бы очень хотела видеть Вас, рассказать Вам и многое снять с себя, что мне так ненавистно... Точно позор! А я по совести не чувствую, что заслужила его...

Я все боялась, что я умру и не успею сказать Вам, что я Вас всегда глубоко уважала, считала лучшим из людей.

И я же оклеветала себя в Вашем мнении. Так вышло».

Мне опять приходится прибегнуть к «Переполненной чаше» (пусть читатель не сетует, но ведь это продолжение, развитие той же истории). Там я писала: «Что хочет снять с себя Лидия Алексеевна? «Точно позор», — говорит она. Но позор, не заслуженный ею... Произошла ли какая-то... неловкость с ее стороны?»

И вот газета «Сын отечества» с рассказом Лидии Авиловой «Последнее свидание». Этот рассказ позволяет утверждать с уверенностью, что и «Дама с собачкой» тоже ответ.

В «Последнем свидании» Авилова продолжает рассказ Чехова «О любви». Повторы даже имена главных действующих лиц. Героиня его, тоже Анна Алексеевна, сближается с другом дома, зовут его, как и у Чехова, Павел, изменено лишь отчество: вместо Константинович Аркадьевич — П. А. Переставлены инициалы Антона Павловича. (Назвать героя Павлом Антоновичем Авилова не рискнула.)

Писательница пытается исследовать: к чему привела бы героев их связь? принесло бы это счастье обоим?

Ее выводы неутешительны. Анна Алексеевна не находит радости в близости с ироничным, суховатым Павлом Аркадьевичем, который избегает разговоров, «сентиментальных сцен». Он презрителен и насмешлив. Глубоко оскорбленная в душе, чувствуя, что любовь гаснет, уничтожается, сама порывает с Павлом Аркадьевичем, сказав: «Знаешь, пора разойтись. Нам друг с другом стало скучно». Он узнает из газеты о кончине Анны Алексеевны. И, поразмыслив, удобно ли это, все же едет в дом, где уже год как не был. Дом, «где он был принят, как друг, и куда он внес позор, страдание и смерть».

По дороге он вспоминает все, что было между ними. И день, когда они стали близки, и случайную встречу с ней в театре. Их разговор в антракте. Он невольно заметил, что она похудела. Как всегда, он был с ней ироничен, напомнил ей, что она первая предложила расстаться. Спрашивал, любила ли она с тех пор.

«— О, нет! — горячо ответила она. — Верьте мне. Нет!»

Взяв извозчика, он по дороге к ее дому вспоминает последний их разговор. Он словно слышит ее страдающий голос. Ее упреки, на которые он возражал так слабо, вяло, иногда привычно иронизируя.

Он не знал, что больше не увидит ее.

Близился конец их десятилетия, но ни Авилова, ни Чехов не решились освободиться «от этих невыносимых пут». И Лидия Алексеевна Авилова решается сделать первый шаг на пути к концу, сказав устами своей героини: «...нам пора разойтись». Показав, что и она, как ее Анна Алексеевна (Луганович?), устала от дрящейся безнадежной любви.

Антон Павлович прочитал рассказ Авиловой — продолжение своего рассказа. Видимо, это случилось уже после их встречи в Москве на вокзале. Газета «Сын отечества» выходила в Петербурге, он же вообще незадолго перед тем приехал в Москву из Ялты. Поэтому мог о рассказе еще не знать. Тем более что он не был большим поклонником этой газеты.

Потом он ездил по делам в Петербург... Случайно или не случайно, однако газета с рассказом Авиловой попала к нему. У него возникла

потребность ей ответить, как это бывало раньше. Но здесь в се взывало к ответу.

И он ей ответил. Появлению его рассказа предшествовало почти годовое молчание. Он перестал отвечать и на письма Авиловой. Не ответил на три ее письма. Она огорчалась, терялась в догадках. Это было на него не похоже.

Она не знала, что вскоре получит ответ. Этим ответом станет «Дама с собачкой».

И чтобы она наверняка знала, что он отвечает на ее рассказ, что речь пойдет о том же чувстве, Чехов нарочно пересказал описанное ею состояние героев, переживших момент близости.

Фабула иная. Но положим рядом столь разные по сюжету, несоизмеримые по уровню мастерства рассказы. И возникнет живой разговор, похожий на те, что случались в их жизни и переписке. Или могли случиться...

Диалог продолжился. Он как никогда насыщен, ответ вплотную следует за вопросом, настигает его и сливается с ним. Два голоса звучат, перекликаясь...

Л. Авилова, «Последнее свидание»:

«—...помните, каким вы были раньше? Еще тогда, когда вы не говорили мне о любви?.. Я глядела на вас, и мне хотелось смеяться от счастья, что такие люди живут на свете. В каждом вашем слове было столько ума, столько сердечности, отзывчивости и понимания людей. Я знала и слышала от других, что вы талантливы, благородны».

И там же: «Она верила в его превосходство, и она верила, что такие люди, как он, стыдятся любить ради одного наслаждения, ради одной прихоти. На каком основании она верила этому?»

А. П. Чехов, «Дама с собачкой»:

«Все это время она называла его добрым, необыкновенным, возвышенным: очевидно, он казался ей не тем, чем был на самом деле, значит, невольно обманывал ее».

Там же: «За что она полюбила его? Он всегда казался женщинам не тем, кем был, и любили они в нем не его самого, а человека, которого создавало их воображение и которого они в своей жизни жадно искали; и потом, когда замечали свою ошибку, то все-таки любили».

Л. Авилова, «Последнее свидание»:

«Нет! Нет, вы все тот же. Но видите ли: если такие люди, как вы, не умеют любить...»

Там же: «...умоляю... На один только раз... оставьте этот тон, которым вы причиняете мне такую боль».

А. П. Чехов, «Дама с собачкой»:

«...он был приветлив с ней и сердечен, но все же в обращении с ней, в его тоне и ласках сквозила легкая насмешка, грубоватое высокомерие счастливого мужчины...»

Л. Авилова, «Последнее свидание»:

«...если такие люди, как вы, не умеют любить... у кого, в чьей душе искать другой любви, о которой едва ли не в каждом женском сердце запала томительная и неясная тоска? Надо ли искать любви, Павел Аркадьевич?..»

А. П. Чехов, «Дама с собачкой»:

«Он долго ходил по комнате и вспоминал, и улыбался, и потом воспоминания переходили в мечты, и прошедшее в воображении меша-

лось с тем, что будет. Анна Сергеевна не снилась ему, а шла за ним всюду, как тень...»

Он отвечает на ее упрек «вы не умеете любить», и опять возникает слово тень, уже соотнесенное с воспоминанием о ней в рассказе «О любви»: «...я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе».

Да, он однажды уже отвечал ей на тот же вопрос, на те же сомнения — любит ли он?.. И снова отвечал почти теми же словами, не боясь повториться, потому что чувствовал теперь то же, что и тогда. «...чувствовал, что она моя, что она близка мне, что нам нельзя друг без друга» (А. П. Чехов, «О любви»).

«...любили друг друга как очень близкие родные люди, как муж и жена, как нежные друзья» (А. П. Чехов, «Дама с собачкой»).

Там же: «Он подошел к ней и взял за плечи, чтобы приласкать, пошутить...», но «в это время увидел себя в зеркале».

Отшутиться не удастся. Как не удалось еще в Ницце, когда он прочитал ее «Забытые письма», и как отзвук желания пошутить возник сюжет в записной книжке. С той поры прошло два года.

Гуров хотел пошутить, но «в это время увидел себя в зеркале. Голова его уже начала сесть. И ему показалось странным, что он так постарел за последние годы, так подурнел. Плечи, на которых лежали его руки, были теплы и вздрагивали. Он почувствовал сострадание...».

Прежний Гуров «успокаивал себя всякими рассуждениями». Этому, новому Гурову «не до рассуждений, он чувствовал глубокое сострадание (слово повторено.— И. Г.)... хотелось быть искренним, нежным...».

Л. Авилова, «Последнее свидание»:

«...с тобой мне хочется быть искренней, искренней...»

Искренность, нежность, сострадание...

Антону Павловичу, как и герою его рассказа, около сорока. Авилова моложе на четыре года. И вот любопытная подробность. Говоря в «Даме с собачкой» о возрасте героини, Чехов пишет, что она «недавно еще была институткой, училась, все равно как теперь его дочь».

В другом месте о Гурове говорится, что он «почти вдвое старше ее». Выходит, что Анне Сергеевне немногим больше двадцати. Весьма неожиданно после этого признание героя, что, являясь в его воспоминаниях, Анна Сергеевна «казалась красивее, моложе, нежнее, чем была...».

Изменив в рассказе возраст героини — как известно, Чехов прибежал к этому приему, стараясь избежать прямого сходства, — он не обнаружил это несоответствие, хотя правил корректуру четырежды. Не обнаружил потому, что писал о другой и перед глазами была та, другая, которой исполнилось тридцать пять.

Та, что прочтет этот рассказ-ответ и поймет, что он любил и еще любит ее, но что и он устал от бесплодных надежд и ожидания.

«Для него было очевидно, что эта их любовь кончится еще не скоро, неизвестно когда... было бы нелепо сказать ей, что все это должно же иметь когда-нибудь конец, да она бы и не поверила этому» (А. П. Чехов, «Дама с собачкой»).

Лидия Алексеевна Авилова нигде не вспоминает об этих двух рассказах, завершивших диалог, длившийся в жизни и литературе. Ни разу не упомянут ею рассказ «Дама с собачкой». Сказав о нем, ей пришлось бы говорить и о своем рассказе «Последнее свидание». Вспоминать об этом она не хотела.

Как все же ее рассказ попал к Чехову? Не она ли сама послала ему? Или кто-то ему передал без ее ведома? И она справедливо полагала, что, прочитав рассказ, Антон Павлович мог обидеться: ее Павел Аркадьевич весьма неприятен.

Не в этом ли винится она спустя пять лет, когда пишет Чехову:

«Я все боялась, что я умру и не успею сказать Вам, что я Вас всегда глубоко уважала, считала лучшим из людей.

И что я же оклеветала себя в Вашем мнении. Так вышло. И это было самое крупное горе моей жизни...»

О «Даме с собачкой» она не говорит нигде. Но она прочла его ответ в этом грустном рассказе о невозможности для двоих достижения счастья...

Рассказ о любви, которая — счастливая или несчастная — сама по себе уже есть благо.

Примирил ли ее ответ? Утешил ли?

Видимо, так.

Есть только одно, — косвенное — свидетельство того, что Лидия Алексеевна, читая рассказ «Дама с собачкой», знала, что это о ней, о них.

В дневнике периода переработки ею воспоминаний о Чехове встречаем:

«И вот опять двойная жизнь: явная и тайная».

Из письма Г. В. Гзовской:

«г. Петропавловск-Камчатский.

...Лидия Алексеевна с внуком Мишей переехали на улицу Воровского. В этой комнате бабушка писала о Чехове. У нас сохранилась чернильница Лидии Алексеевны из толстого прозрачного стекла в форме сердца, с медной подставкой той же формы, на медных ножках. Я забыла Вам показать.

Мебель я тоже еще застала. Туалетный столик из красного дерева, комодик, шкаф для посуды и два кресла, обитых зеленым бархатом.

Все это мы с мужем по молодости заменили на современное...

У нас, на краю земли русской, камни (пока!) с неба не падают, а вот пепел несколько часов сыпался и покрыл весь снег — он после этого быстро стаял. Это извергался вулкан Алайд на Курильских островах, к югу от Камчатки, и тучу пепла принесло к нам.

У нас сейчас пора циклонов. Они зарождаются в Японии, проносятся над Курилами и обрушиваются на нас. Зимой они приносят ветры, метели и пурги, весной и летом — дожди. Очень хороша здесь осень...

Когда приеду в Москву — приглашу Вас в гости, и будем пить чай (или кофе) из бабушкиных чашек и с ее серебром — сахарницей и вазочкой для печенья. Она их получила от родителей не то к рождению, не то к совершеннолетию. На них ее монограмма «Л. С.» — Лидия Страхова.

Бабушка решила сохранить это, несмотря на все невзгоды, для Миши — и сохранила!

Уверена, что, когда Чехов приходил к ней, она его угощала из этого серебра. В общем, мы будем с Вами прикасаться к тем же предметам, что и они.

В этом что-то есть!!»



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

АЛЕКСЕЙ БЕСЧАСТНОВ



ЧЕКИСТЫ ПРОТИВ «ЭДЕЛЬВЕЙСА»

В заметках генерал-лейтенанта А. Д. Бесчастнова «Чекисты против «Эдельвейса» повествуется о событиях Великой Отечественной войны, связанных с битвой за Кавказ.

Алексей Дмитриевич Бесчастнов — активный участник Великой Отечественной войны и партизанского движения на Кубани. В период войны он возглавлял один из отделов Краевого управления НКВД в Краснодаре.

Иорячее дыхание фронта Краснодар ощутил в начале августа 1942 года. 24 июля немцы вторично взяли Ростов, и положение наших войск на южном направлении стало катастрофическим. Создавалась реальная угроза Северному Кавказу. Двамя мощными клиньями фашистские войска устремились в широкие задонские и кубанские степи, нацеливаясь одним из них на Грозный и Баку, вторым — на Краснодар, Новороссийск и Туапсе. Гитлеровское командование приступило к осуществлению своего плана под кодовым названием «Эдельвейс»...

В ту пору я возглавлял один из оперативных отделов Краевого управления НКВД. Отдел занимался вопросами обеспечения безопасности промышленных предприятий края. Экономический потенциал Кубани уже тогда был довольно высок, и работы у нас хватало с лихвой.

Коллектив отдела был укомплектован опытными, знающими свое дело кадрами. До прибытия в Краснодарский край я работал в Москве, в центральном аппарате НКВД. Весной 1940 года меня перевели в Сочи. Через полгода назначили на новую должность в Краснодаре, и я засел здесь, как говорится, основательно и надолго.

Возглавив отдел, с головой ушел в работу. Забот хватало: в одном только Краснодаре насчитывалось свыше 20 крупных промышленных предприятий, таких, как завод имени Седина, нефтеперегонный, измерительных приборов, сельскохозяйственных машин и т. д. Крупным промышленным центром был и Новороссийск с его цементными заводами и большим портовым хозяйством. Вторым Грозным считались районы нефтедобычи края — Майкопский, Нефтегорский, Хадзыжинский, — эта отрасль занимала у нас ведущее место. Но еще до того как я вник во все тонкости нового дела, грянула война.

Часть предприятий подлежала эвакуации в глубинные районы страны, другим в срочном порядке предстояло перестроиться на выпуск военной продукции, третьим — резко увеличить производство. Теперь условия нашей работы диктовали обстановка военного времени и нужды фронта. Были у чекистов и другие заботы.

Однажды через месяц или полтора после начала войны меня вызвали в крайком партии к первому секретарю П. И. Селезневу. Мне неоднократно приходилось бывать у него и докладывать по тому или иному вопросу, и такой вызов был в порядке вещей. Усадив меня перед собой, Петр Иванович совершенно неожиданно завел разговор не о промышленности, чего я ожидал, а о... зеленых.

— Вы человек, наверное, знающий, приехали к нам из центра, помогите мне прикинуть, что уже сейчас можно сделать для нашего будущего подполья и партизанской войны. Где нам лучше заложить партизанские базы и тайники с продоволь-

ствием, одеждой и, конечно же, оружием и взрывчаткой? И как осуществить это в строжайшей тайне, чтобы, как говорится, комар носа не подточил? Подумайте, может, нам стоит позаимствовать опыт зеленых? Они действовали здесь в гражданскую и против красных и против белых. Поезжайте в Новороссию и там в архивах посмотрите, как укрывались и снабжались в горах их отряды, где базировались, какова была их численность. Иногда не грех поучиться и у врага.

К тому времени уже вышло постановление ЦК партии «Об организации борьбы в тылу вражеских войск», и хотя фронт был от нас далеко и казалось совершенно невероятным, что он может когда-нибудь сюда прийти, озабоченность секретаря крайкома была мне понятна. Побывал в Новороссийске в краеведческом музее, внимательно изучил архивные материалы о зеленых, съездил кое-куда на места и пришел к выводу, что партизанить на Кубани можно, главным образом в лесистых предгорных и горных районах края, есть где заложить и базы. Не следовало при этом пренебрегать и опытом зеленых.

Обо всем этом я и доложил Селезневу. Правда, лично мне заниматься этим делом не пришлось. Партизанские базы и тайники закладывали Петр Лукич Печерица, зампреда крайисполкома, и другие товарищи из партийного актива. Заранее подготовленные, эти базы выручали в критический момент не только партизан, но и регулярные части нашей армии, позиции которых располагались в труднодоступной гористой местности и где со снабжением продовольствием было туго.

Год войны многое переменял в облике Краснодара. И хотя бомбили его не часто — больше доставалось Новороссийску и Туапсе, — город обрел суровые черты военного времени и жил по его законам. Ежедневно десятки тысяч людей ходили на строительство оборонительных сооружений. На улицах и скверах, на окраинах города появились противотанковые заграждения, окопы и щели. Титаническую работу проделала партийная организация края под руководством крайкома, создав десятки истребительных батальонов, сформировав ополчение, подполье, партизанские отряды. Комитет обороны занимался эвакуацией населения, промышленных предприятий, ценного имущества, скота. Все, что невозможно было вывезти, подлежало уничтожению. Ни одного килограмма хлеба, ни одного литра бензина врагу! — таким был приказ партии.

Решением крайкома партии был создан штаб по спецмероприятиям, возглавить который поручили мне. И Селезнев и начальник Краевого управления НКВД К. Г. Тимошенко не раз подчеркивали государственную важность стоящих перед штабом задач. Да я и сам понимал, что это дело непростое: многие предприятия Краснодара все еще продолжали давать свою продукцию фронту. Особенно хорошо был налажен выпуск боеприпасов — снарядов, мин, патронов.

Надо сказать, что к этому времени в наши ряды влилась большая группа чекистов Крыма, прикомандированная к Краевому управлению после захвата немцами полуострова. Пополнился прибывшими товарищами и наш отдел.

Работа строилась таким образом. На каждый объект, подлежащий уничтожению, выделялась группа подрывников. Помимо чекистов, в нее входили представители администрации данного предприятия и партийные активисты. Определялись способы уничтожения объекта. Привлекались опытные специалисты. Рассчитывалась сила зарядов, определялись места их заложения и так далее. Словом, дел невпроворот. Ежедневно приходилось бывать на объектах, проверять, уточнять, корректировать. Голова шла кругом от цифр и схем. Товарищи стали называть меня не иначе как начальником по взрывам, а, подтрунивая, еще и «ваше подрывательское степенство», но я не обижался. Это только говорят: ломать — не строить. Ломать тоже надо уметь. В этом я убедился на собственном опыте. Как, скажем, поджечь хранилище с сырой нефтью, никто из нас не знал. Бросишь спичку — не горит, тряпку зажженную — тоже не горит. Тут потребовалась целая технология поджога, и мы этим занимались.

В тесном контакте с нами работала в Краснодаре группа Николая Константиновича Байбакова, заместителя наркома нефтяной промышленности (ныне председатель Госплана СССР). Она разрабатывала технологию вывода из строя нефтепродуктов и методы долговременной консервации скважин. Проводились эксперименты, потом это воплощалось в реальных условиях. Забегая вперед, скажу, что нем-

цам так и не удалось за время оккупации пустить в эксплуатацию ни одной нефтяной скважины, а стало быть, и получить для своих нужд ни литра кубанской нефти, хотя этим и занимались прибывшие из рейха специалисты по нефтедобыче.

Но не надо думать, что чекисты готовили только взрывы. Краснодар стал передовым городом, и естественно, что на него была нацелена вражеская разведка. Необходимо было выявлять и обезвреживать ее агентуру. Кроме того, как это обычно бывает в трудные времена, на поверхность всплыла всякая нечисть — дезертиры и мародеры, любители погреть руки на человеческом горе. Всем им надлежало дать решительный отпор, не допустить хаоса и паники. Для оказания практической помощи из Москвы в Краснодар прибыла группа руководящих работников НКВД во главе с заместителем наркома.

Фронт неумолимо откатывался к югу. Обескровленные в непрерывных боях с численно превосходящим и хорошо оснащенным противником, наши армии не в силах были сдерживать врага. Обстановка требовала решительных мер.

28 июля Ставка преобразовала Южный и Северо-Кавказский фронты в один — Северо-Кавказский. Командующим был назначен маршал С. М. Буденный. Фронту было приказано остановить врага любой ценой. 30 июля войскам зачитали приказ Сталина № 227, в котором прямо говорилось: «Отступать дальше — значит загубить себя и вместе с тем нашу Родину... Ни шагу назад без приказа высшего командования! Таков приказ нашей Родины!»

Помню, как в начале августа 1942 года с ответственным заданием руководства управления в район станицы Кущевская направили двух опытных оперативных работников — Кцоева и Кокова. В пути они неожиданно нарвались на передовой отряд гитлеровцев. Чекисты мужественно приняли бой. Силы оказались неравными. Фашистская пуля оборвала жизнь Кцоева. Кокову удалось вернуться в Краснодар и доложить об обстановке. Первая наша потеря... Остро отозвалась она в сердце каждого из нас.

Начало августа выдалось для всех кубанских чекистов особенно напряженным. Мы вновь и вновь проверяли, все ли готово на объектах, как настроение у людей, уточняли с военным командованием вопросы взаимодействия и связи.

И все же в душе теплилась надежда: а может, все-таки остановят врага, может, не придется нам крутить свои адские машинки и сжигать народное добро. Хочу упомянуть здесь к слову и о моральной стороне нашего нелегкого задания. Разве легко было поднять руку на то, что создавалось кровью и потом твоего народа, ценой огромного напряжения сил, ценой лишений, энтузиазмом! Разве легко уничтожить все то, что сам же ты ограждал от врага и сберегал пуце собственного ока! Конечно, мы все хорошо понимали вынужденную меру такого шага, но вновь и вновь приходилось внушать людям, что враг, если уж суждено ему сюда добраться, должен найти здесь груды развалин и кучи пепла.

8 августа стало окончательно ясно, что город мы оставляем. В этот день в крайкоме партии состоялось совещание, в котором принял участие маршал С. М. Буденный. Командующий еще раз от имени партии в категорической форме потребовал принять все меры, чтобы враг не воспользовался ни кубанской нефтью, ни кубанским хлебом.

На руки мне выдали мандат, подписанный заместителем командующего фронтом, с широкими полномочиями по выполнению специального задания командования в зоне действия Северо-Кавказского фронта. В мандате — номера моего личного оружия и автомашины. Всем организациям и воинским частям вменялось в обязанность оказывать мне всяческое содействие и помощь. Этот документ был необходим по той причине, что я оставался со своими людьми в городе и покинуть его мог лишь в числе последних, при условии полного выполнения задания.

Штаб наш располагался на четвертом этаже в здании управления. Телефонная станция еще работала, и я поддерживал связь со всеми объектами, подлежащими уничтожению. Со мной было человек пять: мой помощник Володя Грошев, Старков и еще трое чекистов. Остальные располагались по своим объектам, разбросанным по всему городу. Мой заместитель Геннадий Зверев находился на нефтеперегонном заводе, Василий Клечкин — на нефтехранилище, Шишкин и Михеев отвечали за узел связи, Калмыков — за мясокомбинат. Словом, каждый на своем боевом посту.

Весь день нескончаемым потоком уходило за Кубань гражданское население. Уже слышна была канонада близкого сражения. Фашистская аэрация начала регулярные бомбежки города. Причем бомбила в основном жилые кварталы и не трогала промышленные объекты. Видно, рассчитывала сохранить их целехонькими.

Запасы продовольствия, которые не успели вывезти, городские власти раздавали населению. Не обошлось здесь и без курьезов. Ближе к вечеру ко мне в кабинет ворвался бывший нарком внутренних дел Крыма Фокин и, размахивая пистолетом, выкрикивал:

— Я расстреливать буду ваших людей, они мародерством занимаются!

За его спиной в дверях стояли два моих сотрудника. В руках у каждого по окороку.

— Где взяли? Украли? — строго спросил я.

— Никак нет, Алексей Дмитриевич. В спецторге открыли склады, и сам начальник товарищ Песиков разрешил нам забрать продукты.

Властью, мне данной, взял чекистов под защиту, а Фокина, жаждавшего наказать их, пришлось неделикатно выпроводить из кабинета.

В два часа ночи раздался телефонный звонок. На проводе Селезнев.

— Товарищ Бесчастнов? Крайком партии и командование фронта покидают город. Остаешься со своими чекистами. Действуй по плану. Держи связь с командармом Рыжовым. Мы очень надеемся на вас. Устройте фашистам хороший фейерверк. Пусть надолго запомнят Краснодар...

С командующим 56-й армией генералом А. И. Рыжовым у нас давно уже все было оговорено. Решили взрывать объекты в момент занятия их противником по сигналу военных или же самостоятельно, если враг окажется в непосредственной близости. Сигналом для уничтожения нефтеперегонного завода и нефтехранилища должен был стать взрыв военными саперами железнодорожного моста через Кубань.

Город не спал. В разных его частях зловещим багровым заревом полыхали пожары. Слышалась близкая канонада. И безостановочно стекались к переправам через реку нескончаемые потоки беженцев. Штаб наш бодрствовал. Я сидел у себя в кабинете и, пользуясь относительным затишьем, впервые за последнее время попытался осмыслить происходящее. Со всей трагической очевидностью приоткрылась для меня зловещая суть «Эдельвейса». Лирическое название гитлеровского плана никак не соответствовало его варварским устремлениям. Он был нацелен на жизненно важные районы страны, чтобы лишить ее нефти и хлеба, отрезать от морских коммуникаций и задуть в тисках голода. Все то, что, захлебываясь от хвастовства, трубила геббельсовская пропаганда и печатали фашистские газеты, в совокупности со сведениями, которые удалось добыть в последние дни моим коллегам-чекистам от арестованной агентуры врага, создавало довольно определенную картину. Ближайшая цель гитлеровцев — захват Кавказа с его нефтью и огромными продовольственными ресурсами, уничтожение нашего Черноморского флота, втягивание в войну Турции, а глобальная задача — выход к Ближнему Востоку и далее в Индию, завоевание мирового господства. Гитлеровцы не делали из этого большого секрета. Как только началось наступление на Ростов, Риббентроп публично заявил: «Когда у русских запасы нефти истощатся, Россия будет поставлена на колени». После взятия Ростова командующий 17-й немецкой армией генерал Руофф, тот самый Руофф, войска которого стояли в данный момент у ворот Краснодара, пообещал японскому военному атташе еще больше: «Ворота Кавказа открыты. Близится час, когда германские войска и войска вашего императора Хирохито встретятся в Индии...»

Позже, оправдывая свой провал, немцы распишут, что в Краснодаре-де действовала группа коммунистов-фанатиков, которая взорвала вместе с собой заводы и фабрики.

Летние ночи коротки. Часа в три-четыре уже светает.

Утро началось с варварской бомбардировки города. А вскоре с завода измерительных приборов мне доложили, что видят немцев. Даю команду взрывать завод и отходить на переправы, что у станицы Пашковской и нефтеперегонного завода. Стали поступать сообщения и из других мест: немцы в городе, немцы уже на

улице Красной. Выглянул в окно — никого. Преувеличивают. У страха глаза велики. Да и телефон еще работает. В управлении мы остались одни. К. Г. Тимошенко находился в штабе фронта и периодически звонил мне, справлялся, как идут дела. Наконец поступило сообщение от Шишкина и Михеева из городского узла связи. Подтвердили — видят немцев, они уже во дворе здания. Приказываю им немедленно любой ценой взорвать объект и отходить за Кубань. Минут через пять телефонная связь оборвалась. Удалось ли спастись Шишкину и Михееву, оставалось только гадать. Спустя несколько часов мы подобрали Шишкина уже за Кубанью, на краю кукурузного поля, раненного в ногу. От него и узнали подробности взрыва узла связи. Заметив немецких автоматчиков во дворе объекта, он вместе с Михеевым и начальником узла Морозовым замкнули аккумуляторы и привели в негодность 25 тысяч радиоприемников, собранных в городе, потом повредили линейные кабели и подорвали само помещение. Во дворе под носом у немцев вскочили в автомашину и помчались по городу. За рулем Шишкин. В конце Октябрьской улицы неожиданно нарвались на немецкий танк. Он обстрелял их из пулемета. Шишкина ранило, но он успел-таки вывернуть машину на тротуар и выскочить на улицу Шаумяна. Кое-как они добрались к мосту и переехали на другой берег. У кукурузного поля остановились. Вести машину дальше с простреленной ногой Шишкин не мог. Я посадил его в свой старый «бьюик» и отправил в Горячий Ключ. Мы же с Грошевым снова переправились в город, на ту сторону Кубани, где все еще стояли невзорванными нефтеперегонный завод и хранилище с нефтью... Но все это случилось потом, спустя несколько часов. А пока мы всё еще находились в управлении и ждали новых сообщений с объектов, где кое-кто из наших товарищей уже вступил в схватку с фашистами.

Вблизи здания краевого комитета партии, под площадью, располагался штаб местной гражданской обороны. Буквально за минуту до того, как оборвалась телефонная связь, оттуда позвонили нам и спросили, какие будут указания.

— Какие указания, — говорю им, — когда немцы над вами? Выбирайтесь и подбру-поздорову уносите ноги за Кубань! Вот и все указания. Счастливо!

Однако и нам пора было уходить. Телефон глухо молчал, связь со штабом командарма Рыжова оборвалась. Решили отходить к нефтеперегонному заводу, заодно проверить, как дела у Зверева.

Вышли из управления. У двери стоял часовой — боец истребительного батальона, сухонький такой мужичок лет сорока. Неподалеку перестрелка, снаряды рвутся, а он и ухом не ведет. Ну и нервы у человека!

— Вот что, товарищ, спасибо за службу, — говорю ему, — снимаю тебя с поста, поедешь с нами.

— Нет, — отвечает, — не имею права сниматься. Вы не мой начальник.

— А кто твой начальник, Семен Иванович? — называю я командира истребительного батальона.

— Он самый, — отвечает.

— Вот я от его имени и снимаю тебя с поста.

Боец немного подумал и нехотя согласился.

Автомашина наша стояла за углом. За рулем сидел Саша Кушин, белокурый атлет, вратарь нашей футбольной команды «Динамо». Неподалеку гремели выстрелы. Я вышел за угол здания и на перекрестке улиц Красной и Пролетарской увидел закамуфлированный зелеными разводами приземистый фашистский танк и изрыгающий огонь длинный хобот пушки. В ту же секунду рядом с танком неожиданно возник мотоциклист. Сделав возле него лихой пируэт, он помчался в мою сторону. И только тут я узнал в мотоциклисте нашего связного — сержанта из ГАИ. Ударила пулеметная очередь. Мотоцикл полетел в одну сторону, сержант — в другую. Все это рядом со мной, на моих глазах. Неожиданно сержант зашевелился и, подволакивая ногу, медленно пополз. Не знаю, что руководило мной в ту минуту. Я вдруг забыл обо всем: и об опасности и о важности возложенного на меня задания. Пригнувшись, бросился вдоль здания на помощь сержанту. Фашисты снова открыли огонь, но мне все же удалось затащить нашего связного за угол здания. А тут помогли остальные, и парня мы спасли, быстро вскочили в машину и рванули с места.

Благополучно, минуя уличные стычки, прорвались к переправе. Оба моста через Кубань у нефтезавода — и железнодорожный и деревянный — стояли целехонькие. Только мы переехали на тот берег, буквально тут же раздался сзади мощный взрыв, и деревянный мост точно посередине сломался пополам и углом осел в воду. Но с переправой мы явно поторопились. На том берегу целым и невредимым стоял нефтеперегонный завод — наш самый важный и ценный объект. Да еще нефтехранилище с земляными амбарами нефти тысяч на 200 тонн. Отправив машину с раненым Шишкиным в Горячий Ключ, мы с Грошевым поспешили обратно. У железнодорожного моста я нашел знакомого капитана-сапера и спросил, почему они медлят со взрывом. Тот ответил, что была команда ждать. В городе еще находятся три наших бронепоезда и их надо вывести за Кубань.

Мобилизовав какой-то катер, подвернувшийся под руку, мы переправились к нефтеперегонному. На берегу, в укрытии под мощным капониром нашли Зверева и ядро его группы. Всего в его отряде было около 50 коммунистов и комсомольцев. Завод занимал огромную территорию вдоль реки, и на ней размещались многочисленные производственные сооружения, нефтехранилище и подстанция. Все это предстояло взорвать и сжечь. Сюда, на КП, под капонир, были сведены нервы всех взрывных устройств, рассчитанных опытными специалистами и заложенных в нужном месте саперами. Приводились они в действие простым поворотом ручки. Ждали только сигнала.

Я выслал вперед двух связных. Необходимо было уточнить, где немцы, и установить контакт с прикрывавшим нас истребительным батальоном. Довольно скоро товарищи наши вернулись. Кубарем скатившись с кручи под капонир, они доложили, что сами видели немецких автоматчиков и что истребительный батальон с боем отходит к реке. Вскоре и мы уже могли наблюдать вражеских мотоциклистов на территории завода. А сигнала все не было. Железнодорожный мост стоял целехонек, злополучные бронепоезда не появлялись — черт знает где они запропастились?! Вслед за разведчиками-мотоциклистами могли появиться немецкие саперы, в конце концов нас просто могли обойти и захватить. От этой мысли мурашки пошли по коже. Наконец! Раздался оглушительный раскатистый взрыв, и мы увидели, как сначала вздыбились вверх, а потом медленно осели в воды Кубани фермы моста, ворчливо и недовольно укладываясь на дно грудой искореженного металла.

— Ну, Геннадий, давай,— сказал я Звереву,— крути свою машинку!

Казалось, что под нами разверзлась земля. Повсюду загрохотало, в воздух взметнулись куски металла, арматуры, тучи пыли. Взрывы гремели один за другим. И так двадцать четыре раза — точно по количеству заложенных зарядов. Потом над заводом всколыхнулась яркая вспышка пламени и к небу повалил густой дым, накрывавая черным крылом весь город, и реку, и горизонт. Горели нефтяные амбары. Это сработала группа факельщиков Василия Клечкина.

Пора было уходить. Мы спустились к берегу, сели в катер и отчалили. Тяжело осевший в воду, перегруженный катер все дальше и дальше уносил нас от города. Наступило странное затишье. Немецкие самолеты, до этого зверски бомбившие и обстреливавшие с бреющего полета наши отступающие части и беженцев, неожиданно исчезли. Дым и копоть лишили их видимости, а теперь прикрывали и наш отход. Город горел, полыхал берег, где еще несколько минут назад был завод, и черная зловещая туча венчала это пожараще. Получился тот самый фейерверк, который просил устроить немцам Селезнев в нашем последнем ночном разговоре.

Районный центр — адыгейский аул Тахтамукай — стал местом сбора работников аппарата крайкома и горкома партии, а также чекистов, покинувших город. Прибыв сюда и разузнав, что штаб фронта, руководство крайкома и управления НКВД отбыли в Горячий Ключ, мы со Зверевым решили добираться туда. Отчаявшись отыскать в скопище машин, телег и повозок наш «бьюик», двинулись пешком. К ночи пришли на место. Одной из первых, кого я встретил в Горячем Ключе, была моя жена Валентина Александровна. Сотрудница нашего управления, она находилась здесь вместе с остальными. Увидев меня, Валя кинулась ко мне вся в слезах.

— Сказали, что ты погиб, — всхлипывая, говорила она, прижимаясь к моей пропыленной и грязной гимнастерке.

... Спустия пять минут то же самое я услышал и от Селезнева, которому докладывал о выполнении задания.

— А нам сказали, что ты погиб. К немцам попал.

— Как видите, жив.

Видно, в тоне моем легко угадывалось раздражение, вызванное нелепостью подобных слухов, если секретарь горкома партии Санин стал успокаивать меня:

— Да ты не огорчайся. Вот нас с Гончаренкой немцы уже повесили. — Санин извлек из кармана галифе фашистскую листовку с двумя их портретами. — Целее будем!

Здесь, в Горячем Ключе, я надолго не задержался. Предстояло срочно выехать в Нефтегорский район и завершить начатое в Краснодаре — вывести из строя скважины и взорвать нефтеоборудование. Утро следующего дня застало нас уже в Хадыжах.

Работа по консервации скважин была здесь в принципе закончена. Оставалось лишь взорвать наземное оборудование. Но с этим решили не спешить, все еще надеялись, что немцев наконец остановят. Тем более, как стало известно, в боях за переправу у станицы Пашковской, где сражались сибиряки из 30-й Иркутской стрелковой дивизии, нашим войскам удалось даже потеснить гитлеровцев. Здесь же, в Хадыжах, временно дислоцировался штаб фронта.

Когда мы прибыли на промыслы, группа чекистов из Нефтегорского райотдела НКВД, взрывники и специалисты-нефтяники Байбакова и начальника Краснодарнефти Апряткина подчищали последние «мелочи». Ни одна скважина уже не работала, наземное оборудование — компрессорные, качалки, подстанции — демонтировано. Остальное подлежало уничтожению.

Дотошно осмотрев консервацию одной из скважин и выслушав квалифицированное и обстоятельное пояснение Байбакова, член Военного совета фронта заинтересовался:

— Сколько потребуется времени, чтобы снова пустить скважину?

— Рассчитано на шесть месяцев с... гарантией, — ответил Байбаков, улыбувшись.

Как обернулась для захватчиков «гарантия», выяснилось потом, после освобождения края от фашистов. Оказалось, что проще и дешевле бурить новые скважины, чем расконсервировать старые.

После осмотра промыслов военные уехали, а мы приступили к делу. Пока работали, не очень-то думали о противнике. Надеялись, что, взяв город, он застрянет там надолго, а может, даже удастся выкурить его оттуда. И когда кто-то из нашей группы крикнул: «Немцы!» — для всех это было полной неожиданностью. Но все оказалось действительно так. По горному серпантину со стороны станицы Апшеронской, вздымая далеко заметное облако пыли, двигалась механизированная колонна фашистов.

Оставив взрывников на месте и дав команду приготовиться и ждать моего сигнала, я поспешил к штабу. На крыльце небольшого дома в окружении своих генералов стоял С. М. Буденный. Вид озабоченный, даже хмурый. Заметно, что он чем-то недоволен, усы грозно вздернуты кверху.

— Товарищ маршал, — обратился я к Буденному, — немцы в четырех-пяти километрах...

— Не может быть, моя разведка донесла, что противник в двадцати — тридцати километрах отсюда, — спокойно возразил командующий, и за этим спокойствием я почувствовал упрямство и волю человека, не привыкшего отступать и не знавшего, что такое бежать от врага.

— Я сам видел, товарищ маршал. Штабу угрожает опасность.

Буденный немного помедлил, потом повернулся к начальнику штаба:

— Командуйте, генерал, сниматься. Сведениям чекиста не могу не доверять.

Потом ко мне подошел Федор Иванович Рябинин, начальник Нефтегорского райотдела НКВД.

— Прощай, Алексей, мне уже пора в лес.

Недавно он был утвержден командиром партизанского отряда, сформированного из местного партизана и чекистов.

— Давай, Федя, иди. У тебя свое дело — партизанить, у меня — свое. Даст бог — свидимся еще. Удачи тебе! — И мы крепко обнялись.

Жаль, мало пришлось ему повоевать. Вскоре я узнал, что в первых же боях с фашистами он погиб. Обидно — хороший, душевный был человек и смелый чекист.

Трагические обстоятельства войны. Казалось, такие объяснимые и понятные. Но сколько к ним ни привыкай — привыкнуть нельзя. Спустя несколько дней, уже в Новороссийске, буквально на моих глазах сразило осколком секретаря крайкома партии Василия Николаевича Суцева. Но об этом рассказ впереди.

Как только штаб фронта выехал из Хадыжэй в сторону Туапсе, мы приступили к уничтожению оборудования нефтепромыслов...

Потом долго догоняли штабную колонну. Шоссе было забито отступающими частями, автомашинами, подводами, гуртами скота. Все это, тревожимое частыми бомбежками и обстрелами с воздуха, неспешно двигалось на юг в зной и пыли августовского дня. Давно уже на Кубани не стояло такой жары, как в то лето.

Я всматривался в лица беженцев — женщин, стариков, детей. По большей части хмурые и озабоченные. Что заставило снаться с насиженных мест этих людей, которым гитлеровцы громогласно сулили рай земной, а на деле готовили участь рабов, согнанных в резервации? Все они предпочли тяжелейшие тяготы эвакуации «покойному» рабству.

Враг рвался к Новороссийску. Он был уже на дальних подступах к городу. Советские войска прилагали отчаянные усилия, чтобы сдержать его.

Пробыв ровно сутки в Сочи, где располагалось теперь Краевое управление НКВД, я получил новое задание. Мне надлежало выехать в Новороссийск и оказать помощь горотделу НКВД в ликвидации важных промышленных объектов, а затем возглавить вновь сформированную оперативную группу чекистов, которой предстояло в тесном контакте с партизанами действовать в прифронтовой и зафронтовой полосах от Новороссийска до Туапсе. К этому времени по указанию ЦК партии и Государственного Комитета Оборона уже был создан Краевой штаб партизанского движения, в который вошли П. И. Селезнев, секретарь крайкома партии Н. Н. Родионов, начальник Краевого управления НКВД К. Г. Тимошенко. Руководство штаба сформировало 7 кустовых партизанских соединений: Краснодарский, Новороссийский, Майкопский, Армавирский, Нефтегорский, Славянский и Анапский. Инструктируя меня перед отъездом, Селезнев и Тимошенко уточнили задачи будущей моей группы. Вкратце они заключались в следующем: вести борьбу с диверсантами, сигнальщиками, агентурой противника в прифронтовой зоне; вылавливать и обезвреживать дезертиров, бандитов, немецких пособников; в тесном взаимодействии с партизанами вести зафронтовую разведку, осуществлять отдельные диверсионные акции в тылу врага; обеспечивать постоянную связь Краевого штаба с партизанскими соединениями. Оперативно мы входили в подчинение новороссийского куста. Командовал им первый секретарь Краснодарского горкома партии С. Е. Санин. Начальником штаба был у него Д. И. Смирнов, а замом по разведке — чекист Анатолий Митрофанович Ечкалов, добрый мой товарищ.

До войны Ечкалов работал в Краевом управлении НКВД заместителем начальника одного из оперативных отделов, а затем возглавил управление НКВД по Адыгейской области. У нас в отделе уважали его за светлый ум, глубокое знание дела, большой практический опыт. Степана Евдокимовича Санина я тоже знал хорошо. Он возглавлял городскую партийную организацию. При кажущейся суровости это был добрый и отзывчивый человек, влюбленный в свое дело и людей. В нем чувствовался некий магнетизм, постоянно притягивавший к нему народ, и неугасающая живинка в работе, искорка, которую он пронес со времен своей кипучей комсомольской юности. Мне тоже довелось около десяти лет быть на руководящей комсомольской работе в Московской области и столице, и эту сторону его характера я чувствовал особенно остро, она трогала струны и моего сердца. Конечно же, я был рад, что именно с таким человеком судьба сталкивала меня в столь грозный военный час.

С большой группой чекистов на двух машинах я в тот же день выехал из Сочи. В Туапсе и Геленджике к нам должны были присоединиться еще около 200 красно-

дарских и крымских чекистов. Дорогу до Новороссийска противник бомбил и обстреливал нещадно.

В Новороссийске я быстро связался с чекистами горотдела, со штабом военно-морской базы, которой командовал капитан первого ранга Г. Н. Холостяков (ныне вице-адмирал, Герой Советского Союза), с командованием 32-го Новороссийского погранотряда, и мы согласовали план действий. Многие промышленные предприятия частично уже эвакуировались, другие уничтожены. Остальные предстояло немедленно ликвидировать, и мы приступили к делу.

Обстановка в городе создавалась сложная. Начались пожары, грабежи магазинов, складов и особенно винных подвалов. На улицах появлялись пьяные мародеры, по ночам промышляли уголовники. Чтобы помочь военному командованию в наведении порядка и в организации достойного отпора врагу, крайком направил сюда группу ответственных партийных работников, секретарей крайкома — В. Н. Суцева, И. И. Поздняка, А. А. Егорова, председателя крайисполкома П. Ф. Тюляева. Входил в нее и секретарь горкома С. Е. Санин. Хорошо проявили себя в этой сложной ситуации пограничники. В неразберихе эвакуации и отступления они оказались именно теми людьми, на которых можно было целиком положиться.

С начальником отряда подполковником Иваном Лукичом Рудевским мы не раз встречались по работе еще до войны. Высокий худощавый человек с безупречной выправкой кадрового военного, строгий и требовательный командир — про таких обычно говорят: военная косточка. При близком знакомстве открывались и другие его достоинства: интеллигентность, редкая начитанность, прямотуше, доброта. На границе Рудевский служил давно. Отряд Ивана Лукича заслуженный, боевой. Не один десяток вражеских агентов, шпионов, контрабандистов задержали и обезвредили пограничники-новоросийцы. Накопили они и немалый опыт совместной борьбы с контрреволюционными элементами. Как-то Иван Лукич рассказывал мне, как в 1929 году на Северном Кавказе удалось вскрыть сильную, хорошо законспирированную монархическую организацию «Имяславцы». В ликвидации ее принимали участие окружной отдел ГПУ и пограничники новоросийского отряда. Плечом к плечу сражались они и против повстанческих банд Чечни... Вот и теперь, в сложный, ответственный момент, когда враг остервенело рвался к городу, пограничники вновь оказались на высоте.

Буквально в короткое время беспорядки в Новороссийске удалось в корне пресечь, виновных строго наказать, и город, почувствовав твердую руку партийного руководства, предельно мобилизовался и стал активно готовиться к нелегкой битве с врагом. А враг все нажимал и нажимал. С севера и со стороны Краснодара к Новоросийску рвались части 17-й немецкой армии, из Крыма к броску на Тамань готовилась 11-я армия генерала Манштейна. Немцы торопились сорвать «эдельвейс» еще до наступления осени.

Однажды, на пятый или шестой день нашего пребывания в городе, вечером, после нелегких трудов и забот Поздняк, Суцев, Санин и я с группой чекистов возвращались к себе на девятый километр, где в маленьком домишке находилось наше временное пристанище. В районе цементных заводов Василий Николаевич Суцев попросил остановить машину и вышел из нее. Не знаю, что его вдруг заинтересовало, я находился в другой машине. Мы тоже вышли и остановились неподалеку. Я подошел к Санину. Он закурил. Нас разделяла с Суцевым машина. Неожиданно рядом разорвался одинокий снаряд. Звук взрыва был отрывистый и короткий. Осколки просвистели у нас над самым ухом. Мы даже не успели среагировать. Потом Санин резко сорвался с места, он первым заметил, как начал падать Суцев. Когда мы подскочили к нему, на его спине расплзалось бурое на защитном фоне гимнастерки пятно крови. Он был убит наповал.

Этот случай потряс и ошеломил нас. Мы долго не могли произнести ни слова. Потом кто-то предложил ехать на девятый километр, тем более что фашисты снова возобновили бомбежку и массированный обстрел города.

Василия Николаевича Суцева, одного из секретарей крайкома партии, мы похоронили на девятом километре, чуть в стороне от дороги, у одинокого приметного дерева. Могилу рыли чем придется — лопат не было, — и получилась она мелкой.

Речей не произносили. Вытащили пистолеты и дали троекратный залп. И Санин тихо сказал:

— Пусть, Василий Николаевич, земля тебе будет пухом. А с фашистами мы еще посчитаемся...

Вскоре после этого ушел в горы Санин.

К концу сентября обстановка на нашем участке фронта стабилизировалась. Большая часть Новороссийска находилась в руках врага, но расположение советских войск позволяло им не только вести успешные оборонительные бои, но и контролировать положение в городе и закрыть доступ в Цемесскую бухту, в которую так и не прошел ни один фашистский транспорт. Попытка гитлеровцев прорваться к Туапсе тоже не увенчалась успехом. Самое большое, чего им удалось добиться, это выйти к Гойтхскому перевалу и овладеть горой Семашко, с вершины которой хорошо был виден пылающий от непрерывных бомбежек город и такое близкое, но недоступное для них море. Врага остановили также на Тереке и на перевалах Главного Кавказского хребта.

Мы знали, что в период самых ожесточенных боев за Кавказ в августе 1942 года в Москву прилетел Черчилль для переговоров со Сталиным по вопросу о втором фронте. Но наши надежды на открытие боевых действий союзников в Европе не оправдались. Правда, англичане и американцы предложили ввести свои войска на Кавказ, но Советское правительство такого рода «помощь» решительно отклонило. Как и прежде, нашей стране приходилось рассчитывать только на свои силы. И партия делала все, чтобы мобилизовать наш народ для решительного отпора врагу.

Как только врага остановили, значительно активизировали свои действия кубанские партизаны. Они разрушали коммуникации противника, взрывали и сжигали склады с боеприпасами и продовольствием, нападали на штабы. Партизаны совершали дерзкие рейды по немецким тылам, а когда требовала того обстановка, сражались на передовой рядом с регулярными частями нашей армии.

Активно участвовали в этих боевых делах и отряды новороссийского куста, с которыми взаимодействовала моя оперативная группа. Надо сказать, что партизанская борьба на Кубани имела свою специфику, на которую обращал внимание Селезнев. На одном из совещаний партизанских командиров он говорил:

— Мы не партизаны глубокого тыла, где можно широко маневрировать крупными силами и совершать тысячекилометровые рейды. Мы прифронтовые и фронтовые партизаны. Мы действуем в непосредственном контакте с войсками...

Позже, когда был захвачен плацдарм на Мысхако, туда, на Малую землю, высадилось пять партизанских отрядов новороссийского куста — «За Родину», «Гроза», «Норд-Ост», «Новый» и «Ястребок», которыми командовал секретарь Новороссийского горкома партии П. И. Васев. Партизаны сражались бок о бок с героическими защитниками плацдарма как регулярные части. Добрые слова сказал о них Леонид Ильич Брежнев в своей замечательной книге «Малая земля».

Партизаны проводили и большую разведывательную работу. В этом плане сфера их действий простиралась далеко в немецкий тыл, где они поддерживали постоянную связь с партийным подпольем. Не случайно почти в каждом партизанском отряде и соединении заместителями командиров по разведке были кубанские чекисты. Воевали они и как рядовые бойцы. Здесь, на Кавказе, в рядах действующей армии сражались целые полки и дивизии НКВД.

После того как стабилизировался фронт, прибавилось работы и нашей оперативной группе. Если раньше в неразберихе быстро меняющейся обстановки фронта нам приходилось действовать в основном против дезертиров, бандитов, уголовников — тех, кто хотел переждать смутное время в горах, а с приходом немцев нажить себе на этом капитал, — то теперь мы решали задачи и посложнее. Наша работа приобрела осмысленность и четкость. У нас наладились хорошие связи с партизанскими отрядами нашего куста, и нередко вместе с партизанскими разведчиками чекисты уходили в тыл врага и добывали ценные сведения о противнике. Контактывали мы с военным командованием 47-й, а затем и 18-й армий, и в первую очередь с их особыми отделами. Армейское командование наша оперативная группа снабжала

разведанными, а с особыми отделами мы совместно решали задачи по охране тыла, выявляя и обезвреживая в прифронтовой полосе агентуру противника, сигнальщиков, диверсантов, провокаторов и пособников врага. Большую помощь нам в этом оказывали пограничники. В ноябре 1942 года 32-й Новороссийский погранотряд был преобразован в 32-й погранполк и вошел в состав войск НКВД по охране тыла. Конечно, у пограничников были и свои ответственные задачи — охрана и оборона побережья, коммуникаций, питающих фронт, и так далее, — которые они успешно решали. Наша же оперативная группа постоянно взаимодействовала с ними, когда дело касалось ликвидации крупных банд, поимки особо опасных диверсантов, шпионов, террористов, заброшенных в наш тыл, и в других острых ситуациях, если мы не могли обойтись собственными возможностями. В таких случаях наши чекистские группы усиливались пограничниками, и мы действовали сообща. Однажды — это было уже зимой сорок третьего года — нам стало известно, что в районе Архипо-Осиповки в горах действует крупная вооруженная банда уголовников и дезертиров. Грабит население, нападает на отдельных военнослужащих, была даже попытка захватить машину с продовольствием. Я тут же связался с Рудевским, мы встретились в Геленджике и наметили план совместных действий. Сколотили отряд из чекистов и пограничников и придали ему две маневренные поисковые группы. Отряду поставили задачу засечь банду и уничтожить ее. Обусловили связь, сигналы, наметили район действий. Операция продолжалась несколько суток, и... безрезультатно. Положение усугублялось тем обстоятельством, что банда действовала исключительно по ночам, а днем отсиживалась где-то в горах. Так вот эту стоянку нашим товарищам никак не удавалось обнаружить, хотя они и прочесали вдоль и поперек весь наметенный район. И все-таки одна из поисковых групп в конце концов засекла бандитов. Их выдала струйка дыма от костра, сочившаяся из пещеры. Банду окружили и полностью разгромили. В плен бандиты предпочитали не сдаваться, знали, что за предательство пощады не будет. В этой операции отличились чекисты Новороссийского горотдела НКВД во главе с Иваном Рудыко.

Базировалась наша оперативная группа вдоль побережья между Геленджиком и Новороссийском. Район, в котором нам приходилось действовать, схематично можно представить в виде подковы, упирающейся концами в Черное море. Оно и было нашим тылом. Зыбким, призрачным, но зато своим, прикрытым от врага моряками-черноморцами. Линия фронта проходила в горах, но она не была там сплошной, и поэтому и партизаны и чекисты нашей группы имели возможность перемещаться в этой зоне, нередко оказываясь в тылу врага. Ядро нашей группы, ее штаб, если можно так сказать, располагалось в небольшом заброшенном домишке на самой окраине Геленджика, другие наши силы дислоцировались на девятом километре Новороссийского шоссе, в районах Кабардинки, Фальшивого Геленджика, Архипо-Осиповки — словом, вдоль побережья. В общей сложности у нас насчитывалось до 300 человек. Были здесь и опытные чекисты, прошедшие хорошую школу, такие, как В. Грошев, В. Старков, П. Касаткин, К. Ковалев, С. Дударев, В. Луньков, В. Леонтьев, П. Жадченко, А. Лазарев, были и совсем молодые, как Иван Пономарев, ставшие сотрудниками госбезопасности уже в годы войны.

Однажды, когда я составлял донесение в управление, мне доложили, что к нам прибыл сержант.

— Какой еще сержант? — спросил я, не отрываясь от дела.

— Сержант госбезопасности.

— Пусть войдет.— Я поднял глаза и увидел в дверях... свою жену — в гимнастерке с двумя кубарями в петлицах, в пилотке, в сапогах, на боку пистолет, за плечами вещмешок, в руках портативная машинка в чехле.

— Товарищ начальник, прибыла в ваше распоряжение, — бойко, стараясь быть серьезной, доложила она и положила на стол предписание.

— Кто тебе позволил? — вырвалось у меня. Все это было так неожиданно, что я даже не знал, как мне вести себя — сердиться или радоваться.

— Да никто. Сама. Пришла и сказала Тимошенкову: не отправите в опергруппу — «дезертирую» на фронт!

Я пробурчал что-то про дисциплину и про фронт, где убивают, но уже решил про себя: пусть остается.

— Ладно, сержант, расчехляй свою машинку. Будем работать...

Она действительно оказалась нужным нам человеком. Много помогала, ходила на связь с партизанами и наравне со всеми выполняла другие боевые задания.

Свою работу по охране тыла мы обычно согласовывали с особым отделом армии, и наши группы действовали совместно с их заградотрядами. Но у нас был и так называемый свободный поиск, когда чекисты самостоятельно фильтровали тот или иной район прифронтальной полосы. За короткое время через наши руки прошли десятки и сотни людей. Здесь были и «обиженные» советской властью бывшие кулаки, и уголовные преступники, и долгое время маскировавшиеся казаки-белогвардейцы, жаждавшие посчитаться за прошлое. Но большинство из задержанных составляли те, кто встал на путь предательства из-за малодушия и неверия в нашу победу, кто всеми способами спасал свою шкуру. Война — это суровая проверка для каждого. Если в мирное, спокойное время кто-то может еще юлить, изворачиваться, вести двойную жизнь, то здесь, как говорится, вынь да положь то, что имеется у тебя за душой. Как это у Шота Руставели: «Из кувшина вытечь может только то, что было в нем...» Верно кто-то сказал: предателями становятся не по убеждению, а по свойству души — шкурники и трусы. Правда, были и исключения. Об одном таком случае мне и хочется рассказать.

Дело было в марте сорок третьего года. К этому времени плацдарм на Мысхако находился уже в руках нашего десанта, и многочисленные яростные попытки фашистов сбросить его в море не имели успеха. Потом наступило небольшое затишье и стало ясно, что немцы затевают там что-то серьезное. Но что? Дело за разведкой. И она велась активно по всем направлениям. Получила задание и наша оперативная группа: просочиться в район станицы Раевская и собрать сведения о намерениях врага. Станица Раевская находилась северо-западнее Новороссийска и фактически являлась тылом фашистских войск, сражавшихся против защитников Малой земли. Сюда стягивались и их резервы, и снабжение, и все жизненно важные коммуникации. Нам надлежало скрытно перейти линию фронта, пересечь железную дорогу и шоссе Краснодар—Новороссийск у Верхне-Баканской и наблюдать за перемещением войск, техники и подброской продовольствия в районе Раевской. Задание серьезное, и, чтобы не вышло промашки, мы решили действовать тремя самостоятельными группами по 15 человек в каждой. Помимо чекистов, сюда включили и пограничников Рудевского. Глубокой ночью все три группы вышли на задание. Я находился с той, которая действовала в центре. Помню, со мной шли Галим Абубакиров и наш постоянный проводник и связной моряк-пограничник по имени Саша, парень саженного роста и огромной физической силы. Помимо разведанных о противнике, с этим заданием у меня были связаны и другие серьезные намерения. Мы очень надеялись хоть что-то разузнать о партизанском соединении Егорова, которое действовало в районе Анапы, то есть по соседству с Раевской. Ходили упорные слухи, что партизаны разгромлены, а сам Егоров захвачен фашистами в плен. Штаб партизанского движения края и лично Селезнев очень тревожились и требовали от нас сведений об истинном положении дел.

Линию фронта мы миновали без особых приключений. Правда, неподалеку постреливал транссирующими немецкий пулемет, но чувствовалось, больше для порядка, чтобы отбыть номер. Ночью в горах зябко. В низинах и распадках стоит тяжелый от влаги туман, обволакивает сыростью и холодом все тело, легко просачиваясь сквозь плащ и одежду. Да и идти трудно — ночь выдалась темная, глухая. Железная дорога и шоссе у Верхне-Баканской проходят по глубокому ущелью. Оставив двоих чекистов наверху (им предстояло двое суток вести наблюдение за этим участком), мы осторожно спустились вниз, к железнодорожному полотну, и затаились. Дождались, пока пройдет усиленный патруль, и бесшумно по одному пересекли железную дорогу и шоссе. К утру мы вышли уже в район Раевской. Рассредоточившись по направлениям и надежно замаскировавшись, мы начали вести наблюдение. И так двое суток, подмечая и засекая буквально все, что происходило вокруг нас. В состав нашей группы взяли проводника из местных жителей. Он побывал и в самой станице. Судя по тому, что нам удалось за эти двое суток увидеть и узнать, враг спешно готовился к крупной операции: стягивал резервы, технику, боеприпасы, продовольствие, шла перегруппировка сил. В самой Раевской стояла какая-то круп-

ная румынская часть, сменившая немецкую. Месяц спустя наши предположения полностью подтвердились. 17 апреля фашистское командование начало свою операцию «Нептун», в очередной раз предприняв попытку сбросить наши войска с Малой земли в море.

Истекали третьи сутки, нам пораз было возвращаться, но я все медлил. Никаких сведений о Егорове и его партизанах раздобыть нам так и не удалось. К тому же наша явка в Раевской не действовала, и это тоже наводило на мрачные размышления. И тут у кого-то родилась шальная мысль:

— А что, товарищ командир, если нам Бороду выкрасть? Уж он-то наверняка что-то знает о партизанах.

— А кто он такой — Борода?

— Да староста здешний. Старик. Кличка у него такая.

Я подумал.

— Ладно. Действуйте. Только без шума. Ждем вас в полночь у железнодорожной насыпи.

Ровно в полночь появились наши с «добычей».

В станице тихо, только изредка лаяла собаки. Значит, сработали чисто, подумал я, и мы двинулись в обратный путь. Атамана Раевской я толком не рассмотрел, но успел заметить, что это был здоровенный мужик с пушистой длинной бородой. Он не упирался, не сопротивлялся. Покорно карабкался с нами в гору, по команде ложился, полз, замирал — словом, вел себя очень дисциплинированно. Но на привалах не лебезил, не заискивал — молчал.

Рассмотрел я его как следует уже на месте, в Геленджике, во время допроса. Это был крепкий, здоровый старик, широкоплечий, румяный, с окладистой ухоженной бородой, с пухлыми, нерабочими руками, лет шестидесяти, но моложавый. На него даже трудная ночная дорога не повлияла — выглядел он свеженьким и аккумулятивным. Кровь с молоком — с таких, наверно, художники малюют дедов-морозов. И держался спокойно, с достоинством, в глазах никакого страха.

— Как изменил родине? — спрашиваю его.

— Заставили, — отвечает.

— Отказался бы.

— Невозможно. Из стариков я самый крепкий. Меня народ выбрал. Я не служил немцам.

Подробно и обстоятельно он рассказал, где размещаются немцы, где полицейские, где у них склады и горючее, какая часть убыла, какая прибыла, кто сотрудничал с немцами. Валентина все подробно стенографировала. О партизанах Борода ничего не знал, и это выглядело правдоподобно. Я предложил ему закурить. Он отказался. Ответил, что не курит и никогда в жизни не курил.

— Может, выпьешь немножко? Устал небось с дороги?

— В рот вина не беру и никогда не брал. Я даже запаха его не переносу, — отвечает.

Я удивился и еще раз оглядел его крепкую, не стариковскую фигуру.

— То-то ты крепкий такой, румяный. Жена, дети есть?

— Нет. Я не был женат.

— Что ж, и женщин у тебя не было?

— Никогда.

— Ну чудеса! Тогда, дед, ты еще шестьдесят таким макаром отзовишься. При жизни-то такой! Война кругом, люди гибнут, а тебе хоть бы что. Скажи спасибо, что мы тебя выкрали. Немец бы тебя быстро вздернул. Он нейтралитет не признает.

— Спасибо вам, — отвечает Борода и быстро крестится, заодно и нас осеняя крестом.

— Врет он все, — вставил слово молчавший до этого наш связной. — Когда его брали, в доме были женщины. И не одна.

— Это родственницы. Сестры мои, — спокойно ответил старик и с укоризной посмотрел на Сашку, будто тот обвинил его не во лжи, а в смертном грехе. — А жены у меня никогда не было.

— Кто ж ты тогда такой? — спрашиваю его. — Поп, монах, сектант?

Он улыбнулся:

— Я сладкоежка. Кто пьет вино, кто любит женщин, а я предпочитаю сладкое — конфеты, сахар, виноград, халву...

Этот «сладкоежка» долго потом не выходил у меня из головы. Каких только типов не открывала война! Вот и этот — вроде и не предатель и скорее всего никогда бы им не стал, но и не боец, не сын своей родины, не патриот, а стало быть, в понимании нашем и не человек.

Связь со своими агентами фашисты поддерживали обычно по радио и через агентов-связников, а для обратного перехода линии фронта они снабжались паролем, обозначающим наименование разведоргана. Так что со временем мы располагали уже солидным досье на многие разведорганы противника, действовавшие не только на нашем участке фронта, но и на всем Северном Кавказе. Знали их почерк, наиболее типичные ухищрения, дислокацию, методы вербовки, подготовки и заброски агентуры и другие немаловажные детали. Я понимал, что эти сведения представляют большую ценность не только для разведорганов фронта и Краевого управления НКВД, они крайне необходимы Центру, Москве. И потому мы без малейшего промедления отправляли их по назначению.

К началу 1943 года густую паутину на Северном Кавказе сплело ведомство Канариса — абвер. Вокруг Краснодара, Новороссийска и Ставрополя действовало по меньшей мере 7 крупных разведывательных, диверсионных и контрразведывательных команд и групп этого армейского спецоргана с дюжиной мелких передовых постов — мельдекопфов. В Краснодаре, например, на улице Седина дислоцировалась абвергруппа 102. Она имела переправочный пункт агентуры в станице Кабардинской и передовые посты в станице Крымской и поселке Хадыжинский. Подчинялась группа абверкоманде 101, которая находилась в Ставрополе.

С января 1943 года там же, в Краснодаре, появился диверсионный разведывательный орган врага — абверкоманда 201. В своем подчинении она имела 4 абвергруппы и несколько мельдекопфов. Условно именовалась «Дариус». Командовал ею подполковник Георг Арнольд. Базировалась эта команда на улице Ленина, по странному совпадению как раз в том доме, где я прежде жил. Позже, вернувшись в город после его освобождения, я узнал от своих соседей, что эти вояки из «Дариуса» выволокли во двор мою шинель с чекистской эмблемой на рукаве, фуражку, соорудили что-то вроде чучела и регулярно его расстреливали, вымещая таким образом свою лютую ненависть к чекистам.

Чекисты нашей оперативной группы захватили в зафронтной полосе вербовщика агентуры и переводчика «Дариуса» Райданника, бывшего лейтенанта Советской Армии, жителя Пятигорска. От него мы получили весьма ценные сведения. Диверсанты этого органа обычно действовали группами по 3—5 человек в форме военнослужащих Советской Армии. Имели задание проводить в нашем тылу диверсионно-террористические акты, вести войсковую разведку переднего края, захватывать языков, подрывать отдельные укрепленные точки обороны. Снабжались взрывчаткой и зажигательными средствами, замаскированными в противогазных сумках, консервных банках, в виде пищевых концентратов. После задержания Райданника особый отдел 18-й армии довел до личного состава разъяснение, как надо поступать с такого рода «продуктами» и «противогазами».

В оккупированном Краснодаре базировался и контрразведывательный орган врага — абвергруппа 301, которая проводила работу в тылу немецкой армии по выявлению советских разведчиков, партизан и подпольщиков, то есть наш непосредственный противник. Командовал ею пятидесятилетний корвет-капитан с грозной английской фамилией Кромвель. Об этом поведал нам на допросе резидент этого органа некий Рудаков, он же Рудольф и Самурай, которого чекисты прихватили в зафронтной полосе. А вот на разведорган «Марине Айнзатцкомандо дес Шварцен Меерс» («Морская разведывательная команда Черного моря») мы вышли следующим образом.

Чекисты нашей оперативной группы постоянно включались в состав армейских и партизанских разведывательно-диверсионных групп, которые на катерах-«охотниках» выбрасывались северо-западнее Новороссийска в районы Анапы, Соленых озер и Абрау-Дюрсо. Они нападали на немецкие штабы, захватывали документы, карты, брали языков. После одной из таких вылазок к нам в руки попал ни больше ни

меньше, как помощник начальника «Марине Айнзатцкомандо» корвет-капитан фон Грассман. Этот спец по Черному морю на безупречном русском языке поведал нам о своем разведоргане и о намерении немцев восстановить новороссийский порт. С этой целью он и колесил по побережью. Привлекал к восстановительным работам специалистов-портовиков, а заодно и вербовал среди них агентуру. Команда «Черного моря» постоянного места дислокации не имела, следовала за частями немецкой армии, выделяя по мере необходимости передовые оперативные группы — форгруппы. С сентября 1942 года она находилась в Новороссийске. Командовал ею корвет-капитан Ротт по прозвищу Сир.

Нашему родному Краснодару определенно «везло» на фашистские разведорганы. Со временем мы обнаружили там еще один, четвертый по счету — «Марине абвер айнзатцкомандо» («Команда морской фронтовой разведки»), одно из подразделений «Нахрихтен-беобахтер» (НБО) — морской разведывательной абверкоманды. Она была придана штабу фашистского адмирала Шустера, командующего немецкими ВМС юго-восточного бассейна. Морская фронтовая разведка занималась сбором разведывательных данных о нашем военно-морском флоте и состоянии обороны побережья. Агентуру вербовала среди советских военнопленных, содержащихся в лагерях Крыма и Северного Кавказа. Обучение велось в Тавельской разведшколе НБО и в Симеизе. Переброска агентуры осуществлялась на самолетах, моторных лодках и катерах, связь — через радиостанции в Керчи, Симферополе и Анапе. Командовал НБО корвет-капитан Рикгоф, а краснодарской айнзатцкомандой — капитан-лейтенант Нойман.

В январе 1943 года из Ставрополя через Армавир на Краснодар немцы осуществляли переброску одного из наиболее засекреченных своих разведорганов. Эта операция проводилась в строжайшей тайне. Но из 250 агентов часть все же разбежалась. Один из них, Иван Перов, перешел линию фронта, набрел на наших чекистов и добровольно сдался. Так нам удалось выйти на вражескую разведку «Унтермен Цеппелин» («Предприятие Цеппелин»), или просто «Цеппелин». Этот специальный орган РСХА был создан в марте 1942 года для подрывной деятельности по разложению советского тыла. Немецкие главари рассчитывали, что «Цеппелин» сможет подорвать крепость советского тыла и тем самым поможет командованию немецкой армии. Организационно подразделения «Цеппелина» состояли из разведывательных, пропагандистских, повстанческих и диверсионных групп, на которые возлагалась политическая разведка и диверсионная деятельность в советском тылу. С началом осуществления немцами плана «Эдельвейс» летом 1942 года «Цеппелин» забросил на самолетах на территорию Грузии, Армении, Азербайджана и автономных республик Северного Кавказа группы агентов, обученных в специальной разведшколе в Евпатории. Они должны были создать в нашем тылу бандитско-повстанческие формирования, сеять панику среди населения, вести разведывательную и диверсионную работу.

Расчеты немцев на непрочность советского тыла провалились. Большинство агентов были выявлены и обезврежены чекистами. Правда, в период оккупации Северного Кавказа «Цеппелину» удалось создать в некоторых пунктах Кабарды и Карачая марионеточные органы власти, но они долго не просуществовали.

На нашем участке фронта действовала главная команда «Цеппелина» — «Русланд Зюд», или «Штаб доктора Редера», — и особая команда при оперативной группе «Д». Агенты для этих команд подготавливались в разведывательной школе, именованной «Главный лагерь Крым», а затем перебрасывались в наш тыл специальной авиаэскадрильей 200 под командованием капитана Гартейфельда с аэродрома курортного местечка Саки, что близ Евпатории. Главную команду «Русланд Зюд» возглавлял штурмбанфюрер СС Рольф Редер. А переброской агентов руководил лично шеф «Цеппелина» штурмбанфюрер СС С. Курек.

Через Перова органам удалось раскрыть ряд агентов «Цеппелина», осевших на Северном Кавказе, в частности Погосова, Баградзе, Кайшаури. Все эти данные о вражеских разведорганах и их агентуре позволили Центру спланировать ответные удары по врагу.

Осень и зима принесли на побережье пронизывающие норд-осты, непрекращающиеся нудные дожди, промозглые холода. Особенно донимал ветер, который

назывался здесь бора. Он рождался где-то в горах около Новороссийска, сваливался потом на город, в бухту и быстро разводил волнение по всему морю и побережью. Сила его огромна. Он запросто опрокидывал груженные машины и поезда, вырывал с корнем деревья и валил телеграфные столбы. Страшен он своей неожиданностью и внезапностью. В рассказе «Листригоны» Куприн назвал бору самым капризным ветром на самом капризном из морей.

Наше и без того незавидное кочевое положение еще более ухудшилось. Особенно бедствовала наша группа от недоедания, от отсутствия горячей пищи. Необходимо было разжиться воинскими продаттестатами. Прослышав про наши беды, начальник особого отдела армии Владимир Евкимович Зарелуа сказал мне однажды:

— А ты обратись к нашему начальнику политотдела. Уверен, этот человек поможет.

С начальником политотдела 18-й армии полковником Л. И. Брежневым я виделся неоднократно. Всякий раз, когда кто-то из моих чекистов уходил в тыл врага или на связь с партизанами, я приходил в политотдел, чтобы взять там свежие номера армейской газеты «Знамя Родины», листовки и воззвания, отпечатанные специально для населения оккупированных районов края, и доставить все это по назначению. Выслушав мою просьбу относительно продаттестатов, он сразу развеял мои сомнения:

— Ну как же не помочь чекистам? Обязательно надо помочь. Ведь мы делаем одно общее дело — бьем врага. Так почему же один сытый, а другой впроголодь? — Он что-то быстро написал на листке бумаги и протянул его мне. — Вот вам записка к начальнику тыла армии полковнику Баранову, он все сделает, будут вам продаттестаты.

В тот же день наш комендант Абубакиров представил в штаб тыла дислокацию наших групп, и каждую из них закрепили за соответствующей воинской частью.

Сейчас, по истечении стольких лет, вспоминая наши мимолетные деловые встречи с Леонидом Ильичом, я часто задумываюсь: что же отличало этого человека? Мне приходилось видеть его в различных ситуациях: за работой в политотделе, на передовой, в общении с командармом, а однажды на Малой земле беседующим с бойцами. Его воспринимали как опытного политработника и авторитетного начальника политотдела. Но уже тогда бросалось в глаза, что это человек недюжинного ума, волевой, энергичный, открытый и настойчивый. Импонировало его ровное отношение к людям, будь то рядовой боец или кто-то из высокого командования. С ним считались и командарм и все остальные. И еще ему было свойственно обаяние. Обаяние молодого, сильного, симпатичного, красивого человека. Таким я его и запомнил в ту зиму сорок второго — сорок третьего года.

В январе войска фронта приступили к подготовке захвата плацдарма на западном берегу Цемесской бухты. Это было частью наступательной операции по освобождению Новороссийска и всего Таманского полуострова. К тому времени гитлеровцы уже начали отвод своих войск с перевалов Главного Кавказского хребта, намечился наш успех и на других участках фронта. Командованию 18-й армии требовались новые подробные сведения о противнике. Предстояло активизировать действия партизан, разведывательную и диверсионную работу. Получила конкретное задание и наша оперативная группа.

Разослав своих людей по всем направлениям, на базу к Санину я решил идти сам. Вместе с Валентиной и проводником Сашей мы отправились в путь. Вышли за светом. Дорога на гору Папай предстояла трудная — горными тропами, через ручьи и распадки, лес и заросли. Добирались мы почти целый день и умаялись изрядно. Валя, конечно, тоже. Но виду не подает, бодрится. И только однажды, уже в конце пути, она с оттенком жалобы в голосе сказала нашему проводнику:

— Что же вы, Саша, говорили: две горки перевалим, одну речку перейдем — и мы на месте? Я уже насчитала сорок шесть речек, а Папая все не видно.

— Так то ж, Валентина Александровна, одна и та же речка, только мы ее сорок шесть раз переходили. А как перейдем сорок седьмой, так и будет Папай...

Но перейти речку в сорок седьмой раз мы так и не успели — наскочили на партизанский пост. Нас задержали, обезоружили и посадили в коровник. Продержали нас у гра, пока не явился человек от Санина и не опознал меня

— Хорошенькое дело,— с нарочитой обидой выговаривал я Бате,— никакого тебе уважения ни к форме, ни к чекистскому званию.

— Ничего не попишешь, брат, партизанская бдительность,— улыбался Санин.

Встретили нас партизаны хлебосольно. Напоили парным молоком, угостили хорошим холодцом.

— Богато живете, партизаны,— заметил я.

— Так и воюем неплохо,— в тон мне ответил Санин.— Ну, давай рассказывай, что там у вас, внизу, с чем пожаловали?

Услышав про готовящуюся операцию, он оживился.

— Вот и отлично! Мы тоже ударим. С другого бока. Поддержим армию двадцатью своими отрядами.

Потом мы обговорили детали задания, условились о связи и пустились в обратный путь. Жаль, не довелось повидаться с Ечкаловым. Он ушел на задание.

В другой раз, возвращаясь с Галимом Абубакировым от партизан, мы неожиданно попали в расположение какой-то румынской егерской части. Шел проливной дождь. Передовой их пост, мимо которого мы проползли, в полном составе прятался в землянке. Рядом с землянкой к дереву они привязали пулемет и от него к окну протянули веревку. Время от времени из землянки дергали за эту веревку, и пулемет строчил в никуда.

— Ну и вояки,— засмеялся Галим, когда мы были уже вне опасности.— Скоро погоним их к чертовой матери с нашей земли...

В ночь с 3 на 4 февраля, как и задумало командование, произошла высадка десанта на Мысхако. 250 человек передового отряда майора Куникова зацепились за каменистый берег и держались там до подхода основных сил. Через полтора часа на плацдарме было уже 800 человек, а спустя пять дней — 17 тысяч.

Вскоре на Малую землю стали высаживаться и чекисты нашей оперативной группы. Они бывали там и до высадки десанта, но то была разведка с целью собрать больше сведений о противнике перед решающим броском на плацдарм. Теперь же перед чекистами стояли другие задачи: вместе с особыми отделами надежно обеспечивать тыл десанта, выявлять шпионов, сигнальщиков и паникеров. Одними из первых в нашей группе на Малую землю высадились Леонтьев, Лапин, Таденко, Пономарев. Было это с 8 на 9 февраля. Не повезло Ивану Пономареву. Транспорт, на котором он шел, торпедировал немецкий катер. Он прыгнул в студеную воду. К счастью, до берега оставалось недалеко, и ему удалось спастись. Чекисты нередко вместе с защитниками плацдарма отбивали многочисленные яростные атаки гитлеровцев, все еще пытавшихся сбросить десант в море. В одной из таких стычек Пономарева тяжело ранило, и его эвакуировали на Большую землю.

Довелось и мне дважды побывать на героическом плацдарме и видеть все своими глазами. Тут могли сражаться и выстоять только сильные духом и мужественные люди.

Но на войне так не бывает, чтобы все шло гладко и хорошо. Теряли мы и боевых друзей, случались и у нас неудачи и даже жестокие промахи. Помню, как мы подобрали в горах Бабаева, бывшего начальника Верхне-Баканского райотдела НКВД, выходившего из района Анапы,— полуживого, опухшего, изъеденного комами, оборванного. Полз ночами, питался кореньями, листьями, корой. От него мы узнали, что партизанские отряды анапского куста, которыми командовал Егоров, были рассеяны гитлеровцами. И на то были веские причины. Кругом равнина, плавни — совершенно негде укрыться. Многие наши товарищи погибли.

Позже, когда уже шли бои на Малой земле, мы отправляли из Геленджика в тыл, в район Тамани, три партизанских отряда. В их составе немало наших чекистов. На двух катерах-«охотниках» они вышли в море и больше не вернулись. Их торпедировали немцы. Спастись удалось немногим, в том числе секретарю Новороссийского горкома партии Шурыгину. Его выловили наши моряки почти в бессознательном состоянии, он чудом держался за какие-то доски в студеной февральской воде. В ту же ночь я навестил его в госпитале, и он с болью в сердце поведал эту трагическую историю.

Да, мы теряли боевых друзей, с которыми столько выстрадали и пережили! Утешало лишь одно — эти жертвы были не напрасны.

Вскоре, перейдя в решительное наступление на восточном участке нашего фронта, на рассвете 12 февраля 1943 года советские войска ворвались в Краснодар. В их составе действовали и партизаны.

А через полгода настала очередь и Новороссийска. И как ни сопротивлялся враг, как он ни укреплял свою оборону, она была прорвана и наши войска после шестидневных упорных боев полностью овладели городом и портом. 16 сентября Москва салютовала доблестным воинам Северо-Кавказского фронта и морякам Черноморского флота. Немецкие солдаты 73-й дивизии генерала Германа Бэмэ, когда-то первыми вступившие в Париж и прешагавшие с оркестром под Триумфальной аркой, были побеждены войсками 18-й армии, 55-й Иркутской стрелковой дивизии, частями морской пехоты, пограничниками. В их рядах сражались и чекисты нашей оперативной группы.

В общей сложности пятнадцать месяцев продолжалась битва за Кавказ, закончившаяся полным поражением немецко-фашистских войск и срывом далеко идущих планов гитлеровского командования. 100 тысяч немецких солдат с эмблемой эдельвейса из груди остались навсегда лежать на этой земле.

Я видел трупы вражеских егерей на заснеженных горных перевалах, в траншеях «Голубой линии» и на улицах Новороссийска, и мне невольно приходили на ум слова бесноватого фюрера из фашистского евангелия «Майн кампф»: «Мы, национал-социалисты, должны дать немецкому народу на этой планете достойную его территорию и землю...»

Что ж, они эту землю получили.

Но борьба продолжалась. До полной победы было еще почти два года войны...



О ЧЕ Р К И Н А Ш И Х Д Н Е Й

ВЛАДИМИР ВЕРНИКОВ



ЛИЦОМ К МОРЮ И К ЗЕМЛЕ

... ПЛОЩАДЬ Революции. Родилась она не после победы революции, а задолго до нее. И название тогда у нее было другое, хотя беломраморный мыслитель Хосе Марти, болевший за судьбы своей Америки, уже принял свою классически выверенную в строгости позу, став олицетворением перемен, которые неминуемо должны были наступить. Дело было лишь во времени, которое набатом стучало в его сердце.

Кубинский диктатор Мачадо не воспротивился проекту архитекторов А. Маса и Х. Сикре украсить задуманный ими Гражданский центр на холме Тадино монументом Хосе Марти в тоге, ниспадающей с правого плеча, и стометровым обелиском. Это была «либеральная» уступка кубинской интеллигенции, чистой воды политиканство.

Вокруг холма Тадино (утверждают, что название его происходит от имени одного из индейских племен, таино, населявших когда-то остров), возвышающегося над тогдашними бедными районами, всегда лепились домики каталонцев, приехавших на Кубу в начале прошлого века. Они-то и решили возвести на вершине холма часовню пресвятой девы Монсерратской — духовной покровительницы их покинутой родины. После долгих лет, ушедших на сбор средств на строительство, часовня все же появилась. И с тех пор в народе это место стали называть холмом каталонцев, хотя после утверждения проекта о создании Гражданского центра часовню отсюда перенесли.

Архитекторы задумали площадь с размахом и фантазией. Она должна была напоминать строгостью и классической законченностью величелие храмов Афин и Эфеса, стать своеобразным Акрополем Америки. Но проекту в таком виде не суждено было осуществиться.

И все же на холме Тадино поднимался белый обелиск, облицованный 10 тысячами тонн белоснежного мрамора с острова Пинос. Внутри сорокатысячетонного стального каркаса монтировали лифт и укладывали крутую винтообразную лестницу в 500 ступенек. Площадь менялась на глазах — за обелиском появилось помпезное здание Дворца правосудия, напротив — бетонная коробка министерства связи, автовокзал и Национальная библиотека. Но лишь когда в 1957 году перед обелиском установили восемнадцатиметровую статую сидящего в задумчивости Хосе Марти, площадь приняла свой нынешний законченный вид.

Торжественное открытие ее так и не состоялось — в то время диктатору Батисте уже было не до торжеств: в горах Сьерра-Маэстры набирала силу Освободительная армия Фиделя Кастро, гражданская война захватывала все новые и новые районы Кубы. Многие здания так и остались недостроенными до 1 января 1959 года — дня победы революции.

С этого момента начинается новая история подлинного центра Гаваны, сформировавшегося вокруг Гражданской площади. Если же быть более точным, то первые строки ее революционной биографии следует начать с праздничной первомайской демонстрации того же года, когда впервые жители Гаваны свободно,

торжественным маршем прошли по бетонному каре украшенной алыми стягами площади. Затем были десятки других исторически важных и запоминающихся манифестаций. Здесь же, на площади, утопающей в цветах и зелени, свыше миллиона кубинцев приветствовали Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнев на митинге дружбы, в дни его визита на Кубу.

Есть, по-моему, явная символика и в том, что в бывшем Дворце буржуазного правосудия, совсем рядом с монументом пламенному борцу за свободу Кубы и всей Латинской Америки работает ныне ЦК Коммунистической партии страны. К этому зданию, вытянувшемуся по периметру ровно на километр, ведет шестидесятиметровой ширины мраморная лестница, придавая всему ансамблю торжественность и величие. Когда-то Юрий Гагарин, спускаясь по ней к трибуне на площади, где его ожидала ликующая Гавана, пошутил: «Такие ступени должны звести обязательно в космос». А Фидель Кастро в тон ему ответил: «Пока они нас ведут к социализму, а дальше посмотрим...»

Воздух площади Революции... Живое дыхание страны, ее пульс и мысль. Чувство свободы и простора возникает в душе на площади Революции, хотя никто официально не присваивал ей это гордое имя. Так она вошла в современную историю Кубы, строящей социализм.

Ореол романтики, окружавший еще недавно Кубу, не пропал; бесследно, а уступил место гораздо более трезвым представлениям о ней. Уже не длинноногие красавицы пальмы, хотя они по-прежнему радуют глаз, попадают в объективы фотокамер, а легкие светлые здания школ, новые корпуса заводов и фабрик. Не сама по себе лазурь Мексиканского залива, а океанские суда под кубинским флагом, басовито приветствующие родные порты Гаваны, Матансаса, Сантьяго-де-Кубы. Не просто плантации сахарного тростника, а просматривающиеся в них контуры мощных комбайнов, вытесняющих вековой труд сотен тысяч рубщиков — мачетеро.

В традиционный кубинский пейзаж повсюду быстро и энергично вписываются фрагменты пейзажа индустриального, рукотворного. Перечислять новостройки Кубы занятие нелегкое: они возводятся в каждой провинции, в каждом городе, а нередко и просто, как говорится, в чистом поле. Конечно, строили здесь и раньше, с самых первых лет революции, и жилье, и школы, и заводы, и фабрики. Но не так много и не так бурно. Не так заметно.

Это, так сказать, перемены во внешнем облике. Но за ними стоят глубокие перемены в сознании людей, в их образе мышления. Я имею в виду в первую очередь понимание абсолютным большинством народа важности своего труда, его твердую решимость и впредь, несмотря на неизбежные трудности в строительстве новой жизни, продолжать начатое дело.

Экономическая база социализма, которая создавалась многие годы ценой самоотверженных усилий всего народа и продолжает создаваться сейчас, — это солидный задел на будущее, отмечалось на недавно состоявшемся II съезде компартии Кубы. Однако, как неоднократно признавали сами кубинские руководители, успехи могли быть более значительными, если бы не продолжающаяся экономическая блокада республики со стороны США.

С приходом к власти в США нынешней администрации не снизилась антикубинская волна во внешней политике. Наоборот, угрозы в адрес Гаваны зазвучали с новой силой, а в последние месяцы они даже стали претворяться в дела. Так, некоторое время назад были схвачены две группы диверсантов, прибывших из США для ведения подрывной деятельности — организации саботажа и диверсий на предприятиях, отравления скота, поджога посевов сахарного тростника и т. д.

Памятуя о том, что американский империализм не смирился с существованием социалистической Кубы, что он готов возложить на нее вину за свои собственные просчеты в Африке и Латинской Америке, II съезд кубинских коммунистов призвал народ быть всегда начеку. «Труд и оборона» — под этим девизом живет сейчас вся страна.

Не хочется перегружать рассказ цифрами, убеждающими в том, что достигнутыми успехами за годы после победы революции кубинский народ вправе гор-

дяться. Приведу лишь несколько. Так, площадь обрабатываемых земель возросла более чем вдвое. В 8 раз увеличился тракторный парк, а производство сахара практически постоянно превышает 6,5 миллиона тонн. Никеля добывается в 2 раза больше, чем до революции. В 3 раза больше выпускают в стране металлургической и металлообрабатывающей продукции. Выработка электроэнергии увеличилась в 5 раз, да к тому же появились такие отрасли индустрии, которых раньше на Кубе вообще не было. Это перечисление безусловно страдает неполнотой. Но ведь невозможно передать в цифрах все многообразие жизни страны, найти цифровой эквивалент радости кубинской матери, у которой дети учатся в школе-интернате на полном обеспечении государства. Как невозможно выразить состояние души крестьянина, работающего в кооперативе, или измерить счастье миллионов простых людей, которым революция открыла свободный доступ к искусству, высшему образованию, бесплатному медицинскому обслуживанию.

Из всего потока социальных перемен на Кубе я выбрал для рассказа два пласта, представляющих мне наиболее характерными. В них особенно четко видно то самое проявление нового сознания и нового образа мышления людей, о которых говорилось выше. Тем более что речь пойдет о непривычных для кубинцев сферах деятельности.

Казалось бы, для Кубы, островной страны, рыболовство должно быть привычным делом, едва ли не традиционным занятием. Нет, это не так. С одной стороны, объяснение здесь простое: до революции кубинцы рыбу практически вообще не ловили — полуколонизаторской стране было не под силу иметь свой промысловый флот. Небольшие артели и отдельные рыбаки, правда, выходили в море на промысел, но скромный свой улов почти всегда продавали перекупщикам для гаванских ресторанов.

Но существует парадокс, который трудно объяснить: кубинцы в своем большинстве не любят рыбу, не едят ее. Вспоминаю, что еще несколько лет назад, когда в магазинах Гаваны и других городов страны появилась в свободной продаже свежемороженая морская рыба, кубинское телевидение провело серию передач о пользе ее, способах приготовления различных блюд и т. д. Отсутствие традиций мстило: при довольно ограниченных возможностях снабжения населения мясом по карточкам кубинцы упорно отказывались от рыбы. И лишь время могло что-то изменить...

Однако вернемся к основному — к созданию на Кубе никогда ранее не существовавшей отрасли, которая включает в себя и судостроение, и рыболовство, и науку. Хочу рассказать о становлении нового дела потому, что на этом примере легко видеть, как много делается в стране для укрепления национальной экономики, для блага людей.

МОРСКАЯ КОРРИДА

Мансанильо, небольшой городок в центре Кубы, мало чем отличается от десятков своих собратьев в других уголках страны. И все же это не обычный городок. Отсюда вышли десятки известных революционеров. Здесь была своеобразная кузница партийных кадров, прошедших суровую школу подпольной борьбы во времена диктатуры Мачадо и Батисты. Здесь возник один из первых на Кубе рыболовецких кооперативов. Собственно, для того чтобы увидеть, с чего начинался современный кубинский рыболовный флот, я и поехал в Мансанильо.

С палубы, где мы беседуем с Хоакином Самбрано, хорошо просматривается вся гавань. Десятки судов, специализированных для ловли лангустов и креветок, мерно покачиваются на легкой волне, развесив, как паруса, сохнувшие сети. Мощные прожекторы, закрепленные на мачте, позволяют вести промысел круглые сутки. На палубах — механизмы, облегчающие нелегкий труд рыбаков.

Кооператив вначале был маломощным, техника никудышной. Но государство в первые же годы народной власти решило значительно увеличить добычу рыбы в стране. Вскоре и в Мансанильо пришли суда с современными орудиями лова, были построены мощный холодильник и ремонтная база, появились специалисты. Словом, дело поставили на широкую ногу. На государственную.

По неделе проводят в море экипажи — таков производственный цикл, — а потом столько же отдыхают. Во время промысла им доставляют продукты и забирают рыбу. Они спокойны за семьи, оставшиеся на берегу: в недавно построенном городке у каждого из них есть квартира, а труд рыбаков хорошо оплачивается.

Над гаванью низко кружили чайки, высматривая добычу.

— И для них коррида — золотое время, — сказал Хоакин.

— Коррида?

— Да, у нас на Кубе это слово имеет и другое значение. Это не бой быков, как, скажем, в Мексике или Испании. Для нас коррида — это горячее время морской путины. С февраля по июнь. А суда наши делают в Карденасе...

...Путь в Карденас неблизкий. Но вот наконец и Матансас. Привольная бухта, морской порт, океанские великаны под разными флагами. Подковав дугою бухту, дорога устремляется дальше, к знаменитому Варадеро — курортной Мекке Кубы, и там берет резко вправо, уже узкой лентой разматываясь до небольшого, типично провинциального городка Карденаса. В его дореволюционную биографию навсегда вошел один факт: в 1925 году на рейде Карденаса стоял советский теплоход «Вацлав Воровский», на котором, невзирая на строгие запреты властей, побывал один из создателей Коммунистической партии Кубы, легендарный Хулио Антонио Мелья. Это был знак солидарности кубинского пролетариата с молодым Советским государством.

Нынешний Карденас знаменит в первую очередь своей судовой верфью — той, о которой мне говорил Хоакин Самбрано. Со стапелей здесь сходят небольшие тудяги суда, в которых так нуждается новая отрасль хозяйства Кубы.

Верфь создана в 1960 году в бывших складских помещениях на самом берегу моря. В год спускают на воду свыше 20 судов для прибрежного лова, а в основном заняты капитальным ремонтом. Рожденное здесь первое опытное судно из железобетона вышло в море десять лет назад.

В открытом всем ветрам сборочном цехе, похожем на аэродинамическую трубу, судосборщики Луис Диас и Хуан Буэно со знанием дела рассказывали мне о своем производстве, то и дело обращаясь к стоявшим неподалеку двум «наглядным пособиям». Одно из них (с металлическими ребрами — шпангоутами, обтянутыми вдоль всего корпуса будущего судна плотной стальной сеткой) чем-то напоминало анатомированное живое существо. Другое, уже почти готовое шагнуть к достроечной стенке, обросло железобетонной плотью. Хуан пояснял:

— За пятьсот—шестьсот миль в океан уходят такие суда промысливать рыбу и лангусту, хотя и называются судами прибрежного лова. И штормы их испытывают и ветры, но ни разу еще не подавали они SOS. Так, знаете, бочка на волнах перекачивается, а не тонет...

Разговаривая, мы дошли до причала, у которого стояло несколько ярко-голубых, с белой полосой посередине судов, судя по всему, полностью экипированных для нелегкой морской вахты. С одного из них доносился мальчишеский голос, радостно сообщавший кому-то, что через пару дней он уже будет в районе Багамских островов и непременно даст знать о себе оттуда. Луис предложил не откладывая выйти в море, посмотреть, каково судно на воде.

Через несколько минут остались позади ярко-желтая коса, на самом острие которой приткнулись причалы, и огромная намывная драга, качавшая со дна бухты песок для приготовления цемента. Впереди было море, освещенное белым тропическим солнцем, спокойное бирюзовое безмолвие. Судно с мерным рокотом одолевало мили, легко переваливаясь на небольшой волне, а из головы не шли сказанные там, в цехе, слова Луиса: «Нас, первых, было девять человек. Ни кто не знал, с чего начинать, с какого бока зайти. Но революция приказала нам строить суда — и мы учились».

Спокойное море всегда настраивает на воспоминания. Когда спустили на воду первое такое судно, Луис работал тогда на его отделке. Собственно, ее как таковой почти не было: несколько деревянных брусков и панелей — вот и вся его работа. Со временем Луис освоил смежные профессии — сборку и монтаж корпуса, и с тех пор он, что называется, мастер на все руки.

Хуан молча слушал рассказ своего товарища. Ко всем событиям и делам на верфи он тоже имеет самое прямое отношение. Начинал когда-то мебельщиком. Но главным для себя считает не это.

...Когда для выполнения плана оставалось сдать два последних судна, неожиданно заболел Маноло Виар, один из самых опытных крепильщиков. Восемь дней стояло дело. Народ в смене подобрался молодой, неопытный, только недавно пришедший сюда. Хуан до этого никогда не работал на монтаже, но всегда внимательно присматривался к товарищам, стремясь постичь таинство рождения корабля.

В те дни, глядя на сиротливо стоявшие суда, не выдержал — пошел к начальнику производства и предложил попробовать себя на новом месте. С тех пор Хуан навсегда остался на монтаже. Многому научился за эти годы. И даже свою первую профессию не ставит ни в какое сравнение с нынешней, потому что он дает жизнь судну, а не просто украшает его. Так рассуждает Хуан, горячо перечисляя преимущества своей нынешней специальности.

Мы и не заметили, как вернулись к берегу. У причалов стояли и новенькие, свежеекрасшенные суда, готовые вот-вот выйти в море, и бывалые трудяги, ждавшие ремонта. Среди них одно судно — полуобгоревшее, с искореженным металлом, резко накренившееся на один борт. «Кайо-Ларго-34» — с трудом разобрал я на нем. Это было то самое судно, что подверглось бандитскому нападению контрреволюционеров во время промысла в районе Багамских островов.

Раны у кораблей залечивают. Но сколько человеческих трагедий знают кубинцы, чьи близкие никогда уже не вернуться в родной порт. Вооруженные нападения на торговые и рыболовецкие суда Кубы организуют недобитые враги острова Свободы не сами, а с благословения своих американских покровителей, и в первую очередь ЦРУ.

Фактов о причастности этого ведомства «плаща и кинжала» к самым различным провокациям против Кубы только за последние годы десятки. Были и более серьезные «дела» — одних только подробно разработанных планов по физическому устранению лидеров кубинской революции существовало свыше тридцати. И потребовалась поистине ювелирная работа органов контрразведки, сумевших заблаговременно обезвредить все эти провокации.

...Причалы и стапеля Карденаса. А ведь еще сравнительно недавно все начиналось с нуля: ни флота, ни гаваней, ни холодильников, ни специалистов.

В конце 1962 года было определено место будущего главного рыбного порта страны — гаванского, и из Советского Союза пришли первые траулеры, промышлявшие для нужд Кубы. Тогда же контуры будущих планов стали обретать реальные очертания. А вскоре на стройке зазвучала испанская и русская речь: возводились причалы, холодильники и ремонтные мастерские. И вырос со временем красавец порт, равных которому мало найдется во всей Латинской Америке.

Нынешняя рыбная гавань Гаваны — двухкилометровый причал для 20 тысяч кубинских рыбаков. Сложное это хозяйство — холодильники, плавучие ремонтные доки, мощные краны, лаборатории рыбного анализа, фабрики льда и рыбной муки, склады, мастерские и многое другое, без чего немыслима жизнь современного порта. Сотни судов разгружаются здесь, оставляя в холодильниках свыше 200 тысяч тонн рыбы, лангустов и креветок, значительная часть которых идет на экспорт. Круглые сутки, не замирая ни на минуту, кипит жизнь в порту. Днем ли, ночью ли, — приходят с переполненными под завязку трюмами огромные рефрижераторы.

Гаванский порт, как и сам промысловый флот, — одно из достижений республики. Теперь уже сотни кубинских судов можно встретить не только в зоне прибрежного лова, но и за тысячи километров от родных причалов. А ведь когда начинался кубинский рыболовецкий флот, не много было желающих связать свою жизнь с морем. Сказывалось отсутствие традиций, извечная привычка быть с семьей, подолгу сидеть с друзьями за чашечкой кофе. Но прошли годы — и кануло в прошлое то далекое время, когда, по меткому выражению Фиделя Кастро, страна стояла спиной к морю. Сохранив в себе упорство и смелость Санть-

яго, героя «Старика и моря» Хемингуэя, сыновья и внуки рыбаков Мансанильо, Батабано и Кохимара поворачивают Кубу лицом к нему.

Кохимар, небольшая деревушка под Гаваной, словно пропитанная горьковатым запахом моря, по-прежнему остается символом верности нелегкому труду рыбака, верности родному причалу. Когда-то в Кохимаре часто бывал Э. Хемингуэй, там в одном из затонов стояла его знаменитая яхта «Пилар», а уж друзьями его были все местные рыбаки. В Кохимаре рождался замысел «Старика и моря», там же писатель нашел своего Сантьяго, который, как десятки других рыбаков, уходил далеко за пределы бухты на крохотном баркасе, чтобы к вечеру побыстрее продать улов за гроши перекупщикам. И поныне спускаются по узкой каменной лестнице, омываемой легкой волной, рыбаки к своим лодкам. Но теперь хозяин здесь — рыболовецкий кооператив, которому принадлежат и маленький рыбозавод с холодильниками и новые моторные суда.

Когда вся бухта пламенеет в последних лучах уходящего солнца, возвращаются рыбаки и сваливают дневную добычу на специальные тележки, которые тут же загружают в морозильные камеры. Теперь это не чиерна и парго, вяжайба или бонито — рыба из семейства тунцовых, а огромные акулы, на ловле которых специализируется кооператив. Здесь их разделявают, обрабатывают кожу для нужд предприятий народных промыслов, а мясо и плавники готовят для отправки на экспорт — во многих странах высоко ценится этот деликатес. И многие рыбаки, что когда-то перебивались скудным заработком за свой нелегкий труд, сейчас зажили по-новому.

Название поселка означает в переводе с испанского что-то вроде «взять море» или «иметь море». Так оно, собственно, и было: многие поколения здесь, у моря, рождались, пропускали его через свои сети, а потом и умирали, измученные непосильной борьбой с ним и с жизнью. Мой давний знакомый Альберто Лопес когда-то тоже жил так.

— Мы когда-то о баркасе с мотором могли только мечтать, — грустно сказал он. — На веслах сидели, выгребали в открытое море, а там течению доверялись, чтоб передохнуть. Домой возвращались за полночь, не чувствуя рук...

Мальчишкой ходил он в море всегда с отцом — добрым и неунывающим. Дома оставался целый выводок младших братьев и сестер, которые с нетерпением ожидали их вечером на берегу. Они гурьбой прыгали в лодку, помогали разгружать улов, сматывать снасти и, нагрузив рыбой самодельные сумки, мчались к матери, чтобы вместе готовить ужин к приходу отца и Альберто, которые еще должны были продать перекупщику остаток своей добычи.

Так и жил он долгие годы. С первой зарей уходил в море, которое казалось ему огромной бесчувственной серой массой, наваливающейся на него всей своей тяжестью. С первыми сумерками возвращался в Кохимар и думал лишь о том, чтобы поскорее подросли младшие его братья и сестры. Потому что бесконечно долгими днями, оставаясь наедине с собой и с морем, он мечтал выучиться какой-нибудь профессии и уйти далеко в бескрайний океан на каком-нибудь большом судне, которое иногда проплывало невдалеке от него, заслоняя горизонт и будоража душу.

Но как мечтать о чем-то, когда у тебя всего-то за плечами два класса начальной школы? Как мечтать, зная, что на Кубе вообще нет больших рыболовецких судов, а те, что проплывают невдалеке, никогда не заходят не то что в Кохимар, но и в Гавану, Сантьяго-де-Кубу и Сьенфуэгос...

Двадцатитрехлетний Альберто вместе с другими рыбаками поселка после победы революции сел за парту. И уходя, как всегда, по утрам в море, он брал с собой книги. Что уж в них понимал Альберто, никто не знал, но факт остается фактом: когда в Кохимаре создали рыболовецкий кооператив, оснатив его небольшими моторными баркасами, бригада Альберто Лопеса всегда была первой, ее лодки никогда не простаивали на приколе из-за неисправностей.

А потом в Кохимар побеседовать с рыбаками приехал Фидель Кастро и стал агитировать их поступать в только что открывшееся училище, которое должно было готовить специалистов для промыслового флота. Альберто согласился сра-

зу. Получив диплом об окончании училища и назначение на средний рыболовецкий траулер, он примчался в Кохимар в новенькой форменке и долго стоял на старом деревянном причале, откуда столько лет подряд уходил на своей лодке в море. И думал он о том, что в один прекрасный день непременно приведет свое судно в эту бухту, которая так ему знакома и дорога. Но жизнь распорядилась иначе. Вскоре его, классного специалиста, направили преподавать в новое училище рыболовецкого флота, открывшееся после разгрома наемников на Плайя-Хироне — в тех самых местах, где еще недавно гремели бои. Он учил вчерашних деревенских мальчишек. А затем его послали учиться в высшее училище овладеть профессией штурмана. «Барракуда» — один из самых крупных по тем временам траулеров в кубинском рыболовном флоте — вскоре принял на борт нового штурмана Альберто Лопеса. Но ненадолго: уже через год капитан Альберто Лопес вступил на свое первое судно, промышлявшее тунца в далекой Атлантике.

И потекли незаметно рыбацкие будни.

— Взрослеем, — сказал Альберто с улыбкой. — И я уже капитан не траулера, а современного заправочного судна «Гуасимас». В морях и океанах наша служба. И хоть я непосредственно теперь не ловлю рыбу, все же свою причастность к этому чувству. Впрочем, может, еще и вернусь на промысел, если там буду нужнее...

Кохимар светился огнями, огромными светляками сбегавшими в ночи к морю. Со старинной крепости луч прожектора размеренно ощупывал и осматривал бухту, и все это казалось вечным дышащим покоем. Говорю об этом Альберто, а он молчит, смотрит на идущее в гаванский порт огромное судно.

Сколько бы раз ни доводилось мне бывать там, ощущение какой-то неподдельной приподнятости и романтичности происходящего вокруг не покидало меня ни на минуту — видно, таков уж сам воздух любого порта. Здесь, вдали от дома, это чувство еще сильнее оттого, что рядом с небольшими кубинскими креветкодоловами и огромными траулерами видишь десятки советских судов, стоящих в ремонте или ожидающих прилета сменной команды.

— «Выхма» стоит к нам третьим бортом, — небрежно бросает вахтенный новенького, высотой в пятиэтажный дом океанского траулера «Валентин Шевчук», плотно ошвартованного у самой причальной стенки. — По кормовому трапу перейдете на нашего соседа, а с него спуститесь к Захарову.

Увидев интересовавшую меня «Выхму», я понял причину столь странного тона вахтенного с «Шевчука». Маленький, невзрачный СРТМ — средний рыболовный траулер-морозильщик — действительно достоин был снисхождения в сравнении со своими собратьями, да и приткнулся он бортом к одному из них как-то неловко, словно приемыш. По нему сновали полураздетые моряки, готовившиеся к приему воды и топлива, и только невысокая плотная фигура капитана Валерия Васильевича Захарова в центре палубы излучала спокойствие.

В своей небольшой капитанской каюте за столом, заваленным лоджиями и подробными картами нескольких районов Атлантического океана, Валерий Васильевич подробно рассказывает о цели предстоящего рейса. Ему, опытному капитану-исследователю, не раз уже бывавшему и на Кубе, все кажется простым и понятным. Присутствующий при нашем разговоре помощник капитана по научной части в этом рейсе Янис Янович Плярс, инженер-гидролог Калининградского управления Запрыбпромразведки, старательно расширярует мне научные задачи этой совместной советско-кубинской экспедиции.

Сейчас, когда многие страны приняли закон о запрещении лова в пределах двухсотмильной зоны, приходится искать новые районы промысла в открытом океане. Советские ученые выполняют эту работу вместе с кубинскими друзьями, у которых пока нет такого опыта рыболовной разведки. А дело это сложное и долгое. Вот и в составе этой экспедиции будет участвовать биолог Мария Эстела де Леон, давняя знакомая капитана. В 1972 году, еще студенткой Гаванского университета, она проходила у него практику на «Лангусте» — они тогда изучали Мексиканский залив.

Сотни высококвалифицированных кубинских специалистов в различных областях рыбохозяйственной науки подготовлены за два десятилетия нашего сотрудниче-

ства. Цифра на первый взгляд не так уж велика, но и не так просто вырастить столько ихтиологов, океанологов, гидробиологов, рыбоводов и технологов, которых только практика делает настоящими учеными. На каждом нашем судне всегда несколько кубинцев, работающих бок о бок с советскими учеными.

И в предыдущей экспедиции в район, куда направляется сейчас «Выхма», тоже были ученые обеих стран. Тогда обнаружили, как говорят рыбаки, несколько банок — подводных гор, вершины которых находятся на сравнительно небольшой глубине, — богатых рыбой. Подтвердить это предположение и должен нынешний рейс, который будет далеко не последним в сложной и кропотливой работе ученых.

Да, море действительно безбрежно, но не неисчерпаемо, как считали еще недавно. И подход к нему нынче другой. Подход рачительных хозяев, думающих о будущем. Этим и вызваны многочисленные походы ученых к возможным районам промысла. Понадобится по крайней мере еще три рейса, прежде чем будут даны те или иные рекомендации по использованию этого района советскими и кубинскими рыбаками.

Мы беседуем в каюте капитана Захарова за несколько часов до выхода «Выхмы» в плавание. Сюда не доносится многоголосый рабочий шум порта, но все напоминает о нем: плавно отваливает от борта заправщик горючим, механик докладывает о взятой на борт пресной воде, о том, что кубинские водолазы закончили осмотр днища. Скоро отход, и в каюту заглядывает Мария Эстела де Леон, интересуется, вовремя ли выйдут в море.

«Выхма» вышла в рейс точно по графику.

Простимся с портом, рыбаками, морем и ступим на сушу — о ней рассказ. Вернее, о том, как преобразается земля трудом крестьянина, как изменился за последние годы сам труд, став коллективным. Но в не меньшей степени изменился и кубинский крестьянин — недавний бедняк, перекасти-поле, жалкий арендатор клочка земли у латифундиста. Вот эта-то взаимосвязь перемен меня и интересовала...

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ЗЕМЛИ

Пинар-дель-Рио — самая близкая к столице провинция Кубы — до революции считалась едва ли не самой отсталой и бедной в стране. Рядом со сверкавшей огнями, утопавшей в неоне и роскоши Гаваной крестьяне Пинара не знали, что такое электричество в доме, водопровод, радио. Нищета была их верной спутницей с первых и до последних шагов жизни.

Власти объясняли такое положение просто: мало хорошей земли, в основном горы, ничего, кроме табака, расти там не может. Но даже в плодороднейшей долине Виньялеса, принадлежавшей латифундисту Сальвадору Диасу, где выращивались и овощи, и фрукты, и рис, жизнь крестьян ничем не отличалась от остальных. Те же бойио — крытые пальмовыми листьями хижины, — та же нужда, та же каждодневная забота о хлебе насущном.

Кооператив — одно из первых на Кубе коллективных хозяйств — называется «Республика Чили». Создан он лет семь назад, когда несколько десятков крестьянских семей, расположенных по соседству в долине Виньялеса, объединили свои земли для совместного труда. Было ее немного — около 30 кабальерий (кабальерия — 13,4 гектара), а выращивали на ней в основном табак, который продавали государству. Объединиться решили, по словам председателя Пласидо, потому что поняли: в одиночку, без машин и без орошения взять у земли все, на что она способна, невозможно.

Государство передало им в аренду несколько тракторов, гидроустановки для орошения полей и другую технику, удобрения и семена. Вскоре в кооператив потянулись еще два десятка окрестных крестьян-единоличников. Так и жили они все эти годы — каждый в своем домишке.

А несколько лет назад все вместе сразу справили новоселье в жидом поселке, построенном четырехэтажными домами — всего 70 квартир. Лагуна камней, как называлось когда-то это место, перестала существовать — появились возделан-

ные плантации того же табака, под которым теперь занято еще больше земли, тропических фруктов, кофе, животноводческие помещения, начальная школа, медпункт, механические мастерские.

Первые дома в поселке тоже построило государство и в рассрочку передало кооперативу. Дальнейшее его расширение — дело, как говорится, хозяйское. Но главное — постоянная забота страны не только об улучшении землепользования и повышении урожаев, но и об улучшении жизни и быта крестьян по всей стране.

— Почти пятнадцать лет я работал один с утра и до ночи — выращивал табак, маис, бониато и юкку — разновидности картофеля, — рассказывает сорокапятилетний Андрес Моралес, бригадир овощеводов, — а хором так и не нажил. Да и не в них дело: жалко мне стало землю, которую не мог обработать как следует.

Если в этом признается крестьянин, ему можно верить. Андрес одним из первых отдал свои три четверти кабальерии земли, которую получил по закону об аграрной реформе, в общий фонд кооператива. Испытавший на себе исполщину и нищету («Ничего у меня до революции не было, кроме рваной сорочки и брюк из мешковины»), понявший бессмысленность единоличного труда, он сейчас ярый патриот кооператива («Самая большая беда — замкнуться в своей скорлупе и не видеть нового»). Лишь недавно окончил вечернюю восьмилетку («Не хотелось быть нахлебником у коллектива, а без знаний чего я стоил бы в кооперативе?»).

«Республика Чили» — одна из первых ласточек движения, завладевшего умами и сердцами кубинских крестьян. Коллективный труд на общее благо для них теперь не абстрактная формула, а реальное воплощение нового сознания. Преображенная долина Виньялеса ощущает это на себе.

Впрочем, чтобы глубже понять своеобразие сегодняшних перемен в сельском хозяйстве Кубы, хочу вернуться к началу 70-х годов, которые, собственно, и стали точкой отсчета нынешнего крутого восхождения. Тогда начинался поиск наиболее эффективного, а главное — наиболее приемлемого в условиях страны ведения дел в деревне. И хотя не все и не всегда проходило гладко, шла прицельная пристрелка перед решающим наступлением.

Когда я впервые в те годы собирался в Пинар, меня убеждали кубинские коллеги:

— Поезжай, там лучше чем где бы то ни было видна разница между прошлым и настоящим в сельском хозяйстве Кубы и в жизни крестьян, хотя эта провинция по-прежнему беднее других.

«Цель революции — извлечение корней, а не поверхностная стрижка, после которой вновь появляются дурные побеги» — так образно охарактеризовал Фидель Кастро в одном из выступлений стоявшие перед новой властью задачи. И одним из самых важных и значительных шагов по «извлечению корней» стала аграрная реформа.

Куба — крестьянская страна. Это учитывали еще повстанцы, сражавшиеся в горах. «Закон № 3 Сьерра-Маэстры о праве крестьян на землю» действовал повсюду на освобожденной от батистовских войск территории. 17 мая 1959 года был принят закон об аграрной реформе — земля впервые перешла к тем, кто ее обрабатывал. Перестали существовать латифундии — на их месте создавались государственные хозяйства. Уже через год в стране насчитывалось их свыше тысячи. К середине 1960 года аграрная реформа была в основном завершена.

Рождались смелые планы резкого увеличения производства продуктов сельского хозяйства. По рекомендации ученых народное правительство решило специализировать целые районы на выращивании определенных культур. В расчет брались климат и почвы, традиции и желания крестьян. Но тут неожиданно возникла сложная проблема: для претворения в жизнь этих планов нужны огромные площади — а как быть с мелкими участками крестьян, соседствовавшими с государственными хозяйствами? Долго ломали над этим голову, и в 1966 году революционное правительство Кубы пошло на смелый эксперимент: народная власть обратилась к крестьянам с призывом отдать свою землю государству. За это бывшим единоличникам гарантировали твердую зарплату, благоустроенные квартиры

и возможность трудиться на прежнем месте вплоть до получения первых урожаев. Дальше все определялось вкладом каждого в общий труд.

Что же получалось? Крестьянин, еще несколько лет назад получивший землю, теперь должен передать ее государству, оставаясь, правда, работать на ней. Не вызовет ли это недовольства, согласятся ли недавние безземельные бедняки расстаться со своей вековой мечтой владеть хотя бы клочком земли-кормилицы?

Ответ на эти вопросы я и надеялся получить в Пинаре. И вот уже остался позади центр провинции, и машина как-то сразу, с разгона оказалась в широкой долине, по которой, блестя на солнце, словно речушка в старице, вилась узкая полоска шоссе. Миновали несколько перевалов, похожих один на другой своими неторопливыми тягунами, несколько долин — невозделанных, поросших кустарником, и с очередного подъема увидели приткнувшиеся к подножию горы небольшие разномастные домики.

Это и был Сан-Андрес — известный в стране центр табаководства, старый приземистый городок с одной улицей и маленьким полинявшим собором. Чуть в стороне от него среди зеленых табачных полей виднелись белокаменный поселок и длинное двухэтажное здание, обнесенное живым забором кустарника: школа-интернат, в которой учатся 300 крестьянских детей со всей округи. По тропе среди табачных плантаций мы пришли в новый поселок.

Невысокий плотный человек лет шестидесяти стал нашим гидом. Звали его Федерико Робайна. А потом мы сидели в его домике, таком же, как и остальные, и Робайна, сняв ненужное в прохладном помещении старое сомбреро, долго не решается начать свой рассказ. Уже выпито по две чашечки традиционного кубинского кофе, крепкого и терпкого, как ореховая настойка, а он, лишь изредка перебрасываясь несколькими словами со своей женой Грегорией по каким-то хозяйственным делам, снова молчит.

Федерико, как и миллионы других, получил землю по закону об аграрной реформе. Когда в Сан-Андресе организовали кооператив, было в нем 35 семей. Сообща обрабатывали землю, сообща выращивали табак, маис, сладкий картофель. Получили в кредит от государства удобрения, трактора, скот, наладили работу курсов и семинаров, на которых крестьяне учились владеть техникой, применять удобрения. Совет кооператива определял, где какую культуру сеять, какую часть урожая в зависимости от итогов года отдать государству за кредит. Общими силами построили дома, отремонтировали школы и дороги, проложили даже несколько новых. Словом, жизнь налаживалась. Да и табак продали государству побольше, чем в иные годы.

— Собрал я как-то всех кооператоров и предложил дать ответ, включаемся мы в новое дело или нет, — вспоминает Федерико. — Дело это добровольное, сказал я им, каждый сам пусть решает, как ему поступить: отдать свой клочок государству или остаться на нем. Что тут началось! Ругали меня на чем свет стоит: «Кооператив разваливаешь!», «Землю не любишь!», «Дезертир!». Но и поддержали многие: «Правильно, Федерико, давно пора!»

Федерико говорит все это волнуясь, видно вновь переживая дела давно минувших дней.

Многие, чего греха таить, не вышли из кооператива. Никто их не осуждал за это — видно, не созрели еще, хотя к тому времени ученые и определили, что земля и климат в долине больше для кофе подходят — для «солнечного катурро». 70 кабальерий отвели тогда под посадки кофе.

С июля по ноябрь, в сезон дождей, все саженцы, выращенные в специальных пластиковых мешочках, должны быть перенесены на плантации, в грунт. Шутка ли: почти 300 тысяч мешочков, а в каждом — слабенькое, хилое растение. Его надо выходить, отстоять у жары, дать ему жизнь. Здесь не только умение и опыт нужны, здесь главное — терпение, труд.

Что же было дальше?

Как-то Федерико Робайну неожиданно вызвали в отделение дирекции нового государственного кофейного хозяйства. Он недоумевал. На его участке дела как будто шли нормально, никаких недоразумений не возникало, сам он ни на что не

жаловался. Встретили его там как старого знакомого, и, ничего не говоря, начальник протянул ему ключ.

— Вот, возьми, старина. И вместе с Грегорией сходите и посмотрите свой домик в новом поселке.

Робайна только и смог сказать, что это, мол, какая-то ошибка, что никакой он не начальник и что жилье у него есть. Он еще долго недоверчиво вертел ключ в руках, ничего не понимая. «Зачто, собственно, мне честь такая — квартира со всеми удобствами?» И не отдал он ключ скорее из любопытства: интересно все-таки было посмотреть, что за дома народная власть построила для таких, как он, ничем особенно и не приметных. Разве что землю свою отдал — так это же было правильно.

..Федерико переступил порог нового дома и обомлел. Телевизор, холодильник, мебель — все расставлено по квартире чьей-то заботливой рукой, все ждало хозяина. Его, Федерико Робайну. Он еще раз огляделся, словно не веря глазам своим, и быстро вышел. Тщательно подергал дверь — закрыта ли? Откуда-то доносились голоса, его несколько раз окликнули, и он шел как в полусне, как в забытии — ни на что не реагируя, ничего не видя. Только считал дома. У последнего, шестьдесят седьмого, остановился, огляделся еще раз и пошел прочь от поселка, выросшего за каких-нибудь десять месяцев на земле, которую он за двадцать пять лет исходил вдоль и поперек. Он знал здесь каждую ложбинку, каждый бугорок. На этой земле он батрачил, а вот теперь...

Июльское солнце, жаркое даже поутру, уже наполовину выбралось из-за мохнатой крутолобой горы и упрямо заглядывало в глаза. Он сдвинул пониже свою на первой молодости соломенную шляпу, закурил, ощутив всю крепость черного крестьянского табака, и лишь тогда обернулся.

Он увидел свой родной Сан-Андрес, зажатый с двух сторон горами, и чуть в стороне выстроившиеся в несколько четких улиц новые домики. Прямо к ним подступала зелень табачных полей, а редкие пальмы с глянцевыми стволами выглядели яхтами, замершими на месте в безветрие. И эта обычная картина, увиденная им сейчас словно иными глазами, постепенно успокоила его. Успокоившись, он уселся на землю.

Сколько он просидел под свирепым полуденным солнцем? Этого он не помнит. Когда солнце стояло уже в зените, Федерико поднялся с земли, по-прежнему пристально вглядываясь в новенький поселок. Он видел, как спали между домами люди, видел их энергичные жесты, но лиц разобрать не мог. Понимал, что говорят о том, как будут жить здесь. Значит, согласны, ничто не пугает их...

Федерико достает из кармана последнюю сигару, осторожно откусывает край ее и прикуривает. Нервно проводит рукой по седой курчавой голове и, обращаясь к каким-то своим мыслям, словно для самого себя говорит:

— Землю нужно чувствовать. Понимать ее нужно. Тогда, в шестьдесят шестом, я поступил так, как подсказал мне мой крестьянский ум. Теперь вижу — не ошибся.

Нет, не ошибся старый Робайна, как не ошиблись тысячи других крестьян, отдавших свою землю государству.

И вот спустя несколько лет я вновь собираюсь в Пинар-дель-Рио. Поездка в знакомые места дает не меньше пищи для размышлений, чем первая встреча, первое узнавание. И так, что нового у вас, друзья?

Миновав возделанную саванну в провинции Гавана, нитка Центрального шоссе, словно в игольное ушко, втягивается в узкие долины Пинара. Знакомые лобастые горы, будто на безыскусных детских рисунках, чередой мелькают то справа, то слева, открывая лишь фрагменты большой картины. Но вот наконец машина, преодолев очередной тягун, выскакивает на новую высоту — и взгляду открывается широкая панорама ухоженной долины. Там, утопая в зелени невысоких кофейных деревьев, примостились разноцветные крестьянские домики.

Замечаю, что домиков стало намного больше. Сворачиваю к одному из них, где живет Федерико. Дома его, конечно, не оказалось — середина рабочего дня. Дверь открыла жена, пригласила войти, угостила кофе. Вскоре появился Марселино — младший сын, закончивший работу. В прошлый раз его не было — учил-

ся в сельскохозяйственной школе. Сейчас механизатор, трудится здесь вместе с отцом.

— Надо подумать, — говорит, — что изменилось у нас за эти годы. — Подумав, отвечает: народу в хозяйстве стало почти в два раза больше — 300 человек; кофейные плантации уже дают товарный урожай, заработки хорошие — до 150 песо в месяц; основные работы в поле механизированы; многие крестьяне, мелкие земледельцы, потянулись сюда со всей округи, для них построили новые дома, а самое главное — если вначале под кофе было занято чуть больше 70 кабальерий, то теперь в два раза больше; на урожай тоже грех жаловаться...

Невольно вспоминаю, что последние годы были на Кубе как никогда засушливыми — земля порою трескалась от жары, образуя широкие расщелины. И тем не менее прогресс, движение вперед. Значит, направление удара — создание по всей стране крупных специализированных хозяйств — было выбрано народной властью правильно. Но за этим стоит и другая проблема. Социальная. Ломка устоявшейся веками психологии кубинского крестьянина: труд не на разобщенных клочках земли, а в коллективе, с размахом, на больших площадях.

Сейчас во многих районах страны уже созданы и успешно ведут свои дела госхозы. Их с каждым годом становится больше. Но ведь вышли они, если так можно сказать, из крестьянских кооперативов. И потому хочу сейчас рассказать о самом первом — с него все началось. Все эти годы он тихо и мирно вел свои дела, наращивая успехи, не попадая даже на страницы кубинских газет. Впрочем, тому были свои причины.

Сейчас это уже история, хоть и не столь давняя, но порядком забытая. И потому когда я попросил Сантьяго Гонсалеса, первого председателя кооператива, рассказать ее с самого начала, он ненадолго задумался, словно спрашивал самого себя: и вправду, с чего все началось?

Наверное, с того январского дня 1963 года, когда семь бедных крестьянских семей решили объединить свои земли и свои усилия, чтобы работать сообща. Сантьяго был инициатором этого дела, хотя личное его хозяйство в сравнении с другими выглядело более благополучным. Он по очереди заходил в каждый дом, терпеливо объяснял неграмотным крестьянам преимущества коллективного хозяйства. Семь хозяев — семь домов, но разбросала их судьба по всей широкой долине в горах Эскамбрая, неподалеку от города Кабаиуан. А взрослого народу в них набралось совсем мало — всего 14 человек.

Немолодые уже, осевшие на своей земле, они и не помышляли ни о чем больше. А тут их уговаривают расстаться с землей, со скотом, с нехитрым инструментом для работы в поле, сулят чуть ли не золотые горы и молочные реки в сельскохозяйственных берегах. И все же, подумав, все до единого согласились — видно, силен был Сантьяго на уговоры, «на агитацию», как говорит он сейчас с улыбкой. Новое хозяйство назвали именем Хуана Гонсалеса.

Был Хуан таким же бедняком, как и они. Партизанил в горах Сьерра-Маэстры, а когда победила народная власть, в родных краях наделял безземельных крестьян помещичьей землей. Враги подстерегли его ночью на горной дороге и выстрелами в спину убили. Тогда же на похоронах друзья поклялись продолжить его дело, решив создать кооператив. Подсчитали общественный фонд: 89 тысяч песо и около 100 гектаров земли, 8 воловьих упряжек, 45 коров и десяток плугов. Негусто для начала, что и говорить. А планы они строили немалые. Первым делом решили сообща взяться за жилье — построить каждому дом в существовавшем пока лишь в мечтах новом поселке. Обратились в АНАП — Национальную ассоциацию мелких земледельцев — за ссудой на стройматериалы, гарантировав возврат ее выращенными в хозяйстве табаком, скотом, зерном и овощами.

Шли годы, и о первом кооперативе, родившемся на кубинской земле, не то чтобы забыли, но почему-то оставался он в тени. Отчасти, очевидно, потому, что точно соблюдался принцип добровольности объединения мелких землевладельцев, и процесс этот не форсировался.

Словом, на примере этого хозяйства решено было показать крестьянству страны преимущества коллективного труда, к необходимости которого оно должно было прийти по мере роста самосознания. И вот это время пришло: успехи

кооператива имени Хуана Гонсалеса стали широко известны и заметны, а вопрос о коллективизации сельского хозяйства Кубы был поставлен на повестку дня I съездом, а затем подтвержден и II съездом Коммунистической партии страны. Вот тогда-то о хозяйстве заговорили в полный голос как о явлении.

Мы идем по идеально чистой улице, и Сантьяго показывает новую школу, детский сад. Дом культуры. Есть здесь своя зона отдыха и местный музыкальный ансамбль. Сейчас в хозяйстве 60 семей, оно владеет почти 500 гектарами земли, используемой под животноводство, табак и другие сельскохозяйственные культуры. В молочном стаде — 500 коров, а общественный фонд составляет уже 289 тысяч песо. На полях и фермах много техники, приобретенной на средства кооператива.

— Все это достигнуто за минувшие годы собственным трудом, — говорит Сантьяго. — Конечно, если бы мы не объединили наши земли и наши усилия, ничего бы не было...

По центральной улице поселка, сплошь застроенной новыми домами, медленно двигалась запряженная парой лошадей тележка, с которой торговали овощами, молоком, цитрусовыми. Цены, прямо скажем, были невероятно низкими по сравнению с городскими. Выгодно ли это хозяйству?

Оказывается, своим продают они практически по себестоимости, а государству — в 3 раза дороже. Поэтому могут себе позволить и столь низкие цены, хотя, будь по-иному, общественный фонд мог быть и больше. Но здесь думают в первую очередь о благосостоянии каждого члена хозяйства. Скажем, о том, чтобы обеспечить пенсионеру хорошую пенсию, а желающему получить высшее образование — кооперативную стипендию. Одним словом, сами решают свои дела, и пока все довольны. Да и с государством уже рассчитались за ссуду.

А теперь я хочу кое-что объяснить, чтобы был понятен этот новый процесс в кубинской деревне. Аграрные преобразования на Кубе имеют свою специфику. Дело в том, что после революции в личную собственность крестьян безвозмездно передали землю, которую они арендовали у помещиков и сами обрабатывали. Их оказалось 100 тысяч — мелких арендаторов, издольщиков и испольщиков. Было утверждено также право мелких и средних крестьян владеть землей, которая им принадлежала и раньше. Так, около 80 процентов всех обрабатываемых в стране площадей оказалось в собственности государства и около 20 процентов — в личной собственности крестьян. Большая часть единоличных хозяйств — это раздробленные участки. Ясно, что на них невозможно эффективно применять современную технику и технологию.

В то же время на Кубе важнейшим принципом отношения партии к крестьянству является строгое уважение его воли, а основополагающий в работе с ним метод — убеждение, но не принуждение. Иными словами, переход от единоличного к крупному социалистическому производству должен осуществляться без спешки. Думается, что деятельность и опыт кооператива имени Хуана Гонсалеса — прообраз одного из путей переустройства жизни крестьян острова Свободы.

Я уезжал из хозяйства под вечер, когда солнце уже скрылось за отрогами Эскамбрая. В клубе репетировал оркестр, возвращались из школы ученики старших классов, а Сантьяго Гонсалес и Эмилио Кудельо, секретарь парторганизации хозяйства, в окружении своих товарищей шли на заседание правления — на повестке дня стоял вопрос о повышении эффективности труда. И невольно вспомнились мне Нагульнов и Разметнов, герои «Поднятой целины», прокладывавшие первую борозду новой жизни в необъятном море крестьян-единоличников.

В. И. ВЕРНАДСКИЙ В НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ

Кандидат географических наук И. М. Забелин выступил со статьей «Помпей гениального ума. «Размышления натуралиста» В. И. Вернадского и современная наука». На статью получен отклик доктора философских наук И. И. Мочалова, где он подвергает критике ряд положений И. М. Забелина. По просьбе редакции статью «Помпей гениального ума», отклик И. И. Мочалова и ответное письмо И. М. Забелина комментируют академик АМН СССР В. П. Казначеев и академик А. Л. Яншин.

Возвращаясь к «роковым» проблемам

Есть некая общая закономерность: ученый действительно крупный, выступающий к тому же и как незаурядный мыслитель, философ, с течением времени не только не мельчает, а, напротив, становится все глубже, богаче, обнаруживая такие грани своего таланта, которые его современниками не были в достаточной степени поняты и оценены. Так происходит и с наследием В. И. Вернадского. Многие, что в его творениях в свое время существовало лишь как нечто потенциальное, актуализируется, становится явным в контексте современного развития науки. И этот процесс нового прочтения Вернадского будет, очевидно, продолжаться в дальнейшем.

В наиболее значительных, ставших эпохальными естественнонаучных трудах Вернадского практически невозможно провести жесткой демаркационной линии между их собственно научной и философской частью. Потому интерес к наследию Вернадского неизбежно сопровождается углублением в мировоззрение ученого, изучением истоков, оснований, тенденций и закономерностей эволюции этого мировоззрения.

Споры вокруг идейного наследия Вернадского, пожалуй, даже необходимы не только в целях выяснения истины, но также и для того, чтобы это наследие служило науке настоящего и будущего с максимальной эффективностью и отдачей. Но следует при этом помнить то, о чем предупреждал со свойственной ему объективностью сам Вернадский, а именно: что в его творчество и мировоззрение «углубиться, конечно, нелегко. Для этого необходим большой, тяжелый труд».

Несомненный интерес в этой связи представляет очерк И. Забелина «Помпей гениального ума. «Размышления натуралиста» В. И. Вернадского и современная наука», в котором рассматриваются принципиальные моменты научного творчества и мировоззрения Вернадского. Можно было бы указать ряд несомненных достоинств этого увлекательно написанного очерка. Однако не все суждения и оценки Забелина являются в должной мере обоснованными, нередко в них много субъективного, идущего от самого автора и не отвечающего тому, как дело обстояло в действительности. К некоторым спорным вопросам этого очерка мы и обращаемся.

Прежде всего явно ошибочной представляется точка зрения Забелина, утверждающего, что, вводя понятие живого вещества — совокупности живых организмов, Вернадский будто бы «явно сужал проблематику биологии» и что, более того, якобы

при этом «сужалось мировидение самого Вернадского, несколько искажалась картина мира, им создаваемая».

В действительности все обстояло как раз наоборот: с введением Вернадским понятия живого вещества проблематика биологии чрезвычайно расширилась и обогащалась, в нее входили принципиально новые вопросы, органически связывающие ее с проблемами экологии и геологической эволюции Земли. То же самое можно сказать и относительно мировидения Вернадского — благодаря понятию живого вещества и разработке учения о нем мировоззрение Вернадского поднялось на качественно новую ступень развития, в нем обнаружилось принципиально новые грани и черты, возникли новые возможности его последующего развертывания по разнообразным направлениям, то есть в конечном итоге оно обогатилось принципиально новым содержанием¹.

В данном случае искажение создаваемой Вернадским картины мира Забелин усматривает в том, что «ни один живой организм не сводится к «живому веществу», так как он «наделен и идеальными формами бытия — психикой, инстинктами, — наделен жизнью, которую Вернадский как раз и выводит за пределы науки». При таком подходе, как утверждает Забелин, не принимается во внимание «комплекс идеальных явлений», то, «что превращает живое вещество в жизнь во всей ее сложности и многообразии»...

Прежде всего недопустимо требовать от ученого, в строго определенной плоскости ставящего исходную проблему и в этой же плоскости ее исследующего, чтобы он охватил еще на том же уровне анализа и другие проблемы, естественно с нею связанные, — недопустимо потому, что никакой науки в этом случае не получится. Но знать о существовании таких проблем, учитывать их ученым, конечно, обязан. Именно так работал Вернадский. Знал он и о психике и об инстинктах животных — знал и учитывал эти явления в своей концепции живого вещества, но только в той мере, в какой ему по ходу развития своей концепции приходилось обращаться к примерам отдельных живых организмов или их совокупностей. Не более того, так как сами по себе эти явления не составляли специфического предмета его анализа. А поэтому и все рассуждения Забелина о зоопсихологии, этологии, моллюсках-осьминогах, складывающихся на дне океана правильные квадраты, и прочих интересных вещах свидетельствуют об эрудиции автора, но прямого отношения к делу не имеют.

Нельзя не учитывать и такое кардинальное качество проблем, как их осмысленность, или разумность. Забелин же адресует Вернадскому проблемы, которые и с точки зрения общенаучных критериев и с позиций учения о живом веществе сомнительны. Именно поэтому, надо полагать, Вернадский и не занимался тем, что «превращает живое вещество в жизнь», «делает живой организм больше чем живым веществом» и т. д. и т. п. (очевидно, подобных проблем при желании можно сочинить великое множество).

Исходные позиции Вернадского являлись существенно иными. В самом деле, если жизнь — что-то большее, чем живое вещество, или, что то же самое, живая материя (это понятие Вернадский употреблял весьма часто; см. его «Живое вещество» — М. 1978), то в таком случае психика, инстинкты — «идеальные явления», по терминологии Забелина, — представляют собой нечто сверхматериальное, или надматериальное, а не свойства той же живой материи (живого вещества) — отдельных организмов или их совокупностей. Понятно, что на такую точку зрения Вернадский встать никак не мог. Более того, он активно боролся с ней, о чем говорит его полемика с витализмом.

«Термином «живое вещество», — пишет Забелин, — за пределами биогеохимии (где он, очевидно, действительно удобен) мало кто пользуется теперь». Но главное ведь не в терминах — удобных или неудобных. Суть дела в том — и это волюно или невольнo затушевывается Забелиным, — что понятие живого вещества, научно обоснованное и введенное в естествознание Вернадским, учение о живом веществе, всесторонне им разработанное, в настоящее время стали фундаментальными теоретическими и философскими основаниями тех уже существующих и вновь возникающих

¹ Подробнее см. об этом в нашей статье «Биокосмические воззрения В. И. Вернадского» («Вестник АН СССР», 1979, № 11).

наук о Земле, которые иногда принято называть науками биосферного цикла и в создание и разработку которых не случайно именно советскими учеными внесен вклад выдающегося значения. Помимо общей теории биосферы и биогеохимии, это биоэкология, биогеоценология, экологическая биогеография, геохимическая экология, морская биология и другие. Следует назвать также и биогеологию, буквально возникшую на наших глазах. Именно в этом прежде всего и можно усмотреть отмеченный Забелиным действительно «пророческий подход» Вернадского к явлениям жизни, а отнюдь не в некоем «новом издании» биологического механицизма — «механистичности в объяснении сути жизни»...

Исключал ли Вернадский из своей картины мира идеальные явления? На этот вопрос Забелин без колебаний отвечает утвердительно. Он полагает, что Вернадским «идеальные явления... не принимались во внимание», что «прямо и четко» он не сумел ввести «в свою картину мира... идеальные явления». В итоге будто бы получилось, что «научно эта сторона бытия в его концепции не проявлена. Она была чужда ему как ученому... Он исключал идеальные явления из своей картины мира».

Неразрывно связывая жизнь с живым веществом, живой материей — субстратом жизни, Вернадский выводит жизнь вовсе не за пределы науки, как полагает Забелин, а за пределы псевдонаучных метафизических спекуляций. Но это не одно и то же. Вернадский не употреблял, как правило, термин «идеальное». На нем, напротив, настаивает Забелин, но при этом толкует его крайне неопределенно, включая в него наряду с инстинктами (какими?), психикой (всей психикой?) даже генетический код (1).

Сопоставляя взгляды Забелина с позицией Вернадского, мы увидим, что концепция идеального, понимаемого в духе так называемых идеалей, была действительно чужда Вернадскому. В этом смысле Забелин совершенно прав. Однако сознание, разум Вернадский вовсе не исключал из своей картины мира — напротив, «идеальные явления» (но в существенно ином, нежели это имеет место у Забелина, их понимании) входили органической составной частью в его биокосмическое мировоззрение, связывая далее это мировоззрение с кардинальными социально-историческими проблемами и закономерно подводя ученого к его концепции ноосферы.

Обратим здесь внимание на самые важные, на наш взгляд, моменты в воззрениях Вернадского на разум, сознание.

Первое. Разум теснейшим образом связан с жизнью, живой материей, он неотделим от нее. Вернадский понимает разум как «высшее проявление жизни... выявление ее духовных возможностей»².носителем сознания является не вся материя, а лишь сложные органические (углеродистые) соединения. «Говорить т е п е р ь, — пишет Вернадский, — о психических и душевных явлениях только как о проявлении свойств материи нельзя — можно говорить лишь о проявлении свойств соединений углерода... Сильным возражением с научной точки зрения против положения о независимости духа от материи является то, что дух и духовное начало связаны лишь с небольшой, резко обособленной частью материи». Это означает «резкий материализм»³. Такой частью материи — носительницы разумного начала, подчеркивал неоднократно в ряде своих работ Вернадский, являются мозг животных, центральная нервная система, их прогрессивное развитие, усложнение и совершенствование в ходе геологического времени. «Новая психология, — подчеркивал Вернадский, — теснейшим образом связана с физиологией»⁴. На материалистическое понимание Вернадским природы сознания несомненно оказали влияние выдающиеся представители отечественной физиологической школы — И. М. Сеченов, И. П. Павлов, Н. Е. Введенский и другие; он был достаточно хорошо знаком с их трудами и, как свидетельствуют материалы архивов Вернадского, обсуждал с ними эти вопросы при личных встречах.

² В. И. Вернадский. Биогеохимические очерки. М. — Л. Изд-во АН СССР, 1940, стр. 177, 180.

³ В. И. Вернадский. Мысли. 1901—1911 (Архив АН СССР, ф. 518, оп. 1, д. 161, л. 1).

⁴ В. И. Вернадский. Размышления натуралиста. Кн. 1. Пространство и время в неживой и живой природе. М. «Наука». 1975, стр. 104.

Второе. Вернадский категорически настаивал на неразрывной связи разума с деятельностью органов чувств. Выражая свое принципиальное несогласие с «аристократическим» рационализмом и показывая его логическую и фактическую несостоятельность, он вместе с тем подвергает убедительной критике идеалистическую в своей основе точку зрения на мнимую непогрешимость «чистых» истин разума как якобы априорных, вечных и неизменных, независимых в своем существовании от «низменной» чувственной материи. В частности, он писал по этому поводу:

«Исходя из «разума», пытаются дать выводы, которые были бы истинны и не зависимы ни от чего происходящего — не имели бы своим началом то знание, которое добывается нами с помощью переработки разумом добытого нашими чувствами. Выведенные из разума знания считаются истинными, считаются единственными и неизменными. Например, выводя понятие естественного права, сторонники этого учения придают своим выводам несколько свойств, которые основаны на таком представлении о свойстве знаний, выведенных из разума. Им вменяется в обязанность быть вечными, неизменными, так как они узнаны из разума вечного, априорно существующего.

Но что же это за понятие «вечный», неизменный, как не грубый перелив старых ходячих воззрений на совершенство, которое мы видим в представлении о круге как наиболее совершенной фигуре и т. д.? Отчего какое-нибудь явление, выведенное из разума, из какого-нибудь источника, более глубокого и чистого, чем то смешанное знание, какое является нам результатом взаимодействия между нашей душой и природой, должно непременно выражаться в таком свойстве?..

Так, в естественном праве понятие о правах может быть не неизменным, а изменяющимся по своему существу и способным принимать известную форму во времени и пространстве. Это лишь гипотеза — неизменность и неподвижность понятия априорного. В основе ее лежит тот уровень знаний и их идеала, когда наши представления о движении и его законах не вошли в плоть и кровь»⁵.

Третье. Решительно возражая против упрощенно-метафизических трактовок разума, сознания, Вернадский подчеркивал, что их невозможно полностью свести к уже известным человеку формам материи (вещества) и энергии (движения), настаивал на специфичности сознания. Эта несводимость, по его мнению, дает основания рассматривать сознание — наряду с материей и энергией — как третью составную часть космоса. «Сознание, — писал он, — есть третья составная часть мироздания, третья область его проявления, которую мы должны принимать во внимание»⁶. Следовательно, разум — это не земное только, но и космическое явление. Можно предположить «существование в Космосе человеческого разума и сознания»⁷. Отсюда Вернадский делает вывод, что известная нам в земных условиях форма разума есть лишь одно из возможных бесчисленных его проявлений в космосе — проявлений, которые по уровню своего развития могут стоять на гораздо более высокой ступени, чем наш земной разум. «Надо думать, что здесь, на Земле, в данное геологическое время перед нами развернулось только промежуточное выявление духовных возможностей жизни и что в Космосе где-нибудь существуют ее более высокие в этой области проявления»⁸.

Четвертое. На человеческий разум и его материального носителя — мозг, отмечал Вернадский, нельзя смотреть как на нечто неизменное, достигшее к настоящему времени законченности и полного совершенства. Процесс эволюционного — биологического и социального — изменения разума отнюдь не прекратился, он происходил не только в прошлом. Этот процесс продолжается и в настоящее время, он будет происходить также и в будущем. «В дали времен шел тот же процесс роста человеческого разума. Он шел по тем же законам, по каким идет и ныне»⁹. Возмож-

⁵ В. И. Вернадский. Дневники. 1890—1894. (Архив АН СССР, ф. 518, оп. 2, д. 5, лл. 52—53).

⁶ В. И. Вернадский. Замечания для живого вещества, 1920—1921 (Архив АН СССР, ф. 518, оп. 1, д. 51, л. 1).

⁷ В. И. Вернадский. Избранные сочинения. М. 1960, т. V, стр. 211.

⁸ В. И. Вернадский. Мысли о современном значении истории знаний. Л. Изд-во АН СССР. 1927, стр. 2.

⁹ В. И. Вернадский. Мысли. 1920—1931; Проблемы биогеохимии. Вып. III. 1943 (Архив АН СССР, ф. 518, оп. 1, д. 162, л. 1, д. 3, л. 77).

ности дальнейшего совершенствования человеческого разума, в нем заложенные, по мнению Вернадского, потенциально безграничны и предвидеть все величайшие следствия этого процесса в будущем в настоящее время вряд ли возможно.

Пят о е. Благодаря своему разуму и направляемому им труду человек преобразует окружающую его природную среду, активно воздействует на разнообразные материальные и энергетические процессы. В этом смысле, подчеркивал Вернадский, сознание выступает как особая сила природы, стоящая отдельно среди других известных человеку сил. «В биосфере существует, — писал он в 1925 году, — великая геологическая, быть может, космическая сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о Космосе, представлениях научных или имеющих научную основу... Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного»¹⁰.

В 1930—1940 годах В. И. Вернадский приходит к выводу, что в настоящее время на нашей планете протекает процесс перехода верхней, занятой живым веществом оболочки планеты — биосферы в новое геологическое состояние — ноосферу, то есть область, преобразованную разумом и трудом человека согласно своим целям и потребностям. Главные движущие силы этого перехода — широкие народные массы, в своих действиях опирающиеся на достижения научного знания. Союз науки и народных масс ученый рассматривал в качестве решающего фактора создания ноосферы.

Забелин верно подмечает, что у Вернадского встречается различное толкование времени возникновения ноосферы. Но свидетельствует это не о непоследовательности ученого, а о том, что к выработке своей точки зрения на этот вопрос он шел постепенно, преодолевая на этом пути определенные трудности и сомнения. В окончательном виде позиция Вернадского складывается в 1941—1944 годах: многочисленные дневниковые записи и письма этого периода, как и статья «Несколько слов о ноосфере», убедительно свидетельствуют о том, что создание ноосферы Вернадский относил к будущему. В то же время он полагал, что с появлением на Земле человека разумного начался период идущего все ускоряющимися темпами становления ноосферы. Процесс этот протекал стихийно, и весь этот период, охватывающий многие тысячелетия существования человечества, должен быть отнесен к предыстории ноосферы. Явственный перелом наступает в XV—XVII веках. Великие географические открытия, изобретение книгопечатания, создание науки нового времени — таковы важнейшие вехи этого перелома. XVIII и XIX века углубляют этот перелом. Но подлинная история ноосферы начинается с XX столетия — эпохи слившихся в единый поток величайших научных и социальных преобразований. На первых порах локально, а в дальнейшем и в глобальных масштабах сознательно и целенаправленно биосфера преобразуется в настоящем и будет преобразовываться в будущем в ноосферу трудом и разумом человека.

Забелин полагает, что проблема перехода биосферы в ноосферу стала для Вернадского роковой. Причину этого он усматривает в том, что сама эта проблема была неправильно поставлена, а значит, неразрешима. Закономерно поэтому, по его мнению, что «Вернадский потерпел с ноосферой неудачу», хотя и, добавляет он, «плодотворнейшую неудачу». Далее Забелин утверждает: «Биосфера ни теперь, ни в будущем не перейдет в ноосферу». Почему же? Суть его пояснений сводится к следующему.

«Переход биосферы в ноосферу, — пишет Забелин, — ...не может означать ничего иного, как некоего «оразумления» геологической оболочки со всеми ее живыми и неживыми компонентами. Но гипотетический этот процесс действительно не поддается естественноисторическому описанию — он антиестественен и потому антилогичен. Богу — богово. Разум природен, но не всеобщ. «Панразумности» все-таки быть не может... Человек уже (я имею в виду положительный опыт) управляет природой локально и будет управлять во всепланетном масштабе — управлять с тонким пониманием ее законов. Но сами природные процессы — пусть управляемые — все равно останутся природными. Социально разумное не станет их новыми качественными чертами».

¹⁰ В. И. Вернадский. Биогеохимические очерки, стр. 47.

Приходится констатировать, что в данном случае Забелиным дается весьма упрощенная и прямолинейная трактовка ноосферы. Концепция ноосферы Вернадского гораздо шире, конкретнее и богаче по содержанию, нежели это представлено в изложении Забелина.

Переход биосферы в ноосферу Забелин представляет как некую действительно фантастическую замену природного социально разумным, как оразумление геологической оболочки и т. п., если пользоваться его терминологией. Тем самым Вернадскому приписывается идея, которая была органически чужда не только его концепции ноосферы, но и всему его мировоззрению и умонастроению в целом.

В понимании Вернадского ноосфера глубоко диалектична по своей сути — она не есть ни только природное, ни только социальное явление, а представляет собой синтез природного и социального, истории природы и истории общества. Возникновение ноосферы вовсе не означает отмену природного, то есть биосферы. Оно означает лишь, что в биосфере решающим фактором ее сохранения, преобразования и развития становится человечество. Но этот фактор сам является частью природы и действует в биосфере по ее же законам, а не вопреки им. Именно через такое понимание ноосферы и приходит Вернадский к признанию идеи коммунизма, а не посредством той в интерпретации Забелина «плодотворнейшей неудачи», которая никуда привести не могла.

И. МОЧАЛОВ.

Быть среди живых...

В истории изучения творчества Вернадского наиболее продуктивным и объективно значимым оказался период, начало которого приходится на 1963 год (100-летний юбилей со дня рождения) и который заканчивается только теперь. Я назвал бы его, пусть с некоторой долей условности, классическим. Значительный вклад в изучение творчества Вернадского был сделан в эти годы моим оппонентом И. Мочаловым, автором диссертации, книги и многих статей о Вернадском.

Доминирующей особенностью классического периода, как мне представляется, было всеобщее постепенное осознание большого значения не только научного (что всегда признавалось), но и мировоззренческого, философского творчества Вернадского, введение в обиход (и популяризация) таких понятий, как ноосфера, пространство-время, природное тело и т. п. Еще одной доминирующей чертой многих публикаций было почти априорное признание истинности основных научно-мировоззренческих идей Вернадского; в тех же случаях, когда аргументация самого Вернадского казалась недостаточной, предпринимались попытки углубить и расширить ее, но все с той же целью — убедить читателей в первоисходной истинности мыслей великого ученого.

Сказанное не упрек кому-либо. Начинать своеобразное возрождение Вернадского, с тем чтобы приблизить его к нашим дням, следовало, конечно, с главного — с рассказа о широте, оригинальности, глубине его мировоззрения, об особенностях его мышления, неповторимости личности. И «классики» успешно справились с нелегким делом. Коллективному труду работников архивов, составителей и комментаторов посмертных изданий, авторам оригинальных исследований творчества Вернадского — всем им обязаны мы тем, что Вернадский вошел в наше сегодня «как живой с живыми говоря». Но это уже новая, и особая, ситуация, завидная для посмертной судьбы любого ученого, предполагающая, однако, и живое, отнюдь не юбилейное отношение к нему. Отклик же И. Мочалова на мою публикацию интересен прежде всего тем, что он как бы подытоживает классический период, последовательно отстаивая его принципы.

И сам Вернадский и авторы ряда предисловий к его сочинениям недвусмысленно предупреждают читателей, что понять Вернадского трудно, и наоборот, легко его неправильно понять. От подобного предупреждения не удержался и Мочалов. Я готов подтвердить, что чтение работ Вернадского действительно дело непростое. Но и не предельно сложное. Разве чтение, например, Гегеля или Маркса требует меньшего умственного усилия? Порою мне кажется, что подобные оговорки — это своего рода

игра на опережение: «классические» вернадоведы таким способом заранее обеспечивают себе выгодную позицию против несогласных с ними. Особенно, пожалуй, это относится к проблеме ноосферы, одной из сложнейших в творчестве Вернадского.

Так случилось, что в одном и том же 1970 году вышли книга Мочалова «В. И. Вернадский — человек и мыслитель» и моя книга «Физическая география и наука будущего». В первой из них имеется раздел «Учение о ноосфере», в котором взгляды Вернадского высоко оцениваются и широко обосновываются. Во второй есть раздел «Черты новейшей планетной эволюции. Проблема ноосферы», в котором основное в концепции Вернадского подвергается сомнению и предлагается иной взгляд на глобальные процессы, происходящие на планете. Минувшее десятилетие, увы, не сблизило наши с Мочаловым позиции в толковании ноосферной проблематики. Но субъективная убежденность в своей правоте отнюдь не исключает объективного понимания того, что проблема остается дискуссионной и наивно претендовать на роль судьи в высшей инстанции — в этом у нас с оппонентом, насколько мне известно, разногласий нет.

Едва ли имеет смысл вдаваться в детали дискуссий о ноосфере. Но одно обстоятельство отметить все-таки следует. Правильные в своей основе фундаментальные идеи — а «переход биосферы в ноосферу», по Вернадскому, относится к числу фундаментальных идей — ведут к консолидации научной или общественной мысли. Формула Вернадского, наоборот, ведет к все большему рассеиванию мнений-следствий. Ноосферу то сжимают до клочка преобразованной человеком земли, то расширяют до внегалактических пределов, отождествляют с геологической оболочкой и отрицают всякое соотношение с нею, ставят знак ее равенства с коммунизмом и утверждают, что вообще никакой ноосферы быть не может, считают ноосферой область активного проявления производственной деятельности и, наоборот, область чисто научно-культурного плана в бытии человечества... Рассеивание мнений-следствий, как будто бы вытекающих из формулы «биосфера переходит в ноосферу», столь велико, что подпадает под действие статистических закономерностей: его нельзя объяснить случайностью. Все дело именно в неправильной постановке вопроса Вернадским, хотя мой оппонент и протестует против такого заключения.

Если б Мочалов в своем личном понимании ноосферы был бы, пусть относительно, близок, скажем, к формуле Дж. Меррея, английского натуралиста, в 1910 году предположившего, что на Земле существует сфера разума и понимания как планетное явление, тогда все сказанное о Вернадском пришлось бы к месту, стало бы еще одной личной гранью ноосферы, понимаемой как духовно-мыслительный пласт бытия. Этого не произошло. А охарактеризовать геологическую оболочку в ее предполагаемом ноосферическом состоянии Мочалов и не пытался. И правильно поступил, по-моему: это невыполнимая задача. Характеризуя в своей книге предполагаемую ноосферу сквозь призму интеллектуально-нравственного облика Вернадского, И. Мочалов оказывается гораздо ближе к моему пониманию ноосферы, чем это — внешне, во всяком случае, — следует из его полемических заметок.

Без прямой ссылки на Протагора (а афоризм принадлежит именно этому древнегреческому мудрецу) у Вернадского сказано: «Мыслящий человек есть мера во всем»¹. Если с этой мерой подойти к концепции ноосферы Вернадского, то придется все же заключить, что основания ее слишком шатки, чтобы претендовать на истинность. Но та же мера позволяет выявить и в действительности, нас окружающей, и в сочинениях самого Вернадского альтернативу проблематичному переходу биосферы в ноосферу.

Вернадский был безусловно прав, когда утверждал, что наша планета в геологическом сегодня вступила в новую фазу своего развития, «которая не позволяет пользоваться для сравнения, без поправок, историческим ее прошлым. Ибо эта стадия создает по существу новое в истории Земли, а не только в истории человечества»². Коротко говоря, общий ход эволюции вел к тому, что:

1) разрозненно существовавшие на планете народы и племена к концу XVIII века объединились в очень противоречивую, но единую взаимодействующую систе-

¹ В. И. Вернадский. Размышления натуралиста, кн. 1, стр. 65.

² В. И. Вернадский. Размышления натуралиста. 1977. кн. 2, стр. 24.

му. Единство же человечества, его проявление как целого предполагалось Вернадским как необходимое условие возникновения ноосферы в его понимании — с таким проявлением человечества Вернадский и связывал новое в истории Земли. В данном случае он развивал мысли, высказанные за сто лет до него немецкими учеными Александром и Вильгельмом Гумбольдтами; в те же годы Александр Пушкин и Адам Мицкевич мечтали о времени, «когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся»;

2) технические средства, которыми люди пользовались во взаимодействии с природой, постепенно совершенствовались, усложнялись, объединялись в технические комплексы — шло формирование техносферы. А. Гумбольдт и его современник, создатель общего земледования Карл Риттер уже рассматривали в своих сочинениях технические средства как новые дополнительные органы человека, умножающие проявление его силы в природе. В 1923 году Вернадский выделил «единую мировую технику», то есть техносферу, как новое явление планетного масштаба;

3) усовершенствование технических средств распространения научных и духовных ценностей (сюда относятся и печатные станки и «телеграфика», как говорили в середине прошлого века) способствовало формированию ноосферы как всечеловеческой культурной сферы. Подобно научной мысли, ноосфера в целом стала планетным явлением после возникновения, по выражению Вернадского, средств почти мгновенной связи.

Таким образом, в исторически кратчайшие сроки (двести пятьдесят—триста лет) на Земле возникли три новые системы — человечество, техносфера и ноосфера, что позволяет определить происшедшее как планетную революцию. Подчеркну еще раз, что все сказанное не только не противоречит Вернадскому, но прямо следует из его естественноисторической концепции, в з я т о й в ц е л о м, а не в искусственном варианте «перехода биосферы в ноосферу». Вернадский предполагал, что человек выйдет в космос, что геохимическое воздействие человека на природу не ограничится Землей. Все три новые геосферы хоть и возникли в пределах планеты, но по природе своей космичны, что уже не нуждается в доказательствах. Так что и в этом плане изложенные соображения — просто констатация того, о чем Вернадский мог писать лишь предположительно.

Первопричина планетной революции социальна в том смысле, что обусловлена развитием человеческого общества, которому принадлежит лидирующая роль в эволюции нашей части мироздания. В этом принципиальное отличие современной планетной революции от революционных преобразований бытия планеты в геологическом прошлом, до появления человека (к их числу относится, например, выход жизни из океана на сушу, что качественно изменило ход развития и растений и животных). Понятно, что человек никогда не существовал вне природы или без природы: каждой общественно-экономической формации соответствовал свой природный базис, свой арсенал природных средств. До недавнего прошлого одинаковым оставалось, однако, использование природного арсенала: из него, не задумываясь о будущем, брали все, что близко лежало. Результат известен — обнаружилась дисгармония во взаимоотношениях человека с природой. По вине человека, разумеется; и человеку же предстоит ее устранить. Задача, стало быть, социальна, а выполнение ее прямо связано с грядущей организацией человечества. Эта организация не соотносится непосредственно с ноосферой Вернадского. Уже давно на всех языках она называется коммунизмом и не нуждается в понятиях-подпорках. Не может быть и эквивалента понятию коммунизма в виде «преобразованной человеком природы», потому что коммунизм не только социален, но и природен — он формируется не в пустом ньютоновском пространстве и самой сути его противопоставлена дисгармония с окружающим миром. Вернадский был прав, когда писал в статье «Несколько слов о ноосфере», что «идеалы нашей демократии идут в унисон со стихийным геологическим процессом, с законами природы...»³. Движение к коммунизму — это и ось и эволюционное острие современного планетно-космического процесса; трудное, но необратимое, оно определит будущее не только Земли, но и геоуниверсума и Сол-

³ В. И. Вернадский. Биосфера. М. 1967, стр. 358.

нечной системы, ибо коммунизм не планетное, а космическое явление, принципиально не имеющее пространственных и временных пределов.

Мне представляется не случайным, что на обложке книги Мочалова о Вернадском значится — «человек и мыслитель». Известно, что ныне несть числа научным сотрудникам — и младшим и старшим. Несравнимо меньше ученых. А ученых-мыслителей вообще единицы. Так было всегда со времени возникновения науки, хотя мозг как будто у всех устроен одинаково.

Вернадский, конечно, интересен как ученый, но еще более как ученый-мыслитель, или, как у Мочалова, просто мыслитель. Конечно, мой оппонент прав, что ученый волен ограничивать себя не только особо выделенным предметом исследования, но сколь угодно суживать свои задачи. Иное дело мыслитель. Ученый и мыслитель — понятия несовпадающие, и если ученый при изучении живого вещества вправе исключить жизнь из области своих специальных исследований, то от мыслителя ждут иного — постижения наиболее скрытых сторон бытия... Сознал ли Вернадский, что жизнь удалена им из живого вещества?.. Не только сознал, но и точно расставил акценты: «Охватывая явления жизни как проявление в форме живого вещества... мы неизбежно должны сводить их... к тем же самым понятиям, какие употребляем для остальной мертвой природы», «Для большинства биологов такое употребление термина «живого вещества» кажется чуждым и неудобным. Совсем иное значение он получает в глазах геохимика». Широта подхода Вернадского к проблеме отчетливо видна в последних фразах. И закономерно, что Вернадский как мыслитель не мог не сказать следующее: «Мысль человека никогда не остановится ни на понятии живого вещества, которое мы кладем в основу нашей работы, ни на том представлении о жизни как организованности, которое получает сейчас такое широкое проявление в биологии. Она будет искать научного объяснения, которого нет в этих терминах»⁴. (Разрядка всюду моя. — И. З.) Но как же тогда быть с утверждением самого Вернадского, что живое вещество как понятие «всецело охватывает объекты изучения биологии», сделанным в другой книге⁵? Мне кажется, что это объясняется психологическими обстоятельствами. Рукописи «Живое вещество» и «Размышления натуралиста» по времени написания разделены двумя десятилетиями, и за столь длительный срок Вернадский настолько привык к термину «живое вещество», что утратил первоначальное отношение к нему как к неудобному для биологов. Вернадскому принадлежит высказывание, что «глубокий философский и научный» подход к явлениям природы правилен лишь в том случае, если исследователь подходит к любому, пусть «самому незначительному явлению природы... широко и полно»⁶. Надо полагать, что этот принцип должен выдерживаться и по отношению к такому сложному планетно-космическому феномену, как жизнь, которая больше, чем живое вещество.

В относительно ранних работах Вернадскому случалось писать о биосфере не как о комплексной геологической оболочке, а только как о живой природе, и при этом он определял живую природу как смесь — смесь живых существ, смесь индивидуумов. Делалось это опять-таки для понятийного сближения живого вещества с неживой природой: «...для мертвой природы мы имеем всегда дело со смесями — механическими, минералогическими, физическими и химическими»⁷.

О мертвой природе сейчас речь не идет, но низводить живую природу, биосферу, до смеси организмов едва ли имелись основания и во времена Вернадского. Биосфера — система живых существ, находящихся в далеко еще не познанной, но все-таки реальной эволюционной и сиюминутной организованности. И такая система заведомо больше любой смеси — она обладает признаками целостности и потому, как говорят философы, суммативный подход к ней недостаточен, с методологических позиций прежде всего. Природа биосферы, подобно природе света, имеет и квантовые и вол-

⁴ Все цитаты взяты из книги В. И. Вернадский. Живое вещество. М. 1978, стр. 238, 223, 224.

⁵ В. И. Вернадский. Размышления натуралиста, кн. 2, стр. 14.

⁶ В. И. Вернадский. Живое вещество, стр. 238.

⁷ Там же.

новые характеристики, она дискретна и континуальна одновременно. Континуальна потому, между прочим, что ни один организм не может существовать не только вне связей с *кэной* природой, но и вне связей с другими организмами (не только своего вида, конечно). Многие глубинные свойства биосферы как системы еще просто не выявлены, другие лишь обозначены. На одном таком свойстве и на проблеме, затронутой Мочаловым, и необходимо сейчас остановиться — я имею в виду проблему идеального в природе, или, точнее, в биосфере.

Мочалов полагает, что я представляю себе идеальное, идеальные явления как «нечто сверхматериальное, или надматериальное». Это единственный момент в его статье, когда мне на манер футбольного арбитра захотелось показать нападающему желтую карточку, — недоразумение, право же, несложно рассеять. Широко известно положение диалектического материализма, что противоположность материального и идеального, физического и психического абсолютно в гносеологическом плане. Но «за этими пределами, — писал В. И. Ленин, — оперировать с противоположностью материи и духа, физического и психического, как с абсолютной противоположностью, было бы громадной ошибкой»⁸, и нет никакой фатальной неизбежности совершать подобную ошибку. Основной вопрос философии решен: материя первична, идеальное вторично. Но вторичное-то реально существует и потому может и должно быть предметом исследования. Да, Вернадский, как справедливо отмечает Мочалов, полагал, что сознание — высшая форма психических процессов, протекающих в человеческом мозге, но сознание и мир идеальных явлений, идеалей, отнюдь не одно и то же: они соотносятся как причина и следствие. С естественноисторической точки зрения сознание (как мышление) — материальный процесс, сопровождающийся биофизическими и биохимическими изменениями в нервных тканях, идущий с затратой (и немалой) энергии, приводящий пусть к слабому, но реально зафиксированному своеобразному электромагнитному излучению. Идеальное, понимаемое как природное явление, — продукт этого процесса: философские, научные, правовые, политические или художественные концепции, архитектурные проекты, отдельные мысли и отдельные образы, желаемое (а не действительное) в повседневной жизни — вот примеры этой продукции. Порожденные сознанием, они фиксируются теми же нервными тканями, памятью, традициями, словом, письмом, чертежами, красками, электромагнитными волнами (радио, телевидение) — они обретают свою самостоятельную жизнь, объективируются, овеществляются, образуя тот духовный, а в значительной степени и предметный мир, который наследуют поколения за поколениями, неизменно обогащая его. Образуют, короче говоря, тот мир идеального, вне которого человек разумный никогда не существовал и никогда не сможет существовать. Этот мир традиционно изучается философами, историками, правоведами, искусствоведами, литературоведами, психологами — изучается как гуманитарное явление. Но он еще и естественноисторическое явление — эволюционно вторичное, но огромное, охватывающее, насколько можно судить, разнообразно и полно все живое, а не только сферу человеческой деятельности, как полагал Э. Ильенков⁹, с которым мы обсуждали эту проблему с середины 50-х годов.

Некоторое недоумение у Мочалова вызвало включение мною в одну категорию идеального наряду с мыслями — инстинктов. Но, во-первых, мысли и инстинкты обладают общим фундаментальным свойством — способностью овеществляться, материализоваться во внешнем мире (постройки насекомых, птиц и т. п.). Во-вторых, в варианте с инстинктами все тоже четко соподчиняется: первичны физиологические факторы, приводящие инстинкты в действие, но сами инстинкты нематериальны. Скажем, половой инстинкт. Все знают, что у человека он проявляется в определенном возрасте, что стимулируют поиск партнера соответствующие гормоны, выделенные железами внутренней секреции. Вроде бы все физиологично, то есть сугубо материально. Но если иметь в виду не плотское влечение, а любовь в человеческом понимании, то все оказывается не так-то просто и только физиологической раскладкой тут не обойтись... Впрочем, феномен, который я имею в виду, был описан еще сто пятьдесят лет назад

⁸ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 18, стр. 259.

⁹ См. Э. В. Ильенков, «Проблема идеального» («Вопросы философии», 1979, №№ 6—7).

Стендалем и назван им кристаллизацией. Поводом для термина послужила способность насыщенных соляных растворов образовывать красивые кристаллы на любом камне или сухой ветке — они изменяются до неузнаваемости. По отношению к человеку можно говорить в таком плане не только о кристаллизации, но и об идеализации, а суть в том, что влюбленный или влюбленная помимо своей воли и вне прямой связи с физиологией начинают сотворять из «предмета» своего влечения образ прекрасной дамы или благородного рыцаря—создают идеальный образ, значительно превосходящий по своим достоинствам реальный предмет. Заключение брачного союза обычно и происходит в состоянии взаимной идеализации. А потом начинаются будни — и прекрасные кристаллы, превратившие сухие ветки в белоснежное чудо, опадают. И обе «веточки» оказываются в одной «вазе» такими, какие они есть на самом деле... За сим вовсе необязательно следует разочарование. Но исчезновение созданного фантазией идеального образа неизбежно приводит к переоценке ценностей. На этой стадии и происходят столь частые теперь разводы молодых супругов, что принято объяснять различными нравственными моментами. Но реален и такой аспект: идеальное свое дело сделало — сблизило молодых людей для продолжения жизни — и ушло со сцены. Наверное, над этим явлением стоит задуматься тем, у кого способность к кристаллизации постепенно замещается склонностью к нравоучениям: коварство идеального фактора ими явно недоучитывается.

..Одиночная оса-охотница в некий погожий день выбирается из норки, где она была сначала яичком, потом личинкой, потом куколкой. Она оказывается впервые (и ненадолго) в абсолютно незнакомом мире и прекрасно в нем ориентируется. Самое замечательное в том, что она точно «знает», какого именно сверчка или кузнечика ей нужно поймать (и в какой траве или кустах), чтобы продолжить свой род. Она не «помышляла» об этом сверчке ни на одной из предшествующих стадий развития, и вот только теперь... Конечно же, сработал физиологический механизм, но дальше началось запрограммированное идеальное: особенности поведения, поиск сверчка, образ которого мог передаваться генетически только в его идеальном виде... Еще сложнее процесс генетической передачи строительных инстинктов у коллективно живущих насекомых. Конечно, там тоже действуют пусковые механизмы. Но как, минуя идеальное, объяснить, скажем, способность термитов коллективно наследовать «чертежи» своих гнезд и реализовать, о веществовать их в виде архитектурных сооружений: в Центральноафриканской Республике, например, они имеют вид шляпочных грибов, а в Уганде похожи на готические соборы.

Теперь всем известно про генетический код, известно, что запись наследственных признаков принципиально одинакова для всех живых существ, — это фундаментальное и в то же время интимное свойство жизни и утвердило окончательно понимание биосферы не как смеси или суммы организмов, а как системы, им и определяется прежде всего единство этой системы.

Генетический код идеален по своей природе в том смысле, в каком идеальны мысли и образы в книгах, несмотря на материальность переплета, бумаги и типографской краски (бумага и краска могут быть сколь угодно различными, но Гамлет останется Гамлетом, а Каренин Карениным). Во всяком случае, в таком плане можно и нужно рассмотреть проблему генетического кода, не предрешая заранее результата: фантастическая способность генов хранить и передавать колоссальную информацию уже сама по себе требует нестандартного подхода. Вероятно, нелишне будет вспомнить следующую мысль Вернадского: «... в науке впервые научно прочно стал вопрос: охватывает ли пространство-время всю научную реальность? Или могут быть научно охвачены и есть явления вне времени и вне пространства»¹⁰. Вернадский полагал, что к таким явлениям относятся кванты. Но с этой же точки зрения могут быть рассмотрены и идеальные явления как в интимном, так и в общечеловеческом или общебиосферном проявлении — рассмотрены, в частности, в их специфическом соотношении с пространством и временем. «Философская обработка реального пространства определенного строения, — писал, между прочим, Вернадский, — пространство натуралиста и замена им вошедшего в философскую и метафизическую

¹⁰ В. И. Вернадский. Размышления натуралиста, кн. 1, стр. 38.

мысль пространства геометра является основной задачей нашего времени»¹¹. (Разрядка моя. — И. З.)

И последнее. В литературе довольно часто выражается тревога за сохранность генетического фонда планеты — всего многообразия окружающей нас жизни. Производственная деятельность ныне действительно оказывает влияние на всю биосферу. Общие же понятия в субъективном плане несколько обезличивают жизнь. Наверное, в этой ситуации всем нам чаще, чем о живом веществе, следует вспоминать о живых существах, чтобы не растратить необдуманно богатство, доставшееся нам от прошлых эпох. Утраченное не восстановишь.

Среди возможных оценочных критериев в науке есть и такой — степень еретичности. Напомню, что у античных натурфилософов ересь означала и научное направление и свободу выбора. В книге Мочалова о Вернадском сказано, что «в нем гармонически слились в единое целое разносторонность и глубина Ломоносова, психологизм Толстого, монументальный героизм Бетховена»¹². Что ж, хвалить так хвалить. Для меня лично Вернадский был и останется Великим Еретиком, ибо творчество его редкостно богато новыми научными направлениями и предоставляет последующим поколениям ученых редкостную же свободу выбора — иначе говоря, свободу поиска, основанного и на трудах самого Вернадского. Эти обстоятельства исключают какую бы то ни было его канонизацию. И предполагают свободу дискуссий сколь угодно острых — и с самим Вернадским и с исследователями его творчества.

И. ЗАБЕЛИН.

В. И. Вернадский в настоящем и будущем

Вклад В. И. Вернадского в мировую науку огромен. Сам процесс развития его научной мысли, его «логики естествознания» отмечен такой самобытностью и глубиной, что несомненно может считаться явлением исключительным в истории естествознания, а целеустремленность и сосредоточенность всей его долгой жизни на опережающих путях развития естествознания и вклад в мировую науку настолько выдающиеся, что дают основание выделить личность В. И. Вернадского как личность гениальную. Несомненно, прав И. Мочалов, который в своей книге сравнивал «масштабность научного мировоззрения» В. И. Вернадского с размахом творчества гения русской науки XVIII века М. В. Ломоносова. Пройдет время, вклад Вернадского в отечественную и мировую науку по праву займет равное место с наследием таких классиков естествознания, как Ньютон, Дарвин и Эйнштейн.

Гениальность ума Вернадского проявилась не только в том, что, изучая природные явления, он в течение всей своей жизни продолжал расширять свое видение мира и стал первооткрывателем и организатором многих новых наук и научных направлений, но и в том, что он смог объединить колоссальное количество найденных фактов, многочисленные достижения мировой науки в единое естественноисторическое полотно — от явлений молекулярных до планетарных и космических, от появления жизни на Земле до планетарного значения живого вещества, естественного и социального преобразования планеты и научной мысли как планетного явления. Работы Вернадского действительно стали в истории науки крупнейшим событием, знаменующим, по гениальному предвидению К. Маркса, эпоху, когда естествознание и наука о человеке станут одной наукой. Законы естественноисторические и социально-исторические, проникая друг в друга, находят в работах Вернадского свое место в более широких, всеохватывающих законах развития органического мира нашей планеты и населяющего ее человечества. В работах Вернадского завершается и первый этап развития наших представлений о связи всего земного с явлениями и процессами космического масштаба. Изучение научного наследия Вернадского началось сравнительно недавно и в значительной мере оно дело будущего. За последние годы многие работы ученого переизданы и опубликованы

¹¹ В. И. Вернадский. Размышления натуралиста, кн. 1, стр. 17.

¹² И. И. Мочалов. В. И. Вернадский — человек и мыслитель. М. 1970, стр. 175.

впервые, на крупных научных форумах в нашей стране и за рубежом, в различных учреждениях, в печати все шире освещаются разные стороны наследия Вернадского, начаты углубленные исследования его материалистических философских воззрений, логики и диалектики его мышления (И. И. Мочалов, Б. М. Кедров, К. П. Флоренский, И. В. Кузнецов). Разговор, возникший на страницах журнала «Новый мир», с участием таких известных исследователей-натуралистов, как И. М. Забелин и И. И. Мочалов, — заметное событие в изучении мировоззрения Вернадского. Символичны и названия дискуссионных статей. Эти работы написаны с глубоким пониманием проблем, убежденностью и ярким полемическим стилем. Это естественно, так как одна из главных работ Вернадского, которая стала на этот раз предметом обсуждения — «Размышления натуралиста», — опубликована впервые только в 1975—1977 годах и отражает наиболее интересные и глубокие мысли ученого, характеризующие его как естествоиспытателя и мыслителя широких и подчас оригинальных материалистических философских воззрений. Это видно и из подзаголовков двух книг, объединенных заглавием «Размышления натуралиста», — «Научная мысль как планетное явление» и «Пространство и время в неживой и живой природе». Что же привлекло наибольшее внимание в этих работах и явилось предметом интересного научного спора?

Прежде всего вопросы соотношения материального и идеального. И тот и другой исследователь подчеркивает в мировоззрении Вернадского позиции естествоиспытателя-материалиста. Это несомненно. Более того, его материалистическое мировоззрение находит диалектическое развитие, когда он, не отрицая идеального в обобщающих представлениях о неделимых отдельных организмах, о живом едином веществе и далее — биосфере, прежде всего исследует и вскрывает объективную диалектику его развития («объективную логику в естествознании», как говорил он сам) и анализирует биосферу, живое вещество и его взаимодействие с косным как эволюционно новую планетарную геологическую силу. Силу материальную по своей сути, постепенно развивающуюся и отражающую в своем развитии более глубокие ее взаимодействия и зависимость от планетарно-космических процессов.

Далее вопросы идеального и материального наиболее ярко отражаются в его широком обобщении, основной смысл которого обозначен в подзаголовке записок натуралиста, той книги, которая по замыслам Вернадского должна была стать частью его обобщающей «книги жизни». Здесь он поднимается до величайшего обобщения. Мысль человечества в ее возникновении и развитии предстает перед нами в представлении Вернадского как новое планетарно-космическое явление. Свойства этого взаимодействия идеального начала мысли с окружающей живой и неживой природой делают ее величайшей всепобеждающей силой. Силой, которая отражает в себе и социальные и естественноисторические законы развития, и прогресс, который не одолим никакими социальными и природными вмешательствами. Отсюда величайший оптимизм Вернадского во всех важнейших вопросах: убежденность овладения человеком новыми источниками энергии (в том числе атомной), перерастание биосферы в ноосферу — такое состояние планеты, где общество будет иметь все условия свободного демократического развития, ближайшие перспективы завоевания космоса, поиски космических форм жизни на других планетах, неодолимость победного искоренения таких социальных катаклизмов, как войны. Не случайно последняя работа Вернадского, опубликованная в 1944 году, за несколько месяцев до его смерти, звучит как великое торжество человеческого разума и убежденность в победе над реакционными силами фашизма — силами, противными не только социальным законам исторического развития, но и всеобъемлющим законам планетарно-космического процесса — развития ноосферы. Здесь сливаются воедино в мыслях Вернадского социальное и естественное, идеальное и материальное — формируются пути дальнейшего бесконечного научного развития научной картины мира. Здесь он, как естествоиспытатель, приближается к пониманию истории человечества в истинно марксистском видении построения коммунистического общества. Несомненно правы оба оппонента, и Забелин и Мочалов, в оценке этих основных вопросов в мировоззрении Вернадского. Что же касается очень интересных высказываний Забелина о диалектике, возможных путях эволюции и о механизмах в соотношении идеального и материального, высказываний, в которых постулируются черты идеального в генетических структурах живых организмов, его сетований о том, что Вернадский якобы не увидел этапы эволюционизма как кристаллограф,

то все это уже лишь попытки творческого, собственного видения желаемого в трудах и мыслях Вернадского. Это как раз та специфическая ткань идеального и материального мира, биосферы, закономерности существования и развития отдельных организмов, неделимого живого вещества, непосредственно которыми Вернадский, как естествоиспытатель, по существу, и не занимался.

Изучение геохимии и биогеохимии, а также радиобиологии позволило Вернадскому сделать значительно более глубокие и широкие обобщения в проблемах идеального и материального. Попытка Забелина увидеть в работах Вернадского подтверждение своих мыслей естественна, и его собственное предположение о путях развития естествознания и такой науки, как география, несомненно полезно сегодня. Сказанное в равной мере относится и к попыткам Забелина по-своему трактовать понятия ноосферы, которую он в согласии с Вернадским расценивает как эволюционно новую стадию планетной эволюции, но считает в изложении Вернадского ограниченной, суженной. В настоящее время, вероятно, еще рано, не имея достаточно новых фактов, пытаться «исправить» несомненно глубоко обоснованное Вернадским это обобщающее понятие естественноисторического периода развития планеты в масштабах планетно-космических закономерностей и тем более проводить параллели в этом аспекте между учением материалиста Вернадского и идеалистическими по своей сути идеями Тейяра де Шардена.

Далее авторов статей занимают вопросы диалектики, историзма, эволюционизма в трудах Вернадского. Рассматривая эти вопросы, Забелин очень интересно и стройно освещает последовательность развития мысли Вернадского. Сами названия отдельных разделов его статьи отражают это. Все-творчество и мировоззрение великого ученого отличаются тем, что, оставаясь материалистом на всех уровнях исследований, он пытался на основании твердых научных фактов, как он утверждал — «эмпирическим путем», вскрыть, увидеть диалектику вещей, диалектику естествознания. Он восстает против идеалистических тенденций в науке, против мистики, идеалистических философских течений в истории естествознания и науки своего времени. Диалектика мысли, умение увидеть взаимопереходы, единство и борьбу противоположностей, переход количества в качество, единство формы и содержания, наконец, бесконечность движения материи, взаимосвязь идеального и материального позволили ученому построить грандиозную картину эволюции нашей планеты, становления жизни, ее планетарную и космическую масштабность, увидеть живое вещество как новую геологическую силу в эволюции планеты и человеческую мысль как отражение материальных неодолимых прогрессивных сил планетно-космического развития.

Вряд ли можно согласиться с отрицательной оценкой Забелиным целесообразности и научной ценности такого обобщения в работах Вернадского, как учение о живом веществе и выделение этого понятия. Вернадский был далек от того, чтобы исключить из этого понятия свойства жизни. Наоборот, введение этого понятия отражает новый уровень видения биологического мира, отличный от общепринятых важных обобщений в работах биологов, и открывает новые возможности познания и управления биосферными процессами. Укажем, что учение о живом веществе и биосфере сегодня стало теоретической основой прогрессивных исследований в таких новых направлениях науки, как глобальная экология, экология человека, и других.

Далее нам хотелось сказать о том, чего незаслуженно не коснулись оба оппонента в этом споре. Вернадский в своей диалектике, в естественноисторических построениях, подходит к диалектике появления и развития ноосферы — того состояния планеты, которое должно существовать после глобального построения коммунистического общества. В его мировоззрении получает свое естественнонаучное развитие крупнейшее ленинское учение об отражении в природе и о неисчерпаемости материи. Диалектика процессов теории отражения в ленинском представлении находит в работах Вернадского новое, глубочайшее развитие. Это прежде всего выявление взаимосвязей косного и живого вещества, механизмов этих взаимосвязей, их развития, взаимосвязи биосферы и космических процессов и далее анализ такого феномена природы, как возникновение и развитие человеческой мысли, отражение окружающего мира в процессе творчества и труда, постепенное превращение человеческой мысли в планетарное и космическое явление с ее всепоглощающей неодолимостью развития. В пред-

ставлении Вернадского не только человеческая мысль есть идеальное отражение объективной диалектики мира, но и преобразование планеты, освоение космического пространства силой человеческого ума суть отражение идеального в материальном. Такова диалектика взаимосвязи, взаимопроникновения идеального и материального, что и составляет суть представлений Вернадского о ноосфере. Укажем в то же время, что многие другие вопросы диалектики в мировоззрении Вернадского нашли свое интересное раскрытие в статьях Забелина и Мочалова. Заметим, что эта часть наследия Вернадского хорошо показана в специальных работах Мочалова.

В попытках истолковать некоторые стороны мировоззрения Вернадского в статьях Забелина оригинальны его стремления дополнить Вернадского; однако заметим, что в работах Вернадского, его наследии, конечно, содержится неисчерпаемый источник знаний и более важно, как утверждает сам Забелин, прежде всего исследовать это наследие великого ума, а не пытаться в свете своих интересных и весьма оригинальных мыслей искать у Вернадского их подтверждение.

Наконец, такие важнейшие вопросы в мировоззрении Вернадского, как построение научной картины мира, пути и методы научного предвидения, пути развития взаимосвязи науки и практики, пока еще не нашли достаточного отражения в работах о его наследии. Между тем уже в работах конца XIX — начала XX века, в своей научной деятельности, в развитии своих научных убеждений и мировоззрения Вернадский ставит и рассматривает эти вопросы на новом уровне. Это относится не только к научным обоснованиям исследований природных богатств России. Это и перспективы поисков полезных ископаемых на основании биогеохимических закономерностей, это пути использования в интересах человечества радиоактивной энергии, поиски новых критериев измерений геологического времени, исследования закономерностей симметрии в атомно-молекулярном мире, мире ньютоновского пространства и космосе, мысли о пространственно-временных особенностях симметрии земных и космических явлений. Это и попытки найти единые методы измерений природных богатств, и работы о значении рассеянных элементов в земной коре и биосфере и о закономерностях этого рассеивания, об энергетике геодинамических и биосферных процессов. Наконец, об эволюции планетной оболочки биосферы в ноосферу и возможности проникновения человека в космос. Остаются неисследованными и еще недостаточно привлекают внимание важнейшие идеи ученого об автотрофности человечества — нового в истории биосферы явления, которое уже охватывает современное человечество; синтез новых веществ для предметов техники, быта, лекарственных препаратов и компонентов питания неудержимо развивается и входит в повсеместную практику. Весь научно-технический прогресс, отражая фундаментальные законы планетарного и планетарно-космического масштаба, как раз и несет в себе реализацию гармонии человечества и природы, их развития. Автотрофность человечества есть одна из прогрессивных особенностей мировой истории.

Вряд ли нужно касаться сейчас многих очень интересных мыслей участников разговора в раскрытии особенностей и глубины мировоззрения нашего великого соотечественника. Многие из них лишь начали раскопок в «помпех гениального ума» Вернадского. Несомненно одно — что внимание к таким исследованиям все возрастает и высказанные здесь точки зрения имеют и будут иметь важнейшее значение в этом благородном деле.

Наше видение Вернадского для науки и практики во многом лишь начинается. Тем, кто делает первые шаги, тем более трудно, и оценивать их усилия, оглядываясь назад, конечно, легче. Мы хотели бы лишь пожелать скорейшего широкого развития таких исследований во имя отечественной и мировой науки, торжества человеческого разума, который, по словам Вернадского, преодолет все трудности на своем пути и достигнет планетарного, самого демократического и исторически неизбежного уровня развития, уровня ноосферы, при построении коммунистического общества.

В. П. КАЗНАЧЕВ,
академик АМН СССР.

А. Л. ЯНШИН,
академик.

ВНАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО...

Вспоминается примечательный факт из русской истории. В 1723 году, после замечательных побед, одержанных молодым российским флотом над именитым и могущественным противником — шведами, Петр I устроил парад. Многопушечные корабли салютовали дедушке русского флота — щедедушному ботику, на борту которого Петр когда-то, в дни своей юности, познавал мореходную «забаву» и азы морской науки. Государева церемония была исполнена воспитательного духа. Она возвращала к началам, учила уважать скромные истоки, без которых не было бы славных свершений...

Среди памятных дат и юбилеев есть разные по своей общественной значимости и популярности, но каждая может быть поводом для размышлений.

В 1981 году исполняется 225 лет отечественному университетскому книгоизданию. Издательство Московского университета сегодня играет очень важную роль в выпуске научных монографий, учебников и учебных пособий, справочников, словарей и т. п. Можно представить себе, как за миллионами изданных и издаваемых в нашей стране книг вырастают контуры «многопушечных кораблей» — крупных издательств — с надписями на бортах: «Политиздат», «Советский писатель», «Художественная литература», «Наука», «Молодая гвардия», — а мимо них проплывает не бог весть какое судно не кичась, но и не теряя достоинства, и имя ему — типография Московского университета. И хотя этот «ботик» ведет свое летосчисление не прямо из петровских времен, но начал он свой путь на волне петровских преобразований. И пусть не все, но много хорошего начиналось и началось с него в русской культуре.

Сенатский указ марта 5 дня 1756 года гласил: «...оному Московскому университету учредить типографию и книжную лавку, в которых происходимые университетских писателей сочинения и переводы печататься и продаваться в пользу общую могут». Развитие просвещения в России в течение XVIII и XIX веков немыслимо без решающего участия университетского печатного станка. Отсюда русское юношество получает учебные книги и ученые труды (учебник по химии, первая итальянская грамматика на русском языке, немецкая, французская и латинская грамматики, книги по географии и геологии, физике, математике, астрономии). Однако университетский печатный станок с самого начала своего существования служил не только для развития науки и образования, но был и важнейшей опорой русской культуры в самом широком смысле этого слова. В университетских изданиях русский читатель впервые встретился с произведениями Сервантеса, Апулея, с сочинениями выдающихся европейских писателей, с трудами энциклопедистов. С университетской типографией связаны имена русских писателей, замечательные российские книги, страницы отечественной периодики. Некоторые факты этой связи общеизвестны, другие, правда, менее значительные, ведомы лишь специалистам-гуманитариям, третьи хоть и известны, но, кажется, не оценены полностью.

М. М. Херасков... Далеко не каждый даже достаточно культурный читатель настоящему знает сейчас это имя. А в свое время общественная и литературная популярность Хераскова была очень значительна, и надо сказать, что дело, врученное ему судьбой, он сделал как должно.

В. Г. Белинский, ставя Хераскова в ряд литераторов, лишенных подлинного художественного гения, вместе с тем с уважением отмечал: «...эти трудолюбивые люди своей деятельностью [...] размножали на Руси книги, а через книги — читателей, распространяли в обществе охоту и страсть к благородным умственным наслаждениям литературою и театром...»

В ведении Хераскова с момента основания Московского университета находились учебная часть, студенческие дела, библиотека, позже типография. В университете публикуются сочинения М. М. Хераскова, например его трагедия «Венецианская монахиня» (1758), примечательная тем, что речь в ней шла не о героях-венценосцах, полководцах, а о частных людях, ставших жертвами не великого рока, а религиозных традиций и жестоких человеческих установлений.

Энергичный, находившийся в расцвете сил «ревнитель просвещения и искусства», М. М. Херасков сумел сплотить вокруг себя других молодых литераторов и стал ор-

ганизатором ряда печатных изданий, обретших жизнь в типографии Московского университета. В 1760—1762 годах в университетской типографии под руководством М. М. Хераскова выходит первый в России литературный журнал «Полезное увеселение». Само название журнала говорит о стремлении его авторов и вдохновителей сочетать приятное с полезным. Первые два года журнал выходил еженедельно, последние полгода помесечно. Чуть позже предпринято издание журналов «Свободные часы» (1763) и «Доброе намерение» (1764). Почин Хераскова в практике университетской типографии XVIII века приобретает широкий размах. С университетского печатного станка сходят первые (!) в России: сельскохозяйственный журнал «Сельский житель, экономическое, в пользу деревенских читателей служащее, издание», журнал для женщин «Модное ежемесячное издание, или Библиотека для дамского туалета», журнал для детей «Детское чтение для сердца и разума» и т. д. С 1790 года начинается издание «Политического журнала, с показанием ученых и других вещей». Годом позже выходит в свет журнал «Чтения для вкуса, разума и чувствований», которым открываются литературные «Приложения» к «Московским ведомостям», газете, также издававшейся в университетской типографии.

Подавляющему большинству из этих журналов было суждено весьма краткое существование. Не хватало опыта, зачастую просто не доставало материала, и все же в них вырабатывались формы и принципы периодики, манера обращения к читателю.

По настоянию Хераскова, по его «протекции» аренда на университетскую типографию передается в руки Н. И. Новикова. Новиков переезжает из Петербурга в Москву. И для университетского печатного станка начинается славное (новиковское!) десятилетие. Сплотив вокруг себя так называемое «Дружеское ученое общество», Новиков превращает университетскую типографию, переживавшую к концу 70-х годов XVIII века некоторый упадок, в двигатель мощной книгоиздательской и просветительской организации. Один за другим выпускает он журналы «Утренний свет», «Московское ежемесячное издание», «Вечерняя заря», «Покоящийся трудолюбец». Отличающиеся по своей интонации от издаваемых им ранее в Петербурге сатирических журналов, эти рожденные на московской почве издания продолжали основную гуманистическую линию всей новиковской деятельности. По-настоящему популярной и интересной газетой становятся «Московские ведомости». Тираж ее доходит до 4 тысяч — цифра весьма значительная для XVIII века. В 1782—1786 годах Новиков организует издание приложения к «Ведомостям» «Городская и деревенская библиотека». Он стремится распространить «благодетельный свет» культуры на провинцию, найти своих читателей-единомышленников в среде деревенских грамотеев, затерянных в российской глуши. «Типографическая компания», созданная под руководством Новикова в 1784 году на основе прежнего «Дружеского ученого общества», еще более расширяет масштабы его деятельности. Итоги арендаторства — десятки книг, переводы произведений виднейших европейских писателей, мыслителей, философов, произведения отечественной литературы. Начиная уже с 1784 года издательская деятельность Новикова подвергается правительственным репрессиям. Не дожидаясь окончания десятилетнего срока аренды университетской типографии, Екатерина II воспрещает возобновлять соглашение об аренде с Новиковым или с кем-нибудь из его «Типографической компании». И наконец, когда страх перед свободным словом и ненависть к выдающемуся просветителю, приобретавшему все больший общественный авторитет, превзошли все пределы, Екатерина нанесла удар, не угруждая себя поисками пристойного юридического повода. По ее приказу Новиков был арестован, подвергнут допросу и суду, обвинен во всех политических и гражданских грехах, приговорен к смертной казни и взыскан помилованием — заточением в Шлиссельбурге на пятнадцать лет.

Новиков вышел из крепости через четыре года, после смерти Екатерины, больным и обреченным на бедность человеком. Его дело было разгромлено, книжные лавки в разных городах упразднены, сотни, тысячи изданных им книг запрещены, уничтожены, сожжены. Но слово было сказано! Русский читатель немалую долю своего образования и гражданского воспитания воспринял именно из новиковских изданий, а о примере его просветительского подвижничества вспоминали еще десятилетия спустя.

С университетским печатным станком связано имя П. И. Богдановича, автора знаменитой в свое время «Душеньки». Целиком эта поэма была опубликована в 1783 году, но первая ее часть — «Душенькины похождения» — вышла в свет в 1779 году в Московском университете. Еще в 1816 году Батюшков говорил о «Душеньке»: «Стихотворная повесть Богдановича — первый и прелестный цветок легкой поэзии на языке нашем, ознаменованный истинным и великим талантом». А потом, когда появится пушкинская поэма «Руслан и Людмила» и литературные старожилы и консерваторы будут нападать на нее за «простонародность» (или за «народность»!), те, кто встанет на защиту молодого Пушкина, вспомнят о Богдановиче, обратятся к его авторитету — ведь у него в «Душеньке» «греческая (!) царевна плачет как дура [...] называет дракона Змеем-Гориничем, чудом-юдом!» «Душенькины похождения» были напечатаны в 1779 году анонимно. Включая позднее рассказ о похождениях героини в целое поэмы как ее первую часть, Богданович редактировал, доводил свое творение до совершенства, но вместе с тем по ряду причин старался освободить текст первой части от сатирических и наиболее смелых вольностей. Так что университетский вариант «Душеньки» самый отчаянный и задиристый по характеру в сравнении с иными редакциями.

...В XIX веке многообразная деятельность университетского печатного станка также включает факты, важные для судеб русской литературы и журналистики.

Профессор Московского университета Н. И. Надеждин, арендуя университетскую типографию, начинает в 1831 году издание журнала «Телескоп» и газеты «Молва». В этих изданиях состоялся дебют молодого Белинского. В 1834 году в десяти номерах «Молвы», с 21 сентября по 29 декабря, публикуются яростные по своему максимализму и новизне «Литературные мечтания» Белинского. В короткий срок на страницах «Телескопа» напечатан ряд крупных статей Белинского, среди которых статья «О русской повести и повестях г. Гоголя», которой принадлежит важная роль в утверждении принципов реализма и народности в русской литературе и критике.

Критическая деятельность Белинского на страницах «Молвы» и «Телескопа» была прервана событием, за которым, в свою очередь, закреплено особое место в контексте 30-х годов XIX века в России. За публикацию в № 15 «Телескопа» за 1836 год «Философического письма» Чаадаева журнал был закрыт, Н. И. Надеждин отправлен в ссылку, а цензор, допустивший печатание столь крамольного «письма», подвергнут суровой опале.

...В течение нескольких лет Тургенев мечтал о выпуске «Записок охотника» отдельной книгой. Однако в первое время после европейской революции 1848 года, в атмосфере ужесточившихся преследований всякого вольного слова, свободной идеи, такая публикация была просто невозможна. 21 апреля 1850 года Николай I утвердил специальную докладную записку министра народного просвещения по главному управлению цензуры, которой предусматривалось недопущение к изданию «сочинений, в которых изъясляется сожаление о состоянии крепостных крестьян, описываются злоупотребления помещиков или доказываются, что перемена в отношениях первых к последним принесла бы пользу». Такая «записка» «не ведая» была прямо по тургеневской книге. Тургенев и его друзья и сподвижники решили добиваться публикации книги, не нарушая официальных установлений, но используя неофициальные пути. Н. Х. Кетчер поначалу отдает рукопись «Записок охотника» цензору князю В. В. Львову и заручается именно неофициальным его одобрением. Затем 28 февраля 1852 года Кетчер уже по всем правилам представляет книгу И. С. Тургенева в Московский цензурный комитет. Теперь уже В. В. Львов дает официальное разрешение на печатание отдельного издания «Записок охотника» в университетской типографии. 5 марта 1852 года дана виза на набор первой части книги, 6 марта — второй, 10 марта рукопись поступила в типографию, а к 10 мая печатание книги было закончено. А Тургенев... Тургенев был арестован 16 апреля. Поводом для ареста послужила статья Тургенева памяти Н. В. Гоголя (опубликованная, кстати сказать, на страницах «Московских ведомостей», то есть также под знаком университета), а основой — явно недоброжелательное отношение правительственных верхов к прогрессивному писателю.

Университетская типография причастна и к появлению шедевра русской литературы — поэмы «Мертвые души» Н. В. Гоголя. Известно, что публикационная судьба

гоголевской книги складывалась непросто. Московская цензура не пропустила рукопись. При рассмотрении она была отвергнута дважды (!): в силу того, что «души» у автора мертвые, а в согласии с христианским учением душа бессмертна, и потому что после разъяснения, что автор-де имеет в виду «ревизские души», возникло подозрение — а не против ли он крепостного права? Гоголь решает попытать счастья в Петербурге. «Января около 10» 1842 года Гоголь в Москве встречается с Белинским. Это свидание Гоголь устраивает втайне от своих московских друзей. Прощаясь с Белинским, Гоголь вручает ему рукопись «Мертвых душ» для отдачи ее на рассмотрение в санкт-петербургский цензурный комитет. 9 марта 1842 года цензор А. В. Никитенко подписывает к печати рукопись «Мертвых душ». Правда, текст поэмы подвергнут цензурному вмешательству, к тому же Никитенко вставил красными чернилами добавление, исказившее заглавие поэмы: «Похождения Чичикова, или... (Мертвые души)». Рукопись «Мертвых душ» возвращается в Москву. Ныне она хранится в Научной библиотеке Московского государственного университета. Рукопись в переплете с кожаным корешком, на котором вытиснено: «Гоголя Мертвые души». Форзац чистый, на первой странице рукой Гоголя: «Мертвые души. Поэма Н. Гоголя». Внизу его же рукой: «Печатать на моей бумаге 2400. Деньги сто рублей в задаток положил. Н. Гоголь». Тогда, весной 1842 года, рукопись поступила в типографию Московского университета. Корректуры держал сам Гоголь. В то время как книга набиралась в типографии, Гоголь рисовал обложку для нее, с этой обложкой книга и вышла. День ее выхода в свет — 21 мая 1842 года. В хронике «Отечественных записок» № 6 за 1842 год Белинский отмечал, что «в сравнении с этим творением все, доселе написанное Гогодем, кажется бледно и слабо...».

В течение нескольких десятилетий во второй половине XIX века аренда университетской типографии принадлежит М. Н. Каткову. Превращение М. Н. Каткова из либерала в воинствующего реакционера не могло не сказаться на результатах деятельности университетского печатного станка. И все же в сложной судьбе университетского книгоиздания второй половины XIX века безусловно есть факты, имеющие право на уважение и благодарную память.

В ноябре 1864 года Л. Н. Толстой продает в «Русский вестник» — журнал, редактируемый М. Н. Катковым и печатаемый в типографии Московского университета, — свое новое сочинение под названием «Тысяча восемьсот пятый год». Это первая часть будущей великой эпопеи «Война и мир». Будущей, потому что впереди несколько лет работы, два «перелома» — в 1865 году, когда замысел осложнится, по словам Толстого, «романом Александра и Наполеона», и в 1867—1868 годах, когда Толстой перейдет к эпохе 1812 года. Будущей, потому что нет еще в книге ни философских, ни военно-теоретических глав, нет еще и самого всеобъемлющего названия «Война и мир».

Первая публикация вызвала самые разные отклики. 18 февраля 1865 года П. Анненков писал Тургеневу: «„Русский вестник“ напечатал начало романа Л. Толстого: 1805 год — изумительное по подметке бесконечно малых и по картине нравов, а еще больше, что ничего из этого не выходит в сущности...» В сущности, вышла книга, равной которой, может быть, и нет. Начало ее также отмечено знаком университетского книгопечатания

Михаил ШЛАИН.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Н. К. ГЕЙ,
доктор филологических наук



ЦЕЛОСТНОСТЬ КУЛЬТУРЫ, СОДРУЖЕСТВО НАУК И ИСКУССТВ

1

Искусство существует тысячелетия наряду с другими формами общественного сознания, сколь бы ни были многочисленны прогнозы и декларации насчет его преходящего существования. Вечность его — лучший аргумент в пользу самостоятельного, особого и незаменимого значения художественного освоения мира. Традиционное противопоставление науки и искусства, точных наук гуманитарным несомненно пережило себя и выглядит сегодня глубоким анахронизмом. За последние десять — пятнадцать лет особенно много сделано для серьезного теоретического осмысления закономерностей развития искусства и науки в условиях НТР, существеннейших проблем, возникающих на стыке художественного и научного сознания¹. Широким фронтом идет изучение процессов, психологии художественного творчества, путей взаимообогащения научного и художественного сознания, «точных» и образных интерпретаций мира и человека. Только в самое последнее время вышли такие не-

безынтересные работы, как сборники «НТР и развитие художественного творчества» и «Психология процессов художественного творчества» (оба изданы в Ленинграде, 1980). Чуть раньше — сборники «Содружество наук и тайны творчества», «Художественное восприятие», «Художественное и научное творчество», «Творческий процесс и художественное восприятие», «Методологические проблемы современного искусствознания». Характерная черта большинства этих работ — стремление смело связывать разные линии и аспекты мысли, сопрягать смежные научные дисциплины, а в искусстве утверждать «далекие» взаимосвязи и взаимодействия между различными родами и жанрами, а также и видами искусств. Это стремление — одно из существеннейших и чрезвычайно показательных для современного развития культуры, науки и искусства. Причем главное в этом сопряжении не «суммативность», не относительность и плюрализм, но органический синтез, комплексность и системность как необходимейшие предпосылки постижения наиболее существенных общих закономерностей современного развития научного и художественного сознания. Видимо, это имеет в виду и академик П. Н. Федосеев, когда утверждает: «Только на основе комплексного, синтетического подхода к оценке НТР в неразрывной связи с коренными социальными процессами можно адекватно определить ее сущность и историческое значение»².

¹ Назовем хотя бы некоторые работы этого плана: «Искусство и научно-технический прогресс» (1973); Гулыга А. В., «Искусство в век науки» (1978); «Искусство и точные науки» (1979); Митрофанов А. С., «Кибернетика и художественное творчество (Философские проблемы кибернетического моделирования)» (1980); Пенкин М. С., «Искусство и наука. Проблемы. Парадоксы. Поиски» (1978); Петров Л. В., «Массовая коммуникация и искусство» (1976); Савранский И. Л., «Коммуникативно-эстетические функции культуры» (1979); «О прогрессе в литературе» (1977).

² П. Н. Федосеев, «Социальное значение НТР» («НТР и развитие художественного творчества». Л. «Наука». 1980, стр. 5).

Итак, рассмотрение отдельных аспектов и специальных вопросов современного научного и художественного творчества неразрывно связано с общим характером общественных и социальных процессов, с общей идеологической и культурной ситуацией в мире, и только с учетом этих сторон дела, собственно говоря, и возможно понимание, как и чем обогащается духовная жизнь человека в эпоху НТР, каким образом интеллектуализуются многие области деятельности людей.

Но современная эпоха сложна, дают о себе знать и процессы стандартизации и иные упрощения сложных явлений культуры. Все это неоднозначно сказывается на формировании личности. «В бурных процессах НТР,— пишет Даниил Гранин в статье «НТР и личность» из того же сборника,— для нас, писателей, наиболее интересны открытие противоречий, приобретения и потери, переживаемые человеком, и вся та мучительная диалектика проблем творчества, проблем личности, нравственных проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня».

Мучительная диалектика — очень меткое определение! Оно имеет в виду и подлинно сказочные, поистине фантастические по сути своей возможности, открывающиеся перед современной наукой и техникой, и одновременно негативные их потенции, сопряженную с их властью и размахом реальную опасность для природы и человечества. Неизбежно встает вопрос о том, в чьих руках оказались эти научные открытия и технические достижения, на службу каким интересам и целям они поставлены.

Нельзя также забывать о разнонаправленных тенденциях в освоении новых технических возможностей в сфере самой культуры ее восприятия массовой аудиторией. С одной стороны, это могучее средство воспитания богатого, гармонического, всесторонне развитого человека, а с другой — при определенных условиях это средство, способствующие появлению такого «делового» человека, который уверен, что знания заменяют культуру, а многообразие мира — лишь удобный предмет для научных исследований и ничего больше. Тут действительно ветке сирени не останется места ни в космосе, ни в сердце человека...

Мучительная диалектика завоеваний и потерь как никогда остро ставит извечные вопросы о смысле человеческого бытия, о том, что такое «я», что такое человеческое счастье и т. д. Решение и осмысление та-

кого рода проблем невозможно без актуализации всего культурного наследия, накопленного человечеством. И тут-то и выдвигается на первый план вопрос о месте и значении искусства в формировании нового человека. Перед искусством возникает всемирно-историческая задача показать в ярких художественных образах подлинное духовное богатство человека эпохи НТР.

«От искусства, от его идейно-художественной зрелости,— считает А. Г. Егоров,— в решающей степени зависит общий уровень эстетической культуры общества... художественная культура — ядро эстетической культуры. И потому, что искусство наиболее полно выявляет эстетические отношения человека к действительности. И потому, что оно, представляя собой важнейшую сферу выражения общественно-эстетического идеала, раскрывает будущее эстетической культуры общества. И потому еще, что оно формирует саму способность художественно-образного мышления. Тенденция к сближению, более тесному взаимодействию искусства с другими видами эстетической деятельности лишь подтверждает этот вывод: взаимопроникновение, углубление связей различных сфер и форм эстетических отношений человека к действительности не ограничивают общественно-го значения искусства, а наоборот, еще ярче выявляют его специфику как генератора эстетических ценностей общества»³. Речь идет, таким образом, о дальнейшем повышении гуманистического потенциала всей системы искусства развитого социализма, о его ответственной роли в сложной и противоречивой диалектике культуры на современном этапе.

Исключительно важна для наших рассуждений мысль о том, что только с учетом общих социально-исторических процессов развития в различных сферах современной жизни, происходящего под знаком интеграции, можно и нужно говорить об углублении контактов научного и художественного мышления, о новых формах художественного синтеза,— эта мысль, как мне представляется, особенно убедительно прозвучала в упоминавшемся выше труде «НТР и развитие художественного творчества», в его многочисленных статьях о социальном значении научно-технической революции, ее

³ А. Г. Егоров, «Научно-техническая революция и художественная культура в период строительства коммунизма» («Искусство и научно-технический прогресс» М. «Искусство» 1973, стр. 32).

влиянии на формирование личности, о новых явлениях в самом искусстве и новых методах его исследования. Именно проблема интеграции как одна из характернейших черт общественного сознания находится в центре внимания авторов сборника и придает ему общую направленность. Как пишет Б. С. Мейлах, само время создает предпосылки «для постановки вопроса о создании единой теории творчества», то есть теории, учитывающей, осмысляющей и, в свою очередь, опирающейся на процессы интеграции и синтеза в сфере культуры, науки и искусства нашего времени. Для этого в литературе об НТР следует несравненно больше, чем сейчас, уделять места именно проблемам научного и художественного творчества, литературный процесс рассматривать как целостное явление, а не только в отдельных его частях: «синтетическая теория творчества,— подчеркивает автор,— позволила бы полнее понять живые закономерности всего этого сложного процесса в его динамике», открыла бы новые возможности для понимания всей художественной культуры.

2

В свете бурного научного и технического развития совершенно по-особому раскрываются такие фундаментальные понятия, как гармония, целостность. В своей общезначимости они позволяют включить в широкий контекст, казалось бы, обособленные стороны человеческой действительности — от галактик до дизайна. И в новой ситуации особая нагрузка ложится как раз на раскрытие гармонии и целостности мира, осмысление их в сфере науки и искусства.

От Эйнштейна и Планка, Дирака и Борна набирает силу идея, согласно которой эстетический критерий выступает и критерием истины, а простота и красота решения проблемы становятся указанием на правильность этого решения. Сошлемся на такой пример. В работе видного физика Ш. Глэшоу, одного из авторов теории «великого объединения» в изучении тех природных сил, которые действуют на элементарные частицы, предложена интерпретация, позволяющая охватить одной логически непротиворечивой системой сложнейшие и, казалось бы, трудносовместимые явления. Однако даже при всем том, что эта концепция дает, как пишет автор, «несомненно верное и полное описание» квантовой теории поля, она не охватывает сил гравитации, и, как замечает Глэшоу, «все же, так сказать, с эстетической точки зрения здесь чего-то не хватает». Таким образом, аргумент «от эстетики», присутствующий никак не со стороны, а изнутри концепции, определяет как бы внутренние ее возможности, оказывается своеобразным и весьма строгим критерием ее истинности. И, видимо, у современных наших исследователей имеется достаточно оснований для общего вывода насчет того, что «любой творческий акт в каких-то своих глубинах носит эстетический характер», а в ходе отбора жизнеспособных научных концепций и моделей исследователь зачастую и вполне обоснованно руководствуется чувством «научной красоты»⁴. Именно критериями красоты, гармоничности, законченности, простоты могут быть измерены в своих глубинных сущностях как акт познания, так и акт творчества. Их общность на этом уровне запрограммирована, по мнению М. В. Волькенштейна, в человеке как результат развития вселенной в целом, эволюции неживой природы поэтапно от низших уровней к высшим. Новые идеи, новые открытия в естествознании заложили основы для наведения мостов в гуманитарные области опять-таки потому, что мир един и целостен...

Так возникает перед нами проблема (и категория) целостности, онтологическая и эстетическая в своей основе. Можно говорить и о целостности самого мира и о целостности художественного произведения, о том, что одна целостность находит свое художественное перевоплощение в другой и становится содержательной характеристикой уже художественного мира⁵.

Искусство оказывается гарантом восприятия мира в целостности. И такие его измерения, как время и пространство, оказываются, в свою очередь, компонентами целостности художественного мира.

Мир и человек, их целостная характеристика — это и есть та первооснова, на которой и происходит осознание личности уже как ценностного явления (И. С. Кон), а творческого акта — как акта создания эс-

⁴ А. В. Гулыга. Искусство в век науки. М. Наука. 1978, стр. 142. См. также: Н. И. Крюковский. Кибернетика и законы красоты. Минск. 1977.

⁵ См.: В. А. Ганзен. Восприятие целостных объектов. Л. 1974; Г. П. Короткова. Принципы целостности (к вопросу о соотношении живых и неживых систем). Л. 1968; С. Вайман, «К вопросу о специфике искусства» («Вопросы философии», 1962, № 11).

тетических ценностей, имеющих в этом своем качестве ничем не восполнимое значение (так же как нравственные ценности в области морали, их соответственное осмысление в этике). При этом особый смысл внутри самого искусства получает исследование устойчивого, непреходящего, эстетически значимого. В уже упоминавшейся статье Д. Граниным особое внимание обращается на такое непреходящее, глубинное в искусстве, как гуманистическая сущность лирики Катулла, комедий Аристофана, творений Шекспира и Гёте, Державина и Пушкина. Со всем этим классическое наследие входит в современный культурный контекст, содействует формированию неповторимой личности. Другими словами, художественный синтез, это универсальное свойство творчества, ныне органически служит выражению сложности и многогранности «общественной жизни и эстетических потребностей современного человека»⁶.

3

В том же общем русле современных актуальных проблем искусства и науки идет сегодня и изучение психологии творчества. Во вводной статье Б. С. Мейлаха к книге «Психология процессов художественного творчества» (Л. 1980) говорится, что предмет, пути исследования психологии творчества долгое время оставались вне сферы современных научных дисциплин. Тем самым цель целостного рассмотрения динамического процесса от автора к произведению и от произведения к его восприятию оказывалась разомкнутой. А это, в свою очередь, отражалось на исследовании проблем образа, текста, метода, стиля вне рассмотрения позиции автора и позиции читателя, зафиксированной и воплощенной в самом художественном мире произведения, и потому подходы к этим решениям оставались и разрозненными и неполными. Поэтому в целом и не очень плодотворными были споры о полифоническом романе Достоевского — они велись без достаточно ясного понимания места автора в повествовании, в полифонии голосов, в самом художественном мире Достоевского.

Нельзя сказать, чтобы психология и литературоведение ничего не сделали в этом направлении, но сделанное А. И. Белецким, А. Г. Цейтлинным, А. Г. Ковалевым, Л. С.

Выгодским и другими — только предпосылка для решения современных научных задач в изучении творчества как целостного процесса. Системный подход к его изучению и здесь создает новую и обнадеживающую ситуацию. Изучение процессов творчества предполагает также рассмотрение процессов художественного восприятия — как сопереживания и сотворчества, как конгенитального автору читательского или зрительского «вхождения» в текст произведения.

В книге, о которой речь, большое место занимают наблюдения над различными сторонами творческого процесса: методология изучения творческой лаборатории писателя (А. В. Македонов), творческий процесс как «опыт в лаборатории» (Н. М. Фортунатов) на материале толстовских рукописей, место импровизации в становлении художественного целого (Б. М. Рунин). Говорится также об изучении психологических аспектов создания спектакля, кинофильма, о композиторской и живописной деятельности.

Безусловно плодотворна методология рассмотрения творческого акта как динамического процесса. Однако в ряде статей не всегда чувствуется достаточно четкое разграничение рассматриваемых этапов творчества внутри целостности самого творчества художника. А целостность эта далеко выходит за рамки отдельно взятого творения, вбирает, в конце концов, в себя всю жизнь и всю личность творца. Другая проблема — воссоздание целостности данного художественного произведения. На одном полюсе — постоянная имманентная деятельность творческого сознания по предварительному отысканию и первичной переработке жизненного опыта (заготовки, замыслы, наблюдения и заметки, отдельные фрагменты, еще не претендующие на статус произведения). На другом полюсе — целостность изображаемого автором художественного мира, властное требование от творца завершить эту художественную целостность по своим законам — законам характеров персонажей и их поступков, жанра и стиля данного творения.

Как уже говорилось, особое значение приобретает изучение процессов восприятия искусства, путей движения произведения к читательской и зрительской аудитории. Коммуникативно художественная функция творческого акта остается незамкнутой, пока он берется вне соотнесения с актом восприятия создаваемых автором

⁶ А. Я. Зись, «Эстетические предпосылки синтеза искусств» («Взаимодействие и синтез искусства», Л. Наука, 1978, стр. 5).

структур и запрограммированной в них художественной целостности.

О месте современных технических средств в системе художественной культуры размышляет З. И. Гершкович в книге «НТР и развитие художественного творчества». Это технические возможности, которых не знало недавнее прошлое. Современные средства размножения, тиражирования произведений искусства породили ситуацию, при которой творения искусства действительно становятся достоянием многомиллионной аудитории, о чем раньше можно было только мечтать. Но это не только количественная, но и качественная сторона дела. Если искусство всегда жило в «интимных пределах эстетического диалога», как сейчас пишут, то массовая коммуникация «остаётся надличной и монологической», и поэтому «столкновение эстетически ориентированного человека с миром массовой коммуникации в первый момент выявилось как потеря личной сокровенности, ассоциировавшейся с высоким искусством»⁷.

Этой стороны, связанной с потерями, в рассуждениях З. Гершковича о процессах распространения искусства вширь и вглубь, к сожалению, недостает. Видимо, требуется дальнейшее изучение проблемы тиражирования применительно к традиционным видам искусства (например, живопись, архитектура) и к новым, таким, как кино, телевидение и др. В одних случаях произведение вполне допускает адекватное свое умножение, в других это связано с известными потерями, а подчас и опасностями порождения скорее псевдоискусства, чем искусства. Тут возникает проблематика «массового искусства» в одном случае, моды — в другом и т. д., которая может рассматриваться вне социальных факторов, вне технических, индустриальных аспектов культуры. Пожалуй, именно в связи с тиражированием, с подчас невосполнимыми художественными потерями в результате возникающего зазора между репродукцией и оригиналом хочется вспомнить слова Д. С. Дайина о необходимости наряду с охраной внешней среды помнить об охране мира человека⁸.

Трижды прав академик А. Б. Мигдал, когда пишет, что в науке при упрощении, если оно не переходит в вульгаризацию, «глубокая научная мысль выигрывает»; в

искусстве же упрощение противопоказано, «законченное произведение не может быть упрощено — попытка упрощения уничтожает образ».

4

Сейчас много говорят о целостном, комплексном осознании творческого процесса в науке и искусстве — это одна из сквозных тем и в таких книгах, как «НТР и развитие художественного творчества», «Психология процессов художественного творчества». Можно указать на особый, весьма надежный плацдарм для такого комплексного изучения образного и понятийного строя, научного и художественного языка. Это проблема стиля. За ней тема личностного самораскрытия сознания «навстречу познаваемому объекту» (Б. М. Рунин), когда самовыражение исследователя становится необходимым и существенным моментом постижения объективной истины. В этой связи огромный интерес представляют известные размышления Герцена о принципиальной и обязательной взаимосвязанности между субъективностью и объективностью в научном мышлении; такой взаимосвязанности, при которой ограничение и подчинение субъективности исследования логике исследуемого объекта не означает перечеркивания этой субъективности, но наоборот, дает постижение объективности, оказывается как бы необходимым «сосудом истины»⁹. В книге «НТР и развитие художественного творчества» интересно говорится о моментах следования науки за искусством в решении ряда методологических проблем освоения действительности, о соотносительности образного и научного подхода к ней, познания вещи и познающей личности (И. С. Кон).

Далее. Проблема стиля в науке и искусстве возвращает нас обратно в русло интегрирования мира — как в образе «я», так и в самих типах человеческого освоения мира; речь идет об интеграции не только внутри самой науки, но и об интеграции всех сфер духовной жизни.

Задача заключается в понимании друг друга в интерпретациях общих стилевых закономерностей, с тем чтобы затем найти сопоставления в изучении общих языковых и стилевых закономерностей в развитии как художественной литературы, так и языка научных сочинений.

Такое движение исследовательских ин-

⁷ «Искусство и научно-технический прогресс». М. Искусство. 1973, стр. 169.

⁸ См. «Вопросы философии». 1976, № 10, стр. 113.

⁹ А. И. Герцен. Собрание сочинений в 30-ти тт. М. 1954, т. 3, стр. 67.

тересов навстречу друг другу дает свои результаты и для лингвистики, и для наук о языке, и для искусствознания, и для литературоведческих дисциплин. Тут встает большая тема использования языковых средств, то есть выбора, отбора словоупотребления внутри того или иного отдельного смыслового целого. Тут мы выходим к вопросам сложным и недостаточно разработанным, будь то «синкретический стиль» науки, или стиль популяризации научных знаний, или взаимные стилевые контакты между сферой науки и искусства. Тут, наконец, и тема индивидуального стиля на рубеже науки и искусства, так много дающая комплексному и сравнительному изучению разных сфер сознания.

О связях между научной и художественными сферами не только на содержательном уровне, но и на уровне формы освоения своего предмета и выражения результатов этого освоения мы находим весьма обширный и интересный материал в статье А. С. Архангельской «К проблеме индивидуального стиля в научных исследованиях» (сборник «НТР и развитие художественного творчества»).

Еще совсем недавно на страницах литературоведческих изданий кипела страсти и шла полемика о природе литературного стиля. Защитникам литературного стиля как некой общей категории безличностного характера, объединяющей по некоторым сходным признакам самых разных поэтов и писателей, противопоставляли защитники индивидуального литературного стиля данного большого художника: его стиль — выражение его концепции мира и человека.

Многие ученые, пишет А. Архангельская, также стремятся к самобытному самовыражению в своей деятельности, испытывая глубокую неудовлетворенность, своего рода голод по раскованности, роскошь, которую позволяли себе естествоиспытатели прошлого. Желание компенсировать вынужденную обезличенность стиля научных статей сильнее всего проявляется у физиков, астрофизиков и математиков. Отсутствие личностных моментов лишает научный труд не только обаяния индивидуальности, но и приводит к ощутимым содержательным потерям. Разумеется, проявления индивидуального стиля в литературе носят другой характер, нежели в науке. И тем не менее, повторяем, типологически индивидуальный

научный стиль, раскрывая движение нашей познающей мысли на пути к истине, освещает те или иные стороны содержания исследуемого объекта, в чем-то, подобно тому как в искусстве, где, как пишет А. Архангельская, «крупницы фактов, черточки характера героев, элементы собственных мыслей и опыта, а также опыта и мыслей других людей, попадая в мощное поле тяготения индивидуальности автора, как бы намагничиваются и выстраиваются именно в тот рисунок или выливаются именно в ту форму, которая соответствует содержанию личности автора». И хотя определение индивидуальных констант стиля в искусстве и, соответственно, в науке не будет однозначным, но сама постановка проблемы отношения индивидуального стиля к содержанию научного труда — проблема более чем очевидная и чрезвычайно актуальная. Хочу подчеркнуть: в этом свете она особенно значима и для нашей науки — литературной, для литературоведения и критики, ведь и их мы отчасти имеем в виду, когда говорим о науке и художественности. Сегодня, когда писательская общественность широко и разносторонне осмысляет десятилетие, минувшее со времени появления исторического постановления ЦК КПСС о литературно-художественной критике (февраль 1971 года), все эти проблемы выглядят в высшей степени животрепещущими — будь то стиль сочинений наших ученых, литературоведов, критиков и исследователей литературы, будь то мысль о читателе, зрителе, слушателе как неременном соучастнике литературы и искусства, будь то мучительная диалектика сложного комплекса, возникшего с научно-технической революцией в мире.

Начинают вырисовываться еще более крупные задачи комплексного изучения искусства и науки, скажем, как культура и цивилизация, художественная культура как динамическая система и память человеческого рода, наука и искусство как компоненты развития человеческого сознания, их внутренние взаимосвязи на разных стадиях... Это все впереди, но и проделанная многими исследователями работа по программе «содружества наук в изучении художественного творчества» дает уже свои результаты и будет несомненно оказывать плодотворное воздействие на дальнейшее движение ищущей научной мысли.

Л. КИСЕЛЕВА



ОБРАЩЕНО К СЕГОДНЯШНЕМУ

80 лет со дня рождения Александра Фадеева

Творческое наследие Александра Фадеева, прошедшего сложный жизненный путь — от партизана гражданской войны на Дальнем Востоке и инструктора райкома в Краснодаре до генерального секретаря Союза советских писателей и крупного общественного деятеля, — хорошо знакомо читателям всего мира и любимо ими. Романы «Разгром» и «Молодая гвардия» переведены почти на все языки мира. Литературно-критические статьи, речи, выступления и письма классика советской литературы издаются и переиздаются огромными тиражами.

Заслуживает нашего внимания и та сторона фадеевского наследия, которая недостаточно известна читателю. А именно — неосуществленные замыслы писателя. Тем более что они дают возможность полнее и разностороннее представить как творческий облик самого писателя, так и историю развития литературы.

Более того. Специфика и оригинальность Фадеева-художника могут быть по-настоящему поняты, если в сфере нашего читательского внимания наряду с законченными художественными произведениями прозаика постоянно находятся его публицистические, теоретические работы, а также неосуществленные или осуществленные не до конца замыслы.

На диспуте «С кем и за что мы будем драться в 1929 году», состоявшемся в Политехническом музее 6 декабря 1928 года, Фадеев отвечал своим оппонентам: «Я получил такую записочку: «Почему Вы, т. Фадеев, занимаетесь не только художественной литературой, а политической борьбой и всякими такими выступлениями?»

А потому, что мы... представляем такой литературный отряд, который хочет быть в современных условиях пролетарскими революционерами».

Жалуясь Р. С. Землячке (письмо от декабря 1929 года) на противоречие «между желанием, органической потребностью писать» и «той литературно-общественной нагрузкой... от которой никак нельзя избавиться», Фадеев недвусмысленно говорит о том, какая же чаша весов перетянет: «Беспокоит меня также то, что в создавшихся условиях, когда положение на литфронте довольно острое, сил наших еще мало... Может быть, нельзя совсем бросать это? Значит, придется, возвратившись в город, снова впрягаться в литдела...».

Внутренняя коллизия, возникавшая в те годы между призваниями художника и общественного деятеля, объясняет нам в известной степени, почему не были завершены некоторые творческие замыслы писателя. Но не будь этой коллизии, иным был бы и облик Фадеева — писателя, критика, общественного деятеля, человека, чьи произведения знаменовали главнейшие вехи в развитии советской литературы.

Вот почему творческий путь Фадеева интересен и поучителен не только обретенными и достижениями, но и поисками и незавершенными замыслами.

Одним из важных вопросов, вставших перед Фадеевым на заре создания новой литературы, в самом начале 20-х годов, был вопрос о соотношении документальности и художественности.

Вопрос этот возник и перед молодой советской литературой. Какой ей быть? От-

казавшись от художественного вымысла, как предлагали теоретики левого фронта искусства, стать простой отражательницей исторических фактов? Общественные события были в те годы столь грандиозны и значительны, что многим деятелям культуры представлялась явлением искусства уже сама по себе регистрация их в слове.

Даже позднее, когда советская литература уже достаточно заявила о себе как продолжательнице и хранительнице лучших традиций классики, теоретик Лефа О. Брик счел появление романа Фадеева «Разгром» в 1927 году признаком гибели таланта современного автора, прямо заявив: «Фадеев не поставил перед собой вопроса: имеет ли... смысл сейчас писать беллетристическое произведение на тему гражданской войны, о которой у нас сохранилось столько ценных и увлекательных документов».

В этой связи любопытна и поучительна судьба одного из первых замыслов Фадеева — повести о кронштадтском мятеже, материалы к которой до сих пор остались неизвестны читателю. Как это видно по хранящимся в архиве писателя наброскам, повесть задумывалась первоначально в плане фактографически-очерковом. Перечислялись имена людей, стоявших во главе мятежа (Козловский, Петриченко, Вимкен), и героев Красной Армии, возглавлявших его подавление (Ворошилов, Дыбенко, Седякин), давались их краткие характеристики. Фиксировалась последовательность этапов мятежа, рассказывалось о его причинах. «Мятеж начался в первых числах марта и явился отзвуком «волынки» в Петрограде, где, пользуясь топливным и продовольственным кризисом, провокаторы повели агитацию под лозунгом «долгой коммунистов» и «перевыборы беспартийных Советов», найдя для этого благодарную почву на некоторых заводах среди изголодавшихся рабочих. Следствием явились забастовки и волнения среди пролетариата». Назывались вдохновители мятежа из числа внутренних и внешних врагов революции: «Приезжает в Ревель Чернов... «Российский финансовый торгово-промышленный союз» выделяет комитет помощи Кронштадту, в который входят: Денисов — архимиллионер, видный участник шайки Безобразова, сыгравшего роль в русско-японскую войну. Гукасов — крупный нефтяник. Третьяков — московский воротила в хлопчатобумажном деле. Тикстон — один из королей текстильщиков. Изнар —

авантюрист, адвокат московских толстосумов, деятельный кадет»... «Буржуазия за границей устраивает сборы пожертвований для мятежников... За 12—13 дней до событий уже в заграничной буржуазной прессе появилось сообщение о восставших в Питере и Кр. Напр. «Матэн» (Франция)».

Еще раз к замыслу повести о кронштадтском мятеже Фадеев возвращается в конце 20-х годов, о чем мы узнаем из воспоминаний Белы Иллеша. Возвращается уже после создания «Разгрома», социально-психологического романа, почти сразу ставшего классическим произведением новой, советской литературы.

Лирические воспоминания Белы Иллеша о Фадееве 20-х годов, носящие название «Саша» и написанные им в год смерти писателя (1956), повествуют, в частности, об одном из вечеров на квартире Фадеева в доме Герцена, когда он рассказывал собравшимся товарищам о своем участии в подавлении кронштадтского мятежа. Основное внимание в рассказе Фадеева, переданном Белой Иллешем, уделено теперь не самим фактам, как это было в первоначальных записях, а социально-психологическому их осмыслению:

«Я был избран делегатом в Москву на съезд партии, на X партийный съезд... Мы уже знали, что среди матросов кронштадтского военного флота вспыхнул мятеж. Это звучало невероятно, но было правдой. Из уст Ленина мы услышали: флот восстал против советской власти. Кронштадтские матросы!.. Время идет, и вы, может быть, уже не представляете, что значили во время гражданской войны эти два слова: кронштадтские матросы... Почти то же, что «Красное знамя». Это означало: самые отважные, самые его верные защитники. И теперь, теперь мы слышали, что самые верные восстали...»

Конечно, мы не знали, что кронштадтские матросы, те, которые сделали бессмертным имя кронштадтских революционеров и которые не погибли за революцию, теперь почти все до одного находятся на Дальнем Востоке, где добывают остатки банд Колчака, или в Крыму, где одерживают победу над черным Врангелем. Их преемники — новобранцы. Великое имя они получили в наследство, не имея никаких революционных заслуг. Но если бы мы тогда и знали это, все равно нам было бы очень тяжело, когда нам сообщили, что надо защищать революцию против кронштадтцев... Воевать никогда не легко. Да-

же против классового врага. Но на эту борьбу настоящий человек всегда готов.. Но против матросов... Они подняли оружие против революции, значит, они враги. Тут не может быть двух мнений. И все же, все же...»

Сам рассказ полон социально-психологических деталей, выразительно раскрывающих и приметы времени («В то время паровозы топили дровами и машинист никогда не вез с собой достаточно дров. По дороге поезд останавливался возле леса, и там в работу впрягались пассажиры — пополняли запас») и тяжелое настроение едущих, общее с состоянием рассказчика. «В тесном, переполненном вагоне, куда я попал, настроение было очень подавленным. Ни у кого не было желания ни петь, ни говорить. Мы не спали, но и не бодрствовали. Мы отправлялись на борьбу решительно, но неохотно. Тогда я в первый раз больше думал о прошлом, чем о будущем. Как прекрасно было сражаться в тайге против в десять раз превосходящих нас по силе японских интервентов!».

Среди деталей рассказа появляются даже комические, насколько это возможно в данной ситуации, отчасти разряжающие общую драматическую атмосферу; упоминаются, например, белые маскировочные плащи, выданные красным солдатам и вызвавшие среди них некоторую растерянность. «Странно, но факт: красные бойцы не боялись ни пушек, ни пулеметов бронированных крейсеров, но эта необычная одежда — снежные плащи — возбудила почти панику среди прибывших с юга солдат. Нашлось дело комиссарам!»

И такого рода детали всякий раз сфокусированы к одной и той же главной проблеме, к вопросу рассказчика: как понять самому и объяснить слушателям всю сложность ситуации? «Когда мы прибыли в Ленинград, там уже находились значительные войсковые части. Они ждали приказа о наступлении. Ждали? Не знаю. Были готовы выступить и разбить восставших, но, думаю, до последней секунды все надеялись, что кронштадтцы без борьбы сложат оружие».

«В полку, где я был одним из политработников, мы смогли парализовать влияние белых плащей тем, что прочитали бойцам, чего требуют вожаки кронштадтцев. И их лозунг «Советы без коммунистов»? Значит, без Ленина? Этот лозунг, лозунг кронштадтцев, больше других доводов убедил бойцов, что при всех обстоятельствах и

как можно скорее надо разгромить мятежников.

— По-русски говорят, собаки, но и дурак видит, что думают по-английски!

— И еще смеют утверждать, что хотят спасти революцию!»

Отмечая вынужденный характер выступления красных бойцов против вчерашних товарищей по оружию, рассказчик раскрывает истинную суть революционного гуманизма советской власти, ее человечность, проявляющуюся даже в самых тяжелых и опасных для нее условиях: «Вечером, еще в сумерки, заговорила ленинградская тяжелая артиллерия. Но (тогда мы этого не знали) была она не по кронштадтским фортам и не по сжатым льдинами военным кораблям. Снаряды падали далеко за кораблями и фортами. Кронштадтцев хотели не уничтожить, а убедить, что советская власть сильна и сумеет себя защитить. И хотели подбодрить нас. После полуторачасового сознательно неэффективного, вернее оказывающего только моральный эффект артиллерийского огня последовала легенда из легенд: тот штурм, который сегодня, может быть, даже нам самим кажется невероятным, нам, которые принимали в нем участие. Штыковая атака против закованных в броню военных кораблей!».

И вновь Фадеев подчеркивает: «Наша артиллерия, я уже говорил, не была по кронштадтцам, но их артиллерия расстреливала нас. Во многих местах она взломала лед более чем метровой толщины. Ледяной поток захлестнул путь. Плывущих солдат тоже расстреливали...»

Чувством боли и вместе с тем осознанием неизбежности и справедливости совершаемого пронизано фадеевское повествование. Лучшим лекарством для бойцов, раненных при штурме Кронштадта, были слова доктора о подавлении мятежа: «Товарищ комиссар! — сказал он с некоторой торжественностью перед тем, как взяться за мою рану (Фадеев был ранен осколком в бедро. — Л. К.). — Я сообщу вам прекрасную новость», — а лучшим подтверждением правильности их действий — факт моральной победы над мятежниками, пробуждение сознания у одураленных солдат:

«Из того, что он говорил (новый раненый, только что привезенный из Кронштадта. — Л. К.), я особенно хорошо запомнил одно: попавшие в плен матросы клялись, что, что бы с ними ни случилось, как только они снова будут на свободе, первым их делом будет добить тех, кто уговорил

их поднять оружие против революции, партии, родины...

— Вережки мало этим поддецам...»

Не случайно этот эпизод, следующий за рассказом об операции, проникнут настроением двойного выздоровления — не только от осколочной, но еще более от душевной раны. Здесь также появляются выразительные социально-психологические детали. Во временном госпитале («Не представляйте себе выкрашенные белой краской стены больничной палаты и белые кровати. В ужасно запущенном зале на полу лежало около пятисот соломенных тюфяков. На тюфяках что-то вроде брезента. На эти матрасы клали раненых и там же оперировали, без наркоза») за неимением другой еды медсестра дает человеку, только что перенесшему операцию и вдруг почувствовавшему неимоверно сильный голод, — тыквенные семечки: «Я получил пригоршню тыквенных семечек и съел все до последнего зернышка. Конечно, тыквенные семечки не утолили голод, но отвлекли от него мое внимание...» — и хлеб, выпавший из кармана одного из раненых.

Детали эти характеризуют истинно гуманное отношение людей друг к другу, резко противоположное отношениям во вражеском лагере, где все построено на сладких баснях, лжи, обмане.

Воспоминания Бель Иллеша позволяют нам понять, почему замысел повести так и остался неосуществленным:

«— Почему ты не напишешь эту историю, Саша? — спросил молодой Горбатов, когда Фадеев замолчал. — Если бы ты только написал то, что рассказал нам, и написал так, как рассказал, это был бы бессмертный роман... Если бы ты даже написал сегодня ночью, и то создал бы шедевр!..»

— Ошибаешься! — ответил Саша. — Я только тогда напишу роман о кронштадтской контрреволюции и ее подавлении, когда смогу написать так, чтобы мое сочинение было достойно красных бойцов, которые вновь заняли Кронштадт и этим заглушили лебедину песню контрреволюции».

Материалы к неосуществленной повести о кронштадтском мятеже свидетельствуют о высокой требовательности автора к себе и к молодому советскому искусству.

Быть достойным новой эпохи! Этому своему требованию остался верен Фадеев на протяжении всего творческого пути.

Центральным для писателя был вопрос о художественной правде искусства социа-

листического реализма; о творческих основах нового художественного метода, о его отношении к художественным методам прежних эпох.

«Правда — это не только внешнее сходство с жизнью. Нет, нужно взять самые основные, самые глубокие тенденции развития действительности, видеть, что им мешает, но и видеть далеко вперед, — тогда это будет подлинная правда, — говорил Фадеев позднее, в год создания Союза советских писателей. — ...Наш реализм должен, обязан видеть за в т р а ш н и й день».

И опирался он при этом на опыт русской и мировой классики, где специфика искусства заявляла о себе в полной мере и традиции которой — в развитом, обновленном и обогащенном виде — советская литература должна была воспринять. Напомнив слова Бальзака: «Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, но чтобы ее выражать. Ты не жалкий копиист, но поэт!..» — Фадеев подчеркивал: «Сейчас важнее обратить внимание наших писателей на эту сторону старого реализма, потому что она наиболее плодотворна для нас. В нашей литературе мало любви к современному человеку как носителю будущего, как провозвестнику добра в жизни людей. А без этого нельзя правдиво показать и все дурное в человеке и в жизни».

«Могут спросить: возможно ли правдиво дать живой человеческий характер таким, «каков он есть», и одновременно таким, «каким он должен быть»? Конечно. Это не только не умаляет силы реализма, а это и есть подлинный реализм. Жизнь надо брать в ее революционном развитии». И — делал вывод: «Писатель в случайном находит закономерное и «овладевает» событиями, как государственный муж, политический деятель».

Время от времени у нас вспыхивают споры о том, насколько правомерно в рамках социалистического реализма использование условных форм образного отражения мира, обращение к поэтике мифа в частности. И представляется нелишним напомнить некоторые суждения Фадеева на эту тему:

«Много путаницы, непонимания и даже вражды встречает в наши дни утверждение, что реализм допускает не только форму обязательного внешнего жизнеподобия, а форму условную, лишь бы она была правдивой. Писателей и поэтов, прибегающих в наши дни к условной форме, обвиняют порой даже в «антиреализме»;

«Некоторые до сих пор считают, например, что социалистический реализм вовсе отрицает символику, условность, сказочность... Не надо приукрашивать действительность. Надо видеть ее завтрашний день. Это одна из самых существенных сторон социалистического реализма. Но жизнь нашу и завтрашний день наш можно изображать... и в форме, родственной «Фаусту» или «Демону», то есть в форме романтической или сказочной, или условной, в общем, в любой форме, позволяющей видеть правду»;

«Все должно быть по существу жизненно, не обязательно все должно быть жизнеподобно. Среди многих форм может быть и форма условная... формализм — это подмена формой правды жизни. А мы говорим о содержательной форме, выражающей правду жизни. Сущность вопроса в том, что правду жизни можно выразить с помощью самых различных форм» (разрядка моя.— Л. К.);

«Иные думают, что метод социалистического реализма нужен для того, чтобы художники стали похожи друг на друга, как иголки. Между тем такая стандартность и нивелировка есть издевательство и над социализмом и над реализмом. Социалистический реализм есть, помимо всего прочего, богатство художественных индивидуальностей» (разрядка моя.— Л. К.);

«Слабость нашей критики в том, что она частенько пасует, уступает, когда спор переносится в область формы. А между тем только советский писатель является подлинным новатором не только в области формы. Надо ясно видеть, что именно мы новаторы, а декаденты — это люди отсталые, это уже провинция...»

Какие отличительные формы декаданса? С одной стороны, это скованная, холодная, «железная», чисто внешняя форма, рассчитанная на формальный эффект. С другой стороны — субъективизм, распадение формы, бессмыслица. Наконец — стандарт.

Крупные явления социалистического реализма — это всегда неожиданность в области формы. «Жизнь Клим Самгина», «Хождение по мукам», «Тихий Дон», «Железный поток» — они текут, как полноводная, мощная река, вне всяких канон...

Какое крупное явление нашей литературы ни возьмешь, можно видеть неожиданное своеобразие формы, происходящее от новизны содержания».

Другим неосуществленным замыслом Фадеева, оставившим заметный след не только в его творческой биографии, но и в развитии советской литературы, был замысел романа «Провинция». Отдельные наброски к этому произведению, сделанные еще в годы партийной работы на Северном Кавказе (1924—1926), позволяют предположить, что «Провинция», будь она Фадеевым написана, могла бы стать одним из ярких образцов советской сатиры, заняв место в таком ряду, как «Клоп» и «Баня» Маяковского, «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова, рассказы Зощенко. И сам Фадеев предстал бы перед читателями с несколько неожиданной стороны.

Резкий контраст, полярность, острая схватка старого и нового в жизни, и в первую очередь в быту, должна была стать основной темой романа. Арена этой схватки — провинция, не столько географическое понятие, сколько олицетворение духовного и социального мещанства.

В архиве Фадеева сохранился сделанный им конспект (с попутными замечаниями) статьи М. Рейснера «Мещанство — социологический очерк» («Красная новь», 1927, № 1). Внимательно читая эту статью, писатель как бы поверяет мысли автора своими наблюдениями над тем явлением, о котором пишет автор. Мещанство в истолковании Фадеева — питательная «почва для Наполеонов и Кавеньяков», в XX веке — для фашизма, а в целом — «величайшая разрушительная сила». Основа мировоззрения его — «индивидуализм», идеал — «культ сверхчеловека».

Размышления писателя над возможными прототипами героев располагаются по двум противоположным полюсам. На одном — творческая личность («обеспечение творческого начала», — помечает Фадеев в дневнике свои соображения об одной из факторов, противостоящих мещанской психологии), социально организованная, связанная с передовым классом; на другом — «индивид», мещанин, якобы сверхчеловек (античеловек, как сказали бы мы теперь), на деле — «страшнейшая безличность». Представители двух кардинально противоположных идеологий и психологий — социалистической и фашистской.

В записных книжках писателя намечены основные типы современных мещан. Типы мнимо «сильных индивидов», претендующих на «высшую философию» (нищешанство), на нижних ступенях той же социальной

лестницы — уголовники и хулиганы. Между ними значительная прослойка, живущая мнимой, иллюзорной жизнью: стремлением казаться, а не быть на самом деле. И типы слабовольных, создающих благодатную почву для первых: «провинциальные барышни» с их «возвышенно-романтическими искажениями», оборачивающимися своей обратной стороной, союзом с хулиганом или «добрым мещанином», как, например, один из предполагаемых персонажей — Лидя, или другой прототип, Раиса Позднякова, задуманная по ее собственному желанию и настоянию своим другом (материалы последнего дела печатались в газете «Советский юг» в мае 1926 года и были отобраны Фадеевым для работы над «Провинцией»¹).

Писатель задумывается над социальной и психологической природой подобных явлений. И в своих авторских заметках к роману «Провинция» и записных книжках размышляет о присущих человеческой натуре изначально естественности и чистоте, тяге к добру и справедливости. Неизбежное взросление человека (и человечества), уточнение его интеллектуальных навыков и запросов («А это одно из основных в романе, что нужно показать», — замечает для своих героев Фадеев) вызывают «уменьшение простоты и непосредственности и увеличение внутренней противоречивости, обусловленной противоречиями жизни». Но, — задается писатель вопросом, — «чем же, однако, объяснить тогда необычайную простоту и непосредственность многих передовых и развитых рабочих или даже некоторых интеллигентов (например, вождей партий, Ленина?)»? И сам же на него отвечает: отсутствием индивидуализма, «личничества» в узком смысле слова. «...Связанность с молодым революционным классом, — продолжает Фадеев свою мысль, — принадлежность и преданность ему (и чувством и сознанием) максимально сливают собственную личность героя с делом класса» — и всякие противоречия в развитии и росте собственной натуры «падают в зависимость еще в зародыше и в процессе роста от дела класса, наиболее полно выража-

ются и наиболее полно удовлетворяют личность, преломляясь именно сквозь призму этого классового дела, которое благодаря своему величию и устремленности не дает ходу «личничеству» в узком смысле, — отсюда естественность и простота».

Интересуясь «социально организованными личностями» в противоположность «индивидуам безликих мещан», Фадеев в статье А. Луначарского «К характеристике Ленина как личности» отчеркивает те места, которые характеризуют вождя пролетариата как человека. Вырезка статьи хранилась у Фадеева среди других материалов к «Провинции». Там же находился перечень книг, и в их числе названы воспоминания о Ленине Н. К. Крупской, П. Н. Лепешинского «По соседству с Владимиром Ильичем», а также книги Осипа Пятницкого «Записки большевика», Ивана Бабушкина «Воспоминания» и др.

Для Фадеева в пору его работы над романом «Разгром», говоря словами самого писателя, «толстовское строение чувств» является решающим, а «уменьше Дюма заинтересовать запутанностью событий» самих по себе, что в первоначальном замысле «Провинции» находилось на первом плане, отступает на второй². Эффектные контрасты «Провинции» утрачивают для писателя интерес, быть может, потому, что сама жизнь многое меняет в старой провинции («Жизнь внесла в этот роман «поправки», которым можно только радоваться, — величайшее колхозное движение и индустриализация, — от старого замысла остались только фи и гурры-типы...» — писал Фадеев Р. С. Землячке в декабре 1929 года).

«Провинция» не была написана. Но материалы к ней, в частности раздумья писателя о корнях мещанства, типах мещан, о кардинальной разнице между личностью человека и индивидом мещанина, важные для литературы наших дней, ведущей борьбу с многоликим мещанством.

Своеобразную тематическую, точнее говоря, философскую (но не жанровую) параллель к «Провинции» являет собой последний замысел Фадеева, также оставшийся неосуществленным, — роман «Черная металлургия». Одновременно он несет на себе следы предыдущих этапов работы писателя, в том числе над социально-психологи-

¹ Подробнее о различных материалах к роману «Провинция» см. в работах: В. Озеров. Александр Фадеев. Творческий путь. М. «Советский писатель». 1970, стр. 161 — 163; С. Н. Преображенский, «Об одном незавершенном замысле» («Нева», 1975, № 8); Л. Киселева, «Неосуществленный замысел А. Фадеева» («Вопросы литературы», 1977, № 2).

² Проблема: сочетать «толстовское строение чувств» с уменьшением Дюма «заинтересовать запутанностью событий»? — так записал Фадеев в дневнике, работая над «Провинцией».

ческим романом «Разгром», романтической по стилю «Молодой гвардией», над романом-эпосом «Последний из удэге». Это скаывается в глубине философского подтекста, стремлении автора вскрыть и выявить интересные, сложные и оригинальные параллели-контрасты между производством и человеческой жизнью, процессами, происходящими в металлургии и в психологии людей.

Отсюда двойной план замысла. Отсюда и характер сопряжения, переплетения нравственно-психологического аспекта с производственным. «Черная металлургия», поясняет Фадеев, роман о том, как человек организует огненную стихию. Жаркое пламя в печах, в которых переплавляется, переделывается шихта — сырье, каким человек его получает от природы». И еще: роман этот «о великой переплавке, переделке, перевоспитании самого человека, превращении его из человека, каким он вышел из эксплуататорского общества — и даже в современных молодых поколениях еще наследует черты этого общества, — превращении его в человека коммунистического общества».

О характере названия романа писатель говорит и в письме В. И. Бусыгиной: «...Название почти техническое, но это роман о людях» — и выступая на Урале перед читателями: «Мне кажется, что «Черная металлургия» очень выразительное название, если хотите, обобщающее. Это основа основ нашего хозяйства, как говорят экономисты. А сам процесс? Разве он не таит в себе глубочайшего смысла?»

Роман должен был подсказать читателю ряд глубоких аналогий и контрастов между процессами в производстве, в данном случае в черной металлургии, и в других сферах человеческой жизни. «Как ни странно, но именно «жизнь», продолжающаяся в металле, когда он выходит из печи, и является причиной всех дальнейших пороков металла. Если бы в формах застывал уже безжизненный, мертвый металл, это было бы тем идеалом, к которому металлургия должна стремиться!» — записывает Фадеев об интересном явлении в металлургии, контрастно-противоположном тому, что происходит в человеческой жизни: «очищение» от «посторонних примесей» и «пустых пород» не должно лишать человека жизнеспособности. Напротив, оно-то и должно сделать его человеком в полном и истинном значении этого слова.

Становится понятной одна из причин не

осуществления последнего замысла Фадеева. Она не только в том, что в те годы оказался под сомнением производственный конфликт, положенный в основу произведения, но и в том, что философская сторона замысла Фадеева намного опередила развитие действительности и литературы.

Забота Фадеева о философской наполненности, казалось бы, чисто производственного романа представляется ныне в высшей степени поучительной и актуальной.

Самым завершенным из всех задуманных (из шести намеченных частей написаны четыре и начата пятая) и самым, без преувеличения можно сказать, значительным из всех незавершенных замыслов Фадеева был роман «Последний из удэге». Задумав его еще в начале творческого пути и приступив к осуществлению после написания «Разгрома», Фадеев возвращался к этой своей «любимой книге» неоднократно, в частности и после написания «Молодой гвардии», и собирался завершить роман по окончании «Черной металлургии».

Размах авторской мысли, стремящейся соединить воедино микро- и макромир, прошлое, настоящее и будущее человечества, масштабность искомого им для осуществления этого замысла стиля (синтетического, вбирающего в себя и строгий реализм, и аллегорию, и миф, и иносказание) — все это делает опыт работы Фадеева над неоконченным произведением особенно значительным для литературы сегодняшних дней.

С этой точки зрения, думается, будет небезынтересно заглянуть в творческую лабораторию писателя и сосредоточить внимание на одном из моментов его работы — над искомой им «синтетической» (в смысле крупномасштабной) формой повествования.

Начало пятой части «Последнего из удэге» собирает в одной фразе разнородные по своему характеру события — политические, экономические, социально-общественные, эстетические:

«В том самом году, когда Аахенский конгресс скрепил «Священный союз» царя России и королей Англии, Австрии, Пруссии, Франции против своих народов, в году, когда студент Занд убил Коцебу, и Меттерних готовил Карлсбадские постановления «против возмутителей общественного спокойствия», и в воздухе пахло манчестерской бойней и хиосской резней, и правительство Англии готовило свои «шесть актов о зажимании рта», а Шелли —

«Песнь к защитникам свободы», в те времена, когда английский капитал завоевывал Австралию, и Индию, и Канаду и проникал в Китай, а доктрина Монро о невмешательстве европейцев в дела Западного полушария только вызревала... времена промышленного переворота, банков, английской политической экономии, утопического социализма, гегельянства, времена Вандербилта Первого, Роберта Оуэна, Бетховена, Грибоедова, Дениса Давыдова, «Руслана и Людмилы»...»

Резко полярные, говорящие о глубоких общественных катаклизмах «в тот самый год» и «в те самые времена», события эти прямо спроецированы на столетие вперед, к другому году и иным временам, где все завязанные в единый узел явления прошлого так или иначе получили развязку. В самой же фразе они ставятся в связь и завершаются таким, казалось бы, незаметным в масштабах мировой ситуации фактом, как рождение удэгейского мальчика, как будто совершенно не причастного к той глобальной ситуации, в которой пребывает мир «в тот самый год»:

«...в эти самые времена и в том самом году, холодной осенью, среди людей, не знавших, что всякое такое происходит на свете, родился на берегу быстрой горной реки Колумбе, в юрте из кедровой коры, мальчик Масенда, сын женщины Сале и воина Актана из рода Гялондика».

Жизнь маленького Масенды, оторванного от широкого мира и находящегося в нетипичных для этого мира условиях чуть ли не первобытной общины, видится теперь — благодаря такому приему стяжения — через совокупность «всякого такого происходящего на свете». Какого бы мелкого факта из жизни этого героя и его народа писатель далее ни коснулся, в сознании читателя упоминаемый факт связывается с общим состоянием мира. А конкретные происшествия, случившиеся в тот самый год, освещаются светом столь малоприметного, казалось бы, на общем фоне, но глубоко перспективного и концептуально значимого для романа явления, как рождение удэгейского мальчика. Через этот художественный прием заявляет о себе важная сторона философского замысла автора, его мысль о связи эпох, далеко отстоящих одна от другой, — первобытного коммунизма и будущего коммунистического общества, где «снова возродятся свобода, равенство и братство древнего родового быта, но уже в высших формах».

Как это видно по черновикам, фадеевская фраза, о которой идет речь, далеко не сразу обрела свой законченный вид. Не сразу автором был найден и определен сам год рождения Масенды. Первоначально мысль писателя вращалась вокруг двух важнейших для начала прошлого века событий: восстание декабристов и война с Наполеоном. В поисках точной даты рождения Масенды, будучи связан ходом предшествующих событий романа 1919 годом, Фадеев несколько раз фиксирует на бумаге годы — 1826 (казнь декабристов) и 1814 (победа над Наполеоном), соответственно выводя из них возраст героя: в первом случае девяносто три, во втором — сто пять. В этих хронологических рамках писатель перебирает важнейшие факты и события, отмечая их пока лишь в порядке констатации:

«1814 — русские войска вошли в Париж и пала империя Наполеона.

1816 — основание «Общества истинных и верных сынов отечества». 1816 — умер Державин.

1826 — повешены декабристы.

1818 — родился Карл Маркс.

1812 — Отечественная война.

1815 — Священный Союз между императорами России, Австрии, Пруссии, Англии и Франции (окончательное оформление Священного Союза)».

Некоторые из этих хроникальных записей Фадеев тут же вычеркивает, другие оставляет для дальнейшего включения в текст. Их фиксация пока обрывочна и не подчинена ни точной дате «того самого года», ни внутренней логике расположения и соположения событий.

В первоначальном перечне действующих лиц романа, написанном, видимо, перед началом работы над ним, среди героев первым числится «Масенда, из рода Гялондика, — старый удэге, 73-х лет (род. 1846 г.)». Снова вернувшись после написания четырех частей к этому перечню, автор вносит сюда уточнения. В частности, обозначает иной возраст Масенды — «рожд. 1818 г. Ему 101 год».

Казалось бы, так ли уж важно, больше или меньше лет Масенде? Читателю ясно, что он «старый удэге», а в сравнении с другими героями романа, да и вообще в этом списке он действительно самый старый: Суркову двадцать пять лет, Мартемьянову сорок семь. Но уточнение возраста Масенды оказывается необходимым, когда у писателя возникает мысль о стяжении в еди-

ный узел разноплановых и разнообъемных событий — рождения мальчика из народа, пребывающего еще в поре первобытного коммунизма, и важнейших фактов истории XIX века.

Рассматриваемая фраза в своих первых вариантах начиналась прямо с Масенды, с точного указания его возраста: «Масенда жил так долго, что давно потерял счет годам, оставшимся за его плечами. Этой осенью ему должно было исполниться 101 год». А уже после этого говорилось о событиях «того самого года», когда родился Масенда. И перечень открывал не Аахенский конгресс, а такая параллель: «Он родился в том самом году, когда родился Карл Маркс, а Дарвин начал ходить в школу». И сама первая глава пятой части в рукописных вариантах была первоначально одной из последних глав четвертой части.

Работая над текстом главы, писатель снимает из начала слова о Масенде и начинает фразу прямо с Аахенского конгресса. Что же до Масенды, его сознания, они присутствуют в самой структуре эпического зачина («В том самом году...») и в своеобразной форме соединения разномастных событий. В последних же вариантах Фадеев окончательно убирает дату — 1818 год, — которую так долго искал, и заменяет ее собирательной формой: «В том самом году, когда...»

Сам факт внезапного «умолчания» точной даты событий, на поиски которой было затрачено столько сил, играет тройную роль: делает форму авторского повествования максимально обобщенной, а для читателя — интригующей, требующей дополнительного напряжения для ее разгадки, и в то же время передает характер мышления удэгейцев, еще не знавших цифр, обозначавших ушедшее время описательно («это было в год белок», «это случилось в год тигров» и т. п. — говорится далее о тех или иных важных происшествиях в жизни Масенды) и не разделявших события в жизни одного человека и в жизни целого народа. Разномастные явления истории всего народа и отдельного человека еще равнозначны в синкретическом мышлении героя и становятся по-своему равноценными в художественной системе автора. Отсюда органичность сказового зачина.

Предыстория героя и человечества дается максимально обобщенно, притом что авторская мысль реализуется не публицистически, а образно, картинно. И в самой струк-

туре фразы обнаруживает себя искомая писателем синтетическая форма, форма, «лишенная бытовых подробностей» (как ее характеризовал сам Фадеев применительно к таким произведениям мировой классики, как «Фауст» Гёте, «Дон Кихот» Сервантеса, драмы Шекспира), но и «не оскопляющая жизнь», потому что идея в ней «выступает во плоти и крови», «очень конденсированно».

Опыт работы Фадеева над крупномасштабным романом, вбирающим в себя глобальные проблемы эпохи, его искания и находки в области синтетического стиля представляются перспективными для сегодняшней литературы. Ныне сама действительность выдвигает перед писателями такие задачи ее познания и художественного выражения, какие ставил перед собой и решал Фадеев, стремившийся осмыслить день сегодняшней и сложную связь времен, найти наиболее адекватные современному состоянию эпохи формы ее художественного выражения.

Процесс реализации творческих замыслов Фадеева был, как мы видели, сложен. Если повесть о кронштадтском мятеже он не стал писать по горячим следам событий в силу того, что не был готов творчески, замысел «Провинции», как признавался позднее, реализовать опоздал, занявшись сначала работой над «Разгромом», а потом над «Последним из удэге», то начатая «Черная металлургия» и незавершенный «Последний из удэге» во многом определили литературную ситуацию своего времени. Поэтому нам так интересны незавершенные замыслы Фадеева. Поэтому они поучительны и важны для последующего литературного развития, так или иначе корреспондируют с ним, служат своего рода истоком многих явлений и процессов современной советской литературы.

Глубина и размах, актуальность, перспективность неосуществленных замыслов Фадеева еще ярче выявляют масштаб личности писателя, автора книг, по праву завоевавших любовь и признание читателей всего мира, — романов «Разгром» и «Молодая гвардия». Произведений, посвященных решающим этапам современной истории, повествующих о борьбе за нового человека, о формировании его внутреннего облика.

Переведенный вскоре после своего появления на многие языки и сразу признанный классическим произведением новой,

советской литературы роман «Разгром» вызвал огромный резонанс во всем мире. «В конце двадцатых годов,— вспоминал выдающийся немецкий поэт И. Бехер,— мы в Германии получили его первый роман — «Девятнадцать» (под таким названием «Разгром» вышел в Германии.— Л. К.). Мы невольно прислушались: какой сильный новый голос в хоре молодой советской литературы! Еще неизвестному тогда автору нечего было бояться сравнения с крупными писателями тех лет — своими собратьями по перу. Он продолжил великую традицию русской литературы».

А «Молодая гвардия» остается по сей день лучшим романом о советской молодежи. «Пожалуй, как никто из нас — прозаиков, Фадеев обладает чудесной особенностью глубоко и взволнованно писать о молодежи, и в «Молодой гвардии» в полную меру раскрылась эта черта его большого таланта» (М. Шолохов). Роман Фадеева «учит миллионы молодых людей любить родину, свободу, ненавидеть врагов человечества, захватчиков и насильников» (Людмила Стоянов).

Об идейно-воспитательном значении «Молодой гвардии» и ее прямом участии в современной жизни, борьбе за мир и социализм хорошо сказал в свое время корейский партизан Со Кван Бмин: «Если бы наша молодежь не прочла эту замечательную книгу, мы, может быть, не сумели бы так крепко организовать, когда наступил тяжелый для родины час, может быть, не сумели бы так скоро подметить и найти самые уязвимые, самые большие для врага места и разить его беспощадно».

«Молодая гвардия» остается и примером высокой ответственности писателя за свой труд, примером глубочайшей авторской самокритичности, понимания художником действительности литературного оружия и необходимости его правильного использования.

История создания «Молодой гвардии» и незавершенной «Черной металлургии» ставит перед нами вопрос о соотношении жизненного материала и вымысла в произ-

ведении, опирающемся на реальные и неоспорившие факты. Стоит в этой связи процитировать письмо Фадеева В. А. Захарову, где высказан ряд соображений по поводу «Черной металлургии», которые существенны для понимания художественного творчества вообще: «Если некоторые люди, не знающие законов художественного творчества, не понимают, что художественное произведение — это не копия жизни и не ее фотография, а это художественный вымысел, обобщение, сгущение всего наблюдаемого писателем в интересах определенной мысли, идеи,— им это нужно объяснить. Нельзя, с одной стороны, призывать писателя к изучению жизни, а с другой стороны — по-обывательски ловить в его произведении отдельные знакомые разрозненные факты и приписывать их знакомым лицам. Если бы писатели считались с этим и боялись этого, у нас не было бы художественной литературы вообще».

Снова и снова писатель ставит вопрос о скрытых в литературе возможностях активного вторжения в мир социальных отношений, о ее социальной действительности.

Еще в самом начале своего творческого пути, выступая на пленуме правления РАППа в мае 1927 года, Фадеев подробно характеризовал позицию художника-революционера, писателя-коммуниста, кровно ответственного за то, как отзовется его слово в душах читателей: «Почему мы на своем хребте эту колоссальную сумму вопросов несем? Да ведь, товарищи, мы и как коммунисты не можем на себя не взять, потому что если мы взялись за вопросы литературы и культуры, то ясно, что мы не можем к ним подходить узко, мы должны были определять их место в нашем строительстве и помогать партии в определении своей политики, значит, в то же время в нашу задачу входит воспитание начинающих писателей, и в то же время мы боремся за читателя, хотим воспитать и читателя, и вся эта сумма вопросов перед нами неизбежно встает».

Этой позиции он остался верен на всю жизнь.

ЖИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Руденко-Десняк. Движение героя. — **Евг. Винокуров.** Поэтический мир Ваагна Давтяна. — **Сергей Чупринин.** «Евангелие от Сизифа». — **Инна Ростовцева.** «Из пламя и света рожденное слово». — **Уран Гуральник.** На многонациональной основе.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Грунт. «Поучитесь у русской революции!..». — **Д. Биленкин.** Предвидение животных. — **Л. Попов.** Люди Кремниевой долины.

Литература и искусство

ДВИЖЕНИЕ ГЕРОЯ

Нодар Думбадзе. Закон вечности. Белые флаги. Романы. Перевод с грузинского Зураба Ахвледиани. М. «Советский писатель». 1980. 360 стр.

Нодар Думбадзе. Кукарача. Повесть. Перевод с грузинского Зураба Ахвледиани. «Дружба народов», 1981, № 1.

Приличествует ли серьезному писателю выступать с городским романсом? Хотя бы и в прозе?

Наверное, повесть «Кукарача» способна вызвать некоторое смятение среди поклонников Нодара Думбадзе. История любви милиционера к тбилисской красавице, в свою очередь предмету пылкой страсти рецидивиста, — эта история, где так картинно льется кровь из благородной милицмейской груди... После напряженной проблемности «Белых флагов», после философских спиралей «Закона вечности» новая повесть грузинского прозаика кажется несколько облегченной вариацией на популярную городскую тему.

Что-то мешает четко сформулировать отношение к «Кукараче». Она неназойливо, но ошутимо сопротивляется однозначным толкованиям, как, впрочем, и другие вещи писателя.

В «Кукараче» проскальзывает грустная улыбка — она естественна у свидетеля несбывшейся человеческой надежды. Романсовая история влюбленного милиционера в

конечном счете взрывается вопросом: во имя чего должен жить, во имя чего должен умирать человек?

Почти на периферии повести, почти как веселая интермедия возникают отношения участкового уполномоченного Тушурашвили (в просторечии Кукарачи) с матерью рассказчика. Они спокойны, по-южному несколько церемонны и благопристойны. Кукарача в диалогах с этой женщиной (она жена ответственного работника), неспособной углядеть за проделками сына-подростка, спокойно и твердо отстаивает свое человеческое «я», без морализаторства доказывая, что достоинство человека не зависит от его должностей и регалий. Этот диалог-поединок, промелькнувший на страницах повести, кладет особый отсвет на все происходящее в ней.

Есть какая-то дразнящая странность в отношении Кукарачи к прекрасной и печальной Инге. Оно соединяет в себе «жестокую» страсть и редкую чистоту, не исчерпываясь ни тем, ни другим, потому что наш герой постоянно борется за достоинство

другого человека и свое собственное, за утверждение своих четких жизненных принципов.

Скромного участкового, казалось бы, трудно сравнивать с журналистом Бачаной Рамишвили из романа «Закон вечности», но души у них безусловно родственные.

Герой писателя, переходя из произведения в произведение, проделал весьма существенную эволюцию.

В повести «Я, бабушка, Илико и Илларион» жизнерадостный плут Зурикела, конечно же, любил и бабушку, и Илико, и кривого Иллариона, чистосердечно и щедро любил весь белый свет. Не в последнюю очередь щедро потому, что любовь эта мало к чему его обязывала. Незамутненным было и мироощущение Сосойи из романа «Я вижу солнце». Он добр и отзывчив, только глубоко ли зарубки, оставленные в его душе трудным деревенским детством военной поры?.. Тут пеннлась писательская молодость, напоминая о себе в ясных и звонких красках, на которые столь щедро палитра Думбадзе. Цвет был чистым, белое — белым, черное — черным. Пороки осуждались жестко и бескомпромиссно. Да что пороки — любая в чем-то непривычная точка зрения на вещи вызывала у наших героев осуждающее удивление. И Теймо Барамидзе, главный персонаж «Солнечной ночи», и Автандил Джакели из романа «Не бойся, мама!» тоже грешили немалым ригоризмом. Занятые собственным миром, эти симпатичные ребята просто не считали необходимым всматриваться в глубину чужого человеческого мира.

В романе «Белые флаги» появится термин «сентиментальный гуманизм». Писатель верен себе, не упуская случая посмеяться над тем, что кажется ему смешным. Люди, собравшиеся в камере предварительного заключения, демонстрируют очень уж большую тонкость чувств и слишком всеобъемлющее человеколюбие, чтобы нам не отнестись к этой демонстрации душевных красот с понятной иронией: профессиональный вор, убийца, растратчик, подпольный делец — не самые твердые защитники нравственных устоев. Обитатели камеры балаганят, скрывая свой страх перед будущим, а балаган этот время от времени, как и следует ожидать, оборачивается чьей-то трагедией. Персонажи по-своему симпатичны, они показались бы весьма идеализированными фигурами, если бы не одно обстоятельство: их облик, поведение показаны через восприятие главного героя Зазы Накашидзе, который в

данный момент, в тюрьме, пытается найти для себя хоть какую-нибудь опору, утешение и надежду. Несправедливое обвинение в убийстве прямо-таки вышвырнуло Зазу из привычной жизненной колеи — думбадзевский тбилисский парень, остроумный, легкий и обаятельный, превращается на наших глазах совсем в другого человека. Куда девались бравада, самоуверенность, неспособность глубоко проникнуться бедами других? Душа его жаждет понимания, милосердия, справедливости, она готова отдавать других тем же пониманием и тем же милосердием. Драматические обстоятельства торопят душевное прозрение Зазы, и писателю важно их, так сказать, катализирующее действие.

Почти в одно время с «Белыми флагами» был написан рассказ «Дидро» — о деревенском дурачке, носящем славное имя энциклопедиста и ставшем жертвой глуповатого и жестокого пари односельчан. Нетрудно себе представить, как потешался бы Зурикела Вашаломидзе над одним лишь именем тезки великого француза. А ровесник Зурикелы, приехавший на побывку студент, готов разрыдаться, узнав о величии духа, явленном героем рассказа в последние минуты жизни.

«Неблагодарный», «Собака», «Коррида», «Элладос» — один за другим появлялись рассказы Н. Думбадзе, заставляющие думать о цене человеческой жизни, о столь необходимом людям тепле взаимного понимания, об умении прозреть величественное в будничном.

Заза Накашидзе из «Белых флагов» мудрее своих предшественников — и Зурикелы, и Сосойи, и Автандила, и Теймо — потому хотя бы, что он отчетливо ощущает существование многих и многих человеческих миров рядом со своим собственным. Ему свойственна искренняя вера в конечное торжество добра — в этом смысле он как раз похож на своих предшественников. Только вере этой приходится пройти непростые испытания.

Правда, временами автор, ироничный по отношению к «сентиментальному гуманизму», и сам не избегает несколько сентиментального взгляда на вещи. Отчаяние подследственного Зазы столь велико и изображено столь подчеркнуто, что его избавление от бед воспринимаешь с явным облегчением. В его историю вмешивается министр внутренних дел, появляется новый следователь, способный в отличие от предшественника разобраться в сложном его деле.

Справедливость торжествует — ворота темницы распахиваются, белые флаги милосердия реют над миром. Этот апофеоз, возможно, и отвлечет наше внимание от таких подробностей, как непроясненность улик в деле Зазы. Но в любом случае остается тревога, вызванная судьбой героя романа.

Не у одного Н. Думбадзе мы встречались с этим характером, типом молодого героя — умного, ироничного, чуждого догм и бескомпромиссного в сфере нравственности. Этот обаятельный юноша легко узнаваем и в своей наивной эгоцентричности и в своей неопытности, а то и неспособности на практике отстаивать нравственные заповеди, отстаивать в мире живых людей, где дистиллированная бескомпромиссность подчас действует наподобие бумеранга.

Когда в качестве «бога из машины» появляется министр, настоящего утешения это нам не приносит, потому что многие жизненные ситуации и коллизии не могут быть решены столь волшебным образом.

Нодар Думбадзе упорно ищет новое, при этом бережно относясь к ранее приобретенному и найденному.

Чуткость, ранимость, открытость натуры Бачаны Рамишвили из романа «Закон вечности» поистине безграничны. Но он способен быть жестким и неуступчивым, когда заходит речь о вещах принципиальных. Две поистине необъятные нравственные стихии соединяются в этой душе, соединяются без драмы, боли и конфликта. Как странно сменяются в человеческой судьбе взлеты и падения, свет и мрак! Не об этом ли напоминает писатель, ставя рядом с эпизодами в инфарктной палате веселую версию или «современный вариант трагедии „Отелло“», эту поистине безоблачную картинку из жизни довоенного Тбилиси. Рядом с детскими восторгами Бачаны — смутные предчувствия грядущих потрясений... Неизменно обаятельный, наделенный чувством юмора и тонкой душевной организацией герой Н. Думбадзе впервые стал в полном смысле слова действующим лицом. Зазу Накашидзе словно ведет чья-то добрая воля, Бачана Рамишвили движется сам. В этом главное отличие Бачаны от его предшественников, хотя существенны в нем и большая глубина его интеллекта и душевная зрелость. То, что Бачана старше того же Зазы, человек другого опыта, нам объяснит многое, но не все. Мысль о делах практических, о личном воздействии на окружающий мир движет Бачаной, это в конечном

счете и определяет его поступки, характер устремлений.

Уже доказано, что любовь к человечеству и любовь к конкретному человеку — далеко не одно и то же. На крыльях любви ко всему на свете можно парить над миром, презирая суету и будни; за любовь и сострадание к находящемуся рядом человеку нужно платить ежедневную, будничную и подчас жестокую плату. Но в душе Бачаны два этих чувства сходятся совершенно естественно. Цели его всегда конкретны, он сражается с реальным, четко различимым социальным злом, он, писатель, журналист, редактор республиканской газеты, воюет за то, чтобы сейчас в его родном городе легче дышалось честно работающим людям. Бачане не раз приходилось сталкиваться с мерзостью, нравственной нечистоплотностью, но не ожесточился, не растерял душевного тепла, не впал в скепсис этот цельный и страстный человек.

Вот где пригодился прозаику его живописный талант, его дар открываться всему живому, способность проникаться радостью и горем своих героев. Как по-юношески непосредственно реагирует Бачана на реплики соседей по палате! Боль не в силах заглушить в нем неиссякаемый интерес к людям. А чего стоят разговоры Бачаны с посетителями, не оставляющими его своими заботами и на больничной койке...

Борьба закалила Рамишвили, укрепила его дух. Там, где герои прежнего Н. Думбадзе скорее всего без раздумий судили бы встречного по всей строгости и с сознанием исполненного долга двигались дальше, Бачана стремится понять поступки другого человека, драться за него, пока есть хоть какая-то надежда на успех.

На последней грани бытия, в больничной палате, думает Бачана о смысле своего пребывания на земле, о границах и целительной силе милосердия. Погружаясь в болезненные видения, он и спорит с юным мессией, и проникается горькой истинностью сказанного им: «Не волею другого, а потом, кровью и верою своей должен прийти в рай человек», — и снова вступает в спор, и снова вслушивается в речи человека со следами затянувшихся ран на босых ногах. Там, в зыбком мире сна, осуществляет Бачана сокровенную свою фантазию — разлиться дождем, как сказано о том у Важа Пшавелы, чтобы поднялись невиданной красоты цветы сквозь раскаленный песок пустыни.

Бачана — подлинно наш современник, и тем важнее, симптоматичнее его горячее

внимание к величайшим гуманистическим, духовным, нравственным ценностям, накопленным человечеством. Никогда раньше Нодар Думбадзе не обращался к проблематике такого масштаба, никогда раньше не строил произведение такой сложной конструкции.

Разнохарактерность частей романа подчас дает о себе знать, но «Закон вечности» — важный этап в работе грузинского писателя, свидетельство его готовности к творческому риску. Это вещь, написанная с молодой энергией, в летящем почерке автора трудно найти малейшие следы неповоротливой солидности литературного мэтра.

Да, герой «Закона вечности» кажется подчас идеалистом и романтиком. Жизненный корабль Бачаны Рамишвили движется с гордо развевающимся флагом. Приспособление для спуска флага, похоже, вообще не предусмотрено на корабле, хотя он вовсе не застрахован от штормов, рифов и неприятельских выстрелов... Сказывается традиция грузинской прозы, не чуждой патетики, возвышенного слога и возвышенного отношения к герою. Есть, наверное, и другие, вполне актуальные причины появления в грузинской литературе такого персонажа, как Бачана.

«Закон вечности» появился в пору решительного оздоровления общественной атмосферы в республике. Литература отзывалась на происходящие перемены не только разоблачением нечистого предпринимательства, иссушающего душу практицизма, развращающего нестойких делачества, но и поэтизацией героя, способного стать живым нравственным примером для читателя, убедить его, что в нем должны открыться, заявить о себе и высокое чувство, и озабоченность общим делом, и гражданская совесть.

Такой герой, приподнятый над уровнем привычной повседневности, появился и у других грузинских писателей — Г. Абашидзе, Ч. Амирэджиби, О. Чиладзе, — притом что их произведения были обращены к прошлому Грузии. Бачана Рамишвили, повторим, человек наших дней, и нам дорого это соединение земных, сегодняшних целей его борьбы с бесконечно высокой целью достижения духовного идеала.

Скромный миллионер по прозвищу Кукарача не парит мыслью над бесконечным потоком времени и мало склонен к философствованию. Он человек действия, поступка. Но непременно такого действия и такого поступка, которые не унижат, а возвысят человека. Кукарача служит своему делу истово и самоотверженно — это служение, а не служба. И не умея плавать, он все равно бросится в реку на спасение ребенка...

Герои Нодара Думбадзе всегда жили ярко и празднично, эту яркость, праздничность жизни они ощущали и в самые трудные и самые горестные минуты. Теперь они овладевают искусством передавать другим свое мироощущение, свою моральную зыскательность.

Донкихотство и предельная самоотверженность — не слишком ли большая роскошь в наше динамичное, склонное к рационализму время? «Я вспомнил Кукарачу, вернее, он приснился мне 12 октября 1979 года в 12 часов ночи, за полчаса до моего второго инфаркта. И вот что странно: во сне Кукараче было 21 или 22 года, мне пятьдесят, а он, как и прежде, поучал и наставлял меня...»

Поистине прекрасной может быть мелодия бесхитростного городского романа.

А. РУДЕНКО-ДЕСНЯК.



ПОЭТИЧЕСКИЙ МИР ВААГНА ДАВТЯНА

Ваагн Давтян. Свет как хлеб. Стихотворения и поэмы. Переводы с армянского. Ереван. «Советакан грох». 1981. 230 стр.

Ваагн Давтян — один из наиболее значительных поэтов современной Армении. И новая книга его стихов в русских переводах еще раз подтверждает это. Основное настроение книги критик Левон Мкртчян в своем послесловии к сборнику справедливо определяет как «высокую праздничность».

И скала там есть в долине,
Вся в лучах певучих солнца,

И с нее граната ветви
Вниз свисают, как кометы.
А в долине под скалою
Конь оранжевый пасется,
Весь в звенящих ярких бликах,
Весь огнем облитый света.

(«Пойду пощущу», перевела Н. Габриэлян)

Переживание радости бытия переполняет многие произведения поэта. Может быть, в его стихах чувство наслаждения жизнью та-

кое напряженное (почти мучительное) потому, что он знает о быстротечности и красоты и радости?

Поэт знает о том, что все преходяще, что слишком многое уже стало лишь воспоминанием, зыбким, расплывчатым, почти нереальным. Как, например, вот это воспоминание о детстве:

Моей черную шерсть моя бабушка,
став на колени.
Волны речки дрожат,
Отражение тихо колеблется.
Волны речки бегут,
Шерсть из старческих рук вырывают,
И дробится лицо на воде
И с водой уплывает...

У Ваагна Давтяна много стихов и о ближайшем прошлом — детстве, и даже о тех временах, которые принято называть доисторическими (поэма «Творчество»). Память поэта, знающего о том, как подчас непрочно мы удерживаем в себе пережитое, тем не менее противостоит энтропии, не дает распасться связи времен, ибо и свое собственное существование он воспринимает в единстве с мировым целым, вобравшим в себя память поколений:

Иль ко мне возвращается голос,
Что столетия назад
От меня, от моей же гортани
Был отторгнут, отъят.

Давтян исключительно тонко чувствует и воссоздает красоту. Даже боль в его стихах красива:

Я увижу опять, как в падении гневном
Водопад свою боль превращает в сиянье..

Я думаю, что в этих строчках воплощен один из принципиальных моментов творчества Давтяна — он как бы гармонизирует свои страсти.

Русский читатель уже знаком со стихами Давтяна по книге «Неопалимая купина», вышедшей не так давно в издательстве «Советский писатель». Новая книга расширяет и углубляет наше представление о поэте, и главным образом потому, что сюда вошли четыре поэмы Давтяна. Это дает нам возможность судить о нем не только как о тонком лирике, но и как о мастере больших поэтических форм. Все четыре поэмы связаны между собой. Связаны самой личностью поэта, и вместе с тем каждая из них своеобразна и раскрывает качественно новые грани его дарования. Это лирико-философская поэма «Творчест-

во»; это «Сказание о любви и мече», восходящее к армянскому язычеству (в числе прочих достоинств поэмы я бы отметил и то, что это прекрасная стилизация, напоминающая нам творчество древних безымянных гусанов, и вместе с тем сама проблематика, сама концепция этого произведения делает его весьма актуальным); это «Сказание об Армении», страстный монолог об исторической судьбе Армении, произведение, исполненное внутреннего неспокоя, мятущееся и все же гармоничное (в этой поэме необычен сам принцип построения: в ней нет традиционного сюжета, поэма держится на тонких ассоциативных связях). И особенно я хочу выделить «Реквием», который представляется мне самым значительным произведением сборника. Это поэма открыто трагического звучания, исполненная горечи и боли, боли не гармонизированной, как в других произведениях Давтяна. «Реквием» посвящен одной из наиболее страшных страниц армянской истории — геноциду 1915 года:

Ветер грозный и одинокий
Задышался криком, от зноя сухим:

«Под песком похоронены наши
пророки,
Под песком похоронены наши
стихи...»

Поэт скорбит не только о трагедии, постигшей его нацию, — он видит, как взаимосвязаны любые проявления мирового вандализма:

И увязая по самые плечи
В этом кошмаре, в этом позоре,
Видел, как пламя срывали в Тер-Зоре
И разжигали Освенцима печи.
Как смертоносный огонь уносили,
Чтобы разжечь пожар в Хиросиме.

«Реквием» — произведение тематически многогранное, исполненное высокого гражданского звучания, полифоничное, требующее рассмотрения более подробно, нежели это позволяет объем рецензии.

Нашему знакомству с новыми произведениями Давтяна мы обязаны мастерским переводам Германа Плисецкого и Нины Габриэлян — поэтессы молодой, но уже зарекомендовавшей себя как автор талантливых стихов и как одаренный переводчик классической и современной поэзии Востока. Хочет отметить, что собственные стихи Н. Габриэлян, в которых она довольно часто обращается к теме Армении, во многом соприкасаются с тема-

тикой поэзии Давтяна. И это немало способствовало переводческой удаче поэтессы, которой принадлежит больше половины переводов сборника и в том числе — переводы всех четырех поэм (особенно я бы выделил отличный перевод «Реквиема»). Надо отметить еще один важный момент: несмотря на то, что переводческий почерк Г. Плисецкого отличен от поэтической манеры Н. Габриэлян, между ними нет той несовместимости, которая зачастую обнаруживается, когда за перевод книги берутся

стихотворцы принципиально различных творческих манер. Н. Габриэлян и Г. Плисецкого в данном случае объединяет определенная родственность в понимании миро-созерцания поэта, что и позволяет их переводам сосуществовать в одном сборнике, не опровергая, но дополняя друг друга. Книга получилась органичной и цельной. Надеюсь, что новый сборник Ваагна Давтяна будет по достоинству оценен читателем.

Евг. ВИНУКUROB.



«ЕВАНГЕЛЬЕ ОТ СИЗИФА»

Ю. Левитанский. Два времени. Стихи. М. «Современник». 1980. 120 стр.

Ю. Левитанский. Новые стихи — «День поэзии 1981». М. «Советский писатель», 1981.

Ничто поначалу не предвещало в Юрии Левитанском крупного и очень своеобразного дарования. Книги, правда, выходили с завидной аккуратностью: 1948 — «Солдатская дорога», 1949 — «Встреча с Москвой», 1951 — «Самое дорогое», 1952 — «Наши дни», «Утро нового года», 1954 — «Секретная фамилия», 1956 — «Листья летят». И рецензенты с похвальным единодушием отмечали искренность голоса, достоверность впечатлений и переживаний молодого поэта, который, уйдя на фронт с третьего курса знаменитого ИФЛИ, вернувшись после победы в Сибирь «в ожидании дел невиданных, из чужой страны...», доподлинно знал окопный быт, судьбу своего поколения и ныне, спустя три с лишним десятилетия, числится «фронтовым», «военным».

И все же... И все же вряд ли кто станет спорить, что на фоне ярко, стремительно восходивших Луконина, Наровчатова, Межирова, Орлова, Гудзенко, на фоне приподнявшихся, но с первого же своего шага в литературе авторитетных Слуцкого и Самойлова имя иркутянина Левитанского как-то меркло, уходило в тень. Отчего так? Отчего Левитанский словно бы перечеркнул все написанное им до конца 50-х годов (пятнадцать лет напряженной профессиональной работы как-никак!), ни разу не перепечатав ни одного стихотворения из первых семи книг?

Окидывая теперь заинтересованным взглядом ранее творчество Юрия Левитанского, в первую очередь отмечаешь четкую поляризацию стихов — по всей сумме возможных признаков. На одном полюсе со-

биралось то, что можно было бы условно назвать прозой стиха: плотно прописанный быт — фронтовой и послевоенный, житейские сюжеты и истории, переданные с репортерской точностью, автобиографические свидетельства, благодаря обилию которых лирика обращалась в стихотворный дневник. Здесь, на этом полюсе, в почете скромное слово, прозаизмы, разговорная интонация. Зато на другом полюсе торжествуют восклицательные знаки, риторические вопросы, фигуры ораторского красноречия. О дневниковости и помина нет; разговор идет исключительно в масштабе планеты и века, и понятно, что все важные слова пишутся с прописных букв.

Прибегая к привычной эмблематике, скажем так: был полюс прозы, был полюс риторики, а вот посредине, там, где должны раскинуться материки и моря истинной поэзии, не чурающейся, как известно, тесного родства ни с прозой, ни с высоким красноречием, а поглощающей, преобразующей, сопрягающей их в живом единстве... Там, посредине, — ничего, «белое пятно».

Вывод может показаться несправедливым хотя бы ввиду его мрачной категоричности: ведь многое же, как ни ряди, удавалось Левитанскому и в раннюю пору. Неравнодушный взгляд выделит и отличные строки, и яркие метафоры, и интонационные находки, и богатую инструментовку стиха. Так-то оно так, но не метафорами, не инструментовкой жива поэзия, сближающая свои задачи и суть не с орнаменталистикой же, а с человековедением; необходима еще — и прежде всего! — сердце-

вина, этическое ядро, свой образ мира, времени и человека. Бывают — что скрывать! — поэты, и в малой степени не озабоченные тем, как обрести эту сердцевину. Юрий Левитанский не из их числа. Чувство пути — вот то зерно, что в самой глубине души пыталось выпростаться, высвободиться, выбросить первые ростки, чреватые урожаем, устойчивые к переменам литературного и прочего климата.

И счастье поэта, что это высвобождение зерна, этот выброс первых ростков совпал с временем, властно призвавшим к личной инициативе, духовной самостоятельности, к напряженному нравственному поиску. Напоминая себе сейчас стихи Твардовского, Смелякова, Мартынова, Светлова, Слуцкого, Евтушенко конца 50-х — начала 60-х годов, понимаешь, с какой неотвратимостью — соединенными усилиями — разрушался миф о человеке-«винтике» и герои «без страха и упрека», как поэтическое, многоцветное, возвышенное отыскивалось не только в экстремальных ситуациях, но и вокруг, повсюду, куда ни кинь взгляд.

Юрий Левитанский, прирожденный лирик, начисто лишенный полемического азарта, может быть, даже несколько отставал от общего продвижения поэтического фронта, но обнаружил в себе главное, свое, что питало его лирику, сделал ее и самородной и значительной. Это главное, эта этическая сердцевина личности поэта — доброта. Его стихи прежде всего добрые по преимуществу. Традиционная максималистская формула «нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели...», моралистическое клише «жалость унижает» обесценились в поэзии Левитанского перед лицом выстраданного убеждения: именно жалость возвышает и очищает человека. Именно милосердием и добротой скреплен мир — звено со звеном, поколение с поколением, люди с людьми.

Как поэт Юрий Левитанский начался с того, что где-то на лесоповале тревожно спросил: «Что — отдельное дерево в этом мире зелено?» Нет в XX веке поэта и философа, кто не задавался бы этим вопросом вопросов, кто не определял бы свою жизненную и творческую позицию, то с гневом и болью обрушиваясь на «лесорубов» — ревнителей целесообразности, то решительно, с вызовом беря их сторону.

Левитанский-поэт не судит, не клянет, не защищает. Не в силах спасти обреченное дерево, он лишь вызывает к нему наше сочувствие

Просто рухнула лиственница,
и упала, и смолкла.
Просто смолка закапала,
обгоревшая смолка,
как росинка незрячая,
как слезинка невинная,
вся почти что прозрачная
и почти что не видная.

Это позиция. И это поэзия.

«Слезинка невинная», когда бы ни была она обронена, вновь и вновь берedit душу и память поэта. Жаль старушку, что «площадь переходит в скрепенье всех событий мировых шагает по дорожке пешеходной, неся свою порожнюю авоську, где, словно одинокий звук минорный и словно бы вобрушек озябший один лежит на доньшке лимон». Жаль майора Ковалева и господина Голядкина — традиционно комические, презренные фигуры русской классической литературы воспроизведены поэтом с таким пониманием и с такой родственной заинтересованностью, что ясно: и их кровь и их боль не пропали даром, вошли в состав личности современного человека. Жаль чеховский вишневый сад...

Ну, полно, мне-то что быть в обиде!
Я посторонний. Я ни при чем.
Рубите вишневый сад! Рубите!
Он исторически обречен.

Вздор — сантименты! Они тут лишни.
А ну, еще разик! Еще разик!
...И снова снятся мне

вишни, вишни,
красный-красный вишневый сок.

Да, таково истинное милосердие: возможные аргументы «за» и «против» учитываются, даже обсуждаются, но тут правит чувство, перебарывающее любые доводы и контрдоводы.

В отличие от многих поэтов-современников Юрий Левитанский практически никогда не индивидуализирует сюжет лирического переживания, не вводит в плоть стихового повествования конкретные судьбы конкретных, по имени и фамилии названных людей. Нетрудно тронуть читательское сердце, рассказав жалостливую историю Ивана Ивановича Иванова, понатерпевшегося в жизни, потертого обстоятельствами. Труднее и, по мнению поэта, важнее высветить сосредоточенной любовью всякого Ивана Ивановича (Петра Петровича, Анну Васильевну), ибо на милосердие и понимание вправе рассчитывать каждый, кому в жизни приходилось туго.

Полюбите нас черненькими, а белянькими нас всяк полюбит — к этой формуле прак-

тического, житейского гуманизма время, стремительное, суматошное, безжалостное время XX века, прибавило еще одну мудрость: полюбите каждого из нас в толпе, в автобусной давке, в крупнопанельных сотах городских микрорайонов, в потоках, вливающих на стадионы, в кинотеатры, учреждения, полюбите именно та к и м и — анонимными, отчужденными друг от друга, растворяющимися во множестве, — ибо в беспешной беседе за чашкой домашнего чая, в разговоре на деревенской завалинке всяк сосед войдет в положение соседа.

Говоря о человеке, Юрий Левитанский ищет и находит свою точку обзора, не удаляясь в заоблачные выси, откуда лиц вовсе не разглядеть, но избегая и крупных планов, притормаживающих бег времени. Так внимательное око скрытой камеры следит за деловитой уличной кутерьмой, никого специально не выделяя и вместе с тем укореняя в нашей памяти и старушку с авоськой, и молодецватого розовощекого офицера, и влюбленную пару, и юную мамашу, торопливо склоняющуюся над детской коляской... И запомнятся они нам не неповторимостью собственной, не внутренним своим миром, а нечаянным жестом, лаковым блеском козырька, авоською с лимоном, болтающимся на донышке, — всем тем, что и отличает вроде каждого и каждого с каждым роднит, уравнивает перед лицом общей судьбы, общего времени.

В том и новизна творческого взгляда Юрия Левитанского, что он пытается опознать, угадать личность по ее непеременимым аксессуарам, приметам, по действиям и жестам, ставшим ритуальными, неотъемлемыми. Поэтическая деталь — одинокий лимон в авоське, к примеру, — укрупняясь, вроде бы даже оттесняет старушку на обочину лирического переживания, заменяет ее привычным знаком, эмблемой. Но именно этот знак как раз в силу своей обязательной, стертой привычности дает нам, читателям, то знание о старушке, которого достаточно и для любви и для милосердия.

Сравнивая поздние работы Левитанского с его ранними стихами, видишь, как постепенно отходил он от принципов сюжетной занимательности и изобразительности, как вытраивал в себе склонность к неожиданной метафоре, броскому уподоблению, лукавому парадоксу в пользу несомненной точности и беспронигрышной доходчивости. Налет кажущейся банальности, присутствующий во многих — и как раз лучших! — стихах Левитанского, благодаря

тончайшей виртуозной нюансировке усиливает их нравственную значимость, поскольку дает каждому, даже не очень подготовленному, читателю право вжиться в настроение поэта, почувствовать это настроение своим.

Ведь о чем речь в стихах Юрия Левитанского? О дефиците общения, о том, что «нету времени присесть, поговорить, покалякать, покумекать, покурить. Нету времени друг друга пожалеть, от несчастья от чужого ошалеть. Даже выслушать друг друга — на бегу — нету времени — приедешь? — не могу!». О том, что «дети, как жители иностранные или пришельцы с других планет, являются в мир, где предметы странные, вещи, которым названья нет», и что «...не надо пыль им пускать в глаза! Пускай они знают, что неподдельно, а что только кажется золотым». О страстном, так хорошо известном каждому увлеченному делом человеку желании «все бросить и броситься в ноги, придти, осушить, прикинуть губами — все брошу, приду, осушу — дрожащую капельку, зернышко горькой росы, в котором растет укоризна и зрелый упрек», ибо «...все эти строки, которые я написал, и все остальные, которые я напишу — я знаю, и все они вместе, и эти и те, не стоят слезинки одной у тебя на щеке». О редких, блаженных праздниках, когда

— Месяц серебряный, шар со свечою
внутри,
и карнавные маски — по кругу,
по кругу!
— Вальс начинается. Дайте ж,
сударыня, руку
и — раз-два-три,
раз-два-три,
раз-два-три,
раз-два-три!..

Мощной, разветвленной корневой системой лирика Юрия Левитанского связана с бытностью, обиходом, кругом привычных житейских радостей и забот. И не об обстоятельности стихотворного бытописания ведем мы разговор — здесь многие поэты-современники дадут сто очков форы нашему автору. Не о дневниковости — далеко отступив от времени своей исповедальной юности, поэт как раз чрезвычайно редко балует читающую публику намеками на собственное житье-бытье. Все дело в круге идей, нравственных ценностей, вполне соизмеримых, «равнопорядковых» с кругом идей и ценностей его современников — соседей по лестничной клетке, спутников по недалёким железнодорожным и автобусным маршрутам, товарищей по поколению.

И он, как все, «улыбаясь грусти безотчетной», любит посидеть в весеннем сквере, глядя, «как в песке играют дети, хлебцы вылекают на доске, как они песок упрямо роют, на песке песочный домик строят, крепость воздвигают на песке». И ему, как всем, снятся мучительные, тревожные сны то об уходящем поезде, который уж не догнать, то о городах, в которых побывать не придется, то о забытой роли:

Сейчас я шагну обреченно,
кулисы раздвинув рукой.
Но я не играл этой роли
и пьесы не знаю такой.

И он, как все, стянут незримыми, сверхпрочными силками сегодняшнего дня, сегодняшней реальности, не позволяющими ни свободно путешествовать в океане минувшего, ни сосредоточиваться мысленным взором на десятилетиях и веках предстоящих. Можно, «хоть и смутно», представить себе 80-е и 90-е годы нашего столетия, а вот дальше...

...годы двухтысячные и дале —
не различимые мною дали —
произношу, как названья планет,
где никого пока еще нет
и где со временем кто-то будет,
хотя меня уже там не будет.
Их мой век уже не захватывает —
произношу их едва дыша —
год две тысячи — сердце падает
и замирает моя душа.

Едва ли не единственное исключение в современной поэзии: в книгах Юрия Левитанского последних двух десятилетий мы не найдем ни писем в ХХХ век, ни даже поэтических обращений к истории. Только настоящее, здешнее, реально — хоть на ощупь пробуй, — существующее! Цикл «Старинные петербургские гравюры», куда включены «Плач о майоре Ковалеве» и «Плач о господине Голядкине», дела не меняет и потому, что в нем обрабатывается не подлинно исторический материал, а историко-литературный, и потому, что поэт нимало не задается целями реконструкции минувшего, а решает задачи опять же сегодняшнего дня. Такова позиция, таково убеждение поэта:

Каждый выбирает по себе
слово для любви и для молитвы.
Шпагу для дуэли, меч для битвы
Каждый выбирает по себе.

И Левитанский, как все мы, выбирает по себе, склоняясь к мироощущению чело-

века, давно пережившего пору романтического «штурма и натиска», умудренного житейским опытом и несколько приустановленного от этой умудренности, приученного полагаться исключительно на добрые человеческие начала и — еще больше — на извечный порядок вещей. Недаром ведь и господин Голядкин, «человече смиренный и тихий, вольнодумец тишайший», что молит: «Только все обошлось бы, о господи — авось обойдется, авось обойдется!» — вспомнился поэту:

Я и себе говорю — ничего, не печалься.
Я и себя утешаю — не плачь, обойдется.
Я и себе повторяю — ведь все это было,
было, бывало, а вот обошлось, миновало.

Никаких «иду на вы», никакого вызова времени; обоюдное согласие человека и пространства, судьбы и вечности, основанное на взаимной необходимости, — вот идеал поэта, стремящегося даже космос сделать обжитым, уютным, утепленным. Только представит поэт: «В мирозданье, как в зданье пустом, — ни огня и ни звука», — как уж на язык ему просится оклик: «Эй, хоть кто-нибудь там, отзовись!» — поскольку «это свойственный человечеству, нашей крови земной, с дней колыбели — страх одиночества, только масштаб иной».

Именно победа над одиночеством, бесприютностью, бессмыслицей бытия дарует человеку и духовную свободу, и душевное спокойствие. Да, каждый человек чем-то сродни Сизифу: катит он свой камень на гору, катит, взмокает от усердия, надрывается, а придет конец жизненному сроку — и полетел, полетел этот камень судьбы вниз, в пустоту, в бездну неизвестную, мгlistую... Горько? Конечно же, горько. Но пока не пришел урочный час, катить камень на гору все-таки надо, ибо так человеку на роду написано. И внушает надежду мысль, что камни эти обрушившиеся рано или поздно лягут в фундамент грядущего светлого здания. И придает силы сознание того, что и вокруг, рядом тоже трудятся, тоже вскапывают свои судьбы вверх, тоже выполняют свое жизненное предназначение.

Так «евангелие от Сизифа» прочитывается как учебник долга, как протест против человеческой разобщенности, как призыв к братскому союзу добрых и честных людей, где каждому найдется скромное, но достойное место, скромная, но достойная роль. Недаром ведь, говоря о своих героях,

Юрий Левитанский непременно проецирует их судьбы на большой экран человеческого сообщества: даже поминавшаяся нами не раз старушка с авоськой шагает по дорожке пешеходной «в скрещенье всех событий мировых», на фоне нескончаемого потока жизни.

Жить «по возможности достойно» — вот нравственное кредо поэта, итог его многолетних размышлений и о своей судьбе и о судьбе своего поколения — поколения добрых и усталых мужчин. Не исключено, что этот итог окажется недостаточным для тех, кто еще только начал тратить запасы своей

жизненной энергии, кто с жаром и энтузиазмом юности ставит перед собою более романтические, максималистские цели. Что ж, «поздний опыт зрелого ума возрасту иному не годится»...

Юрия Левитанского и этот опыт и этот итог устраивают. От строки к строке, от книги к книге все пишет и пишет он длинное стихотворение, «где будут на равных провидящие и слепые», где торжествуют начала милосердия, любви, дружества, достоинства, надежды.

Сергей ЧУПРИНИН.



«ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА РОЖДЕННОЕ СЛОВО»

Валерий Дементьев. Мир поэта: Личность. Творчество. Эпоха. М. «Советская Россия». 1980. 477 стр.

Недавно вышли воспоминания об Алексее Прасолове его земляка по Росоши Петра Чалого, и в них приводится одно поразительное суждение поэта: «Знают, как рождается человек, дерево, день, — все. Но не знают, как рождается поэзия. И я счастлив!» «Последние слова мне не показались, а возражать ему отчего-то не стал», — пишет мемуарист.

Нет, отчего же «не показались»: отбросим на минуту налет упрямого вызова, так свойственного Алексею Прасолову в тех невеселых жизненных обстоятельствах, в которых он часто оказывался, исключим «момент гордыни» и позу пренебрежения к непосвященным, вообще не свойственные ему, — и мы пойдем эти слова современного поэта только так, как их следует понимать. Рождение поэзии — это тайна. Это то, чего нельзя потрогать, увидеть, разъять на части, взять, отнять. Это то, что столь точно и прекрасно выразил поэт еще в прошлом веке: «Из пламя и света рожденное слово». И, конечно же, счастлив тот, кого обжигало это невидимое пламя и обтекал этот невидимый свет...

Но как же так, недоумевал уже в наши дни Николай Асеев, «ведь «пламя» и «свет» — понятия однородные. Почему же Лермонтов поставил их рядом?». Размышляя над этим, Асеев пришел к выводу, что «пламя» — это как бы внутреннее горение человека, его сердечное пламя, а «свет» — это свет разума, которому подчиняются все чувства человека...

Это толкование Асеевым известной лермонтовской строки приводит Валерий Де-

ментьев в предисловии к своей новой книге «Мир поэта», тем самым как бы возвращая нас — с иной стороны — к разговору о глубинной природе поэзии. Неужели, размышляет В. Дементьев, работа критика не может быть озарена этим светом разума и неподдельным сердечным чувством, заключенным в подлинном поэтическом слове? Согласимся: может быть. Но перед лицом высокого самосознания поэзии (отразившегося и в приведенном прасоловском высказывании) тем более долг критика — отыскать, выверить такие возможности...

Валерий Дементьев принадлежит к критикам, которые постоянно ощущают этот свой долг: внимательно приглядываясь к специфике труда крупнейших художников слова, опираясь на их суждения, высказывания, мысли об искусстве, а также на опыт своих личных встреч, бесед с ними, он ищет и находит возможности доказать, что в общепринятой формуле «критик — это ученый и художник одновременно» не менее важна эта вторая часть: и художник...

От книги к книге — а в последние годы у него вышла не одна работа о поэзии и поэтах — нарастает момент личностного, авторского обоснования перед самим собой и читателем важности разговора о поэзии как искусстве слова. Расширяется территория поэзии — до XVIII века, увеличивается круг современников, о которых В. Дементьев теперь пишет, — это поэты не только его фройтовского поколения: А. Межиров, С. Орлов, Е. Исаев, Н. Старшинов, — но и А. Твардовский, Л. Мартынов, Я. Смеля-

ков. Это русская советская классика начала XX века — А. Блок, С. Есенин, и новейшие явления в литературе последнего времени — Н. Рубцов. Расширяется, усложняется круг вопросов, связанных с природой лирики: в чем ее отличительные особенности, в чем ее — для тебя и не только для тебя — извечная притягательная сила.

В предисловии к книге с примечательным названием «Поэзия — моя отрада» («Современник». 1975) В. Дементьев обращает наше внимание на обманчивость бытующих представлений о легкости, доступности для понимания лирической поэзии, якобы покорной всем возрастам. Ведь лирика — это «мир красоты, в ней есть нечто еще и «по ту сторону» слов, или, как говорят физики, «по ту сторону» явлений,— пишет критик.— С годами я стал постигать и эту особенность лирической поэзии, ибо она была богаче, сложнее, тоньше «простого» чувственного восприятия текста, первоначальной оценки его по принципу нравится — не нравится»...».

В книге «Исповедь земли» («Современник». 1980), уже с другой стороны, ссылаясь на свой многолетний опыт исследователя, В. Дементьев говорит, что самое трудное в работе — это «...раскрыть и обосновать эстетическую концепцию художника, выявить его понимание красоты в мире и человеке, в природе и обществе. Сами писатели подчас не всегда в логически стройных категориях определяют специфику личных эстетических взглядов и воззрений. Безусловно, что существуют творческие трактаты, декларации, манифесты, но творчество их авторов все-таки шире и неповторимее данного нам „ключа“ или данной обоснованной грамоты».

Итак, речь идет о «мире поэта» (именно так обязывающе названа и последняя по времени книга В. Дементьева). Мир поэта, включая в себя эпоху, историю, социальный и духовный опыт художника, предполагает и в исследователе этого мира тот же до поры не востребованный комплекс, «запас» примет человека своего времени... Как же встречается этот опыт критика с миром поэта? Где, в каких случаях встреча оказывается наиболее плодотворной для читателя? Казалось бы, ответ ясен: там, где гражданский, жизненный опыт критика совпадает с опытом поэта, о котором он пишет. Там проникновение в эстетический мир глубже, прочтение точнее, личностнее, сокровеннее...

Да, когда В. Дементьев говорит о поэ-

тах своего фронтового поколения — и уже ушедших от нас (С. Орлов), и плодотворно работающих ныне в литературе (А. Межиров, С. Викулов, Е. Исаев и другие), — то он видит каждого из них там, на войне, в тех конкретных обстоятельствах, цепких деталях-подробностях, в которых рождалась правда этой поэтики. Известные слова Сергея Орлова: «Пускай в сторонку удалится критик: поэтика здесь вовсе ни при чем. Я, может быть, какой-нибудь эпитет — и тот нашел в воронке под огнем» — узнаны и прочитаны таким же гражданским, духовным, личным знанием критика. Он не «в сторонке», он вместе с поэтом настолько, что голос его комментария к стихам подчас сливается с голосом самого стиха.

«Необычна и вместе с тем проста была их жизнь, проста была их смерть, просты песни о жизни и смерти: „Нам не страшно умирать, только мало сделано, только жаль старушку мать да березку белую“. Надо ли здесь было придумывать какие-либо еще слова, если этих парней в кирзе с ног до головы больше всего волновала, пожалуй, не собственная смерть, а печаль матерей в долгожданный День Победы: „Кто обнимет мать тогда — в праздник одну-кую?“» — так патетически начинается статья В. Дементьева, нет, гораздо уместнее здесь сказать — слово о Сергее Орлове... Другое дело, что не во всех случаях эта манера приводит к желаемому эффекту: бывает, слишком большая узнаваемость своего материала лишает его для критика некой, что ли, эстетической неожиданности, и это тотчас же передается читателю.

Между тем момент открытия, постижения критиком неизведанного, незнакомого для себя человеческого и поэтического опыта — скажем, в оригинальных художественных построениях Леонида Мартынова — приводит В. Дементьева к беспорной исследовательской удаче. В той «концепции красоты», которую он ищет в искусстве — через посредство Мартынова, — важными звеньями выступают и фантастическое преобразование художником жизни, и «воображение сердца», и «седьмое чувство». Произошло как в стихах самого Мартынова:

Углубляйся в себя, углубляйся,
Сам являйся своим окруженьем,
Но особенно не удивляйся,
Коль в асфальте с другим отраженьем
Вдруг твое отраженья столкнется:
Кто из двух посторонится, друже?

Критик столкнулся с другим, незнакомым ему ранее «отражением» поэта — и никому не пришлось посторониться, ни критику, ни поэту, ни, главное, читателю: творческий портрет Леонида Мартынова получился, существует. Более того. Именно оригинальный эстетический мир поэта-современника вывел В. Дементьева как исследователя к новым творческим проблемам.

Поясню примером. «Новатор духа — Александр Блок», — сказал Леонид Мартынов и в книге автобиографических новелл «Воздушные фрегаты» развернул эту формулу: «Блок дал мне ощущение Куликова поля. Он одарил меня, пожалуй, не меньше, чем Маяковский, предчувствием надвигающихся событий, и я не преувеличу, сказав — предощущением близкой революции».

Это ощущение поэта оказалось необычайно близким В. Дементьеву, подсказав ему, и не только ему одному, тот особый ракурс восприятия творчества Блока, который наметился в последнее время (немаловажную роль здесь сыграли и юбилей: 600-летие Куликовской битвы, 100-летие со дня рождения Блока). Цикл «На поле Куликовом» воспринят как концепция России, в которой «готовится будущее», как непосредственное личное отношение автора к истории, к ее урокам... Примечательно, что отзвук блоковской метафоры «но в каждой тихой ржавой капле — зачалось рек, озер, болот», затаившей в себе глубокое познание и признание поэтом своей исторической родословной (тема, так близкая нам сегодня), мы находим и в лирике Н. Тихонова («И в каждой капле спал потоп...»), и в стихах Николая Рубцова («С каждой избою и тучею, с громом, готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную связь»), и у других современных поэтов. Возникает связь времен, сцеплений в мире поэзии, где все взаимосвязано и взаимноответственно и каждое подлинное художественное открытие входит в гены последующих творческих поколений.

В. Дементьев не первый из критиков поэзии, кто пришел к классике от современности. Его «мир поэта» открывают фигуры начала века: Блок, Есенин, Н. Клюев. Правда, Клюев здесь «нетипичен», хотя появление его среди этих имен вполне оправдано историей литературы — современник Блока и «средний брат» Есенина, с которым его связывали особо сложные взаимоотношения дружбы-вражды, он мно-

гое проявляет, как лакмусовая бумажка, в характере таланта последнего.

Примечательно, что и в этом случае в работе В. Дементьева угадывается скорее современный, нежели историко-литературный интерес. Ведь в том, с каким тщанием и упорством отдирает критик кору вульгарно-социологических наслоений от живой части лирики Клюева, сказывается и хозяйский глаз нашего времени, отвоевывающего у незнания и небрежения забытое наследие прошлого, и чувство исключительной актуальности в новейшей литературе проблем сельского мира, природы, экологии. Сославшись на высказывание ученого А. И. Михайлова о том, что в лучших клюевских стихах следует видеть «не столько проповедь неприкосновенности патриархальной глухомани, сколько напоминание о хрупкости живого мира», критик в подтверждение приводит такие лирические строки:

Не в смерть, а в жизнь введи меня,
Тропа дремучая, лесная!
Привет вам, братья-зеленя,
Потемки дупел, синь живая!

Я не с железом к вам иду,
Дружась лишь с посохом да рясой,
Но чтоб припасть в слезах, в бреду
К ногам березы седовласой...

Согласимся, эти строки Н. Клюева могли быть написаны и Н. Рубцовым, вернее именно дарования такого типа, как Н. Рубцов в современной поэзии, смогли проявить то здоровое, цельное, живое, что таилось в «дремучем лесу» «олонецкого ведуна».

Правда, подчас стыки с современностью в повествовании критика выглядят несколько упрощенно, акцент на экологическом, на «избьяном космосе» в «роль своеобразной философии в творчестве поэтов послереволюционной эпохи» порой уводит разговор в сторону от их более четкой, конкретно-исторической оценки. В какой-то мере это упущение компенсируется в статье о Есенине.

Здесь, пожалуй, лучше всего видна особенность метода Дементьева-критика, его подход «к инструменту воздействия литературы — прекрасному» (Ю. Бондарев). Чтобы сказать, например, о непростой роли развернутых метафор «древа жизни», «человека-листа», так часто встречающихся в есенинских текстах, критик широко привлекает суждения самого поэта, знаменитый трактат «Ключи Марии», свидетельства, документы, воспоминания современников Есенина, новейшие работы о творчестве Есенина, о русском народном творчестве, труды

этнографов и археологов; здесь важны и личные воспоминания критика, связанные с его давним интересом к северному прикладному искусству, в частности к вологодским кружевам и вышивкам... Все это в немалой степени помогает исследователю войти в многозначный и многообразный мир есенинской поэзии, которая оказывается гораздо более философией, памятью, опытом народной поэзии, чем это представлялось современникам...

Мы не знаем и никогда не узнаем в доподлинности, несмотря на огромную мемуарную литературу, как рождались неповторимые есенинские образы вроде «руки вы-

тяну — и вот — слушаю на ощупь» или «я слушаю. Я памятью смотрю». Его слово всистину «из пламя и света»: «Душа грустит о небесах, она нездешних нив жилища. Люблю, когда на деревьях огонь зеленый шевелится». Но те новые эстетические смыслы, которые, по М. Бахтину, открываются в подлинных произведениях искусства «в большом времени», включая в себя и время их посмертной жизни, мы, без сомнения, стали осознавать лучше, глубже, тоньше. Благодаря усилиям всей современной критики и критика Валерия Дементьева, в частности.

Инна РОСТОВЦЕВА.



НА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЕ

В. Оскоцкий. Роман и история. Традиции и новаторство советского исторического романа. М. «Художественная литература». 1980. 384 стр.

История советского исторического романа еще не написана. А потребность в таком обобщающем труде ошутима. На дальних и ближних подступах к подобному труду уже создано немало серьезных исследований. В монографии В. Оскоцкого, автор которой, кстати сказать, с похвальной уважительностью относится к накопленному его предшественниками опыту, названы книги М. Серебрянского, Г. Ленобля, С. Петрова, Ю. Андреева, М. Сиротюка, Р. Мессер, З. Удоновой и другие. Что нового вносит рецензируемая работа в наше понимание логики и закономерностей развития одного из самых популярных и, добавим, трудоемких жанров многонациональной советской литературы?

Начать следует, вероятно, с того, что перед нами одна из тех книг, в которых историческая проза рассматривается в ее многонациональном качестве. Замысел книги, по словам ее автора, «подсказан многонациональным литературным процессом последних лет, тем, что одной из ведущих его тенденций стало необычайно интенсивное обновление и обогащение исторического романа — в литературах русской и украинской, эстонской и грузинской, армянской и казахской. Налицо единая закономерность развития, многообразные проявления которой требуют сравнительного анализа и типологических обобщений».

В. Оскоцкий оперирует, как правило, новейшим материалом: значительная часть анализируемых сочинений создана и издана

за последние десять—пятнадцать лет. Перед нами тот случай, когда критик и литературовед смыкаются в одном лице, взаимобогащая друг друга.

Литературоведческая основательность, научность книги В. Оскоцкого не в так называемом исследовательском аппарате, не в сносках и ссылках, а в глубине авторского подхода к материалу и его знанию, в освоении историографической литературы от В. Ключевского до Б. Грекова, современных подходов к сложным проблемам исторического прошлого нашего отечества, многих историко-бытовых очерков о древней Руси. Отсюда и широта обзора, открывающегося перед заинтересованным читателем: наряду с русской советской исторической классикой (автор подробно говорит о А. Толстом, О. Форш, А. Чапыгине, Ю. Тынянове, С. Злобине, С. Бородине, В. Яне и других) предметом анализа становится творчество Айбека, Ауэзова, Джавахишвили, А. Кадыри, Гамсахурдиа... В самом же центре внимания автора — книги наших современников: Г. Абашидзе, П. Загребельного, Я. Кросса, Б. Окуджавы, Д. Балашова, И. Калашникова. Знакомит он нас и с именами, сравнительно мало еще известными.

Раскрывая общее и особенное, диалектику их взаимодействия в многонациональной литературе, В. Оскоцкий с уважением и пониманием пишет о национальных истоках и корнях того или иного явления в ис-

кусстве слова. Так, обратившись к «Мальве» Р. Иванычука, своеобразному роману-легенде, исследователь удачно подобрал ключ к его поэтике, определил силу и слабости, ввел произведение в контекст развития украинского исторического романа, в активе которого «Переяславская рада» Н. Рыбака, «Клокотала Украина» П. Панча, «Хмельницкий» И. Ле и др.

Метод параллельного анализа близких по тематике исторических романов, которым владеет В. Оскоцкий, весьма плодотворен. Именно на этом пути рельефно выявляется движение жанра, обогащение традиций, направление поиска. Интересен сопоставительный анализ романа Исаия Калашникова «Жестокый век» и трилогии Василия Яна «Чингиз-хан», «Батый», «К „последнему морю“». Речь идет о своего рода творческом соревновании с предшественниками. В такое соревнование вступил и В. Шукшин своим романом «Я пришел дать вам волю», написанным после знаменитых, ставших классическими книг А. Чапыгина и С. Злобина.

Исследование В. Оскоцкого привлекает и своей полемической заостренностью. Сошлемся хотя бы на страницы, посвященные повести Ивана Шухова «Трава в чистом поле». Говоря о беспочвенной апологии Скобелева, критик уместно напоминает в этой связи и работы других авторов, грешивших отходом от объективных классовых оценок, нарушением последовательных принципов социального анализа. Безоговорочное согласие вызывает у меня и данная в рецензируемой монографии аттестация так называемых романов-хроник Валентина Пикуля. Вместе с критиком мы как бы заглядываем в «творческую лабораторию» плодovitого автора и убеждаемся в нарушении последним элементарных законов художественного осмысления исторических фактов.

Однако разделяя в целом пафос этого добротного исследования, можно было бы и опровергнуть ряд выдвинутых критиком положений. В частности, он нас не убедил своим ответом на вопрос о том, какого рода произведения нужно, по его мнению, относить к жанру исторического романа. Чуть ли не на первых страницах монографии сказано: «Роман не может считаться историческим, если события, составившие его сюжетную основу, происходили на памяти ныне живущих поколений, были их биографией, их судьбой». Этот тезис по меньшей мере спорен.

Недостает той обстоятельности, к которой мы привыкаем, вчитываясь в книгу В. Оскоцкого, последней главе «Характер и обстоятельства. Уроки героической нравственности». Она написана несколько бегло, что не соответствует значению и ответственности проблематики, в ней рассматриваемой.

Придерживаясь правила, что, рецензируя книгу, надо говорить о том, что в ней есть, скажем все-таки несколько слов и о том, чего в ней не хватает. Разумеется, никому еще не удалось объять необъятное. Однако наше уважение к традиции предполагает хотя бы сжатое, конспективное, тезисное, что ли, но обращение к итогам развития исторического романа в классической литературе. Правда, у В. Оскоцкого на одной-двух страницах встречаются упоминания пушкинской «Капитанской дочки» и «Истории пугачевского бунта», гоголевского «Тараса Бульбы», «Ледяного дома» Ив. Лажечникова, «Князя Серебряного» А. К. Толстого. Названы «Хаджи-Мурат» и «Война и мир» Толстого. Но, согласимся, этого маловато для понимания специфики исторического романа в России XIX века. Полагаю также, что общетеоретические главы «Перед лицом Клио» и «К спорам о жанре. Вопросы поэтики» выиграли бы значительно, если б советский роман был рассмотрен автором в связи с многовековой историей этого жанра во всемирной литературе. Лишь кое-где по разным поводам названы и мелькают имена В. Скотта, Л. Фейхтвангера, Т. Манна, Г. Сенкевича, Б. Пруса, С. Жеромского, болгарских романистов Д. Талева, Д. Димова и других.

Конечно, советским историческим романистам во многом выпала роль первопроходцев. Решая по-новаторски сложнейшие современные художественные задачи, наши писатели, с чем согласен и автор рецензируемой монографии, начинали не на пустом месте. Тем более жаль, что при широком охвате материала из поля зрения критика выпали произведения, оставившие заметный след в истории жанра, скажем «Емельян Пугачев» В. Шишкова, «Севастопольская страда» С. Сергеева-Ценского, «Порт-Артур» А. Степанова.

Монография «Роман и история» еще раз убеждает в том, что плодотворное исследование сложного современного литературного процесса, раскрытие его специфики и перспектив предполагают обращение критики ко всей многонациональной нашей

литературе при выявлении общего и особенного, традиционного и новаторского в каждой из национальных литератур. Успех сопутствует автору рецензируемой книги, поскольку он верен этому методологическому принципу.

В. Оскоцкий, хотелось бы надеяться, продолжит разрабатывать круг проблем, намеченный в талантливой книге «Роман и история».

Уран ГУРАЛЬНИК,
доктор филологических наук.



Политика и наука

«ПОУЧИТЕСЬ У РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ!..»

К. Ф. Шацилло. 1905-й год. М. «Наука», 1980. 190 стр.

По истории первой русской революции существует огромная, поистине необозримая литература. К изучению опыта этого всенародного натиска на царизм марксистская мысль обратилась, так сказать, по горячим следам — уже в ходе самой революции. Первым и самым глубоким ее историографом вне сомнений является Ленин. Тема первой русской революции проходит в качестве сквозной через многие его произведения предоктябрьской и послеоктябрьской эпохи. Работая над «Государством и революцией» Ленин предполагал написать специальную главу «Опыт русских революций 1905 и 1917 годов». В наброске плана к ней намечено два пункта, касающихся 1905 года: «1. Новое «народное творчество» в русской революции: Советы» и «2. Уроки 1905 года». Но, как объяснил сам Ленин, написанию этой части книги «„помешал” политический кризис, канун октябрьской революции 1917 года» и работу пришлось отложить, поскольку «приятнее и полезнее «опыт революции» проделывать, чем о нем писать».

Специального обобщающего исследования Ленин нам не оставил, но собранные вместе его многочисленные статьи и отдельные высказывания являют собой цельную и глубокую концепцию истории первой русской революции. Интерес и то значение, которое придавал Ленин ее опыту, выражены им в краткой, но необыкновенно емкой формулировке: «Без такой «генеральной репетиции», как в 1905 году, революция в 1917. как буржуазная, февральская, так и пролетарская, Октябрьская, были бы невозможны». Эти крылатые ленинские слова стали для советских историков как бы компасом, указывающим направление их научных изысканий. Начавшись еще в 20-х годах, они продолжают и по сей день. Особен-

но заметно увеличение литературного потока в юбилейные годы. Но дело, разумеется, не только в юбилеях.

То, что происходило в России на заре века, во многом является если не прямым предтечей, то, во всяком случае, прообразом освободительной борьбы народов в наши дни. Вглядываясь в современный революционный процесс, мы обнаруживаем в нем черты прошлых революционных битв, неразрывную историческую связь времен. Этим, в сущности, определяется неиссякаемый интерес к истории первой русской революции. Есть и другая причина этого интереса. Само движение науки открывает новые исследовательские горизонты, ставит новые вопросы и одновременно позволяет по-новому взглянуть на вопросы «старые». То, что раньше могло казаться простым и очевидным, ныне, при возросшем уровне науки, предстает зачастую сложным и противоречивым, требующим для объяснения новых данных, новых подходов и решений.

В ряду книг, вышедших в юбилейный, семьдесят пятый год русской революции, выделяется сравнительно небольшая, расчитанная на массового читателя монография «1905-й год», принадлежащая перу видного исследователя истории России эпохи империализма К. Шацилло.

Известно, что популярный жанр — один из самых трудных. Обращаясь к широкой читательской аудитории, автор заранее берет на себя обязательство сочетать строгость научного анализа с доходчивой и занимательной формой изложения. От того, насколько удачно или неудачно это сочетание, зависит дальнейшая судьба книги и продолжительность ее жизни. Рецензируемая книга в этом отношении беспорно по-

лучилась. Здесь нет возможности, да и нужды последовательно рассматривать все главы книги. Мне хотелось бы обратить внимание лишь на некоторые ее отличительные черты.

Через всю работу красной нитью проходит тема «Ленин в революции». Тема в историографии далеко не новая. Но и здесь автор находит возможности и средства своему показать облик вождя как гениального мыслителя, как неутомимого и страстного практика революции. Вот одна только маленькая иллюстрация. Апрель 1905 года. Лондон. III съезд большевистской партии. Казалось бы, все и всем давно известно. Но вот читаем: «Ленин стал сердцем, умом и душой III съезда, работой которого он руководил как председатель; перу Ленина принадлежат проекты основных резолюций, в протоколах съезда насчитывается около 140 его выступлений и предложений». Подумать только, 140 выступлений и предложений всего лишь за несколько дней работы съезда! Руководящая роль Ленина на съезде широко освещена в литературе, но не припомню, чтобы в популярных изданиях кем-либо ранее производился такой впечатляющий подсчет.

Или вот еще один подсчет, уже из другой области, но не менее впечатляющий. Известно, что победа или поражение революции в огромной степени зависели от поведения армии, в которой царизм видел свою опору. «Солдатские штыки,— пишет автор,— всегда служили последним аргументом в спорах царизма с народом». И далее приводит следующие данные: число солдат, привлекавшихся «для содействия гражданским властям», в 1901 году составляло 55 тысяч, в 1902-м — 107 тысяч, в 1903-м — 160 тысяч. В 1905 году к помощи войск правительство обращалось 4 тысячи раз. С учетом повторных вызовов число солдат, участвовавших в войне царя с народом, достигало почти 3,4 миллиона человек, то есть втрое превышало численность всей царской армии к началу 1905 года. А далее идет рассказ о том, как пошатнулась эта, казалось бы, прочная опора трона. В центре рассказа восстание на «Потемкине» — «непобежденной территории революции». И здесь автор с помощью воспоминаний одного из активных участников революции, М. И. Васильева-Южина, вновь рисует образ вождя, зорко следящего за разворотом событий и жаждущего победы народа.

К числу сложнейших проблем в истории 1905 года несомненно относится вопрос о роли либеральной буржуазии в революции. Еще в те времена Ленину пришлось давать решительный отпор кадетско-меньшевистским взглядам, согласно которым на политической арене действовали два лагеря: самодержавие, с одной стороны, и либеральная буржуазия вместе со всей демократией — с другой. «Борются и будут бороться», — подчеркнул Ленин, — три главных лагеря: правительственный, либеральный и рабочая демократия, как центр притяжения всей вообще демократии. Деление на два лагеря есть уловка либеральной политики, сбивающей иногда с толку, к сожалению, кое-кого из сторонников рабочего класса. Только поняв неизбежность деления на три основных лагеря, может рабочий класс вести на деле *свою*, а не либеральную рабочую политику, *используя* конфликты лагеря первого с лагерем вторым, но не давая себя ни на минуту обмануть якобы демократической фразеологией либералов».

В 30—40-х годах концепция двух лагерей при всей странности этой метаморфозы как бы возродилась в виде упрощенного представления о том, что либералы и царизм суть одно, что никаких различий между ними и самодержавным лагерем не было. Подобные оценки исторического прошлого, перенесенные в современность, наносили серьезный вред революционному движению, сужая для рабочего класса возможности политического маневра и затрудняя процесс сплочения общедемократического фронта в антиимпериалистической борьбе. Историкам в 50—60-х годах пришлось потрудиться над восстановлением ленинской концепции трех лагерей. К. Шацилло принадлежит к числу тех, кто немало сделал в этом направлении. Будучи одним из признанных знатоков истории российского либерализма, он искусно использовал свои знания и в этой книге. Три ее раздела — «Либералы „розовеют“», «Либералы „краснеют“» и «Либералы начинают „чернеть“» — специально посвящены поведению либеральной буржуазии в первый год революции. В работе выделены и ясно очерчены три периода: попытки либералов «возглавить, чтобы обезглавить», массовое движение в начале революции; радикализация их тактики и «обращение к народу» в летние месяцы 1905 года перед лицом неуступчивости царизма; наконец, открытый поворот либеральной буржуазии от демократии к правительству после манифеста 17 октября. В

нем она усматривала симптом удовлетворения своих чаяний и возможность свернуть страну с революционного пути на путь конституционного компромисса с царизмом, направленного против народа. Страницы, посвященные раскрытию побудительных мотивов и практических извивов либеральной политики, одни из самых сильных и интересных в книге. Оценивая смысл политического поведения либералов, Ленин писал, что буржуазия этого направления «боятся революционного народа и идет к нему не как представительница его интересов, не как новый пламенный боевой товарищ, а как торгаш, маклер, бегающий от одной воюющей стороны к другой». Эти ленинские слова определяют авторский подход к анализу истории российского либерализма и рефреном проходят через всю монографию.

Кульминацией революции был конец 1905 года — всероссийская октябрьская стачка и декабрьские восстания в Москве и других городах. К этим драматическим событиям обращена заключительная глава «Демократия опоясана бурей». Автор отнюдь не стремится «украсить» свою работу архивными ссылками, их буквально единицы. Новизну и свежесть книге придадут умелое использование обширного опубликованного документального материала и мемуаров, хорошая литературная форма их подачи, язык, не скованный штампом. Вот почему с неослабевающим интересом читается описание октябрьской стачки и московских баррикад, крестьянских восстаний осенью 1905 года и трагедии «Очакова». И снова в центре гигантская фигура Ленина — в России, в самой гуще революционных событий. 13(26) ноября Владимир Ильич выступил на заседании Исполкома Петербургского Совета рабочих депутатов. Автор приводит выдержки из интереснейших воспоминаний большевички М. М. Эссен: «Весь зал насторожился и притих. Повеяло настоящим воздухом революции, будто раздвинулись стены зала заседания и перед нашими глазами развернулся мир огромных революционных перспектив. Повеяло воздухом Коммуны...»

И еще одно: книга не только не безлика, но наполнена действующими лицами — их около двухсот. Это и соратники Ленина, и те, кто шел в революцию не по ясному сознанию, а по стихийному влечению к свободе, и те, кто находился по другую сто-

рою баррикад. Все они органично вплетены в ткань повествования. Автор избегает простого перечисления имен. Перед читателем целая галерея участников великого «исторического действия», их лаконичные, но мастерски выполненные политические портреты. Среди них товарищи Ленина по партии: темпераментный Максим Максимович Литвинов и хладнокровный, но всегда готовый к действию Леонид Борисович Красин, блестящие публицисты Вацлав Вацлавович Воровский и Анатолий Васильевич Луначарский, самый «старый» делегат III съезда партии Миха Цхакая, которому тогда едва минуло сорок лет, да и самому Ленину было только тридцать пять. В ряду революционеров названы бескорыстный и бесстрашный «социалист вне партии» лейтенант Петр Петрович Шмидт, машинист с Казанки эсер Алексей Владимирович Ухтомский, расстрелянный карателями в декабре 1905 года... А на другой стороне «несомненнейший зубатовец» — разоблаченный как провокатор и повешенный рабочими поп Гапон, будущие лидеры кадетской и октябристской партий П. Н. Миллюков и А. И. Гучков; «самый опытный из царских бюрократов» и подлинный «лик змеи» С. Ю. Витте... Наконец, такие мрачные представители самодержавного режима, как пьяница и развратник московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович или Д. Ф. Трепов, этот «вахмистр по воспитанию» и «погромщик по убеждению», со своим знаменитым приказом: «...холостых залпов не давать и патронов не жалеть». Для каждого из них, как и для многих других, нашлись точные и запоминающиеся характеристики.

Русская революция не была только и исключительно российским явлением. Раскаты ее потрясли Европу и Азию. Опыт ее стал предметом пристального внимания и изучения революционеров многих стран. «Поучитесь у русской революции» — таким призывом Розы Люксембург, обращенным к участникам Йенского съезда германской социал-демократии в сентябре 1905 года, заканчивается книга. Разумеется, это не учебное пособие. Это живой рассказ о героическом прошлом, содержащий в себе немало поучительного для людей, не живших в ту бурную эпоху.

А. ГРУНТ,
доктор исторических наук.

ПРЕДВИДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

И. Б. Литинецкий. Изобретатель — природа. М. «Знание». 1980. 152 стр.

Полвека назад Карел Чапек подметил, что «вся техническая фантазия человека состоит в том, чтоб взяться за дело не с того конца, с которого берется природа; я сказал бы, с прямо противоположного». Действительно, чтобы быстрее передвигаться на суше, потребовалось колесо, а не механические ноги, не плавники дали нам власть над просторами и глубинами океана, не машущие крылья позволили человеку взлететь — словом, вся магистраль технического прогресса, казалось, отрицала опыт природы и даже противостояла ему.

Затем наступила пора переосмысления. Дотошное сопоставление показало, что как ни хороши механические антиподы, они при всей своей превосходной мощи и скорости подчас намного уступают своим живым аналогам в экономичности, надежности и совершенстве. Оказалось, что в природе имеются такие решения и технологии, о которых пока можно лишь мечтать как об идеале, поскольку крайне желательное их осуществление часто не по плечу современной науке. Из самого важного для примера выберем наиважнейшее — пищу. Патент ее производства из углекислого газа, воды и минеральных солей реализуется уже миллиарды лет, но при всей актуальности его индустриального осуществления, при всех затраченных усилиях биологии, химии, физики мы все еще далеки от овладения секретом, хотя он перед нами в любой травинке и многое уже в нем прочитано.

Книга И. Литинецкого приоткрывает перед нами другую не менее глубокую грань проблемы. Мы уже привыкли к существованию бионики, науки, которая возникла лет двадцать назад и которая одной из своих задач считает прочтение и воспроизведение «патентов природы», для чего в ней объединились усилия биологов, техников, физиков, химиков, математиков, кибернетиков и даже палеонтологов. И вот, оказывается, в ней намечилось еще одно направление. Речь идет ни много ни мало как о попытке изучения прогностических возможностей живой природы!

Значение точного прогноза погоды на дни, недели и месяцы вперед ясно всякому. Это возможность заблаговременных контрмер против стихийных бедствий, то есть куда большая безопасность на земле, в море и воздухе; это залог выигрышной тактики и стратегии земледелия, гарантия

высокого урожая; наконец, это удобство для каждого. Никогда прежде на этом участке познания не сосредоточивалось столько сил: развернута огромная (хотя все еще недостаточная) сеть метеостанций, за состоянием атмосферы следят спутники, лавину стекающихся данных обрабатывают наимоощнейшие компьютеры. Успехи есть, все затраты окупаются сторицей, но положение, как говорится, оставляет желать лучшего. Краткосрочный, на одни — трое суток, прогноз в среднем сбывается сейчас в четырех случаях из пяти. Точность, как видим, приличная, но не гарантирующая, что обещанная солнечная погода не вымочит вас до нитки. Дальше — хуже. Современные месячные прогнозы оправдываются максимум на 60—70 процентов, что недалеко от гадания на орле и решке. А лучшего пока нет. Слишком сложна, изменчива и причудлива воздушная стихия. Настолько сложна, настолько изменчива, настолько причудлива, что среди метеорологов не так просто найти оптимиста, который посулил бы высокую точность месячного прогноза еще до начала XXI века. Скорее легче найти ученых, которые считают эту задачу неразрешимой в принципе, поскольку состояние атмосферы, как полагают эти исследователи, уже на две недели вперед представляется делом случая.

И. Литинецкий как бионик с этим решительно не согласен. Опыт изучения живой природы убеждает его в обратном — в возможности даже многомесячных прогнозов погодных ситуаций. В подтверждение он приводит массу интереснейших данных. Так, рыбка голец в своих краткосрочных «предсказаниях» ошибается лишь в трех-четыре случаях из ста, то есть реже, чем метеосводка (кстати, плавательный пузырь рыб, оказывается, улавливает миллионную долю изменения внешнего давления). Муравьи Амазонки предвидят наступление больших паводков и загодя уходят туда, где вода их не смоеет (то есть они прогнозируют еще и размах наводнения!). Долгосрочно предвидение пчел: осенью по их действиям можно судить, суровой или мягкой будет зима, раннюю весну они способны предугадать еще в разгар морозов.

Подобные факты, конечно, не новость. Теперь ползабытые, они использовались тысячелетиями и, видимо, служили непло-

хо, коль скоро прогнозы животных и растений вызвали доверие во все века и у всех народов. Также спросим себя: смогли бы растения и животные процветать без предвидения погодных изменений? Сомнительно. В распоряжении эволюции были сотни миллионов, а то и миллиарды лет. За этот срок могли стработаться и действительно отработались такие биодатчики, такие анализаторы состояния природной среды, что знакомство с ними потрясло и потрясает специалистов, поскольку точность этих «приборов» подчас намного превосходит аппаратное оснащение эпохи научно-технической революции. Короче говоря, высокое совершенство биометеопредвидения не чудо; чудом было бы как раз обратное — полное отсутствие таких способностей.

Давно известные факты, некогда составлявшие костяк народных примет, в книге И. Литинецкого осмыслены с позиций бионики и в параллели с исследованиями метеорологии. Нельзя не отметить увлекательность самого изложения, живое биеение авторской мысли, ибо хотя книга и называется популярной (она действительно такова), в ней явно присутствует исследовательское начало, те идеи, которые дороги автору как плод его размышлений и разработок. Правда, два вопроса хотелось бы видеть освещенными лучше. Метеопрогнозы растений и животных порой точны, но небезупречны (иначе животные никогда бы не гибли, к примеру, во время весенних паводков). Здесь хотелось бы побольше статистики, данных об интегральной, что ли, оценке сбываемости биопрогнозов, а заодно нелишним был бы критический разбор позиции тех биологов, которые скептически оценивают способность животных предвидеть долгосрочные погодные изменения.

Второй вопрос скорей философско-методологический. Метеорология до недавнего времени слишком мало внимания обращала на живую природу. Что это — следствие узкой специализации? гипноз внушительных успехов физики? (Атмосфера — физический объект, а если так, то неужели методы, отомкнувшие недра атома, окажутся менее успешными здесь?) Или к этому еще добавлялась и добавляется чисто эмоциональная реакция? (Не очень-то приятно, когда ты извелся в поисках рукавиц, а кто-то совсем посторонний показывает, что они у тебя за поясом; аналогия не совсем точная, но кто знает, быть может, и уместная.) Вообще, как понимать длительное расхождение путей технического творчества и созидатель-

ного строительства природы, о чем так метко сказал Чапек? Расхождение, которое теперь сменяется сближением. Не следствие ли это действия закона отрицания отрицания?

Круг вопросов легко расширить, и в книге, конечно, хотелось бы услышать мнение о них автора. Здесь ему как бионику, что называется, и карты в руки. Хотя, само собой, автор вправе ответить, что эта обширная и глубокая тема требует не страниц, даже не глав, а отдельной книги. Так что сказанное не столько претензия, сколько пожелание на будущее. Просто сам материал книги требует выхода в философию. Шутка ли — прогностические способности живой природы! И тогда, когда дело касается предвидения сдвигов погоды, и тогда, когда дело касается предвидения землетрясений.

Рассказ о способностях животных предугадывать сильные сейсмические толчки составляет вторую часть книги И. Литинецкого. Здесь, пожалуй, еще больше интересного и парадоксального. Всего лет двадцать назад многие сейсмологи были готовы объявить точный прогноз землетрясений пока что делом несбыточным. Сейчас оптимизм возрос, разработаны перспективные методы, в отдельных случаях они даже указывают, когда именно грянет подземная буря. Но это все еще единичные случаи, как правило, землетрясение застигает врасплох. А животные, как показывает И. Литинецкий, всегда предчувствуют катастрофу (хотя по последним данным есть и такого рода толчки, которые никак заранее не сигнализируют о себе и животным). Дело опять же в тонкости органов чувств, которые в большинстве случаев улавливают то, что недоступно человеку, — какие-то незаметные изменения в окружающем. Ведь землетрясение, теперь это уже несомненно, всегда оповещает о своем приближении. Но аппаратура не всегда замечает эти сигналы, а еще чаще ученые не могут верно оценить их смысл.

Интуиция животных срабатывает лучше. Здесь пока много неясного — нет систематических и длительных наблюдений. И, добавим к тому, что говорит И. Литинецкий, самое неясное здесь, пожалуй, вот что. Тонкие органы чувствования животных — это понятно, о них уже многое известно, нетрудно представить, как, почему и для чего они в ходе эволюции возникли. Но сверхчувствительные датчики — этого мало. Должен быть «биокомпьютер», который

тотчас же перерабатывал бы информацию и выносил решение. Такая работа, в том числе прогностическая, понятна, когда речь идет об оценке погоды на завтра и даже на месяцы вперед: это жизненно важно изо дня в день, всегда. Но катастрофические землетрясения случаются раз в десятки, а то и сотни лет, и то далеко не везде! А животные их все равно предчувствуют. Даже те, которые не живут в норах. Хотя далеко не каждое поколение их испытывает. Хотя для зверей землетрясение куда

менее опасно, чем для замкнутого стенами человека. И все-таки «биокомпьютер» срабатывает! Выносит оценку, дает прогноз, руководит поведением... Как это объяснить? Возможно, тут подход к таким глубинам зоопсихики, о которых мы имеем самое смутное представление. Если вообще догадываемся об их существовании. Или дело в чем-то другом? Вот и об этом тоже заставляет задуматься книга И. Литинского.

Д. БИЛЕНКИН.



ЛЮДИ КРЕМНИЕВОЙ ДОЛИНЫ

Электроника: прошлое, настоящее, будущее. М. «Мир». 1980. 296 стр.

Несмотря на то, что книга эта посвящена истории техники, есть в ней что-то от задрванного тоста. Неудивительно: она представляет собой юбилейный выпуск известного американского журнала «Электроника», отмечающего свое пятидесятилетие. Авторы, несомненно, ставили перед собой задачу создать у читателя ощущение грандиозности того события в жизни человечества, которое называется современной электроникой. И, надо сказать, этот замысел им удался. Иллюстрации книги наглядно являют тот путь, что прошла электроника за последнее столетие, ее влияние на все стороны жизни современного общества. Портреты Фарадея, Максвелла, Герца, интерьер радиостудии 20-х годов, допотопная радиола, кукла, которая была объектом первых телевизионных передач, радиолокатор, первый транзистор и, наконец, астронавты на поверхности Луны; небольшой, величиной со средний книжный шкаф центральный процессор сверхбыстродействующего компьютера «Крей-1»; сверхчистые цехи предприятий, производящих современные микроэлектронные устройства...

Книга адресована в первую очередь специалистам. Но и читатель, не получивший специального технического образования, найдет в ней пищу для размышлений. Дело в том, что журнал «Электроника» — не просто техническое и научное издание. Это журнал американских инженеров и бизнесменов, связанных с электроникой, в котором они не только публикуют сообщения о технических новинках, но и высказывают свои взгляды на политику, экономику, а в юбилейном номере — и на историю науки. И что особенно ценно — взгляды эти выражаются, что называется, в простоте

душевной, вполне откровенно и без оглядки на какое-либо «неэлектронное» мнение. Журнал, в конце концов, свой, что же тут скрывать и кого же тут стесняться. Эта непосредственность авторов журнала представляет нам редкую возможность «заглянуть в душу» далеких от нас людей.

То, что они действительно далекие от нас люди, что их представления, их понятия, их человеческие ценности сильно отличаются от наших, становится ясно «с порога», и чувство это по мере продвижения в глубь книги все более и более усиливается. На обложке книги рядом с клавишным телефоном и электронным музыкальным инструментом мы видим фотографии военного самолета и военного же корабля. Нет слов, обстоятельства в мире нынче таковы, что электроника очень жестко и непосредственно связана с военной техникой и военной промышленностью. Но мы воспринимаем эту связь как драму науки, как ее беду и уж во всяком случае не сочли бы, что военная техника правомочна представлять перед человечеством пятьдесят лет развития электроники.

Многие высказывания авторов журнала кажутся просто дикими. «Война преобразила Соединенные Штаты, вырвав их из застоя Великой депрессии и вызвав переход к лихорадочным темпам производства. Произошла широчайшая мобилизация как трудовых ресурсов, так и вооруженных сил». Поражает даже не смысл этих слов, а то спокойствие, с которым они произносятся. Ни малейшего полемического задора не слышится, например, в заявлении Р. К. Сэндерса, главы фирмы «Р. К. Сэндерс технолоджи Инк.»: «Сейчас коммерческая технология развивается гораздо

быстрее, чем военная. Я боюсь, что если мы не будем продвигать вперед военную технологию, то будет поставлена на карту судьба нации».

В книге много фотопортретов деятелей американской электроники. Видишь перед собой умные лица толковых, культурных людей и, честно говоря, поначалу не очень понимаешь: как эти вполне здравомыслящие люди могут высказывать столь воинственные взгляды? В конце концов, это не люди из Капитолия, не люди из Пентагона — это работники знаменитого научного центра фирмы «Бэлл лэйборэторис», люди Кремниевой долины, где сосредоточены предприятия 13 полупроводниковых фирм — значительная часть американской микроэлектронной промышленности. К американским военным они относятся довольно скептически, утверждая, что «в министерстве обороны существует устрашающий культурный барьер». И тем не менее их взгляды созвучны взглядам людей с «устрашающим» культурным уровнем: «...Распространение ядерной техники, которое вызовет угрозу всеобщему миру со стороны малых стран и даже отдельных группировок внутри стран... делает необходимым обладание военной мощью».

Когда сталкиваешься с милитаристскими откровениями лидеров американской электроники в первый раз, хочется досадливо отмахнуться, кажется, что подобного рода воззрения лишь случайный нарост на сверкающем белизной корабле электроники. Но сама книга, если прочесть ее внимательно, уловить ее дух и стиль, убеждает нас в том, что эти воззрения не случайны, но заложены в образе жизни, в стиле мышления людей Кремниевой долины.

Мы хорошо знаем, какое влияние оказывает стихия рыночных отношений на идеологию, политику, гуманитарную науку Соединенных Штатов. Но то, что конъюнктура рынка может влиять на развитие точных наук, не кажется столь уж очевидным. Эта книга не оставляет сомнений: человеческой целью ученого, занятого в современной американской электронике, является создание собственного дела, бизнеса, фирмы. Ради

этого упорная работа в науке, талант и горение, это венец, идеал, к которому устремлено все. Показательна рассказанная в книге история бизнеса одного из творцов транзистора, нобелевского лауреата 1956 года Вильяма Шокли. Будучи ученым академического плана, он открыл-таки (иначе было бы просто неприлично) свою фирму. Фирма благополучно распалась, поскольку, по свидетельству ее сотрудников, «обстановка в ней больше напоминала университетскую лабораторию», но сам факт ее создания наглядно демонстрирует устремления американских электронщиков.

Вся история науки излагается в книге с точки зрения ее полезности для деловой активности. Редактор русского перевода «Электроники...» член-корреспондент АН СССР В. И. Сифоров в своем предисловии отмечает, что представленный в книге обзор европейских и советских достижений отрывочен и непоследователен. Добавим, что манера, в которой этот обзор делается, вполне характеризует отношение авторов к европейской науке и к науке вообще. «...Для количественного объяснения поведения электронов в твердых телах требовалось знаменитое квантово-механическое уравнение Эрвина Шрёдингера, которое австрийский физик опубликовал в 1926 году. В течение следующих 10 лет это уравнение помогало энергичным физикам, так как оно позволило связать все загадочные явления в твердых телах, открытые в предыдущем столетии» — так описывают создатели книги становление и развитие квантовой физики. Важно одно — теория успешно помогла «энергичным физикам» стать деловыми людьми...

И тем не менее реалии современного мира, современной политической жизни оказывают влияние на образ мыслей людей Кремниевой долины. Как бы там ни было, но из истории электроники, как и из истории человечества, не выкинешь 70-е годы и слово «разрядка» хоть и между прочим, хоть и в скептическом контексте, но встречается на страницах книги...

Л. ПОПОВ.

Новосибирск.

КОРОТКО О КНИГАХ



Д. В. ПАНКОВ, Д. Д. ПАНКОВ. Подвиг подольских курсантов. «Московский рабочий», 1980. 120 стр.

Оборона Москвы и разгром немецко-фашистских войск на подступах к столице, 40-летие которого мы отмечаем в декабре нынешнего года, одна из памятных героических страниц в летописи Великой Отечественной войны. На полях Подмосковья обрел могилу миф о непобедимости гитлеровской армии.

Небольшая книжка Д. В. и Д. Д. Панковых переносит нас в те суровые, тревожные дни, когда над Москвой нависла смертельная угроза, когда защитники столицы из уст в уста передавали знаменитые слова политрука Василия Клочкова, геройски погибшего вместе со своими боевыми товарищами — гвардейцами из дивизии генерала Панфилова в неравном бою с вражескими танками у разъезда Дубосеково: «Велика Россия, а отступить некуда — позади Москва!»

Авторы рецензируемой книжки не ставили перед собой задачу дать картину всей подмосковной битвы. Они сосредоточили внимание лишь на тех боевых действиях, в которых участвовали курсанты военных училищ города Подольска. Один из авторов книжки, Дмитрий Васильевич Панков, был военкомом южной, как ее называли, группы подольских курсантов.

Перед войной в Подольске находилось два военных училища — пехотное и артиллерийское. В первые месяцы гитлеровского нашествия курсанты продолжали заниматься боевой и политической подготовкой. Но к октябрю 1941 года положение под Москвой настолько осложнилось, что возникла необходимость послать их в бой. Как сказал член Военного совета Московского военного округа и Московской зоны обороны дивизионный комиссар К. Ф. Телегин, «главная наша надежда и опора в эти часы — Подольские училища...».

В октябре сорок первого курсанты, командиры и политработники подольских военных училищ, ближе всех находившихся к врагу, отправились на фронт. Они преградили путь вражеским войскам, рвавшимся к Москве со стороны Варшавского шоссе. Около трех недель вели они ожесточенные неравные бои, пока за удерживаемыми позициями создавался новый рубеж обороны и шла переброска резервов Ставки Верховного Главнокомандования.

В листовках, разбрасывавшихся с самолетов на боевые позиции подольских курсан-

тов, гитлеровцы писали: «Доблестные красные юнкера! Вы мужественно сражались, но теперь ваше сопротивление потеряло смысл. Варшавское шоссе наше почти до самой Москвы. Через день-два мы войдем в нее. Вы — настоящие солдаты. Мы уважаем ваш героизм. Переходите на нашу сторону. У нас вы получите дружеский прием, вкусную еду и теплую одежду. Эта листовка будет служить вам пропуском». Провокационные попытки врага полностью провалились, курсанты ответили на них новыми яростными контратаками...

В октябре сорок первого года под Юхновом и Медынью, Мятлевым и Ильинским, Детчином и Каменкой пали смертью храбрых две с половиной тысячи подольских курсантов. Об их беспримерном мужестве и героизме напоминают нам мемориалы, сооруженные в Подольске, у деревни Савиново и в селе Ильинском Калужской области.

Наряду с личными воспоминаниями одного из авторов, участника боев, в книжке «Подвиг подольских курсантов» широко использованы мемуары генерала К. Ф. Телегина «Не отдали Москву!», документы Центрального архива Министерства обороны СССР и другие материалы. Они-то и помогают сегодняшнему читателю представить общую обстановку, сложившуюся осенью сорок первого года на фронте под Москвой, помогают понять, какова в той обстановке была цена дней и ночей, в течение которых подольские курсанты сдерживали на своем участке натиск врага.

Авторы проделали большую работу, выясняя, как дальше складывалась боевая биография курсантов, командиров и политработников подольских военных училищ. После разгрома немецко-фашистских войск под Москвой судьба разбросала их по многим фронтам Великой Отечественной войны. Они участвовали в освобождении Украины, Белоруссии и Прибалтики, Польши и Чехословакии, Венгрии и Австрии, в завершающей битве за Берлин.

В книжке рассказывается и о послевоенных судьбах бывших курсантов — участников обороны Москвы. Многие из них и по сей день трудятся на предприятиях и стройках, в сельском хозяйстве, в учебных заведениях, многие активно ведут военно-патриотическую работу среди молодежи. Трогательной была их встреча, организованная Подольским горкомом КПСС, исполкомом городского Совета, горкомом комсомола, горвоенкоматом и советом ветеранов подольских курсантов.

В. Косолапов.



СЕРДЦЕ РОССИИ. Сборник стихотворений. Составитель В. С. Осинин. «Московский рабочий». 1981. 510 стр.

К 40-летию разгрома немецко-фашистских войск под Москвой издательство «Московский рабочий» подготовило второй выпуск поэтического сборника «Сердце России», в который вошли стихи поэтов-фронтовиков и поэтов послевоенного поколения. Возраст и судьбы более чем 200 авторов сборника очень разнятся, однако они оказались в одном «поэтическом строю». Их объединяет любовь к Родине, к сердцу России — Москве. Сборник, как справедливо сказано в предисловии, «явится своеобразным памятником тем, кто защищал нашу столицу, не щадя своей крови и самой жизни, чьим подвигом восхищен весь мир».

Не все из защитников родной столицы дожили до сегодняшнего дня. «В белоснежных полях под Москвой», где «до смерти четыре шага», рождалась откровенная, обнаженная лирика. Вспомним для примера знаменитую «Землянку» Алексея Суркова. Поэтому, видимо, не случайно первая часть книги названа строкой Уткина: «Если я не вернусь, дорогая...» Нельзя вернуться, пока в опасности Родина, Москва. Для поэтов, прошедших войну, это словно клятва на верность — стране, любимой, другу, стихам, наконец. Так думали и писали Александр Твардовский, Константин Симонов, Сергей Наровчатов, Александр Межиров, Евгений Винокуров, Михаил Луконин, Николай Старшинов и многие другие.

Творчество некоторых из названных поэтов продолжается и по сей день. И несмотря на то, что со времени первых боев Великой Отечественной миновало более сорока лет, военная тема по-прежнему звучит в стихах этих поэтов, находит отклик в сердцах миллионов читателей.

Сила советских бойцов-победителей состояла в том, что страх отступал перед долгом отечеству, преданностью социалистической Родине. В битве за Москву героизм советских людей был беспримерен. И о многих из них можно было бы сказать стихами Николая Тихонова, посвященными панфиловцам: «Смотри, родная сторона, как бьются братьев двадцать восемь! Смерть удивленно их уносит: таких не видела она».

Жизнь тоже не видела прежде такого массового героизма, который был проявлен советскими воинами, защищавшими столицу. Это признает и автор «Слова о 28 гвардейцах»:

И слабость моего стиха
Не передаст того, что было.
Но как бы песня ни глуха —
Она великому служила!..

Служит и теперь. Потому что все стихи сборника «Сердце России» — это память о тех, кто отстоял Москву, и одновременно вклад советских поэтов в борьбу за то, чтобы война не повторилась.

А. Белорусец.



В. И. БУГАНОВ, А. А. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, Ю. А. ТИХОНОВ. Эволюция феодализма в России. М. «Мысль». 1980. 342 стр.

В книге рассмотрены важнейшие социально-экономические проблемы феодальной формации в России — от времен Киевской Руси до кануна отмены крепостного права. Впервые в историографии авторы осуществили сквозное проблемное рассмотрение развития феодального общества.

Рубеж, который делит работу на две части, — начало «нового периода русской истории», XVII век. Это вполне оправдано теоретически. Последние два с половиной столетия феодализм в России претерпевал, с одной стороны, старение и деформацию феодальных отношений, с другой — в недрах строя появлялись и пробивали себе дорогу «буржуазные связи», новые производственные отношения.

В методологическом плане весьма важна исходная позиция авторов книги, заявленная во введении: «Сохраняя свои достаточно значительные особенности развития, Россия вместе с тем шла по пути общих закономерностей смены феодального строя капиталистическим». Весь материал книги свидетельствует о справедливости этого положения. А ведь в зарубежной буржуазной и ревизионистской историографии более чем достаточно всевозможных попыток вывести Россию за рамки мировой цивилизации, приписать ей некие особые исторические пути, а следовательно, представить и Октябрьскую революцию случайным, периферийным фактом мировой истории...

В книге большое место отведено сельскому хозяйству и аграрным отношениям. Примечательная сторона этих разделов — динамичная и конкретная связь производительных сил и производственных отношений на каждом историческом этапе, с учетом общих и региональных признаков. Достойное место нашел на страницах книги великий край — Сибирь. Эволюция систем земледелия, сельскохозяйственной техники, вклад трудового народа России в освоение земель различных почвенно-климатических зон, в интродукцию культур подчеркнуты в монографии. Вместе с тем Россия предстает и как страна, которая много сделала в области развития ремесла, промышленности, торговли. В последние годы советская археология добыла много ярких материалов, свидетельствующих о высоком уровне развития ремесла в древности и в средние века на территории нашей страны. Несмотря на трагическую судьбу многих центров цивилизации в годину иноземных вторжений, промышленная культура не погибла. Она возродилась и на Руси после монголо-татарского смерча.

Особое внимание в монографии уделено сложному процессу становления общероссийского рынка.

Говоря о проблемах классовой борьбы, авторы учитывают особенности раннего и развитого феодализма, влияние народных движений на все стороны социально-эконо-

мической жизни. Сосредоточившись на изображении открытых форм классового антагонизма, авторы справедливо отмечают: важно изучать все проявления классового противоборства, в том числе и повседневные.

Монография не обходит спорные и нерешенные вопросы. В ней заложен хороший стимул к исследовательской разработке многих тем социально-экономической истории России. И еще одно немаловажное достоинство: книга, несомненно, окажет большую помощь преподавателям высшей школы.

А. Окладников,
академик.



А. Н. СОКОЛОВ. Проблемы научной дискуссии. Логико-гносеологический анализ. Л. «Наука». 1980. 157 стр.

Научная истина, научная объективность, как показывает история науки, являются результатом ожесточенной и «предубежденной» конфронтации и борьбы между представителями различных научных школ. То, что остается жить после этой борьбы, — научные факты, которые выдержали процесс проверки и остались пригодными, жизнеспособными спустя много лет после исчезновения самой научной проблемы и породивших ее дискуссий. Так кирпич к кирпичу происходит медленное и терпеливое строительство здания, которое мы называем наукой.

Субъективные моменты научного познания, которые нельзя игнорировать, выражаются в приверженности ученого тем или иным гипотезам и теориям. Ученые пристрастны, как и все смертные. Такая приверженность ученых своим любимым гипотезам, теориям неизбежна. Великие открытия в науке, научные революции, являлись следствием страстной приверженности ученых своим идеям, порой рожденным в состоянии особой одухотворенности, нервного возбуждения. Но объективность науки, общезначимость ее результатов достигается посредством подавления субъективных моментов познания. Механизм подавления субъективности — это дискуссия, которая выступает, как удачно подметил автор, «в качестве формы «теоретической практики», способствуя высвобождению объективного содержания научного знания из «скорлупы» его субъективных форм выражения».

Интерес науковедов и философов науки к этой проблеме в настоящее время не случаен. Дело в том, что у ученых XX века в так называемой «индустриальной фазе» развития науки несколько упал интерес к дискуссиям, к критике работ своих коллег, в то время как ученые XVIII и XIX веков, в период так называемой «академической фазы» развития науки, вели между собой ожесточенные споры и дискуссии, которые тянулись не только годами, но и десятилетиями. В этой связи представляет интерес всестороннее исследование логико-гносеологических аспектов научных дискуссий.

Автор правильно замечает, что дискуссия повышает «тонус научной жизни», создает подлинно творческую атмосферу в научном коллективе. В анализе роли дискуссий и обмена мнений автор опирается на многовековую историю мировой науки. В частности, на опыт идейной и политической борьбы В. И. Ленина, который «считал, что новые взгляды иначе и нельзя развивать, как только в полемической форме».

Автор дает развернутые определения таким, казалось бы, синонимичным понятиям, как полемика, дебаты, дискуссия, спор и критика. Особое внимание он уделяет рассмотрению роли критики в современном научном познании. Это весьма актуальная проблема, так как мы являемся свидетелями упадка уровня научной критики, научной морали в «индустриальной фазе» развития науки. А это чревато серьезными последствиями для все усложняющегося процесса взаимодействия науки и общества. Наука XX века преподнесла нам не только впечатляющие победы научного мышления, научной рациональности, но продемонстрировала не менее яркие примеры превращения науки и техники в ложную идеологию, в мифологию всеислия, естественнонаучного познания. Ученые XX века, сами того не замечая, могут превратиться в шаманов и алхимиков XX века, если парализована критическая рефлексия в научном познании. Диалектика некритической научной рациональности такова, что если ученый XV—XVII веков вел героическую борьбу с различными формами религиозного мракобесия и оккультизма, то в XX веке ученый, уверовавший во всеислие естественнонаучной методологии познания, сам становится мифотворцем — носителем ложных форм идеологии. А. Н. Соколов справедливо указывает, что полемике, дискуссии, споры «предохраняют научное знание не только от догматизма и метафизики, но и от проникновения в науку ложных воззрений, порожденных спекуляциями вокруг еще не объясненных наукой явлений...»

Все эти вопросы, волнующие автора, ставят новые трудные проблемы этики научного познания, так как «классическая» этика науки, восходящая к интеллектуальной чистоте ее носителей, не учитывает новых моральных коллизий, возникающих при взаимодействии науки и общества в настоящее время.

Ю. Орфеев,
кандидат философских наук.



Ю. БЕЛАШ. Оглохшая пехота. Стихи. М. «Советский писатель». 1981. 95 стр.

Я не помню, кто сказал, что поэт видит окружающий его мир один раз, но на всю жизнь. Должно быть, это так и есть...

Передо мной книга стихов поэта Юрия Белаша. Целая книга стихов о войне.

— Огоны! —

И подкалиберный снаряд
метнулся синей проволокой в танку.
Но чуть лезла гусеница — в скат
горячая врезается бодванка,

Наводчик довернул маховичок
и поднял перекрестье панорамы.
— Огоны! —
Но верещащую свечой
снаряд отгрикошетил в небо прямо...
— Огоны! —
На черной танковой броне
сверкнула фиолетовая искра,
и танк, остановившись наконец,
сухую землю гусеницей выскреб.

Такого не придумаешь! Согласитесь, что тут все свое: свое видение, свои краски, свой цвет, свой словарь, свой принцип изображения, наконец. Главное, конечно, собственное, истинно художественное видение... Целая книга стихов о войне, сложившаяся только теперь, тридцать шесть лет после войны. Ю. Белаш видел войну как она есть, какой она открывается солдату только на переднем крае. Солдат из книги Белаша живет «под фурчащим пологом осколков». Вот как изображены 88-миллиметровые минометы: «Как — доги вороненые стволы присядут чутко на опорных плитах». Вот как изображена бомбежка: «Звени, как эхо, в перепонках вой фугасок тонким комаром». Подбитый бронейщиком танк пылает у него «мазутно-оранжевым пламенем». И так далее. Я мог бы выписывать без конца, но дело, мне кажется, не в количестве примеров. В книге Белаша много таких вот подробностей жизни на передовой, единственных и неповторимых, которых, как уже сказано, нельзя придумать. Это все надо испытать, пережить самому, чтобы знать, как колотят комья земли по спине, когда идет бомбежка или разрывается близкий снаряд. Или — незабываемая картина! — у шофера, ведущего машину под бомбежкой, «толстый холодный окурок приклеился к нижней губе». Должно быть, слишком глубоко влезла в душу человека война, если только теперь нашлись у него слова, достойные того, чтобы обнародовать их, чтобы после всего написанного сказать о ней, о войне, свое.

Человек мыслит войной, памятью о войне, воспоминанием о ней... Вот за окном теперь, через тридцать с лишним лет, прогрохотала электричка: «И с ходу вой свирепо в уши бьет, я вздрагиваю: старая привычка — проклятый шестиствольный миномет!..»

Война изображена в книге Белаша не отвлеченно и не умозрительно, а с большой силой достоверности и правды, вызванной близостью к огню: «Артогонь достигал той неистой силы, что разрывы казались уже тишиной...»

Я читаю книгу Юрия Белаша и думаю: неужели мы все это пережили, все, о чем он пишет? Пережили все, а написал так вот по-солдатски впечатляюще, со столь приближенным видением частностей войны, ее реального быта он. Даже после множества стихов о войне, среди которых есть очень сильные, значительные, такие, что у всех нас на памяти, книга Ю. Белаша — событие. Читатель, я надеюсь, правильно поймет эти мои, как может кому-то показаться, преувеличения. Они вызваны желанием обратить внимание на этого поэта. А может, и должны были пройти эти трид-

цать шесть лет, чтобы появилась такая книга стихов...

Война продолжает давать о себе знать по-разному — старыми ранениями, давно, казалось бы, забытыми, душевными потрясениями, травмами, называемыми, иногда совершенно неожиданно, стихами. Думаешь, что здесь именно такой случай...

Василий Субботин.



И. ДЕДКОВ. Василь Быков. М. «Советский писатель». 1980. 288 стр.

Первое, что явственно ощущается при чтении этой книги, — близость нравственных, социальных и этических установок прозаика и критика, посвятившего ему свое исследование: и тот и другой напряженно размышляют над главными составляющими бытия, над основными законами, определяющими социальное поведение человека. О В. Быкове писали много. По книгам, статьям и рецензиям о нем можно проследить всю линию взаимоотношений нашей критики с литературой на военную тему. Но, пожалуй, впервые художественный опыт этого писателя рассматривается на широком историко-литературном фоне. Становление того реалистического подхода к изображению войны, которому верен В. Быков, прослежено И. Дедковым издавала, начиная от «Севастопольских рассказов» Л. Толстого. Насколько органично толстовские эстетические и нравственные принципы входят в мир В. Быкова, герой которого — человек «нравственного и героического действия»? На этот вопрос автор отвечает подробно и аргументированно.

Перед нами восхождение писателя от первых, почти натуральных зарисовок к психологической и моральной сложности «Сотникова», процесс постепенного, порой мучительного прорастания из ранних рассказов (где «драматическая мысль писателя о своем герое настойчиво и неудовлетворенно искала точного воплощения и разрешения») всего того, что образует сегодня одно из заметнейших явлений мировой литературы о войне — прозу Быкова, вобравшую в себя важные черты классической традиции.

Анализируя творчество В. Быкова, исследователь опирается на широкий документальный материал. В поле зрения И. Дедкова оказались сочинения военных мыслителей прошлого и современных, стенограммы судебных процессов над военными преступниками, статистические сведения... Многие у И. Дедкова решаются на философском уровне — иначе ведь и не подойдешь к писателю, осмысливающему войну и конкретно-исторически и общечеловечески.

Весь обширный материал работает в книге И. Дедкова на главную ее идею: картины минувшей войны, в которой победили те, кто был сильнее духом, кто стоял за высокие принципы человечности, проникнуты у В. Быкова пафосом утверждения этих

принципов сегодняшней действительности. Рост, эволюция писателя в границах военной темы показаны И. Дедковым как неуклонное движение к все более глубокому постижению самой природы стойкости и героизма человека на войне.

Отмечая изначальное чувство справедливости у быковских героев, критик видит в нем один из важных истоков героического в народном характере. В книге привлекает широкая, столь важная для всей нашей литературы постановка вопроса о психологических и нравственных корнях героизма, утверждение в человеке естественного чувства справедливости, принципиальное несо-

гласие автора с теми, кто отрывает друг от друга неразделимые понятия революционной принципиальности и непоколебимых основ гуманизма. Большой заслугой В. Быкова автор книги справедливо считает последовательную защиту высоких нравственных норм в противовес близорукому прагматизму.

Книга И. Дедкова привлекает четкостью своих методологических предпосылок, строгим единством эстетических, социальных, исторических критериев, на которые последовательно опирается автор.

Софья Николаева.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Главная задача наших дней. 40 стр. Цена 5 к.

В. И. Ленин, КПСС о развитии науки. Сборник. 800 стр. Цена 1 р. 50 к.

Марксизм-ленинизм и современная эпоха. 382 стр. Цена 1 р. 80 к.

Ю. Чернов. Земля и звезды. Повесть о Павле Штернберге. («Пламенные революционеры») 383 стр. Цена 1 р. 30 к.

Ю. Шишов. Капиталистическая экономика без компаса. 192 стр. Цена 8 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

М. Алигер. Четверть века. Книга лирики. 368 стр. Цена 1 р. 40 к.

Ю. Балтушис. Сказание о Юзасе. Перевод с литовского. 239 стр. Цена 90 к.

Д. Гранин. Картина. Роман. 351 стр. Цена 1 р. 50 к.

Ю. Кузнецов. Отпущу свою душу на волю. Стихи и поэмы. 95 стр. Цена 30 к.

О. Чиладзе. И всякий, кто встретится со мной... Роман. Перевод с грузинского. 407 стр. Цена 1 р. 80 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Арабская романтическая проза XIX—XX веков. Сборник. Перевод с арабского. 320 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Гана Блест. Мартин Ривас. Роман. Перевод с испанского. 423 стр. Цена 2 р. 20 к.

Индийские волшебные повести. Перевод с урду. 367 стр. Цена 1 р. 90 к.

М. Этвуд. Лакомый кусочек. Роман. Перевод с английского. 311 стр. Цена 1 р. 70 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Ю. Авдеенко. Год любви. Роман. Рассказы. 351 стр. Цена 1 р. 40 к.

Ай Цин. Избранная лирика. Перевод с китайского. 62 стр. Цена 20 к.

А. Дударев. Святая птица. Рассказы. Перевод с белорусского. 207 стр. Цена 65 к.

Е. Евтушенко. Точка опоры. Публицистика. 303 стр. Цена 90 к.

Е. Маркин. Разница во времени. Стихи. 63 стр. Цена 30 к.

Б. Олейник. Доля. Стихотворения и поэма. Перевод с украинского. 239 стр. Цена 1 р. 10 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Алексин. Собрание сочинений. В 3-х тт. Т. 3. Повести. Пьеса. Из блокнота. 464 стр. Цена 1 р. 20 к.

М. Бремер. Пусть не сошлось с ответом!.. Присутствие духа. Повести. 351 стр. Цена 70 к.

В. Голявкин. Обыкновенные дела. Повесть. 173 стр. Цена 55 к.

Ю. Збанацкий. Кукуют кукушки. Роман. Послесловие М. Мусленко. 432 стр. Цена 1 р. 10 к.

Ю. Куранов. Мороз и солнце. Лирические миниатюры и повести. 96 стр. Цена 45 к.

«СОВРЕМЕННОСТЬ»

Д. Гусаров. Избранные сочинения в 2-х тт. Т. 2. 461 стр. Цена 2 р.

В. Жемчужников. Белая лайка. Повести. Предисловие В. Астафьева. 320 стр. Цена 1 р. 30 к.

Р. Минна. Поля и рощи в пасмурный день. Повести и рассказы. («Новинки «Современника») 271 стр. Цена 1 р. 30 к.

С. Сергеев-Ценский. Талант и гений. Составление и предисловие В. Козлова. («О времени и о себе») 319 стр. Цена 95 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Г. Боровиков. Именем Республики. Повесть. 221 стр. Цена 30 к.

Л. Гинзбург. Над строкой перевода. Статьи разных лет. 144 стр. Цена 20 к.

А. Софронов. У времени на виду. 331 стр. Цена 85 к.

«ИСКУССТВО»

Г. Гачев. Образ в русской художественной культуре. 246 стр. Цена 1 р. 20 к.

А. Мельвиль, К. Разлогов. Контркультура и «новый» консерватизм. 264 стр. Цена 1 р. 10 к.

В. Пименов. Встречи после спектаклей. Очерки о деятелях советского театра. 142 стр. Цена 45 к.

К. Станиславский. Этика. Предисловие А. Д. Попова. 45 стр. Цена 15 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Антология чечено-ингушской поэзии. Переводы. Составитель В. А. Дыхаев. Грозный. Чечено-Ингушское книжное издательство. 463 стр. Цена 3 р. 40 к.

С. Марнов. Идушие к вершинам. Историко-биографическая повесть. Алма-Ата. «Жазушы». 351 стр. Цена 1 р. 40 к.

А. Никаноркин. Чайки над Эльтигоном. Повести, рассказы, очерки. Предисловие В. Быкова. Симферополь. «Таврия». 464 стр. Цена 1 р. 90 к.

Д. Сергеев. Разлуки и встречи. Повести. Иркутск. Восточно-Сибирское книжное издательство. 320 стр. Цена 1 р. 50 к.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1981 ГОД

Л. И. Брежнев. Воспоминания. XI—3.
Леониду Ильичу Брежневу семьдесят
пять лет. XII—3.

Сергей Сергеевич Наровчатов. VIII—2.

Ярослав Голованов. Незабываемый ап-
пель. IV—3.

Защитим мир! X—2.

Набережные Челны

Трудовой подарок съезду. V—3.

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

Алесь Адамович, Даниил Гранин. Бло-
кадная книга. Часть вторая. XI—38.

Анатолий Ананьев. Годы без войны. Ро-
ман. Книга третья. I—3; II—11.

Лев Гинзбург. Разбилось лишь сердце
мое. Роман-эссе. *Игорь Костецкий*. В ин-
тересах сближения культур. VIII—11.

Инна Гофф. Переполненная чаша. IV—
136. — Двух голосов переключка. XII—165.

И. Грекова. Вдовый пароход. Повесть.
V—66.

Борис Гусев. Открытие. Несколько сцен
из деловой жизни. XII—7.

Николай Евдокимов. Происшествие из
жизни Владимира Васильевича Махонина.
Повесть. V—15.

Наталья Ильина. Путешествие по Италии
со старым другом. IX—71.

Фазиль Искандер. Бригадир Кязым. Рас-
сказ. IV—67.

Федор Каманин. Литературные встречи.
Главы из книги. Публикация Г. Ф. Агра-
новской-Каманиной. VI—84.

А. Каштанов. ♣ Коробейники. Повесть.
VI—32; VII—5.

Михаил Колосов. Три круга войны. По-
весть. II—131; III—77.

Владимир Крупин. Колокольчик. Рассказ.
IV—30.

И. Метгер. Мой друг Антон. Рассказ.
IV—14.

Юрий Нагибин. О ты, последняя лю-
бовь!.. Рассказ. IV—100.

Сергей Наровчатов. Диспут. Рассказ.
IV—36.

Вера Панова. Который час? Сон в зим-
нюю ночь. Роман-сказка. Публикация
Б. Вахтина. IX—6.

Валерий Половьев. Место под солнцем.
Рассказ. IV—170.

Георгий Пряхин. Интернат. Повесть в за-
писках. III—7.

Георгий Семенов. Рассказы. X—20.

С. Славич. Конфликт. Повесть. XII—85.

Чарльз Сноу. Лакировка. Роман. Пере-
вели с английского И. Гурова и О. Кру-

герская. V—148; VI—125; VII—101;
VIII—155.

Тимофей Соколов. Земля без глины. Рас-
сказ. IX—127.

Виктория Токарева. Ничего особенного.
Рассказ. IV—113.

Юрий Трифонов. Опрокинутый дом. Рас-
сказы. VII—58.

Борис Харчук. Материнская любовь.
Диптих. Перевел с украинского В. Россельс.
IX—113.

В. Чукреев. Вечен огонь. Повесть. I—110.
Мариэтта Шагинян. Лето в Баббакуме.
VI—20.

Акрам Шарипов. На сопках Маньчжурии,
отрывок из документальной повести. XI—
208.

160 лет со дня рождения

Федора Михайловича Достоевского

Игорь Волгин. Последний год Достоев-
ского. X—100.

Слово о великом художнике:
Алесь Адамович, Достоевский после До-
стоевского; Даниил Гранин. В доме на
Кузнечном. X—184.

А. Нинов. Достоевский и театр. X—196.

Константин Кедров. «Восстановление по-
гибшего человека». X—210.

Достоевский глазами литературного За-
пада. X—218.

СТИХИ И ПОЭМЫ

Эм. Александрова. Старый горец. Стихо-
творение. IV—13.

Татьяна Андропова. Из лирики. XI—204.

Эльмира Блинова. Из цикла «Надежда».
Стихи. IV—99.

Сергей Бобков. Судьба. Стихи. III—6.

Равиль Бухараев. Минуты полночи не-
мые... Стихотворение. IV—13.

Константин Ваншенкин. Из лирики.
I—107.

Зоя Велихова. Часы Замоскворечья. Сти-
хи. IV—168.

Евг. Винокуров. На запад. Поэма. VII—
88.

Андрей Вознесенский. Яблокопад. Стихо-
творение. III—3.

Время: Виктор Бокор, Юрий Мельни-
ков, Александр Коваль-Волков, Сергей
Агальцов, Владимир Савельев, Мансур Са-
фин, Владимир Осинин, Н. Рудой. Стихи,
II—3.

Петр Градов. Дождь. Стихи. IX—126.

Николай Денисов. В Сургуте мороз. Сти-
хи. IV—29.

День поэзии: Владимир Цыбин, Ар-
ния Барто, Константин Ваншенкин, Расул

- Гамзатов** (перевел с аварского Яков Козловский), **Алим Кешоков** (перевел с кабардинского Яков Козловский), **Расул Рза** (перевел с азербайджанского Р. Бухараев), **Какимбек Сальков** (перевел с казахского Владимир Туркин), **А. Межиров**, **Алексей Зарицкий** (перевел с белорусского Петр Кошель), **Сергей Мнацаканян**, **Владимир Михановский**, **Бабкен Карапетян** (перевел с армянского Л. Озеров), **Павло Мовчан** (перевел с украинского Ю. Ряшенцев, А. Кушнер). VI — 3.
- Н. Злотников**. На Нигоозере. Стихи. XII — 162.
- Игорь Иванов**. Москва 41-го. Стихотворение. — XII — 5.
- Из белорусской лирики: **Пимен Панченко**, **Петрусь Макаль**, **Рыгор Бородулин**, **Анатолий Велюгин**, **Максим Танк**, **Алексей Пысин**. Перевел Яков Хелемский. XII — 78.
- Из поэзии Армении: **Ваагн Давтян** (перевела Нина Габриэлян), **Анаит Парсамян** (перевел Лев Озеров). II — 202.
- Анатолий Капитонов**. Лыжня. Стихи. IV — 169.
- Владимир Карпеко**. Моя муза. Стихи. XI — 36.
- Вадим Ковда**. По грибы. Стихи. XI — 206.
- Яков Козловский**. Три стихотворения. X — 98.
- Юрий Кузнецов**. Новые стихи. VII — 56.
- Кайсын Кулиев**. Беспокойство. Стихи. Перевел с балкарского Олег Чухонцев. XI — 27.
- Леонард Лавлинский**. Разин в посольстве (1658): Стихотворение. III — 171.
- Григорий Левин**. Памяти поэта Алексея Жаврука, павшего смертью храбрых. Стихотворение. VII — 100.
- Юрий Лосев**. Два стихотворения. I — 109.
- Мартовская тетрадь: **Ранса Ахматова**, **Валентина Саакова**, **Татьяна Кузовлева**, **Галина Шергова**, **Евгения Славорова**, **Корнелия Войткевич**, **Елена Муравина**. Стихи. III — 72.
- Анатолий Мехоношии**. Верстак. Стихи. XI — 207.
- Владимир Молчанов**. У вечного огня. Стихотворение. XI — 37.
- Навеки вместе (к 250-летию добровольного присоединения Казахстана к России): **Джубай Мулдагалев**, **Абдильда Тажобаев**, **Мариам Хакимжанова**, **Сырбай Мауленов**, **Хамид Ергалиев**, **Халижан Бекхожин**, **Қабдықарим Идрисов**, **Есет Аукебаев**, **Фариза Унгарсынова**, **Марфуга Айтхожина**, **Рахметолда Нурписов**, **Иранбек Оразбаев**. Перевели Вл. Савельев, Борис Пчелинцев, О. Савельева, О. Дмитриев, Я. Смеляков, Т. Кузовлева, Нина Габриэлян. X — 10.
- Иосиф Нонешвили**. Цветы Эллады. Стихи. Перевел с грузинского Лев Озеров. IX — 130.
- Сергей Островой**. Елка. Стихотворение. I — 180. — Два стихотворения. IX — 69.
- Владимир Павлинов**. Большевики. Стихи II — 126.
- Григорий Поженян**. Мост. Стихи. VII — 3.
- Григорий Помазков**. Лирика. IX — 70.
- Виктор Потиевский**. Август. Стихи. VII — 97.
- Борис Примеров**. Два стихотворения. XI — 34.
- Родина: **Михаил Беляев**, **Николай Доризо**, **В. Баширов**, **Марк Зарецкий**, **Татьяна Глушкова**. Стихи. VIII — 3.
- Виктор Смирнов**. Утро. Стихи. VII — 99.
- Дм. Смирнов**. Из лирического дневника. XII — 164.
- Валентин Сорокин**. Родная природа. Стихи. I — 178.
- Анатолий Софронов**. Гималаи. Стихи. I — 172.
- Стихи ветеранов Великой Отечественной войны: **Глеб Пагирев**, **Сергей Баруздин**, **Михаил Найдич**, **Александра Смелякова**, **Евгений Агранович**, **Лев Катюков**, **Эсфирь Гендлер**, **Юрий Белаш**, **Алла Сурова**, **Юрий Лозина**, **Вячеслав Татаренко**, **Анатолий Прокудин**, **Виктор Федотов**, **Генрих Рудяков**, **Владимир Матвеев**. V — 6.
- Мирзо Турсун-заде**. Песня о мире. Стихи. Перевели с таджикского В. Сергеев, В. Цыбин. IX — 3.
- А. Файнберг**. После зимы. Стихи. VII — 98.
- Отар Челидзе**. Баллада о старом доме. Стихи. Перевел с грузинского Владимир Равич. I — 175.
- Римма Чернавина**. Движение. Стихи. IV — 134.
- Георге Чокой**. Возраст. Отрывок из поэмы «Возраст монументов». Перевел с молдавского Кирилл Ковальджи. II — 127.
- Виктор Широков**. Мастерская. Стихи IV — 65.
- Николай Шумаков**. Декабрь сорок первого. Стихотворение. XII — 6.
- ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ**
- Н. А. Антипенко**. День победы. Встречи с маршалом Г. К. Жуковым. V — 216.
- Алексей Бесчастнов**. Чекисты против «Эдельвейса». XII — 174.
- ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ**
- Феодосий Видрашкү**. Встречи. Заметки о русском языке. I — 181.
- А. Горобова**. В клинике. X — 264.
- Алексей Спешнев**. Бег дней. IX — 132.
- ПУБЛИЦИСТИКА**
- Юрий Азаров**. Трудный случай. V — 186.
- Александр Гельман** — **Владимир Ишимов**. Нравственность управления и управление нравственностью. Диалог о том, как работают прямые и обратные связи в системе «экономика — искусство — экономика». IX — 199.
- А. Капто**. Стратегия человека. VI — 216.
- В. Ляшенко**. Анатомия одного предательства. IX — 210.
- Андрей Никитин**. Хрусткая связь времен. V — 181.
- Евгений Прохоров**. Пафос гражданства. Заметки о современной публицистике. II — 224.
- Н. А. Халфин**. Договор равных. К 60-летию советско-афганского Договора о дружбе и сотрудничестве. I — 210.
- М. П. Щетинин**. Школа будущего рождается сегодня. III — 196.

Егор Яковлев. Гражданин и время. II — 219.

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Мурад Аджиев ЗИЛ. IX — 188.

Владимир Верников. Лицом к морю и к земле. XII — 192.

Григорий Резниченко. Причастен ко всему. X — 234.

Владимир Успенский. В промышленной зоне БАМа. II — 205; III — 183.

Ю. Черниченко. Наука и земледелец. VII — 137.

Егор Яковлев. До чего же трудно хорошо работать! Шагая за конвейером Волжского автозавода. I — 192.

В МИРЕ НАУКИ

К. Долгов. Ренессанс и политическая философия Макиавелли. VII — 187; VIII — 193.

Константин Феоктистов, Игорь Бубнов. Первый пилотируемый... IV — 199.

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Алексей Авдеев. Слово о дружбе. VII — 180.

Геннадий Васильев. Расколотый остров. Ирландские репортажи. VIII — 174.

Еремей Парнов. Тибетские циклы. VI — 198.

Эдуард Розенталь. Убить книгу... V — 203

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Вл. Лидин. Друзья мои — книги. Новые главы. III — 173.

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Письма А. Твардовского Б. Ирнину. Публикация Е. Я. Бурштын и Р. М. Романовой. VI — 226.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

В. И. Вернадский в настоящем и будущем: И. Мочалов. Возвращаясь к «роковым» проблемам; И. Забелин. Быть среди живых...; В. П. Казначеев, А. Л. Яншин. В. И. Вернадский в настоящем и будущем. XII — 205.

Михаил Шлаин. Вначале было слово... XII — 220.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Автор и читатель (из почты отдела критики): И. Меттер. Рассказу нелегко...; Ирина Смирнова. О Дмитрии Фурманове. Из воспоминаний детства; Альберт Чернышов. Польза медленного чтения; В. Рыдлинский. Возвращение к Грину. IX — 238.

Олег Алякринский. Жанр и жизнь. Американская действительность сквозь призму повести. XI — 223.

Юрий Андреев. Суть и перспектива. IX — 222.

Сергей Бондарчук. Через всю жизнь. Беседа вела Елена Дангулова. III — 236.

А. Бочаров. Рождено современностью. VIII — 227.

Н. К. Гей. Целостность культуры. содружество наук и искусств. XII — 224.

Н. Жегалов. Искания. Современное лите-

ратуроведение о роли литературы в духовной жизни общества. II — 244.

В. Камянов. Классика экзаменует. Проблема «проходного балла». VII — 222.

Л. Киселева. Обращено к сегодняшнему. 80 лет со дня рождения Александра Фадеева. XII — 230.

Георгий Марков: Долг литературы — быть достойной современности. Г. Марков — В. Литвинов. Диалог. IV — 220.

Анатолий Медников. Большими маршрутами. I — 228.

Леонид Новиченко. Ствол и крона. Традиции и преемственность в современной многонациональной советской литературе. II — 236.

Борис Панкин. Точка отсчета. V — 229.

Александр Пумпянский. Возвращение к Голгофе. Немного об Америке американских писателей. III — 219.

Растет человек: Юрий Яковлев. Входящему в мир; Е. Сурков. Воспитание искусством; Юрий Дмитриев. Уроки доброты. IX — 228.

Роман наших дней: Александр Овчаренко. Новый уровень художественного мышления; Михаил Пархоменко. Масштабность взгляда. VI — 231.

Ю. Трифонов. Как слово наше отзовется... XI — 233.

Сергей Чупринин. Шестидесятые—семидесятые: волна вослед волне. V — 237.

М. Эпштейн, Е. Юкина. Мир и человек. К вопросу о художественных возможностях современной литературы. IV — 236.

Б. Яковлев. Мудрая сила принципа. Размышления о свободе творчества и партийности литературы. I — 223.

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Литература и искусство

Л. Аннинский. «Волик.. ты меня не узнаешь?» (Леонид Зорин. Старая рукопись. Роман). VII — 249.

В. Барлас. Летопись оживает (С. Лесневский. Путь, открытый взорам. Московская земля в жизни Александра Блока. Биографическая хроника). VI — 254.

Леонид Бежин. Мысль и образ (А. Ф. Лосев. История античной эстетики. Поздний эллинизм). VII — 254.

А. Белорусец. Рабочий человек (Александр Плетнев. Шахта. Роман и рассказы). II — 256.

Юрий Болдырев. Долгая была война (Елена Ржевская. Была война... Повести, рассказы, записки). VIII — 251.

Владимир Бондаренко. «Так дано мне жить...» (Лариса Васильева. Листва. Книга стихов. Лариса Васильева. Русские имена). IV — 254.

Андрей Василевский. Начиналось с Маяковского (Адолф Урбан. Образ человека — образ времени. Очерки о советской поэзии). I — 252.

Евг. Винокуров. Поэтический мир Ваагна Давтяна (Ваагн Давтян. Свет как хлеб. Стихотворения и поэмы). XII — 243.

Ирина Винокурова. Ладья на стремнине (Арсений Тарковский. Зимний день. Стихотворения). III — 253.

В. Воробьев. Важная грань ленинской эстетики (А. Н. Иезуитов. В. И. Ленин и вопросы реализма). I—255.

И. Грекова. От драматургии к прозе (Александр Крон. Избранные произведения в двух томах. Александр Крон. Пьесы и статьи о театре). VII—241.

Уран Гуральник. На многонациональной основе (В. Оскоцкий. Роман и история. Традиции и новаторство советского исторического романа). XII—252.

Виталий Дончик. Духовность созидания (Павло Загребельный. Разгін. Роман. Павло Загребельный. Разгон. Роман). III—246.

Игорь Золотусский. Трепет сердца (Федор Абрамов. Три рассказа. — Мамонова. Повесть. — Рассказы. — Трава-мурава). IX—244.

Ст. Золотцев. Жизнь на родной земле (Леонард Лавлинский. Степной ночлег. Стихи и поэма. Леонард Лавлинский. Ключ. Книга стихов). VII—245.

М. С. Каган. Движущаяся эстетика (В. Днепров. Идеи времени и формы времени). IX—254.

А. Коган. Звенья памяти народной (Л. Березных, В. Лапина. Ташкентские мальчишки. Георгий Миронов. Мы поднимались в атаку. Г. Тамарина. Северные новеллы). V—256.

Ольга Кожухова. Странник из прошлого в сегодня (Н. С. Лесков. Левша. Повести и рассказы. Н. С. Лесков. Привидение в Инженерном замке. Рассказы. Н. С. Лесков. Леди Макбет Миценского уезда. Повесть. Н. С. Лесков. Избранное). II—252.

А. Лебедев. Человек из-под Ржева (Вячеслав Кондратьев. Отпуск по ранению. Повесть). XI—245.

Юрий Лукин. Доблесть, подвиг, слава (Литература великого подвига. Великая Отечественная война в литературе. Выпуск 3. Слова, пришедшие из боя. Сборник). V—249.

Алла Марченко. Преодоление тяжести (Имант Зиедонис. Дым я читаю вдумчиво... Избранное). VII—247.

И. Меттер. Наука расставанья (Маргарита Алигер. Тропинка во ржи. О поэзии и поэтах). III—250.

Михаил Найдич. Характер поэта (Марк Соболев. Высокие костры). II—258.

Вл. Новиков. Слово и слава (М. М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. М. М. Бахтин. Конспекты лекций). IV—256.

Лев Озеров. Вкус к жизни (Евгений Елисеев. Пегушиное слово. Стихи). XI—249.

А. Пикач, Н. Цыганова. Постигая богатства души человеческой (Тимур Пулатов. Впечатлительный Алишо. Тимур Пулатов. Завсегдаята. Повесть. Тимур Пулатов. Жизнеописание строптивного бухарца. Роман. Повести. Рассказы). I—247.

И. Питляр. Труд как основа жизни (Василий Афонин. Клюква ягода. Повести и рассказы. Василий Афонин. Тетя Феня. Рассказ. Юрий Стефанович.

Все в этом мире. Рубежи зрелости). IV—249.

Хайнц Плавинус. Уроки зрелости (Б. Брайнина. Федя и Запад. Книги, встречи, воспоминания). II—259.

Н. Покровский. В поисках истины (Генри Дэвид Торо. Уолден, или Жизнь в лесу). VI—257.

Инна Ростовцева. «Из пламя и света рожденное слово» (Валерий Дементьев. Мир поэта: Личность. Творчество. Эпоха). XII—249.

А. Руденко-Десняк. Движение героя (Нодар Думбадзе. Закон вечности. Белые флаги. Романы. Нодар Думбадзе. Кукарача. Повесть). XII—240.

Б. Руний. Бремя времени (Борис Слуцкий. Избранное. 1944—1977). VIII—247.

Б. Сарнов. «Его найдет далекий мой потомок...» (Валентин Берестов. Три дороги. Стихи). IX—251.

Адольф Урбан. Сквозь годы (Константин Ваншенкин. Десятилетье. Лирика. Константин Ваншенкин. Поздние яблоки. Лирика). V—253.

В. Хмара. С позиций социальности (Ю. Кузьменко. Советская литература вчера, сегодня, завтра). XI—250.

Сергей Чупринин. «Евангелие от Сизифа» (Ю. Левитанский. Два времени. Стихи. Ю. Левитанский. Новые стихи). XII—245.

Политика и наука

Н. Агаджанян. Великий вопрос жизни (В. А. Фролов. Опередивший время). IX—263.

Р. Баландин. Наука, открытая молодежи (Библиотека Детской энциклопедии «Ученые — школьнику». Вып. 1—20). III—259.

Д. Биленкин. Предвидение животных (И. Б. Литинецкий. Изобретатель — природа). XII—257.

Владимир Буданин. Вступил в бой комиссаром (Владимир Успенский. На большом пути. Повесть о Клименте Ворошилове). IV—260.

В. Буров. Какими они были (Р. А. Ульяновский. Политические портреты борцов за национальную независимость). XI—255.

Эрнст Генри. Учиться полемике (Об искусстве полемике.) III—256. — Лицо современного *нациста (Юрген Поморин, Рейнгард Юнге. Неонацисты). IX—259.

А. Грунт. «Поучитесь у русской революции!..» (К. Ф. Шацилло. 1905-й год). XII—254.

Лев Давыдов. Нечерноземье — в дороге (Дорогами России). VI—258.

С. Десятков. От Мюнхена к войне (Ф. Д. Волков. Тайны Уайтхолла и Даунинг-стрит. В. Я. Сиполс. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны. В. Я. Сиполс. Внешняя политика Советского Союза 1933—1935. Вацлав Крал. План Зет. В. К. Волков. Мюнхенский сговор и балканские страны). XI—261.

В. Елисеева. Восхождение (Григорий Медынский. Ступени жизни. Лирико-публицистическое повествование). VIII—255.

Ю. Каграманов. Контркультура в зеркале науки (Ю. Н. Давыдов, И. Б. Роднянская. Социология контркультуры (Инфантилизм как тип мировосприятия и социальная болезнь). XI — 257.

С. Кондрашов. Иметь или быть (Геннадий Герасимов. Общество потребления: мифы и реальность). VII — 257.

В. Косолапов. Кровью сердца... (Иван Мележ. Первая книга. Дневники. Тетради. Из записных книжек). I — 262.

Вл. Кузнецов. Историография современности (К. И. Зародов. Экономика и политика в революции). I — 258.

С. Кузнецова. Индия: связь времен (Л. Шапошникова. По Южной Индии. — Паравя — «летучие рыбы». — Дороги джунглей. — Тайна племени Голубых гор. — Годы и дни Мадраса. — Австралоиды живут в Индии. — Мы — курги). VIII — 259.

В. Ляшенко. Неторными тропами (Петр Ребрин. Это гудит время. Очерк). VI — 265.

А. Д. Михайлов. Уроки алхимии (В. Л. Рабинович. Алхимия как феномен средневековой культуры). VII — 259.

В. Некрасов. Карлос Бланко, Мартин Гроу и другие (Генрих Боровик. Интервью в Буэнос-Айресе. Пьесы. Генрих Боровик. История одного убийства. Повесть-хроника). V — 261.

Ф. Новиков. Исповедь мастера (Андрей Константинович Буров: Письма. Дневники. Беседы с аспирантами. Суждения современников). IX — 261.

А. Нуйкин. К абсолютам бесчеловечности (Ю. Каграманов. Без знамени. Взаимоотношения искусства и науки в современном буржуазном обществе). III — 263.

В. Победоносцев. Ратная работа (Николай Черкашин. Соль на погонах). V — 258.

Л. Попов. Люди Кремниевой долины (Электроника: прошлое, настоящее, будущее). XII — 259.

Григорий Резниченко. За чертой привычного (Александр Левилов. Калужский вариант). VI — 262.

Ким Селихов. Люди трудной профессии (К. У. Черненко. Вопросы работы партийного и государственного аппарата). VIII — 254.

В. Степаненко. ...и вечный хлеб! (А. В. Коваленко. Гвардии земледельцы. Записки секретаря обкома партии). II — 262.

Ю. Халфин. Творческая педагогика (Ю. П. Азаров. Искусство воспитывать). IV — 262.

Б. Чубар. Дело человеком ставится — и славится (Рожденные в десятой пятилетке). II — 261.

Ю. Шарапов. Страницы великого наследия (Ленинский сборник XXXIX). I — 257.

А. Шарков. Труды и свершения российских Колумбов (Русская тихоокеанская эпопея). VII — 262.

Н. Эйдельман. Ганнибал Пушкинский (Георг Леец. Абрам Петрович Ганнибал. Биографическое исследование). V — 263

КОРОТКО О КНИГАХ

Юрий Болдырев. — Борис Ручьев. Собрание сочинений в двух томах. Галина Винникова. — Яков Ильичев. Турецкий караван. Роман. Вл. Котовсков. — В. Гура. Как создавался «Тихий Дон». М. Бойко. — Н. К. Некрасов. По их следам, по их дорогам. Н. А. Некрасов и его герои. Г. Койранская. — Константин Шишкан. Колесо над пропастью. Повесть. М. Аджиев. — А. Окладников. Открытие Сибири. Д. Биленкин. — Владимир Демьянов. Геометрия и Марсельеза. I — 266.

Ксения Бродер. — Для человека. Рассказы и очерки. И. Козлов. — Владимир Даненбург. Голос солдата. Роман. З. Соколова. — Поэзия Кубы. Сборник. Владимир Огнев. — Татьяна Очирова. Николай Дамдинов. Литературный портрет. Е. Луцкая. — Центральный академический театр Советской Армии. 50 лет. Григорий Резниченко. — Михаил Ребров. Над планетой людей. Ю. Грицкий. — Критика современных буржуазных и реформистских фальсификаторов марксизма-ленинизма. Г. Степанов. — Лидия Графова. Зачем человеку звезды? В. Френкель. — Альфред Реньи. Трилогия о математике. II — 265.

Михаил Синельников. — Александр Письменный. Фагт. Дневник, из записных книжек, письма, рассказы. Д. Молдавский. — Вл. Санин. Одержимый. Повесть. Лев Фрухтман. — Николай Глазков. Избранные стихи. А. Бартошевич. — Михаил Морозов. Избранное. Эр. Ханпир. — Русский язык. Энциклопедия. Ю. Михайлов. — Герберт Шиллер. Манипуляторы сознанием. Ю. Орфеев. — Л. И. Седов. Размышления о науке и об ученых. III — 267.

Л. Коган. — В. В. Горбунов. Развитие В. И. Лениным марксистской теории культуры (Дооктябрьский период). П. Черкасов. — В. Е. Илларицкий. Сергей Михайлович Соловьев. М. Курячая. — На суше и на море. Н. Макарова. — Анатолий Черноусов. Чалдоны. Повесть. И. Борисова. — Э. Русаков. Конец сезона. Рассказы. А. Свободин. — Э. Полоцкая. А. П. Чехов. Движение художественной мысли. Эмма Полоцкая. По следам ранних сюжетов. Е. Полякова. — Андрей Михайлович Лобанов. Документы, статьи, воспоминания. С. Александрова. — М. Жванецкий. Встречи на улицах. IV — 266.

Ю. Смелков. — Юрий Абдашев. Ветер удачи. Повести. Владимир Шленский. — Людмила Щипахина. Час вечерних огней. Стихи. А. Смелянский. — Борис Галанов. Прогулки с друзьями. Ирина Шевелева. — Иннокентий Анненский. Книга отражений. С. Смит. — Б. Г. Литвак. Очерки источниковедения массовой документации XIX — начала XX в. Юрий Дмитриев. — Джеральд Даррелл. Ковчег на острове. V — 267.

Николай Воронов. — Владимир Рынкевич. Семинар по философии. Рассказы и повести. Л. Гладковская. — Е. А. Краснощекова. Художественный мир Всеволода Иванова. Сергей Островой. — Иосиф Ржавский. Азбука свинца.

Книга стихов. Ю. С мелков. — Ю. Смирнов-Несвицкий. Еще одна жизнь. Р. Баландин. — В. К. Лукашев, К. И. Лукашев. Научные основы охраны окружающей среды. Э. Кузьмина. — Сергей Львов. Книга о книге. VI—267.

Арс. Рутько. — Галина Демькина. Просторный человек. Роман. Д. Самойлов. — Андрей Чернов. Городские портреты. И. Дубашинский. — Аркадий Адамов. Мой любимый жанр — детектив. Записки писателя. О. Соловьева. — Ф. С. Наркирьер. Французский роман наших дней. Нравственные и социальные искания. В. Маркин. — Н. Н. Баранский. Избранные труды. Становление советской экономической географии. Г. Ерицян. — Ю. Н. Семенов. Социальная философия А. Тойнби. Критический очерк. VII—267.

В. Архипов. — М. С. Капица. КНР: три десятилетия — три политики. Юрий Ярцев. — И. А. Геевский. Мафия, ЦРУ, Уотергейт. Очерки об организованной преступности и политических нравах в США. Георгий Степанидин. — Валентин Томир. Дом на Красной Талке. Документальное повествование. В. Томир. Дорога к дому. Руслан Киреев. — Андрей Яхонтов. Плюс минус десять дней. Повести и рассказы. Константин Ваншенкин. — Александр Балин. Поздняя звезда. Стихи. Я. Сидоров. — Геннадий Шпалков. Избранное. Сценарии. Стихи и песни. Разрозненные заметки. В. Косолапов. — Р. Файнберг. Виктор Конецкий. Очерк творчества. Галина Гордеева. — Дм. Молдавский. Товарищ Смех. М. Швыдкой. — Ю. И. Кагарлицкий. Шекспир и Вольтер. А. Венгеров. — А. И. Иойрыш, И. Д. Морохов, С. К. Иванов. А-бомба. VIII—264.

Г. Петрова. — Алла Калинина. Черемуховый холод. Повести и рассказы. Е. Цейтлин. — Виктор Чугунов. Таежи-

на. Повести и рассказы. Андрей Васильевский. — Геннадий Русаков. Длина дыхания. Стихи. Н. Дымшиц. — Левон Мкртчян. Свет есть добро. Портреты, эссе, путевые заметки. Е. Луцкая. — Этери Гугушвили. Акакий Хорава. Этери Гугушвили. Акакий Васадзе. М. Галлай. — А. Иванов. Старт завтра в 9... Эр. Ханпирра. — М. Чудакова. Беседы об архивах. IX—267.

Леонид Жуховицкий. — Александр Родин. Летний зной. Рассказы. Равиль Бухараев. — Ильдар Юзеев. Тихое утро. Стихи и поэмы. Илья Фояков. — Юрий Магалиф. Монолог. Стихи. Ю. В. Давыдов. — Б. М. Шахматов. П. Н. Ткачев. Этюды к творческому портрету. Т. Мотылева. — С. Апт. Над страницами Томаса Манна. Очерки. Владимир Буданин. — Николай Кузьмин. Меч и плуг. Повесть о Григории Котовском. Вл. Кузнецов. — Михаил Черноусов. Советский полпред сообщает... И. Трифильцев. — А. Б. Дитмар. География в античное время. (Очерки развития физико-географических идей). Вл. Котовсков. — П. Топер. Овладение реальностью. Статьи. XI—265.

В. Косолапов. — Д. В. Панков, Д. Д. Панков. Подвиг подольских курсантов. А. Белорусец. — Сердце России. Сборник стихотворений. А. Окладников. — В. И. Буганов, А. А. Преображенский, Ю. А. Тихонов. Эволюция феодализма в России. Ю. Орфеев. — А. Н. Соколов. Проблемы научной дискуссии. Логико-гистеологический анализ. Василий Суботин. — Ю. Белаш. Оглушшая пехота. Стихи. Софья Николаева. — И. Дедков. Василь Быков. XII—261.

Книжные новинки: I — XI — 272; XII — 266.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. А. Косолапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 25/IX 1981 г. Объем 17 п. л. Подписано к печати 16/XI 1981 г.
Формат бумаги 70×108^{1/8}. 29,6 уч.-изд. л. 8,5 бум. л. (23,8 усл.-печ. л.).
А 10627. Тираж 350.000 экз. Зак. 04550.

Ордена Ленина комбинат печати издательства «Радянська Україна»,
Киев-47, Брест-Литовский проспект, 94.

Цена 70 коп.

70636